



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

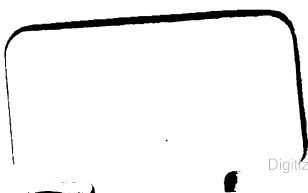
UC-NRLF



B 3 493 360

Сочинения
В. Д. Спасовича
т. 9.

vol. 9



СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА.



СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА.

Томъ IX.

ПОСЛѢДНІЯ РАБОТЫ ВЪ ДЕВЯНОСТЫХЪ ГОДАХЪ XIX ВѢКА.

К. Д. Кавелинъ.—Чествованіе Палацкаго въ 1898 г.—
Страсти Господни въ Оберъ-Аммергау 1890 г.—Гёте
въ книгъ Э. Рода.—А. Мицкевичъ и его творчество.—
Шесть не судебныхъ моихъ рѣчей.—Вѣчные Спут-
ники Д. С. Мережковского.—Романъ Сенкевича
Семья Поланецкихъ.—Адвокатскій конгрессъ въ Брюс-
селѣ 1897 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Книжный магазинъ К. Грендышинскаго.
Екатерининская, 2.

1900.

7319-0585

MAIN

~~~~~  
Типо-литографія и переплетная Ю. А. Мансфельдъ, М. Морская, № 9.  
~~~~~

K181

S63

1889

v. 9

MAIN

Воспоминанія о К. Д. Кавелинѣ.

I.

Я былъ моложе Кавелина болѣе чѣмъ на десять лѣтъ (я родился 16-го января 1829 г.) и познакомился съ нимъ только въ 1852 г. Наше знакомство, весьма близкое съ 1857 г., продолжалось до самой его кончины въ 1885 г.: значить, оно объемлетъ 33 года. К. Д. Кавелину я весьма многимъ обязанъ: онъ повліялъ на окончательную выработку моего міровоззрѣнія; онъ ввелъ меня въ кругъ русской жизни и русскаго писательства, въ область русскихъ идеаловъ и интересовъ. Изданіе сочиненій извѣстнаго писателя имѣетъ, конечно, цѣлью выдѣлить его писательство, какъ нѣчто особое, какъ источникъ не прекращающагося, даже и по его смерти, вліянія его на будущія поколѣнія, при чемъ въ большей части случаевъ мѣра этого вліянія обуславливается также и своеобразностью формы, красотою слога. Хотя главными занятіями К. Д. Кавелина были преподаваніе и писательство, но къ числу блистательныхъ стилистовъ и художниковъ слова онъ не принадлежалъ, хотя писалъ легко и выражался съ необыкновенною ясностью и простотою. Въ каждомъ его сочиненіи содержаніе было безконечно богаче формы, о которой онъ вообще весьма мало заботился. Притомъ идеи, которыхъ онъ, назадъ тому полвѣка, былъ инициаторомъ, увлекающимъ другихъ распространителемъ, — привились, восторжествовали, сдѣлались общими, ходячими мѣстами, и вслѣдствіе того утратили свѣжесть новизны,

такъ что мы ими пользуемся, какъ своими, не задаваясь мыслью объ ихъ источникѣ. — Уже въ 1846 г., когда Кавелину было всего 28 лѣтъ, онъ сразу появился во всеоружіи вполне созрѣвшаго дарованія и весьма опредѣленнаго міросозерцанія въ своемъ «Взглядѣ на юридическій бытъ древней Россіи». Въ этомъ сочиненіи онъ поставилъ вразумительную, глубоко осмысленную философію исторіи великорусской національности и созданной ею русской государственности. Если сопоставимъ этотъ «Взглядъ» съ его же «Мыслями и замѣтками по русской исторіи», писанными позднѣе, спустя 20 лѣтъ, въ 1866 г., то окажется, что основныя положенія остались у него тѣ же, и допущены только измѣненія или добавки въ частностяхъ, вслѣдствіе появленія капитальныхъ новыхъ трудовъ, въ родѣ «Исторіи Россіи», С. Соловьева, или «Областныхъ учреждений», Б. Чичерина. Главныя положенія «Взгляда» — тѣ, что, начиная съ Рюрика, русская исторія есть органическое развитіе русской жизни, вполне единой, самостоятельной и истекающей изъ собственныхъ началъ внутренняго быта. Исходною точкою въ этой исторіи служить родовое начало, которое постепенно разлагается вслѣдствіе усиленія содержащагося въ немъ другого начала — семейственнаго. Семья распадается также и даетъ начало типу единичнаго владѣльца по частному праву, или вотчинника. Этотъ новый типъ лежитъ въ основаніи постройки крѣпкаго московскаго государства, въ которомъ, при полнѣйшей государственной централизаціи, не допускающей никакихъ кристаллизующихся осадковъ, никакихъ самостоятельныхъ сословныхъ группъ, — происходитъ повальное закрѣпощеніе служилыхъ людей и двора государю, а крестьянъ — служилому сословию. Какъ только окрѣпло такое государство, самодержавное и демократическое, образованіемъ котораго и исчерпана вся древняя русская жизнь, — открылось поприще для дѣятельности новому началу личности. Сѣмя этого новаго начала заронено было на русской почвѣ христіанствомъ, но долгое время не могло никакъ проникнуть въ граждан-

скій порядокъ. Съ Петромъ Великимъ человѣческая личность впервые вступаетъ въ свои права, отрѣшившись отъ непосредственныхъ природныхъ, исключительно національныхъ опредѣленій. Она побѣдила ихъ и подчинила ихъ себѣ. Национальность не содержится въ однѣхъ внѣшнихъ ея формахъ,—государи съ Петра В. не одѣвались, а нѣкоторые и не говорили по-русски; никогда, однако, они не теряли сознанія своей народности; они не думали вводить иностранное, вмѣсто русскаго. Въ борьбѣ съ недостатками современной Россіи они пытались ее исправить и улучшить, посредствомъ европейскихъ формъ и приемовъ, но не имѣли понятія о позднѣйшемъ противоположеніи Россіи и Европы. Когда пришла къ своему концу Петровская реформаціонная эпоха, и когда живой духъ этой эпохи исчезъ,—тогда отъ нея остался одинъ только трупъ, разлагавшійся на составныя части. Тогда-то стали то или другое хвалить или порицать, смотря по тому, свое ли оно собственное, или иностранное. Этотъ дуализмъ, по мнѣнію Кавелина, уже отходитъ: его смѣняетъ мысль о человѣкѣ и его требованіяхъ.

Въ позднѣйшее время, въ чтеніяхъ въ профессорскомъ клубѣ боннскаго университета—въ 1863 г., и въ «Мысляхъ и замѣткахъ» 1866 г. — усматриваются только тѣ особенности и измѣненія, что К. Д. Кавелинъ, въ качествѣ природнаго великорусса, начинаетъ русскую исторію не съ Рюрика, а триста лѣтъ позднѣе, съ суздальскихъ князей и съ Москвы; что онъ строитъ это государство на славянскомъ корню, съ примѣсью, однако, финскихъ элементовъ; что согласно Чичерину, онъ допускаетъ обусловленное податною системою происхожденіе городскихъ и сельскихъ тягловыхъ общинъ; наконецъ, что онъ точнѣе опредѣляетъ коренную противоположность хода развитія западно-европейскихъ обществъ и Россіи. Исторія Запада началась съ блистательнаго развитія индивидуализма, который затѣмъ съ трудомъ вдвигался въ условія государственнаго быта,—между тѣмъ какъ въ Россіи совершенно отсутствовало личное начало, которое, по вы-

работкѣ государства, насаждается и развивается подъ вліяніемъ европейской цивилизаціи, пока настанетъ уже близящееся время, когда оба развитія пересѣкутся и выравниются. Упраздненіе историческаго крѣпостническаго типа началось сверху и шло постепенно внизъ. Оно не можетъ совершиться пока не освобождены крестьяне. Клеймо крѣпостничества лежало на всемъ быту народномъ, на всѣхъ учрежденіяхъ, которыя приходится пересоздавать, дѣйствуя по тому же единственно возможному въ Россіи направленію — сверху внизъ.

Не для одного К. Д. Кавелина, но и для всего молодого поколѣнія, подроставшаго и учившагося въ сороковыхъ годахъ, вся исторія, философія и политика стягивались однимъ общимъ узломъ — крестьянскимъ вопросомъ. По моимъ воспоминаніямъ, за время бытности моей въ университетѣ, съ 1845 по 1849 г., не только русскіе, но и мы, поляки, только и занимались, главнымъ образомъ, упраздненіемъ крѣпостного права, только и обдумывали, какъ двинуть съ мѣста этотъ камень, преграждающій всякое движеніе впередъ.

Изъ приведенныхъ мною отрывковъ «Взгляда» оказывается, что еще въ 1846 г. Кавелинъ не желалъ быть причисленнымъ ни къ западникамъ, ни къ славянофиламъ; что онъ пробовалъ занять мѣсто внѣ обѣихъ этихъ партій или направленій. Во всякомъ случаѣ, онъ дружилъ скорѣе съ западниками, къ которымъ его влекло и сочувствіе ко всѣмъ великимъ новаторамъ, начиная съ московскаго періода, ко всѣмъ сокрушителямъ старины, въ родѣ Ивана Васильевича Грознаго, а наконецъ и его восторженное отношеніе къ Петру Великому. Съ западниками сближало Кавелина еще и то, что хотя онъ не былъ лишенъ религіознаго чувства и выше всего всегда ставилъ христіанскую мораль, но онъ всегда былъ равнодушенъ ко всѣмъ вѣроисповѣднымъ, догматическимъ и обрядовымъ различіямъ. По этой части онъ придерживался мнѣній лѣваго крыла гегелевской философской школы, на примѣръ идей Людвига Фейербаха (*Das Wesen der Religion*, 1845).

Разъ только, сколько мнѣ помнится, высказалъ Кавелинъ въ «Мысляхъ и замѣткахъ» свое отрицательное отношеніе къ римскому католицизму—и то только въ его прошломъ и съ государственной точки зрѣнія: «До сихъ поръ,—писалъ онъ,—католицизмъ дѣйствовалъ разлагающимъ образомъ на всѣ славянскія племена, которыхъ онъ коснулся. Римскій католицизмъ—тоже плодъ европейской культуры; но вопросъ въ томъ, на какой степени развитія славянскій народъ можетъ принимать въ себя европейскій элементъ, не теряя свойства самостоятельности? Аристократизмъ и космополитическая церковь не допустили бы сложиться тому крѣпкому государству, выработка котораго составляетъ весь плодъ исторіи и всю заслугу великорусскаго племени»... Съ западниками и особенно съ Герценомъ соединялъ еще Кавелина общій имъ всѣмъ приемъ, состоящій въ обращеніи въ русское національное преимущество отрицательныхъ національных качествъ,—напримѣръ, относительной некультурности,—взглядъ на русскій народъ, какъ на листъ бѣлой бумаги, еще не исписанный, на которомъ будущее изобразить, вѣроятно, нѣчто великое,—наконецъ, весьма отрицательное отношеніе обоихъ къ народной старинѣ, ко всевозможнымъ народнымъ пережиткамъ. Я много разъ слышалъ отъ Константина Дмитриевича, что онъ любилъ бы Москву и радъ бы съ нею сжитья, не буди только въ ней Кремля, который ему противенъ.

Во всякомъ русскомъ умѣ, даже наиболѣе аналитическомъ и радикальномъ, есть всегда какой-нибудь уголокъ, служащій пріютомъ мистицизму. Былъ и у Кавелина такой уголокъ, сближавшій его съ славянофилами. Кавелинъ вѣрилъ безусловно въ великую будущность «мужицкаго царства», въ великорусскій міръ сель, противопоставляемый имъ европейскому міру городовъ, въ великорусское общинное владѣніе крестьянами землею, въ которомъ онъ усматривалъ своеобразное средство, предохраняющее отъ пауперизма. Эти мечтанія о будущемъ занимали К. Д. Кавелина, въ особенности подъ конецъ его

жизни, когда, вслѣдствіе естественно послѣдовавшей послѣ освобожденія крестьянъ реакціи, значительно ускоренной подѣ вліяніемъ польскаго мятежа 1863 г., всякому начинанію въ прогрессивномъ направленіи положенъ былъ конецъ съ начала восьмидесятыхъ годовъ, такъ что людямъ того направленія, къ которому принадлежалъ Кавелинъ, приходилось или бездѣйствовать, или мечтать о далекомъ будущемъ. Въ предположеніяхъ о будущемъ мы не сходились съ Константиномъ Дмитріевичемъ потому, что по нашимъ понятіямъ мужицкое царство могло оставаться такимъ, только пока оно некультурно, но перестало бы быть мужицкимъ, коль скоро сдѣлалось бы культурнымъ.

По своей специальности—юристъ, а по своему темпераменту—острый критикъ и реформаторъ, К. Д. Кавелинъ былъ какъ бы созданъ на то, чтобы стоять во главѣ движенія и быть руководителемъ прогрессивной партіи. Сила притяженія, которою онъ располагалъ, была громадная; ей подчинялись люди всевозможныхъ возрастовъ, національностей, занятій и классовъ. Онъ имѣлъ всѣ качества мощнаго leader'a, какъ говорятъ англичане, безконечную привязанность къ идеямъ общественнаго, національнаго или общечеловѣческаго добра—и сравнительно гораздо меньшую къ отдѣльнымъ живымъ людямъ, даже очень къ нему близкимъ. Такъ какъ онъ больше привязывался къ идеямъ и былъ по темпераменту человѣкъ страстный, способный любить всѣмъ сердцемъ и столь же сильно ненавидѣть, то ему не разъ приходилось, не оглядываясь и не особенно печалась, расторгать связи съ людьми весьма къ нему близкими, когда они расходились съ нимъ во взглядахъ и направленіяхъ на общественной аренѣ; но зато онъ былъ непоколебимо вѣрный товарищъ всякаго, въ комъ онъ не извѣрился, кого считалъ одушевленнымъ идеями общественнаго добра. Наибольшая часть его «я» расходовалась на непосредственное его дѣйствіе на живыхъ людей, и только меньшая обращена была на литературные труды. Такъ какъ проф. Д. А. Корсаковъ, въ своемъ біографическомъ очеркѣ (I томъ на-

стоящаго изданія), многихъ сторонъ дѣятельности Кавелина не коснулся, а можетъ-быть нѣкоторыхъ изъ нихъ даже совсѣмъ не зналъ, то я позволю себѣ передать исторію моихъ личныхъ отношеній къ К. Д. Кавелину, и полагаю, что мой рассказъ прибавитъ къ тому, что уже обнародовано печатью, нѣчто новое и существенное, въ особенности же — новыя данныя, свидѣтельствующія о томъ, какъ онъ относился къ становившемуся при немъ на очередь въ Россіи польскому вопросу.

II.

Я познакомился съ К. Д. Кавелинымъ и съ Григоріемъ Григоріевичемъ Даниловичемъ въ 1852 г., когда оба они были начальниками отдѣленій въ штабѣ военно-учебныхъ заведеній, въ которомъ мнѣ пришлось читать нѣсколько пробныхъ лекцій для полученія званія преподавателя въ этихъ заведеніяхъ. Лѣтъ пять спустя, въ 1857 г., я долженъ былъ защищать «*pro venia legendi*» мою диссертацию: «Объ отношеніяхъ супруговъ по имуществу по древнему польскому праву», чѣмъ обусловливалось занятіе предложенной мнѣ временно одной изъ двухъ кафедръ законовъ царства польскаго, на которыхъ преподаваніе происходило на польскомъ языкѣ. Одинъ экземпляръ моего труда я поднесъ Кавелину при посредствѣ моего школьнаго и университетскаго товарища Іосафата Петровича Огризко, который сблизился съ Кавелинымъ у смертнаго одра общаго ихъ пріятеля Костылева, въ домѣ Авроры Карловны, урожденной Шернваль, по первому браку — Демидовой, а по второму — Карамзиной. Костылевъ былъ воспитателемъ сына А. К. Карамзиной, Демидова, а Огризко занималъ должность по управленію ея имѣніями. Кавелинъ пріѣхалъ на мой диспутъ въ университетъ, удостоилъ меня нѣсколькихъ весьма вѣскихъ и серьезныхъ возраженій. Помню, что на диспутѣ присутствовалъ, кромѣ бывшаго попечителя округа М. Н.

Мусина-Пушкина, бывшій товарищъ министра народнаго просвѣщенія, другъ А. С. Пушкина, князь П. А. Вяземскій.

Съ того момента я сталъ изрѣдка бывать въ домѣ А. Д. Кавелина. Вниманіе его и обходительность со мною я и теперь приписываю тому, что я былъ полякъ, а его, незнакомаго съ польскимъ языкомъ и литературою, еще съ молодыхъ лѣтъ интересовалъ польскій вопросъ. При невозможности изучать этотъ вопросъ по книгамъ, онъ, по своему обыкновенію, изучалъ его по живымъ лицамъ, въ дешифрованіи которыхъ онъ былъ великій мастеръ. Онъ всегда держался того часто повторяемаго имъ положенія, что судьбою мы—два народа—такъ по рукамъ и по ногамъ другъ съ другомъ скованы, что никакъ невозможно намъ ни распутаться, ни развестись, а надо какимъ бы то ни было наиболѣе безобиднымъ образомъ ужиться. Между тѣмъ, условія того времени (конца царствованія Николая I) были весьма тяжелыя и совсѣмъ не располагающія къ какимъ бы то ни было откровенностямъ. Что касается до меня лично, то я происходилъ отъ такъ называемаго смѣшаннаго въ вѣроисповѣдномъ отношеніи брака, заключеннаго еще до воспослѣдованія указа 23 ноября 1832 г., которымъ установлено, что всѣ дѣти отъ такого брака должны быть православныя. Указъ этотъ сильно повліялъ на уменьшеніе смѣшанныхъ браковъ въ Россіи вообще. Братъ въ нашей семьѣ были православные, сестры—римскія католички. Мы съ дѣтства воспитывались въ духѣ полной религіозной терпимости и относились къ вѣроисповѣднымъ различіямъ, какъ къ обстоятельствамъ несущественнымъ. Въ религіи мы цѣнили, главнымъ образомъ только ея мораль. Мой отецъ—православный, но онъ воспитывался въ виленскомъ университетѣ, и вслѣдствіе того семья наша была по духу польская. Я учился въ минской гимназіи, въ которой все преподаваніе было уже на одномъ русскомъ языкѣ, такъ что какъ я, такъ и мои товарищи-земляки, по поступленіи въ университетъ и послѣ избранія себѣ какой либо спеціаль-

ности, старались усиленнымъ чтеніемъ книгъ дополнять свое недостаточное національное образованіе, усердно изучали польскую исторію и литературу, а въ особенности современныхъ польскихъ поэтовъ, величайшихъ, какихъ жизнь народа когда-либо произвела. Всѣ почти эти гениальные поэты были выходцы; они проповѣдывали и возвѣщали воскресеніе Польши и національное, и государственное (одно отъ другого не отдѣлялось), но разнились одни отъ другихъ наиболѣе только относительно срока этого событія въ будущемъ. Одни ожидали его въ скоромъ времени при содѣйствіи какого-нибудь европейскаго катаклизма, въ родѣ того, отъ котораго взволновалась вся Европа въ 1848 году; другіе, болѣе дальновидные, откладывали его на полвѣка или на вѣкъ, а наконецъ, нѣкоторые отодвигали его въ даль временъ совсѣмъ неопредѣленную, на какую-нибудь тысячу лѣтъ. Последняго убѣжденія держался поэтъ, имѣвшій самое рѣшительное вліяніе на образъ мыслей того студенческаго поколѣнія, къ которому я принадлежалъ съ 1845 по 1849 годъ, а именно Сигизмундъ Красинскій. Изъ крупныхъ современныхъ происшествій насъ глубочайшимъ образомъ потрясло событіе, совершившееся въ 1846 г. въ части австрійской Галиціи, когда Австріею правилъ Меттернихъ,—избіеніе крестьянами польскихъ помѣщиковъ. Выслаемые польскою эмиграціею въ Парижѣ заговорщики-эmissары пытались низвергнуть австрійское правительство въ Галиціи, поднявъ крестьянъ на пановъ и обѣщая крестьянамъ земельный надѣлъ. Правительство вмѣстѣ подавило движеніе, обратившись къ тѣмъ же крестьянамъ и давало за cadaго убитаго шляхтича поголовную плату. Это кровавое событіе повліяло, какъ извѣстно, на маркиза Вѣлѣпольскаго въ такой степени, что онъ на всю жизнь сдѣлался приверженцемъ Россіи и написалъ къ Меттерниху свое весьма извѣстное открытое письмо. Впечатлѣніе отъ рѣзни было скорбное, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма отрезвляющее и цѣлительное. Я могу судить о немъ по себѣ; оно вселило во мнѣ полнѣйшее отвращеніе ко всякой фальши,

къ необдуманному увлеченію, ко всякому поэтическому самообольщенію; оно вызвало потребность искать вездѣ только реального, искать одной правды, хотя бы горькой и причиняющей сильнѣйшую боль. Оно указало, что мы стоимъ на краю бездны, что мы обрываемся на крестьянскомъ вопросѣ, какъ на самомъ слабомъ мѣстѣ польской исторіи. Для насъ сдѣлалось безспорнымъ то, что паденіе польскаго государства, произошло только отъ его неустойчивости, отъ однѣхъ внутреннихъ причинъ. Намъ стала ясна безусловная необходимость разсѣченія прежде всего узла крестьянскаго вопроса. Мы стали горячими эманципаторами крестьянъ еще до всякаго сближенія съ русскими, еще до какой бы то ни было извѣстности о томъ, что существуетъ въ томъ же направленіи движеніе со стороны всего, что въ Россіи было самага интеллигентнаго и самага благороднаго. Хотя мы воспитывались въ русскомъ городѣ и въ русскомъ университетѣ, но были вполнѣ уединены и какъ бы стѣною отдѣлены онъ нашихъ русскихъ коллегъ. Насъ нисколько ни интересовали ходячія тогда идеи и утопіи Сень-Симона, Фурье, Леру. Какъ для сплава разныхъ металловъ, такъ и для сближенія между враждующими національностями требуется извѣстная повышенная температура, которой совсѣмъ недоставало до середины пятидесятихъ годовъ, до печальнаго исхода крымской войны и до начала новаго царствованія, сразу обозначившагося какъ періодъ глубоко заходящихъ реформъ. До этого поворота въ исторіи сближеніе русскихъ съ поляками, если имѣло гдѣ-нибудь мѣсто, то было только счастливою случайностью. Мнѣ досталась на долю одна такая случайность. Въ 1849 году, по полученіи степени кандидата правъ, я познакомился на родинѣ моей въ Минскѣ съ Н. К. Калайдовичемъ, москвичемъ, воспитанникомъ училища правовѣдѣнія, назначеннымъ временно предсѣдателемъ отъ правительства запущенной палаты гражданскаго суда. Отъ Калайдовича повѣяло на меня атмосферою общества Грановскаго и Герценовскаго кружка. Онъ мнѣ посовѣтовалъ опредѣлиться на службу по судеб-

ной части въ Петербургѣ и снабдилъ меня рекомендательными письмами. Къ К. Д. Кавелину привлекало меня то, что онъ былъ въ полномъ смыслѣ слова европеецъ; что въ немъ не было никакихъ національныхъ предразсудковъ, а взглядъ его на русское прошедшее былъ именно таковъ, что не приходилось спорить, — взглядъ какъ на листъ бумаги, на которомъ еще ничего не написано, кромѣ одного только слова: «государство». Оба мы проходили чрезъ Гегеля, оба мы приучились орудовать по трехчленному ритму гегелевской діалектики; но для К. Д. Кавелина гегелианство было уже «превзойденнымъ моментомъ». Гегелевскую идею онъ считалъ только призракомъ, метафизическимъ построениемъ, не существующимъ реально, — одною только проекціею живой человѣческой души. Оба мы высоко цѣнили Прудона и зачитывались имъ.

Между тѣмъ, близилось время, когда намъ пришлось дружно и сообща работать. Петербургскій университетъ въ личномъ составѣ преподавателей обновлялся. Новый попечитель, Гр. Щербатовъ, отправлялъ за границу многихъ магистрантовъ и докторантовъ, для подготовленія ихъ къ занятію университетскихъ кафедръ. По смерти профессора по кафедрѣ русскаго гражданскаго права, Жириева, кн. Щербатовъ предложилъ въ 1857 г. эту кафедру Кавелину, почти одновременно приглашенному для преподаванія права Цесаревичу, наслѣднику престола. Вскорѣ потомъ сдѣлалась вакантною на юридическомъ факультетѣ петербургскаго университета кафедра уголовного права, вслѣдствіе забаллотированія занимавшаго ее по выслугѣ лѣтъ профессора Я. И. Баршева. Меня предполагали командировать за границу для подготовки къ преподаванію, но по предложенію Кавелина, поддержанному деканомъ факультета П. Д. Калмыковымъ, мнѣ сдѣлано было предложеніе, чтобы я немедленно занялъ эту кафедру въ званіи адъюнкта. Я подчинился этому предложенію; какъ на младшаго члена въ факультетѣ, на меня возложены были обязанности секретаря. Но прежде чѣмъ приступить къ разсказу о томъ, какъ мы сообща трудились въ уни-

верситетѣ, я по необходимости долженъ коснуться одного эпизода, скрѣпившаго мои связи съ Кавелинымъ: я долженъ изложить, какимъ образомъ, при содѣйствіи Кавелина, основана была ежедневная газета на польскомъ языкѣ, подъ названіемъ «Słowo», которая вскорѣ и кончила свое эфемерное существованіе на своемъ 16-мъ номерѣ.

III.

И въ университетѣ, и даже послѣ выхода изъ него, мы, поляки, образовали родъ замкнутого кружка, въ которомъ подѣ флагомъ польской національности замѣтны были подраздѣленія, землячества. Особо держались такъ называемые литвины, не безъ извѣстной гордости вспоминающіе, что у нихъ, съ появленіемъ Мицкевича, открылся богатый родникъ ново-польской поэзіи. Особую группу составляли уроженцы нынѣшняго юго-западнаго края (Волини, Подоли, Украины), въ которыхъ сквозили, при всемъ ихъ полячествѣ, черты гайдамачества и коливщины, и шляхетскіе нравы мирились у нихъ страннымъ образомъ съ удалью казацкою. Наконецъ, наиболѣе отъ всѣхъ другихъ обособлялись такъ называемые короньяржи, то-есть уроженцы того дипломатическими ножницами искусственно выкроеннаго края, съ головкою и шейкою на среднемъ Нѣманѣ, съ западными частями по теченію Варты, притока Одера, и съ тѣловищемъ на Вислѣ. Обрусители семидесятыхъ годовъ тщетно пытались переименовать этотъ край трехъ разныхъ рѣчныхъ бассейновъ въ Привислинье или Привислянскій край. Мы, поляки, также не долюбывающіе дипломатію и вѣнскіе трактаты 1815 года, называли его «Короною», или всего чаще — «Конгрессовскою», то-есть, дѣтищемъ вѣнскаго конгресса 1815 года. — Замѣчательная пестрота состава, образуемаго этими характерными разновидностями польскаго элемента, исчезла и совсѣмъ стерлась нынѣ.

Событія 1863 года превратили всѣ эти разноцвѣтныя глыбы въ одинъ тертый песокъ. Въ такъ называемой Коронѣ, или царствѣ польскомъ, числилось, когда я былъ въ университетѣ, отъ 5 до 6 миллионовъ жителей, а нынѣ ихъ тамъ до 10 миллионовъ. Несмотря на примѣсъ еврейскую ($\frac{1}{7}$ часть населенія) и нѣмецкую (не даромъ владѣли этимъ краемъ на сѣверѣ — Пруссія, на югѣ — Австрія), страна эта этнографически — польская, по своей сплошной крестьянской польской подкладкѣ. До 1830 года, страна эта была конституціонная, какъ теперешняя русская Финляндія, и имѣла двѣ сеймовыя палаты; но съ 1831 года, послѣ мятежа, конституція была упразднена, изданъ органическій статутъ 14 февраля 1832 г., устанавливающій особый государственный совѣтъ и мѣстное своеобразное управленіе — общапія не осуществившіяся, послужившія отправною точкою въ политикѣ маркиза Вѣлепольскаго. Во все время царствованія Николая I, послѣ 1830 года, страну управлялъ намѣстникъ съ весьма обширными полномочіями, сносившійся съ центральными установленіями имперіи посредствомъ особаго статсъ-секретаря царства польскаго въ С.-Петербургѣ. Подъ предѣлательствомъ намѣстника состоялъ совѣтъ управленія (*Rada administracyjna*) изъ пяти директоровъ на правахъ министровъ. Все было яко бы польское по языку въ этой заповѣдной странѣ; исключительно польскій языкъ употребляемъ былъ и въ преподаваніи въ школахъ, и въ судахъ, и въ присутственныхъ мѣстахъ, наполненныхъ чиновниками, вышколенными на австрійскій и въ особенности на прусскій манеръ. Но подъ этимъ наружнымъ полонизмомъ на показъ все содержаніе законодательства, юриспруденціи и администраціи было не польское и не русское, а вполнѣ иностранное. Гражданскій кодексъ Наполеона, гражданское судопроизводство и торговое право — взяты цѣликомъ изъ Франціи въ 1808 году; они пришлись по вкусу странѣ, которая до сихъ поръ къ нимъ привержена, какъ къ своему собственному національному. Административные порядки были австрійскіе и прусскіе; два уголовныя судо-

производства дѣйствовали, одно на сѣверѣ — прусское, другое на югѣ — австрійское. Русское правительство произвело только двѣ крупныя перемѣны. Вмѣсто сеймоваго уголовного кодекса 1818 года, оно ввело Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ 1845 года, приспособленное къ особенностямъ Царства Польскаго 1847 года. Составителемъ какъ кодекса, 1845 года, такъ и его передѣлки 1847 г., былъ полякъ Ромуальдъ Губе, впоследствии членъ русскаго государственнаго совѣта. Второе существенное нововведеніе заключалось въ приостановкѣ обезземеленія крестьянъ, получившихъ личную свободу еще въ 1808 году, но безъ земельного надѣла. Воспрещено, по указу 26 мая 1846 года, помѣщикамъ присоединять крестьянскія земли къ фольварочнымъ. — Законодательство этого крошечнаго государства въ государствѣ, именуемаго царствомъ польскимъ, представляло собою, такимъ образомъ, нѣчто въ родѣ арлекинова наряда изъ сшитыхъ разноцвѣтныхъ лоскутковъ. Съ 1831 года и до крымской войны, край управляемъ былъ тѣмъ же полномочнымъ намѣстникомъ Паскевичемъ бюрократически, но на отличныхъ, чѣмъ въ остальной Россіи, условіяхъ, причемъ общія усилія какъ намѣстника, такъ и специфически особой въ царствѣ польской бюрократіи клонились къ тому, чтобы ничего не трогать, оставаться въ неподвижности и избѣгать вмѣшательства въ дѣла царства центральнаго правительства имперіи, — однимъ словомъ, всячески противодѣйствовать тому, чего добивается съ 1863 года національная русская политика, то-есть — государственному объединенію царства польскаго съ имперією. О запущенности и отсталости юридическаго быта этого не живущаго, а только прозябающаго общества свидѣлствуетъ хотя бы та особенность, которая возмущала меня тогда, какъ криминалиста, что въ уголовномъ судопроизводствѣ, основанномъ, какъ и въ Россіи, на канцеляризмѣ и розыскомъ началѣ, употреблялась въ примѣненіи къ простонародью своего рода пытка, въ видѣ сѣченія розгами, при слѣдствіи, за запирательство и лживыя пока-

занія, между тѣмъ какъ въ имперіи давно уже не было ничего подобнаго.

Пока господствовали заскорузлый консерватизмъ, неподвижность и безмолвіе, просуществовавшія до вступленія Александра II на престолъ, въ царствѣ польскомъ было по наружности все спокойно и тихо. Но съ 1856 года пошли новыя вѣянія по Россіи. Тогда стало вполне яснымъ, что какъ только разрѣшится въ Россіи крестьянскій вопросъ, и затѣмъ будетъ приступлено къ обновленію государственнаго устройства во всѣхъ его частяхъ, по всѣмъ его швамъ и складкамъ,—то выдвинется впередъ, во всей его сложности, замалчиваемый и забываемый, но отнюдь не рѣшенный польскій вопросъ, который станетъ бревномъ поперекъ дороги прогресса и будетъ помѣхою всѣмъ замышляемымъ преобразованіямъ внутри самой Россіи.— Мысль о томъ, что польскій вопросъ есть опасная туча на горизонтѣ Россіи, не покидала Кавелина. Я изумляюсь нынѣ въ большей степени, чѣмъ при жизни его, той необычайной проницательности, съ которою, предугадывая будущее, онъ пытался противодѣйствовать предусматриваемому злу. Кавелинъ зналъ, что послѣ освобожденія крестьянъ послѣдуетъ неизбежно задабриваніе помѣщиковъ, реакція въ духѣ дворянства, съ которою придется сильно бороться. Своимъ тонкимъ чутьемъ онъ предвидѣлъ, что въ польско-русскихъ отношеніяхъ кроется недоразумѣніе, происходитъ нѣчто недоброе; что польскій вопросъ, запущенный по природной русской лѣни въ теченіе всего Николаевского періода, поставленъ нелѣпо и можетъ довести до взрыва; что за взрывомъ послѣдуетъ кровопролитіе, за кровопролитіемъ ударъ въ набатъ русскаго патриотизма, то-есть—полное и исключительное господство слѣпой народной страсти, въ волнахъ которой могутъ потонуть зачатки преобразованій, малые еще ростки личныхъ и общественныхъ свободъ, щедро даруемыхъ и усердно насаждаемыхъ верховною властью, расположенною къ народу въ то время самымъ благодушнымъ образомъ. Какъ предупредить опасность? Какъ разогнать набѣгаю-

щія тучи?—Для достиженія этой цѣли Кавелину представлялось цѣлесообразнымъ пойти съ русской стороны навстрѣчу полякамъ, протянуть имъ руку, стараться о созданіи настоящей русской партіи среди польскаго общества, изолированнаго отъ Россіи и, такъ сказать, изъятаго изъ вѣдѣнія центрального русскаго правительства. Эта партія, по искреннимъ патріотическимъ польскимъ убѣжденіямъ, могла бы, при извѣстныхъ условіяхъ, держать сторону Россіи.—Такая русская партія въ Польшѣ существовала при Петрѣ Великомъ; она выработала свою самостоятельную организацію при Екатеринѣ II (домъ Чарторыскихъ и его политика). Она была столь сильна при Александрѣ I, что, опираясь на нее, русское правительство даровало конституцію образованному въ 1815 году Царству Польскому. — Возможность дружнаго житія и сближенія обусловливалась, съ точки зрѣнія Кавелина, тѣмъ, какими своими частями, направленіями и партіями будутъ сближаться обѣ національности. Сблизится ли польское панство съ русскимъ барствомъ? Изъ такого сближенія можетъ выйти тупѣйшая реакція. Сблизятся ли польскіе революціонеры съ русскими? Въ результатѣ получатся только разрушеніе и пожаръ. Но польская демократія можетъ и должна сблизиться съ русскою на условіяхъ гражданской равноправности и на либеральной почвѣ, подъ кровомъ русскаго государства.—Кавелинъ говорилъ, обращаясь къ намъ, полякамъ: «Вамъ нечего дорабатываться вновь до своего собственнаго государства, которое и физически невозможно, при запутанности отношеній съ этнографической стороны вопроса. Намъ съ вами невозможно размежеваться... Не лучше ли вамъ помириться съ нами искренно и безъ заднихъ мыслей, отречься отъ всякихъ повстаній, рѣшиться дѣйствовать лишь вполне легально и получить затѣмъ полный просторъ въ вашихъ языкѣ, вѣрѣ и культурѣ».

Таковы были внушенныя Кавелинымъ программа и идея новаго польскаго органа, основаннаго въ С.-Петербурѣ. При содѣйствіи Кавелина, близкій пріятель его,

І. П. Огриско, получилъ разрѣшеніе на ежедневную газету на польскомъ языкѣ — Слово — съ мѣсячнымъ къ нему прибавленіемъ, значить — право издавать въ одно время и газету, и журналъ, въ направленіи, которое по теперешнему времени и его терминологіи можно бы назвать примирительнымъ. Условія времени были подходящія и благопріятныя для журнала; Огриско былъ человѣкъ безъ средствъ, но деньги на изданіе безъ затрудненія нашлись. Оно приобрѣло также значительную поддержку въ литераторахъ польскихъ и въ Россіи, и за границу, въ земляхъ такъ называемыхъ закордонныхъ, то есть — въ Познани и Галиціи, и даже во Франціи, среди польскихъ выходцевъ, такъ что сразу оно получило достаточное число подписчиковъ.

Оказалось однако, что мы сильно ошиблись не на счетъ успѣха изданія, но на счетъ возможности его существованія — при обособленіи царства польскаго подъ безконтрольную власть намѣстника. Нашъ журналъ долженъ былъ дѣйствовать какъ струя свѣжаго воздуха, направленная въ затхлую среду, остававшуюся четверть вѣка въ неподвижности и застоѣ. Центральное правительство имперіи, занятое многочисленными вопросами внутренней политики и реформами, не вводило царства польскаго въ кругъ своего дѣйствія и полагалось всецѣло на намѣстника. Съ другой стороны и намѣстникъ, князь М. Д. Горчаковъ, и весь чиновный міръ царства польскаго стояли рѣшительно за *statu quo*, за полную нерушимость существующаго, тѣмъ болѣе, что при новомъ царствованіи образъ дѣйствія власти былъ болѣе мягкій, не было той грозы, которая сопровождала прежній режимъ, сдѣланы послабленія и, такъ сказать, поотпущены поводья. Для властей царства польскаго была крайне неудобна газета, издаваемая въ С.-Петербургѣ и толкующая о томъ, что происходитъ въ царствѣ польскомъ. По представленію намѣстника, газета „Слово“ была закрыта въ половинѣ января 1859 года, а редакторъ ея заключенъ въ Петропавловскую крѣпость. Настоящіе мотивы, выз-

вавшие закрытіе,—неизвѣстны. Повидимому, „Слово“ пострадало за то, что приняло участіе въ возникшей между варшавскими газетами и обострившейся полемикѣ по еврейскому вопросу... Редактору Огризко поставлено оффициально въ вину, что онъ помѣстилъ въ № 15 газеты письмо выходца, 73-лѣтняго старика Лелевеля, доживавшаго послѣдніе годы жизни въ Брюсселѣ. Это письмо было напечатано уже въ то время, когда по милости монаршей, польскимъ выходцамъ 1830 года разрѣшаемо было возвращаться на родину. Іоакимъ Лелевель былъ знаменитый историкъ; въ своемъ письмѣ онъ оцѣнивалъ научный трудъ другого историка, Гельцеля, о Казиміровскихъ Статутахъ XIV вѣка, и заканчивалъ это письмо одобрительнымъ привѣтомъ „Слову“ въ родѣ: „помогі Богъ“.—Послѣ заключенія Огризко въ крѣпость, я и еще два члена редакціи газеты, мы подали сообща 2 марта 1859 года, при содѣйствіи Кавелина, чрезъ Якова Ивановича Ростовцева, главнаго начальника военно-учебныхъ заведеній и главнаго тогда дѣятеля по крестьянскому вопросу, всеподданнѣйшее прошеніе, которое Кавелинъ одобрилъ и поправилъ. Оно содержало, между прочимъ, слѣдующія слова, которыя я привожу, какъ историческій документъ:

„Мѣры кротости и терпимости, которыми ознаменовано Ваше царствованіе, пріучили насъ вѣрить, что Всероссійскій Государь стоитъ превыше всѣхъ національностей; что для поляковъ онъ — настоящій польскій государь. Известно, что вслѣдствіе несчастныхъ событій 1831 г. правительство стало смотрѣть на польскую народность, какъ на враждебный элементъ. Съ другой стороны, польская нація, опасаясь за свое существованіе, тратила свои силы на бесплодный отпоръ, на борьбу съ проникающими въ нее русскими вліяніями, на несбыточные мечтанія о минувшей политической самобытности. Литература, обратившись къ изученію безвозвратно погибшаго прошедшаго, извлекала изъ исторіи ѣдкія воспоминанія старинныхъ вѣковыхъ непріязней. Религія примѣшалась къ страстямъ

политическимъ. Фанатизмъ католическій обуялъ умы и училъ все чуждое ненавидѣть. Этотъ мрачный періодъ приходитъ къ окончанію. Восшествіе Вашего Императорскаго Величества на престолъ возбудило тысячу симпатій, надеждъ, ожиданій. Въ польскомъ обществѣ, переставшемъ опасаться за свой бытъ, возникли новыя требованія. Изъ Познани, Галиціи, доходили до насъ скорбные голоса польской народности, подавляемой заглушающимъ ее нѣмецкимъ элементомъ. Лучшіе передовые люди между поляками убѣдились, что пора имъ отказаться отъ мечтаній, и что имъ слѣдуетъ подъ сѣнью русской державы, не переставая быть поляками, искать спасенія и защиты, искренно и чистосердечно становясь на сторонѣ правительства во всѣхъ его мѣропріятіяхъ.

„Раздѣляя вполнѣ это новое направленіе, которое доказать и разъяснить мы можемъ фактами, и желая ему содѣйствовать всѣми средствами, мы исходатайствовали у правительства право на изданіе журнала „Слово“. Мы не просили никакой официальной поддержки, которая могла бы лишь повредить намъ, давая возможность партіямъ противныхъ съ нами убѣжденій заподозрить наше безкорыстіе. Мы хотѣли вымолвить слово любви и примиренія и способствовать сближенію двухъ величайшихъ славянскихъ народностей, знакомя поляковъ съ Россіею, съ ея учрежденіями и силами, съ произведеніями русскаго ума. Въ религіи мы хотѣли защищать полную вѣротерпимость и чистыя христіанскія идеи безъ всякаго фанатизма. Въ наукѣ мы хотѣли способствовать распространенію тѣхъ отраслей познаній, которыя имѣютъ прямую связь съ практическою жизнью, съ матеріальнымъ благосостояніемъ областей, въ которыхъ существуютъ поляки, — познаній юридическихъ и экономическихъ. Многочисленные корреспонденціи со всѣхъ частей западнаго края давали намъ возможность слѣдить за ходомъ всѣхъ мѣстныхъ вопросовъ. Положа руку на сердце, мы можемъ откровенно сказать, что во всемъ томъ, что въ журналѣ нашемъ напечатано, и въ матеріалахъ, накопленныхъ нами, но еще

не изданныхъ, нѣтъ ни единой мысли, противной по духу правительству и его планамъ.

„Намъ были извѣстны всѣ трудности нашей задачи. Намъ предстояла борьба съ невѣжествомъ и суевѣріемъ, очень понятными при малочисленности въ нашемъ краѣ ученыхъ обществъ и учебныхъ заведеній, съ сословными предразсудками польскаго общества, съ фанатизмомъ и нетерпимостью, со всѣми, однимъ словомъ, отжившими партіями, которыя мѣшаютъ намъ войти въ себя и, отрѣшившись отъ прошедшаго, помириться съ настоящимъ. Въ настоящее время, за исключеніемъ Варшавы, составляющей средоточіе литературной дѣятельности царства польскаго, нѣтъ ни одного польскаго журнала для западнаго и юго-западнаго края. Ваше Величество! во имя польской народности дерзаемъ умолять: не допустите нашему органу замолкнуть“.

Газета наша не была вновь разрѣшена къ изданію; но ея редакторъ былъ вскорѣ освобожденъ, и арестъ его не послужилъ препятствіемъ къ поступленію его на службу по министерству финансовъ.

Заканчивая этотъ краткій въ жизни и Кавелина и нашей эпизодъ, относящійся къ газетѣ „Слово“, я считаю себя вправѣ заключить, что уже въ пятидесятихъ годахъ были люди въ русскомъ обществѣ, понимавшіе польскій вопросъ, какъ мы его теперь понимаемъ. Кавелинъ заслуживаетъ, чтобы ему отведено было первое мѣсто въ ряду этихъ дѣятелей, какъ первому инициатору примиренія національностей подъ условіями уваженія — съ русской стороны — къ близкой ей, по крови, польской національности, но съ подчиненіемъ себя — со стороны польской національности — необходимымъ требованіямъ русской государственности. Ближайшее будущее покажетъ, насколько идея эта вѣрна и живуча. Проповѣдуя ее, Кавелинъ полагался на здравый смыслъ русскаго народа, въ который онъ вѣрилъ безусловно.

IV.

Перехожу къ моей общей съ Кавелинымъ университетской дѣятельности, которая для меня началась 5-го декабря 1857 г., когда я получилъ кафедру уголовного права, и оборвалась на университетской катастрофѣ, въ сентябрѣ 1861 г., когда мы профессора, въ числѣ пяти человѣкъ, получили по прошеніямъ отставки. — Мнѣ приходилось усиленно работать, сочиняя еженедѣльно столько, чтобы приготовленнаго достало на пять полуторачасовыхъ лекцій. Я не имѣлъ никакихъ способностей къ импровизаторству, и все, что преподавалъ, долженъ былъ предварительно написать отъ начала до конца. Я чувствовалъ могучій приливъ силъ и увеличивающуюся отъ привычки легкость въ работѣ. Съ конца перваго семестра, я уже зналъ, что совладаю съ предметомъ. Почти единственнымъ мѣсимъ развлеченіемъ были вечерніе журъ-фиксы по воскресеньямъ у Кавелина. На этихъ собраніяхъ не было никогда ни игры въ карты, ни музыки. Десятка ква-три гостей изъ мѣстныхъ жителей или пріѣзжихъ изъ Москвы, изъ провинціи, или изъ-за границы, усаживались за длиннымъ чайнымъ столомъ, за которымъ предсѣдательствовала жена Кавелина, Антонина Ѳедоровна, урожденная Коршъ. Собравшіеся бесѣдовали о всевозможныхъ предметахъ наукъ, искусствъ, юриспруденціи, политики. — Кавелинъ не покидалъ Васильевскаго Острова. Никогда не видалъ я салона, который былъ бы живѣе, занимательнѣе и заманчивѣе и по предметамъ бесѣды, и по выдающимся качествамъ лицъ, принимавшихъ въ нихъ участіе. Общество было почти исключительно мужское. Тутъ бывали люди всевозможныхъ оттѣнковъ и мастей, которые впоследствии разошлись другъ съ другомъ по діаметрально противоположнымъ направленіямъ. Сюда заглядывали военные и статскіе, судьи и администраторы, профессора и артисты, пріѣзжіе изъ Москвы, напримѣръ—С. Соловьевъ Б. Чичеринъ, Бабстъ, Дмитріевъ и Побѣдоносцевъ; госу-

дарственные люди: Н. Милютинъ, Заблоцкій-Десятовскій, Стояновскій, братья Гроты, Константинъ и Яковъ, офицеры, напимѣръ Г. Г. Даниловичъ и М. Драгомировъ, писатели, напимѣръ И. С. Тургеневъ, журналисты — Валентинъ Коршъ, Чернышевскій, Вейнбергъ и дѣлавшій тогда первые шаги на общественномъ поприщѣ, многообѣщавшій Добролюбовъ, профессора: Борисъ Утинъ, Стасюлевичъ, Пыпинъ, Березинъ, Савичъ; всѣхъ бывавшихъ нѣтъ возможности перечестъ. Главнымъ руководителемъ бесѣдъ былъ самъ хозяинъ, всегда занятый самыми свѣжими, самыми новыми и насущными вопросами текущего дня. Мы изумлялись дѣятельности его по истинѣ поразительной. Онъ читалъ лекціи Наслѣднику Цесаревичу, готовился къ университетскимъ лекціямъ по предмету для него новому, потому что его специальностью была исторія древняго русскаго права, а не гражданскіе законы, слѣдилъ съ усиленнымъ вниманіемъ за всѣми фазами крестьянской реформы, содѣйствовалъ этой реформѣ своими статьями. Какъ профессоръ, я завидовалъ его умѣнью группировать вокругъ себя студентовъ, пріохочивать ихъ къ занятіямъ, давая имъ темы для работъ и обсуждая эти работы въ товарищескомъ студенческомъ кружкѣ. Приливъ свѣжихъ и молодыхъ силъ въ университетъ былъ великъ; громадное число любознательныхъ людей обоего пола и разныхъ возрастовъ наполняли открытыя настежь для публики аудиторіи. Прекрасный духъ, одушевлявшій и студентовъ, и эту жаждавшую знанія и учившуюся съ увлеченіемъ публику, вдохновлялъ и насъ, профессоровъ. Обновленіе не только университетскаго образованія, но и самой организациі университета, стояло на очереди. Начатое по почину попечителя князя Щербатова, оно зависѣло главнымъ образомъ отъ университетскаго совѣта. Мы его обдумывали сообща. Передъ нашими глазами открылась широкая перспектива порядка и занятій въ храмѣ наукъ на основаніяхъ возможно большей свободы и самонадѣянности какъ учащихся, такъ и учащихся, иными словами — на началахъ широкой университетской автономіи.

По старому уставу 1835 г. и по дополнявшимъ его министерскимъ и попечительскимъ циркулярамъ и инструкціямъ, учащіе были точно стѣною отдѣлены отъ учащихся. Профессора были собственно чиновники, читающіе лекціи и соприкасающіеся со студентами только на лекціяхъ и на экзаменахъ. Хозяйственную часть вѣдало правленіе, зависимое отъ попечителя; учебная часть завѣдывалась совѣтомъ. Функціи ректора сводились почти только къ предсѣдательствованію въ совѣтѣ. По части такъ называемаго благочинія студенты подчинены были инспектору, непосредственно зависящему отъ попечителя; его они мало уважали и къ нему они относились, какъ къ полицейскому чиновнику. Взысканія за проступки налагались попечителемъ. Въ верхнемъ этажѣ университета существовало общежитіе для казенно-коштныхъ студентовъ, но такихъ было немного. Огромное большинство жили свободно на частныхъ квартирахъ и собирались кружками, имѣли свое особое корпоративное устройство по типу нѣмецкихъ буршеншафтовъ, съ буршами и фуксами, съ коммершами и дуэлями. Подъ конецъ сороковыхъ годовъ корпорации русская и польская отрѣшились отъ нѣмецкихъ формъ и обособились. Такимъ образомъ, уже существовали у русскихъ студентовъ негласныя зачатки корпоративной организаціи. Князь Щербатовъ нѣсколько упорядочилъ и ограничилъ эту корпоративность. Студентамъ разрѣшено имѣть въ университетѣ свою кассу для выдачи пособій нуждающимся, свою библіотеку, издавать сборникъ, выбирать своихъ старшинъ и руководителей. По выходѣ въ отставку князя Щербатова, сплотившіеся студенты оставались безъ контроля. Въ ихъ корпоративномъ быту отражались всѣ явленія и движенія столичнаго интеллигентнаго общества, переживающаго процессъ броженія, обновленія и освобожденія отъ связывавшихъ его полицейскихъ правилъ и отжившихъ порядковъ. Весьма часто происходили столкновенія между публикою и полиціею, внѣ стѣнъ университета, при томъ или другомъ сборищѣ общественномъ. Полиціи легко было отмѣтить, въ каж-

домъ подобномъ случаѣ, присутствіе или соучастіе студенческаго элемента по синему воротнику обязательнаго для студентовъ форменнаго платья. Бывали и въ стѣнахъ университета столкновенія студентовъ съ малоуважаемыми инспекторомъ и педелями, которыя доносились до попечителя и беспокоили его. Весь 1860-й годъ ознаменованъ былъ цѣлымъ рядомъ такихъ крошечныхъ происшествій и столкновеній, которыя можно было бы легко предупредить и прекращать, еслибы слово и власть инспектора были авторитетнѣе. Обыкновенно возникавшія подобнаго рода дѣла кончались тѣмъ, что новый, послѣ кн. Щербатова, попечитель, Иванъ Давыдовичъ Деляновъ (впослѣдствіи графъ и министръ народнаго просвѣщенія), обращался къ тѣмъ или другимъ наиболѣе вліятельнымъ и популярнымъ профессорамъ, и при ихъ примиряющемъ содѣйствіи и вмѣшательствѣ достигалъ того, что дѣло тѣмъ или другимъ способомъ потушалось. Въ мартѣ 1861 г., вслѣдствіе письменнаго предложенія со стороны попечителя К. Д. Кавелину, образована была подъ его предѣтельствомъ коммиссія изъ четырехъ профессоровъ, въ которой я не участвовалъ, и которой предоставлено было устроить студенческую корпорацію и издать правила для студентовъ. Коммиссія пригласила восемь человѣкъ студентовъ, которыхъ мнѣнія она выслушивала при работкѣ правилъ, образующихъ нѣчто въ родѣ устава. Коммиссія руководствовалась въ своей работѣ основною идеею, что университетъ долженъ вмѣщать въ себѣ два организованные элементы: корпорацію учащихся, образующихъ совѣтъ и имѣющихъ во главѣ выборнаго ректора, хозяина и представителя университета, и корпорацію студентовъ, имѣющихъ свои сходки и своихъ выборныхъ старшинъ. Эти общинныя учрежденія должны были подчиняться контролю и власти избираемаго совѣтомъ проректора. Предполагалось отдѣлить административную власть проректора отъ судебной, предоставляемой суду изъ трехъ судей по выбору совѣта и налагающей взысканія за всѣ проступки студентовъ и нарушенія ими правилъ. Съ іюля

1860 г. я уже былъ экстраординарнымъ профессоромъ, и очень хорошо помню, что при обмѣнѣ мыслей въ совѣтѣхъ мы, профессора, вполне ясно понимали, что наша задача будетъ не легка; что намъ придется строго взыскивать за нарушенія правилъ, за всякія попытки политической агитаціи между студентами. Мы знали, что молодыхъ людей горячихъ, хотя бы они были и даровитые, придется исключать; но я до сихъ поръ убѣжденъ, — и это убѣжденіе раздѣлялъ со мною до своей смерти Кавелинъ, — что корпоративное устройство студентовъ въ ихъ маленькой ячейкѣ, давая пищу умамъ молодежи и содѣйствуя выработкѣ воли ихъ, служить лучшимъ предохранительнымъ средствомъ противъ заразы политиканства, свирѣпствующей вездѣ, гдѣ корпоративное устройство существуетъ на сторонѣ, внѣ стѣнъ университета и внѣ его контроля. Выработанный комиссіею проектъ правилъ для студентовъ былъ представленъ весною 1861 г. бывшему тогда министромъ народнаго просвѣщенія Е. П. Ковалевскому; но этому проекту не суждено было осуществиться, потому что онъ испыталъ на себѣ дѣйствіе первыхъ вѣяній реакціи, неизбежной по естественному ходу событій послѣ завершенія самаго великаго и самаго благотворнаго практическаго дѣла эпохи, то-есть — послѣ освобожденія крестьянъ. Настоящее, не призрачное, а реальное освобожденіе крестьянъ возможно было только съ предоставленіемъ крестьянамъ земельного надѣла. Такого рода освобожденіе достигаемо было почти вездѣ только при посредствѣ соціальной революціи. Въ Россіи, къ счастью ея, оно произведено законодательнымъ порядкомъ, путемъ реформы, не безъ извѣстной существенной частичной ломки въ области понятій «мое и твое», въ институтѣ частной собственности, который общѣе и глубже всякихъ установленій государственныхъ. Само правительство сознавало, что совершается нѣкоторое отступленіе отъ вышеупомянутаго института; оно озаботилось ограничить реформу предѣлами самой настоятельной необходимости и было расположено къ разнымъ уступкамъ крупному землевладѣнію, жало-

вавшемуся на потери, которыя оно понесло при освобожденіи крестьянъ. Уволены были главный дѣятель по крестьянской реформѣ Н. А. Милютинъ и нѣкоторые его сподвижники. Въ несовсѣмъ безопасномъ положеніи, вслѣдствіе ярыхъ нападокъ противниковъ реформы, очутились и тѣ установленія и общественныя силы, которыя оказали самыя существенныя услуги по части освобожденія крестьянъ, въ томъ числѣ и въ первомъ ряду печать, какъ проповѣдникъ реформы, и университеты, какъ разсадники ученій, расшатывавшихъ, будто бы, общественныя устои. Университеты не могли нравиться многимъ лицамъ, занимавшимъ самыя высокіе и вліятельные посты, и по усиленному къ нимъ притоку молодого, наиболѣе свободолюбиваго, по возрасту своему, поклѣнія, и по почти даровому въ немъ преподаванію, по доступности университета людямъ неимущимъ, бѣднякамъ, демократіи. При томъ замѣтимъ, что съ освобожденіемъ крестьянъ исчезла та сплоченность, та солидарность всѣхъ отгѣнковъ прогрессивныхъ людей, начиная съ почти-что бѣлыхъ до ярко-красныхъ, которая прежде заставляла ихъ дѣйствовать сообща и держаться вкупѣ. Тотчасъ послѣ освобожденія крестьянъ, бывшіе союзники стали расходиться въ разныя стороны и дѣйствовать порознь. Впрочемъ, на первыхъ порахъ послѣ освобожденія крестьянъ, преобладающій еще духъ либерализма былъ настолько силенъ, что вновь назначенное для упорядоченія университетовъ, въ маѣ мѣсяцѣ 1861 г., начальство — министръ народнаго просвѣщенія, адмиралъ Путятинъ, и новый попечитель с.-петербургскаго округа, генералъ Филиппсонъ. — рѣшили воспользоваться отчасти, составленными нами, т.-е. университетскою комиссіею, правилами для студентовъ, сдѣлавъ крупныя изъ этого проекта заимствованія. Они заимствовали цѣликомъ должность проректора и университетскій судъ, и въ опубликованныхъ правилахъ 21 мая 1861 года установили только два измѣненія университетскаго проекта, подсѣкавшія корпоративный бытъ студентовъ въ самомъ его корнѣ. Во-первыхъ, всѣ сходки

студентовъ запрещены, — значить, упразднены и выборы въ корпоративныя должности. Во-вторыхъ, сильно уменьшено число учащихся, вслѣдствіе недопущенія въ студенты, съ самыми ничтожными исключеніями (по два человека на каждую губернію округа), бѣдняковъ, не могущихъ внести платы за слушаніе лекцій. Кассу и библіотеку студентовъ положено вывести изъ стѣнъ университета съ тѣмъ, чтобы онѣ могли существовать гдѣ-нибудь на сторонѣ. Правила 11-го мая были опубликованы уже въ началѣ каникулъ, когда студенты разъѣзжались, такъ что ихъ послѣдствія могли обнаружиться только осенью, въ началѣ слѣдующаго учебнаго года. Начало предполагаемыхъ къ введенію переменъ въ университетѣ совпало для Кавелина съ самымъ горестнымъ семейнымъ событіемъ, которое его столь сильно потрясло, что онъ мгновенно состарѣлся, а именно, со смертью единственнаго его сына Дмитрія, 14-лѣтняго юноши, необычайно и выше лѣтъ развитого и даровитаго. Ни я, ни Кавелинъ, мы не были въ С.-Петербургѣ лѣтомъ. Мнѣ удалось тогда впервые побывать въ Варшавѣ, гдѣ я воочію и съ любопытствомъ наблюдалъ въ полномъ его ходу броженіе, которое года чрезъ полтора разрѣшилось мятежемъ 1863 года.

V.

Мы съѣхались въ Петербургъ въ августѣ 1861 г., а въ сентябрѣ произошла та маленькая «буря въ стаканѣ воды», которая кончилась опустѣніемъ университета, а потомъ и его формальнымъ закрытіемъ 20-го декабря 1861 года. Кавелинъ очертилъ это происшествіе въ «Запискѣ о безпорядкахъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ, осенью 1861 г.», имѣющейся въ томѣ 2 его сочиненій. Я велъ за это время дневникъ и изложилъ катастрофу въ моей статьѣ о петербургскомъ университетѣ, которую читалъ Кавелину до ея напечатанія (IV томъ моихъ сочи-

неній, стр. 1—66). Происходившее похоже на маленькую драму въ трехъ дѣйствующихъ лицахъ: студенты, профессора и университетское начальство. Начальство постановило завести матрикулы, книжки съ отмітками о каждомъ студентѣ, о взносахъ имъ платы за лекціи, о взысканіяхъ, объ экзаменахъ; книжка замѣняла собою паспортъ и содержала въ себѣ правила для студентовъ. Получая матрикулу, студентъ долженъ былъ подписать обязательство о соблюденіи правилъ; онъ заключалъ такимъ образомъ съ начальствомъ нѣчто въ родѣ договора. Весь вопросъ на практикѣ сводился къ тому, какъ заставить студентовъ брать эти книжки. Предвидѣлось, однако, что ихъ не можетъ не взять извѣстное количество студентовъ, достаточное для установленія факта, что аудиторіи посѣщаются. Разъ книжки взяты, можно заставить взявшихъ исполнять правила. Начальство надѣялось, что раздачѣ матрикулъ можно заставить содѣйствовать профессоровъ. Совѣтъ университета, въ засѣданіи 6-го сентября, возражалъ противъ проектированныхъ только, но не объявленныхъ еще утвержденными правилъ, и рѣшилъ, что онъ не приступитъ къ выбору проректора, за неимѣніемъ желающихъ баллотироваться кандидатовъ. Попечитель остался при одномъ инспекторѣ студентовъ, какъ органъ полицейской власти. Матрикулы печатались; открытіе лекцій послѣдовало 17-го сентября, безъ принятія какихъ бы то ни было мѣръ для недопущенія сходокъ. Сходки начались, отбывались ежедневно. Когда приказано было запирать пустыя аудиторіи, студенты большою толпою открыли силою большой актовъ залъ. Мы, профессора, узнали о случившемся только на слѣдующій день, 24-го сентября, при пріемѣ у г. министра, возвѣстившаго намъ о временномъ закрытіи университета. На слѣдующій день, массы студентовъ, не допущенныхъ въ университетъ, отправились на домъ къ попечителю Филипсону, въ Колокольную улицу. Туда поспѣла и вооруженная сила. Столкновеніе предупреждено только появленіемъ попечителя, отправившагося со студентами въ университетъ

и распустившего ихъ до слѣдующаго дня. Вечеромъ, въ тотъ же день, открыто Измаиломъ Ивановичемъ Срезневскимъ, заступавшимъ ректора, засѣданіе совѣта въ присутствіи попечителя, который тутъ же предложилъ, чтобы матрикулы были раздаваемы, совмѣстно съ полученіемъ подписокъ отъ студентовъ, деканами въ полномъ собраніи членовъ факультетовъ. К. Д. Кавелинъ былъ первый, объявившій о невозможности подчиниться этой мѣрѣ. Только три члена совѣта поддерживали предложеніе попечителя. При голосованіи большинство, перевѣсившее, однако, однимъ только голосомъ (15 противъ 14), высказалось за непринятіе профессорами участія въ раздачѣ матрикулъ. Министръ потребовалъ отъ членовъ совѣта письменнаго изложенія мотивовъ ихъ отказовъ; но подъ вліяніемъ общественнаго мнѣнія столицы на сторону протестовавшихъ перешло уже много членовъ совѣта, изъ тѣхъ, которые 25-го сентября голосовали согласно предложенію попечителя. Съ тѣхъ поръ опредѣлилось окончательно, что профессора будутъ держать себя пассивно по отношенію къ конфликту. Почти каждый день по утрамъ у дверей университета и на улицѣ разыгрывались забавныя сцены въ виду интересовавшейся вопросомъ петербургской публики. Въ засѣданіи совѣта, 8-го октября, подъ предсѣдательствомъ пріѣхавшаго въ С.-Петербургъ ректора П. А. Плестнева, весь совѣтъ высказался единогласно за отмѣну матрикулъ и изъявилъ готовность попытаться успокоить студентовъ, если ему будетъ предоставлено распоряжаться по своему усмотрѣнію и своими средствами. Попечитель объявилъ, что это невозможно, что выдача матрикулъ послѣдуетъ. Онъ намъ сказалъ: — «вы ставите вопросъ, — либо университетъ, либо Россія?» Мы возражали, что постановка вопроса неправильна, а слѣдуетъ ей быть: либо университетъ безъ матрикулъ, либо матрикулы безъ университета. Событія оправдали наши опасенія. Раздача матрикулъ послѣдовала, лекціи возобновились, но при такихъ безпорядкахъ, которые повели къ арестованію студентовъ массами. Часть ихъ была

заключена въ Петропавловскую крѣпость, часть отправлена въ Кронштадтъ. На площади передъ университетомъ валялись сотни разорванныхъ книжекъ съ матрикулами. Аудиторіи оставались пустыми по отсутствію слушателей. Въ теченіе двухъ недѣль, съ 25-го сентября по 12-е октября, профессорскій кружокъ, числомъ отъ 12 до 15 человекъ, къ которому въ рѣшительные моменты присоединялись и всѣ остальные профессора, собирался почти ежедневно для совѣщаній на частныхъ квартирахъ, то у одного, то у другого изъ профессоровъ. Кавелинъ, безъ всякаго избранія и предварительнаго соглашенія, былъ нашимъ руководителемъ, а въ пререканіяхъ съ начальствомъ—такъ сказать застрѣльщикомъ. Онъ рѣшалъ своимъ вѣскимъ голосомъ наши сомнѣнія и колебанія. Ему мы обязаны тѣмъ, что мы такъ послѣдовательно и до конца изображали собою въ нѣкоторомъ родѣ Кассандру, предсказывающую паденіе Іліона, не сходя вмѣстѣ съ тѣмъ съ пути самой строгой законности и устраниаясь отъ солидарности съ сталкивающимися двумя силами: съ начальствомъ, дѣйствующимъ опираясь на солдатъ, и со студенчествомъ, въ первомъ ряду котораго особенно выдѣлялся своею бойкостью Николай Андріановичъ Неклюдовъ, талантливый впослѣдствіи государственный дѣятель, кончившій свою жизнь на посту товарища министра внутреннихъ дѣлъ. Мы совсѣмъ не искали популярности и отлично понимали, что еслибы наши услуги были приняты, и намъ бы была предоставлена власть въ университетѣ, то, укрощая расхोдившихся студентовъ, мы не остановились бы передъ самыми энергическими мѣрами для установленія того нормальнаго университетскаго порядка, какой былъ у насъ на умѣ. Когда университетъ опустѣлъ, не бывъ даже официально закрытъ, то Кавелинъ первый рѣшилъ, что оставаться дольше въ этомъ университетѣ онъ не можетъ, но не вмѣнялъ никому изъ насъ въ обязанность послѣдовать его примѣру. На эту рѣшимость Кавелина, которой онъ никому не навязывалъ, откликнулись только четыре профессора: М. М. Стасюлевичъ, А. Н. Пы-

пинъ, Б. И. Утинъ и я. Во избѣжаніе всякаго вида стачки или коллективной демонстраціи мы рѣшили, что наши прошенія будутъ поданы не одновременно и нѣсколько позже прошенія Кавелина. Они послѣдовали одно за другимъ, въ теченіе ноября 1861 г.; я просилъ о переводѣ меня на службу въ училище правовѣдѣнія, гдѣ состоялъ уже преподавателемъ. Для нѣкоторыхъ изъ насъ шагъ этотъ былъ серьезенъ, такъ какъ отъ него зависѣли средства существованія. Къ числу ихъ принадлежалъ Кавелинъ, у котораго, какъ человѣка семейнаго, при самой скромной жизни, въ его хозяйствѣ концы едва сходились съ концами. Въ общественномъ мнѣніи столицы, въ прессѣ, въ интеллигентныхъ слояхъ общества, настроенныхъ весьма либерально, мы были популярны. Студенты считались чуть ли не героями дня и, вкусивъ отъ плода политики, значительно испортились. Съ тѣхъ поръ и начались хожденія въ народъ, участіе незрѣлыхъ еще юношей въ анархическихъ затѣяхъ. Министерство графа Путятина просуществовало до новаго 1862 г. Арестованные студенты были выпущены, кромѣ немногихъ, подвергшихся административной высылкѣ. Освобожденныхъ взялъ подъ свое особое покровительство новый генералъ-губернаторъ, князь Суворовъ. Въ городской думѣ устроены были публичныя лекціи, читаемыя профессорами; нѣкоторые студенты были распорядителями. Министромъ народнаго просвѣщенія сдѣланъ А. В. Головинъ, а товарищемъ его—бывшій попечитель И. Д. Деляновъ. Головнину поручено выработать новый университетскій уставъ, изданіемъ котораго обусловлено открытіе вновь с.-петербургскаго университета. Новый министръ былъ человѣкъ либеральный, сочувствующій нашимъ идеямъ. Значительное число бывшихъ профессоровъ, въ томъ числѣ и меня, онъ привлекъ къ работамъ по составленію новаго устава 1864 г. Уставъ этотъ былъ основанъ на нашихъ идеяхъ; но А. В. Головинъ не скрывалъ отъ насъ, что въ высшихъ сферахъ мы считаемся подстрекателями и руководителями студенческаго движенія. Когда высказано было предположеніе о

назначеніи нѣкоторыхъ изъ насъ въ готовящійся тогда къ открытію новороссійскій университетъ въ Одессѣ, онъ далъ намъ понять, что онъ этого сдѣлать не можетъ. Онъ предложилъ М. М. Стасюлевичу должность члена въ ученомъ комитетѣ народнаго просвѣщенія, а К. Д. Кавелину — поѣздку за границу для изученія иностранныхъ университетовъ и собранія матеріаловъ для новаго русскаго университетскаго устава. Это предложеніе принято было Кавелинымъ тотчасъ же и безъ колебаній. Въ данную минуту оно его устраивало, какъ человѣка уставшаго, нравственно измученнаго и больного. Отъ удара, причиненнаго ему смертью сына, онъ никогда уже не оправился. Борьба за университетъ тѣмъ болѣе его утомила, что онъ ничего отраднаго не видѣлъ впереди, и что онъ совсѣмъ не сочувствовалъ большинству тогдашнихъ передовыхъ людей, по части появившихся тогда малыми ростками конституціонныхъ идей, которыя онъ считалъ обманчивыми и фальшивыми, что и причинило вскорѣ потомъ, въ 1862 году, разрывъ его съ А. И. Герценомъ. Въ изданныхъ въ 1892 г. Драгомановымъ письмахъ Кавелина къ Герцену есть поразительно откровенное объясненіе самого Кавелина по части поѣздки его, по порученію Головнина, за границу. «Я и до сихъ поръ путемъ не знаю, что значить моя посылка за границу. Головнинъ говоритъ, что, видя мое неловкое положеніе между правительствомъ, которое смотритъ на меня подозрительно, и между студентами, которые считаютъ меня консерваторомъ, онъ, Головнинъ, желаетъ сберечь меня для будущаго; а другіе люди, понимающіе дѣло, говорятъ, что Головнинъ меня благовидно спустилъ и отъ меня отдѣлался. Что до меня лично касается, то я совершенно равнодушенъ къ обѣимъ версіямъ. Принять какой-нибудь дѣятельный постъ, теперь ли, послѣ ли, я не могу и не хочу. Въ университетѣ я невозможенъ, потому что былъ бы поставленъ между двумя огнями: студентами и шатающимся направо и налево начальствомъ, которое какою-нибудь глупостью вмигъ разрушить, что ты строилъ долго и съ трудомъ» (т. 2 с. 81).

Свою служебную карьеру считалъ Кавелинъ конченною. Если ему представлялась возможность служить, то по какой-нибудь опредѣленной специальности и по вольному найму. Такъ и пришлось ему работать въ послѣднія его двадцать лѣтъ по министерству финансовъ, по предложенію К. К. Грота. Истиннымъ для него счастьемъ и занятіемъ по душѣ было преподаваніе гражданскаго права офицерамъ, воспитанникамъ военно-юридической академіи въ С.-Петербургѣ, съ осени 1878 г. по его смерть, въ 1885 г.

Получивъ порученіе отъ Головнина, Кавелинъ собрался очень быстро въ путь и устроился работать въ Парижѣ въ началѣ апрѣля 1862 г., т.-е. въ то самое время, когда въ Петербургѣ осуществлялась грандіозная по замыслу попытка разрѣшенія польскаго вопроса посредствомъ назначенія намѣстникомъ вел. кн. Константина Николаевича и начальникомъ гражданскаго управленія маркиза Вѣлѣпольскаго. Хотя Кавелинъ не былъ, что называется, въ милости при дворѣ, но имѣлъ здѣсь свои связи при посредствѣ вел. кн. Елены Павловны, баронессы Раденъ и княгини Антонины Блудовой. Кавелинъ былъ несомнѣнно однимъ изъ тѣхъ, которые содѣйствовали симпатическому отношенію, какой былъ оказанъ со стороны русскаго общества Вѣлѣпольскому. Съ момента отъѣзда Кавелина, въ 1862 г. изъ С.-Петербурга, до возвращенія его въ Петербургъ, я не видался съ нимъ, но былъ съ нимъ въ очень оживленной перепискѣ. Постараюсь изложить, что происходило изъ жизни Кавелина въ этотъ періодъ времени до изданія проектов плановъ маркиза и до самаго мятежа 1863 г., когда яркимъ пламенемъ вспыхнули враждебныя патріотическія чувства обѣихъ національностей, возбужденія которыхъ мы оба въ прежнее время всего больше опасались.

VI.

Первое посѣщеніе Кавелинымъ западной Европы относится къ 1857 г., когда онъ ѣздилъ на короткое время въ Остенде представляться императрицѣ, какъ будущій наставникъ наслѣдника престола. Во второй разъ онъ отправился за границу уже послѣ увольненія отъ этого преподаванія, въ концѣ мая 1859 г. Ъхали мы вмѣстѣ съ К. Д. Кавелинымъ на пароходѣ изъ Петербурга въ Роттердамъ. На томъ же пароходѣ ѣхалъ больной глазами и направляющійся въ глазную клинику Грегге М. Н. Катковъ. Кавелинъ не скрывалъ отъ меня своего намѣренія побывать у друга юности своей, Герцена, въ Лондонѣ. Онъ, затѣмъ, по моемъ возвращеніи въ Петербургъ, передавалъ мнѣ свои радостныя впечатлѣнія отъ личнаго свиданія съ человѣкомъ, котораго онъ наиболѣе въ жизни любилъ, и съ которымъ не видался уже 12 лѣтъ. Въ 1862 г. Кавелинъ уѣхалъ на чужбину уже на продолжительное, неопредѣленное время, уже побывавши въ боевомъ огнѣ жизни, уставшій и во многое извѣрившійся, но съ твердо установившимися убѣжденіями и взглядами на жизнь, о которыхъ онъ зналъ, что они не популярны, и что ихъ раздѣляютъ немногіе изъ интеллигентнѣйшихъ земляковъ его и современниковъ. Не дѣлая никакихъ уступокъ революціонерамъ, онъ былъ рѣшителенъ и твердъ по одному главному вопросу, а именно по крестьянскому, который онъ считалъ рѣшеннымъ, какъ слѣдуетъ, по единственно правильному приему и пути—сверху внизъ. Много разъ повторялъ онъ, примѣнительно къ себѣ, Симеоновы слова: «нынѣ отпускаеши», съ прибавкою, что онъ считаетъ, что главная задача современнаго ему русскаго поколѣнія разрѣшена! Онъ стоялъ за общинное великороссійское крестьянское землевладѣніе, какъ за залогъ успѣшнаго дѣйствія крестьянской реформы въ будущемъ. Изъ крестьянской вытекали для него и всѣ другія реформы, образующія совокупно одну и ту же нить развертываю-

щагося клубка. Во всѣхъ реформахъ былъ онъ послѣдовательнымъ радикаломъ, чуждающимся всякихъ заплатъ и частичныхъ компромиссовъ. Несмотря на свое глубокое отвращеніе къ бюрократіи вообще, въ государственномъ отношеніи былъ онъ самый послѣдовательный сторонникъ самодержавія, и тысячу разъ я слышалъ изъ устъ его тѣ самыя выраженія, которыя онъ употребилъ въ письмахъ къ Герцену: «игра въ конституцію пугаетъ меня, такъ что я ни объ чемъ другомъ думать не могу» (стр. 47). «Теперь въ эту минуту конституція невозможна—общая для всѣхъ классовъ народа, а одна дворянская — невысима» (59). «Я скоро буду всѣми силами стоять за существующій порядокъ, то-есть за всѣ реформы, но—противъ конституціи» (стр. 47). «Общественная форма, какова бы она ни была, не можетъ быть предметомъ культа, богомъ, которому приносятся человѣческія жертвы. Это тотъ же сапогъ и та же одежда, которыя по одной мѣркѣ для всѣхъ людей не пригодятся» (стр. 56). «Произвести переворотъ не такъ невозможно, какъ кажется. Я считаю не такимъ труднымъ подточить теперешнія основы общества къ Россіи, выжившія, выдохшіяся, и дать ей съ нихъ рухнуть цѣлою тяжестью. Только что будетъ за тѣмъ? То, что есть, не создастъ новаго по той простой причинѣ, что будь оно новымъ, старое не могло бы просуществовать двухъ дней. Итакъ, выплыветъ меньшинство—я еще не знаю какое, а потомъ все скристаллизуется по старому, на первый разъ по большинству наличныхъ элементовъ и понятій, и добавокъ со всею ненавистью къ новому» (стр. 56). «Я счелъ бы себя безчестнымъ человѣкомъ, еслибы совѣтовалъ барину, попу, мужику, офицеру, студенту—ускорять процессъ разложенія обветшалыхъ историческихъ общественныхъ формъ. Я вожусь всю жизнь въ пакости нашей общественной, вижу и знаю многое, и, вѣря, что изъ теперешней дичи выйдетъ дѣйствительно что-то новое и великое, убѣжденъ, что оно еще далеко впереди, а на первомъ планѣ стоитъ—пройти кризисъ какъ можно спокойнѣе, бережливѣе, съ

возможно меньшимъ пожертвованіемъ силъ, чтобы сохранить ихъ на будущее» (60).

Можно прослѣдить источники анти-оппозиціоннаго на-
правленія Кавелина въ 1862 г. Оно проистекало, во-пер-
выхъ, изъ его взгляда на общество по методу естествен-
ныхъ наукъ, какъ на нѣчто, не имѣющее ни цѣли, ни
задачи, какъ на необходимый продуктъ нѣкоторыхъ со-
четаній, вслѣдствіе чего нельзя вести насильственно пле-
мена и народы по той или другой дорогѣ. «Общество есть
организмъ, а противъ организма ничего не подѣлаешь си-
лой. Больного лѣчатъ, а не бьютъ, чтобы онъ выздоровѣлъ» (стр. 77, 78). Но, во вторыхъ, на этотъ же вы-
водъ указывало Кавелину и его знаніе русской исторіи,
знакомство съ формулою русскаго развитія, которая, по
его мнѣнію, основана не на постепенномъ оппозиціонномъ
ограничиваніи монархизма, какъ было на западѣ Европы
и въ Польшѣ, а совсѣмъ наоборотъ. «Не такъ мы сложи-
лись, росли, не такова вся наша исторія, чтобы мы могли
имѣть какое-нибудь поползновеніе смотрѣть на дѣло иначе.
Мы прошли еще въ младенчествѣ страшный переворотъ,
котораго смыслъ до сихъ поръ не совсѣмъ ясенъ — это
Петровский. Но едва мы стали открывать глаза, когда
созданное имъ насиліе — эшафодажъ его хитросплетеній
разваливается самъ собою, вымираетъ безъ всякой рево-
люціи. Чѣмъ спокойнѣе у насъ пойдутъ дѣла, тѣмъ ско-
рѣе онъ вывѣтрится. Я не скажу того же о полякахъ.
Порядокъ дѣлъ, существующій въ Польшѣ, не ими
созданъ, и я совершенно понимаю возмущающагося по-
ляка; но ближайшій ли путь для свободы Польши — сбро-
сить силою русское иго? Это — другой вопросъ. Я глубоко
убѣжденъ, что... имъ невыгодно теперь стряхнуть наше
иго. Еслибы русскому правительству пришла благая мысль
отказаться и самому отъ Польши, отъ всякаго клочка
земли, которую поляки и теперь считаютъ своею собствен-
ностью, то представилось бы удивительное зрѣлище: по-
ляковъ опять потянуло бы сильно къ намъ потому только,
что за польскимъ вопросомъ стоитъ несравненно болѣе

важный вопросъ — славянскій, въ которомъ безъ Россіи двинуться нельзя. Взаимнымъ треніемъ другъ объ друга мы лѣчимся отъ дикости и безсмыслія, отъ неславянскихъ соковъ и золотухи, которой нахлебались черезъ край. Сближеніе между поляками и русскими, несмотря ни на что, идетъ своимъ чередомъ, медленно, но не останавливаясь, и конечно сближеніе въ ненависти къ правительству не есть самая прочная, ни самая глубокая сторона этого многозначительнаго явленія. Она исчезнетъ съ перемѣнившимися обстоятельствами и оставитъ одни разочарованія. Прочно будетъ сближеніе, происходящее отъ взаимнаго перерожденія, отъ сознанія единства передъ глубокимъ кореннымъ различіемъ съ европейскимъ синтезомъ» (стр. 79).

VII.

Кавелинъ слѣдилъ съ живымъ интересомъ, въ богатомъ крупными событіями 1862 г., какъ послѣ пожара Апраксина двора въ Духовъ день сильнѣе выразилась реакція въ Россіи противъ движенія впередъ вообще; какъ начались въ Петербургѣ многочисленные аресты, и въ числѣ заарестованныхъ оказались многіе его знакомые, на примѣръ Чернышевскій; и какъ, съ другой стороны, потерпѣла полную неудачу въ Варшавѣ попытка Вѣлѣпольскаго разрѣшить миролюбиво польскій вопросъ. Въ теченіе всего этого 1862 г. до осени Кавелинъ старался знакомиться за границею съ разными выдающимися дѣятелями польской національности въ Парижѣ, чему доказательствомъ можетъ служить его весьма подробное письмо ко мнѣ, которое я приведу цѣликомъ безъ всякихъ сокращеній:

«Парижъ,—27-го апрѣля (9 мая), пятница, 1862 г.

«Вы не повѣрите, дорогой Владиміръ Даниловичъ, до какой степени вы меня обязываете вашими интереснѣйшими письмами; я ими упиваюсь и напояю здѣшнихъ

пріятелей. Я съ вами тысячу разъ согласенъ во всѣхъ вашихъ воззрѣніяхъ на положеніе. То, что вы пишете о паденіи крайнихъ мнѣній, меня крайне радуетъ. Если вы и мы (разумѣется не лично) имѣемъ какую-нибудь будущность, то, конечно подъ условіемъ, что здравый практическій смыслъ возьметъ, наконецъ, верхъ надъ крайностями, прекрасными и преполезными, какъ мысль,—но никуда негодными какъ дѣло. Не согласенъ я съ вами только въ двухъ пунктахъ: во-первыхъ, относительно отношеній нашихъ мнѣній къ Польшѣ, и, во-вторыхъ, относительно нашей ближайшей дѣятельности въ университетѣ. Насчетъ нашихъ партій, вы, мнѣ кажется, въ большомъ заблужденіи, что крайнія мнѣнія наши суть ваши вѣрнѣйшіе союзники. Это оптический обманъ, въ которомъ вы скоро сами разочаруетесь. Крайнимъ мнѣніямъ годенъ всякій горючій матеріалъ, и вотъ на чемъ основана мнимая связь. Они—эти крайнія мнѣнія—очень добросовѣстны, я въ этомъ нимало не сомнѣваюсь, но они сами не отдадутъ себѣ, можетъ быть, отчета въ томъ, что ихъ притягиваетъ къ полякамъ, безъ всякой задней мысли эксплуатировать поляковъ. Повѣрьте, самый вѣрный вашъ союзникъ — это здравый смыслъ моихъ земляковъ, который скоро додумается до правды въ польскомъ вопросѣ, а додумавшись, выскажетъ ее въ одинъ голосъ. Аксаковъ и его „День“ затрогиваютъ много живыхъ вопросовъ, высказываютъ много очень хорошихъ мыслей; но вы очень ошибаетесь, думая, что его голосъ—голосъ всей Россіи о польскомъ вопросѣ. Какъ вы можете себѣ представить, я думалъ здѣсь объ этомъ вопросѣ очень, очень много, достаточно говорилъ о немъ и пришелъ къ глубокому убѣжденію (а вы знаете, что мой носъ иногда чувствуетъ вѣрно), что время его мирнаго и справедливаго рѣшенія близится большими шагами.

„3-го (15) мая.—За разными хлопотами я не могъ кончить начатаго письма. Теперь его продолжаю. Примите ласково Николая Владиміровича Ханькова, который вамъ его доставитъ. Онъ—очень, очень хорошій человѣкъ.

„И такъ, я вамъ сказалъ, что рѣшеніе польскаго во-

проса, мирное и справедливое, близится большими шагами. Мнѣ это сдается, несмотря на многіе факты, которые вы можете привести противъ этого вѣрованія.

„Съ здѣшними поляками отношенія мои какъ-то расклеились. Не то чтобы мы повздорили, или сильно поспорили, а послѣ второго раза я замѣтилъ, что первое хорошее впечатлѣніе, которое я на нихъ произвелъ, какъ будто охладѣло. Долженъ вамъ сознаться, что въ моей душѣ не шевелится противъ нихъ за это ни тѣни непріятнаго чувства. Съ перваго же раза мы столкнулись на вопросѣ западныхъ губерній и отскочили другъ отъ друга. Вы знаете что я не фанатикъ нашего владычества въ Литвѣ; но, говоря съ поляками въ Парижѣ, я не считалъ себя вправѣ разыграть роль Хлестакова, наврать имъ чортову пропасть, увѣрять ихъ, что всѣ русскіе очень расположены считать этотъ край польскимъ. и потому осторожно искалъ той точки, около которой могли бы мы согласиться. Теперь представьте себѣ людей, которые всю свою жизнь бѣдствовали за свою родину, у которыхъ одно счастье, одинъ идеалъ, одна мечта и осталась—это родина. Мысль о насиліи и несправедливости, которыя четвертовали и исковеркали Польшу, окаменѣла въ нихъ. Теперешняго движенія идей у насъ, а можетъ быть и у васъ, они не знаютъ, или знаютъ въ томъ стертомъ обликѣ, въ которомъ доходитъ въ Европу все, что дѣлается въ славянскомъ мірѣ. Понятно, что ихъ національная щекотливость была затронута; они твердо стояли предо мною на историческомъ правѣ, и дальнѣйшій разговоръ самъ собою сталъ невозможенъ, не клеился; каждый затаилъ въ своей душѣ свою мысль. Они увидали во мнѣ русскаго и застѣгнулись на всѣ пуговицы. Самымъ прекраснымъ лицомъ изъ всѣхъ этихъ господъ показался мнѣ Галензовскій. Онъ мнѣ живо напомнилъ Огризко, и я почувствовалъ къ нему большое влеченіе. Клячко очень уменъ, но имѣетъ французскій шикъ. Хоецкій показался мнѣ человѣкомъ очень практическимъ, менѣе другихъ болящимъ болѣзнью родины. Молодой Мицкевичъ—чистый французъ, въ которомъ мало

что сохранилось польскаго. Видѣлъ Милевича и провелъ съ нимъ нѣсколько часовъ. Онъ обѣщалъ зайти, но исчезъ. Племянникъ Галензовскаго, медикъ изъ Петербургской академіи, бывалъ часто, но потомъ пересталъ ходить. Словомъ, отъ меня отшатнулись все, кромѣ Окольскаго ¹⁾, Юзефовича и еще одного (забылъ его фамилію, онъ химикъ), которые меня навѣщаютъ. Окольскій меня удивилъ своимъ примирительнымъ образомъ мыслей, котораго я не видалъ въ немъ въ Петербургѣ. Видѣлся и съ Вызинскимъ. Надобно вамъ сказать, что оба, и Окольскій и Вызинскій, вращаются больше въ аристократической партіи. По отзывамъ обоихъ, въ этой фракціи болѣе обнаруживается теперь наклонности сближенія съ Россіей и русскими. Въ первый разъ, что я встрѣтился съ Вызинскимъ, у Тургенева, онъ толковалъ мнѣ о нѣкоторыхъ комбинаціяхъ, по которымъ нѣкоторыя части западныхъ губерній должны быть польскими, другія — русскими. При второмъ свиданіи, у меня, онъ спохватился и взялъ назадъ, что говорилъ, сталъ на историческую почву и ставилъ вопросъ такъ: мы, поляки, никакой другой точки отправленія принять не можемъ, кромѣ границы Польши и Литвы до перваго раздѣла. Затѣмъ, принявъ это за основаніе, мы не будемъ насильно держать за собою тѣ области, которыя предпочтутъ быть съ вами, русскими. Въ тоже время этимъ опровергаются совершенно нелѣпыя розсказни, будто мы хотимъ Кіева и Смоленска. То, что мы уступили вамъ, какъ свободное государство, то мы признаемъ и теперь, какъ признали тогда. Эта точка зрѣнія, очевидно, гораздо правильнѣе, чѣмъ та, которую онъ высказывалъ въ первый разъ. Юридически поляки не могутъ выйти изъ предѣловъ Польши до раздѣла, и поддаваться на что-нибудь другое — значитъ абдикировать. Эти разсчеты границъ, политическія комбинаціи, когда Польша существуетъ какъ народъ, а не какъ политическое

¹⁾ Впослѣдствіи профессоръ варшавскаго университета, скончавшійся въ 1897 году.

тѣло, показываютъ вамъ, что движеніе вопроса совершается по гнилой дорогѣ. Не о границахъ идетъ и должна идти рѣчь,—эти счета такъ или иначе сведутся непременно. Господствующій вопросъ есть тотъ, чтобы поляки и русскіе поняли и признали себя взаимно какъ равноправные и братья, которыхъ исторія и ошибки отцовъ поессорили, но таже исторія и политическая мудрость потомковъ должны свести въ согласіе и гармонію. Теперь рано толковать о томъ, какъ размежеваться. Рѣчь должна идти пока о томъ, какъ прійти пока къ тому, чтобы можно было честно, безъ взаимнаго раздраженія, высказать другъ другу взаимные грѣхи и, облегчивъ душу отъ зла, вражды и недовѣрія, начать жить въ одной мысли, въ одномъ стремленіи. Остальное все уладится гораздо проще, чѣмъ мы думаемъ.

„Мнѣ кажется,—и это мнѣніе раздѣляютъ лучшіе изъ здѣшнихъ вашихъ земляковъ,— что на самомъ первомъ планѣ стоитъ теперь для васъ—основать за границей новый органъ, въ которомъ слышали бы новый голосъ, голосъ современной просвѣщенной польской партіи. Теперь многіе думаютъ о такомъ органѣ. Мысль, затѣянная Огризко и безумно задуманная въ самомъ началѣ Горчаковымъ и К^о, ищетъ исхода и выраженія. Это было бы крайне необходимо. Разговаривая очень часто о польскомъ вопросѣ со своими земляками, я всюду встрѣчаю удивительное незнаніе движеній и идей въ польскомъ обществѣ. Судятъ по старымъ понятіямъ, составленнымъ, Богъ знаетъ, когда; новаго не знаютъ, да сказать по правдѣ, и узнать-то неоткуда. Журналы наполняются старою, заплесневѣлою гнилью, рутинными нападками на Россію. Духинскій читаетъ лекціи, въ которыхъ доказываетъ, что мы даже не чухонцы, а китайцы! Русскіе мы потому, что Екатерина велѣла намъ такъ называться. Эти и подобныя имъ нелѣпости поддерживаютъ у насъ мракъ въ умахъ. Органъ, который бы прямо и смѣло поставилъ вопросы, которые теперь лежатъ на днѣ каждой мыслящей польской души, но которые не выражаются по какимъ-то страннымъ опа-

сеніямъ и отсталымъ комбинаціямъ, не имѣющимъ больше никакой цѣны, былъ бы для большинства русскихъ великимъ откровеніемъ, раскрылъ бы имъ глаза и подвинулъ бы страшно впередъ польскій вопросъ въ Россіи. Еслибы только напечатать то, что говаривалось между нами съ вами,—дѣйствіе было бы громадное. Дѣло взаимнаго пониманія останавливается теперь не за непобѣдимыми ненавистями, а за незнаніемъ и ребяческими предразсудками. Повторяю, дѣйствіе органа, о какомъ я мечтаю, было бы громадное. Неужели его не будетъ? Это было бы очень горестно. И для васъ, и для насъ это было бы несчастіемъ. Явись такой органъ, онъ бы живо сталъ нашимъ общимъ международнымъ органомъ.

,...Теперь о другомъ предметѣ. Вы вѣрите, милый другъ, что намъ придется и слѣдуетъ дѣйствовать на нашемъ, какъ вы его называете, маленькомъ театрикѣ, т.-е. въ университетѣ; а я эту вѣру потерялъ. Противъ событій, въ родѣ Костомаровской исторіи, какая человѣческая мудрость не спасуетъ? Его я не защищаю: онъ получилъ, что заслужилъ за свой странный образъ дѣйствій; но можете ли вы поручиться, что завтра съ вами не будетъ того же? Юноши расходились, какъ козочки, которыхъ выпустили погулять. Положимъ, обида отъ нихъ не Богъ знаетъ какъ оскорбительна; однако я ни одному порядочному человѣку не желаю ей подвергнуться, потому что ею не замедлятъ воспользоваться тѣ, кому она на-руку, и васъ такимъ образомъ выдадутъ врагамъ ни за мѣдный алтынь. Я согласенъ, впрочемъ, подвергнуться всему,—и клеветѣ, и обидѣ,—но только когда увѣренъ, что самое дѣло, университетъ и юноши, отъ того выиграютъ. Скажите теперь, увѣрены вы въ томъ, что если вы, я, всѣ мы вступимъ въ университетъ снова,—дѣло выиграетъ? Я, признаюсь вамъ, въ этомъ нисколько не увѣренъ. При такихъ гнилыхъ товарищахъ, какъ наши, которые прежде всего ищутъ популярности и не имѣютъ капли такту и политическаго смысла, что вы сдѣлаете? Чтобы имѣть право быть строгимъ, нужно дать университетской моло-

дежи большія права, широкія корпоративныя свободы. Что уполномочиваетъ васъ думать, что ихъ дадутъ, что правительство будетъ смотрѣть на это дѣло такъ же, какъ вы, что во всякой мелочи оно будетъ такъ же благоразумно, какъ бы вы желали? А если оно хоть разъ сфальшитъ, ваша строгость обратится въ палачество, и вы пропади разъ навсегда, смѣшались съ грязью. Нѣтъ Владиміръ Даниловичъ, время вовсе не такое, чтобы можно было ставить такъ храбро *va banque*. Ни вамъ я этого не совѣтую, ни самъ не желаю. Васъ, говорятъ, студенты ненавидятъ. Положимъ, одинъ комитетъ ненавидитъ; да этого одного достаточно, чтобы провалиться съ позоромъ, если одинъ изъ комитетскихъ вздумаетъ выразить ненависть оскорбленіемъ. Раскинувши дѣло умомъ и разумомъ, я рѣшился возвратиться въ университетъ только въ самомъ крайнемъ случаѣ. Во-первыхъ, прошу продолженія срока порученія до ноября или декабря; потомъ хлопочу, если только возможно, остаться за границей неопредѣленное время. Если мнѣ это не удастся, останусь за границей на свой рискъ и страхъ, то-есть на свои гроши, но не поспѣшу въ отечество. Разнюхивать гниль, которую чую отсюда—на это я слишкомъ старъ и разбитъ физически. Мнѣ нуженъ покой и возможность заниматься безъ помѣхи. Задумано множество разныхъ разностей, которыхъ хватить на два года труда и которыя дадутъ средства существовать. Словомъ, я рѣшился не возвращаться въ университетъ, по крайней мѣрѣ теперь, на первое время, пока положеніе не выяснится хоть сколько-нибудь.

„О своихъ настоящихъ работахъ не пишу вамъ, потому что вы можете прочесть о нихъ въ копіи моего донесенія министру, которую посылаю вмѣстѣ съ тѣмъ къ Даниловичу. Посылаю также министру первую половину очерка французскаго университета, съ просьбою напечатать въ Ж. М. Нар. Пр.

„Партія враждебная Головнину, рассказываетъ, что Костомаровская исторія его сильно подкосила, что онъ сдѣлался невозможенъ какъ министръ. Я вѣрю этимъ

разсказамъ въ половину; но во всякомъ случаѣ видно, что положеніе его—одно изъ самыхъ трудныхъ“...

Кавелинъ узналъ только въ іюлѣ 1862 г. о томъ, что, по предложенію избраннаго Вѣлѣпольскимъ въ директоры комиссіи народнаго просвѣщенія Казимира Адамовича Крживицкаго, я согласился поступить въ варшавскую главную школу, которая превратилась потомъ въ варшавскій университетъ, на кафедрѣ уголовного права. Онъ написалъ мнѣ изъ Парижа, 3 (15) августа, слѣдующія строки:

„Дорогой другъ мой В. Д.,—Пишу вамъ письмо на удачу, только для того, чтобы сказать вамъ, какъ вы мнѣ дороги и какъ тяжело, тяжело мнѣ думать, что судьба развела насъ въ разныя стороны надолго,—какъ знать, можетъ быть навсегда; во всякомъ случаѣ, едва ли намъ придется дѣйствовать снова вмѣстѣ. Вы поступили честно, перейдя въ Варшаву; но намъ отъ этого въ Петербургѣ нисколько не легче. Много мы горевали о васъ съ Утинымъ (Борисомъ) въ Карльсруэ.

„Не могу вырваться изъ Парижа, хотя работаю, какъ вы, можетъ быть, знаете, очень усердно. Составить очеркъ французскаго университета и здѣшняго учебнаго законодательства почти такъ же трудно, какъ написать главу изъ дѣйствующаго русскаго гражданскаго права. Законы, декреты, аретъ, циркуляры и проч. и проч. безпрестанно выходятъ, измѣняютъ, дополняютъ, исполнѣ или частью, дѣйствующіе уставы; есть законы очень важные, существующіе только на бумагѣ. Все это разобрать и привести въ порядокъ—каторга. Когда доѣду до конца — не знаю. Больно то, что мало, мало русскихъ понимаютъ суть дѣла и судятъ здѣшніе порядки крайне поверхностно, — безбродые и сѣдовласые одинаково ¹⁾.

¹⁾ Въ другомъ письмѣ, отъ 8 (20) апрѣля 1862 г., К. Д. писалъ, что устройство учебной части во Франціи интересно для насъ „именно какъ указаніе, чего намъ не слѣдуетъ дѣлать и что мы, къ несчастью, постоянно дѣлали“: „Централизція, контроль, программы, мундиры,—все это до поразительности сходно. Оказывается что и въ этомъ мы безбожно обезьянничали, и пло-

„Третьяго дня я былъ на актѣ въ батиньольской польской школѣ и съ горестью, чуть-чуть не со слезами, видѣлъ слишкомъ 300 дѣтей и юношей, воспитывающихся вдали отъ родины и въ кругѣ идей не-славянскихъ. Это большею частью потерянные силы. Боже, когда же это недоразумѣніе, принесшее и приносящее столько горя, столько несчастій, наконецъ кончится? Въ мысляхъ замѣтенъ большой переворотъ и между вашими, и между нашими. Когда онъ дойдетъ до степени глубокаго, спокойнаго убѣжденія, которое будетъ вѣрить въ себя, не прибѣгая къ насилію, не думая водвориться въ жизни и дѣйствительности сюрпризомъ и сразу,—тогда будетъ очень близко желанное будущее. Теперь пока все заволочено облаками, небо пасмурно. Будемъ надѣяться лучшаго и призывать его всѣми силами души, хотя бы ему суждено было осуществиться послѣ насъ, когда насъ уже не будетъ.

„...Я не думаю скоро возвращаться въ Россію на житье. Тяжело тамъ жить теперь, а принять службу у меня и въ мысляхъ нѣтъ. Буду здѣсь работать надъ разными трудами, задуманными давно. Времени и досуга—въ волю да и, стоя вдали, спокойнѣе. Броженіе, которое у насъ теперь совершается, на первый разъ очень бесплодно; живя посреди его, измучаешься безъ всякаго толку...”

VIII.

Въ тотъ моментъ, когда я получилъ приведенное мною письмо, я лично уже не питалъ въ себѣ никакихъ надеждъ и зналъ съ достовѣрностью, что участь польской народности на многіе годы рѣшена, и что мы стремглавъ летимъ въ глубокую пропасть. Мнѣ удалось провести въ Варшавѣ по одному мѣсяцу лѣтомъ 1861 г. и потомъ

ды. разумѣется,—тѣ же самые. Меня просто ужасаетъ сходство нашей и французской исторической формулы. Этими я объясняю себѣ сочувствіе наше Наполеоновскимъ учрежденіямъ и страшное вліяніе на насъ французской цивилизаціи. Не дай, всевышнія силы, чтобы окончательный выводъ былъ тоже французскій“.

лѣтомъ 1862 г. Я наблюдалъ революціонное движеніе и въ умахъ знакомыхъ людей, и на улицахъ, и тогда, когда оно назрѣло, развѣтвилось и стало въ чѣмъ-то вполнѣ организованнымъ—status in statu. При мнѣ стрѣляли въ генерала Лидерса въ Саксонскомъ саду. Я былъ зрителемъ въѣзда вел. князя Константина Николаевича въ Варшаву. Вечеромъ того же дня сдѣлано было покушеніе на жизнь его Ярошинскимъ въ театрѣ. Оно не вызвало въ польскомъ обществѣ, находившемся уже въ состояніи ненормальномъ, похожемъ на тифозное, никакого взрыва всеобщаго негодованія противъ тайныхъ убійцъ. Мнѣ опротивѣла Варшава, съ тогдашними явленіями буйнаго насилія на улицахъ, напускного паѳоса, полного господства фразеровъ и горлановъ, недоучившихся студентовъ и бѣшеныхъ сумасбродовъ. Всего ужаснѣе была полная безхарактерность интеллигентныхъ классовъ, знати и средняго сословія, ведомыхъ революціонерами какъ будто-бы на привязи и точно на убой, людей трусливыхъ и пуще всего боящихся быть искренними, высказать свои настоящія мнѣнія и чувства. Я не имѣлъ уже ни малѣйшей охоты выселиться изъ Петербурга. Когда я вернулъ изъ лѣтней поѣздки въ августѣ 1862 г., я былъ вызванъ къ А. В. Головнину, сильно интересовавшемуся положеніемъ великаго князя въ Варшавѣ и поставившему мнѣ вопросъ: какъ идутъ дѣла въ Польшѣ? Я ему отвѣчалъ безъ обиняковъ, что неизбежно и роковымъ образомъ вспыхнетъ въ скоромъ времени мятежъ въ Царствѣ Польскомъ.

Моя переписка съ Кавелинымъ въ это тяжелое время прекратилась. Ею неудобно было вести по почтѣ. Мы со всѣмъ не видались въ 1863 и 1864 годахъ. Вслѣдствіе вспыхнувшего мятежа, я очутился въ положеніи небезопасномъ по отношенію къ властямъ и къ правительству. Кругъ поляковъ, общихъ знакомыхъ моихъ и Кавелина, значительно сократился; многіе изъ нихъ были осуждены, казнены или сосланы въ Сибирь. Въ концѣ 1864 г., я былъ уволенъ отъ службы по учебной части, принужденъ былъ содержать себя литературнымъ трудомъ, сдѣлался

постояннымъ сотрудникомъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, издаваемыхъ тогда Валентиномъ Ѳедоровичемъ Коршемъ. Потомъ, послѣ открытія въ 1866 году новыхъ судебныхъ установленій, я поступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ. Перерывъ въ моей перепискѣ и въ общеніи съ Кавелинымъ я считаю въ извѣстной степени счастливою случайностью. Несмотря на нашу дружбу и единомысліе по польскому вопросу, мы не были, однако, способны одинаково чувствовать и одинаково откликаться на обострившуюся до кровопролитія борьбу національностей; не могли мы одинаково относиться къ главнымъ дѣятелямъ того момента, напримѣръ къ Н. А. Милютину, которому приходилось дѣйствовать во многихъ отношеніяхъ за-одно съ М. Н. Муравьевымъ, ни къ мѣрамъ исключительнымъ по отношенію къ польскому элементу, напримѣръ, къ закону 10 декабря 1865 г., котораго идея принадлежала Милютину.— Я сошелся опять съ Кавелинымъ въ 1865 г., когда ни онъ, ни я не занимали никакого оффиціального положенія, когда мы оба посвящены были всецѣло литературѣ и наукѣ, когда мы нашли подходящій для насъ органъ печати, издаваемый въ 1866 года нашимъ товарищемъ, М. М. Стасюлевичемъ. Въ теченіе цѣлыхъ 20 лѣтъ мы сходились во все время года, кромѣ лѣтняго, на еженедѣльныхъ редакторскихъ обѣдахъ „Вѣстника Европы“, въ которыхъ участвовали А. Н. Пыпинъ, И. С. Тургеневъ—во время своихъ пріѣздовъ въ С.-Петербургъ, Гончаровъ—начиная съ 1869 года, В. А. Арцимовичъ, А. Ѳ. Кони, К. К. Арсеньевъ. Въ нашей общей съ Кавелинымъ умственной жизни мы многимъ обязаны общенію, которое происходило въ этомъ маленькомъ дружескомъ кружкѣ. Постараюсь изобразить немногими чертами то представленіе, которое сложилось въ моей памяти и сознаніи о Кавелинѣ за послѣдній, довольно продолжительный, періодъ его жизни.

Кавелинъ въ теченіе этого періода былъ не по лѣтамъ физически состарившійся человѣкъ, потолстѣвшій, грузный, съ рано посѣдѣвшею бородою и большою лысиною

на лбу. Его внѣшній видъ передаетъ всего лучше превосходный рисунокъ чернымъ карандашомъ Ярошенки. Онъ нисколько не измѣнился въ своей общительности и отзывчивости на всѣ вопросы дня; онъ много читалъ и работалъ, но надъ предметами болѣе далекими отъ практической жизни, надъ задачами философіи. Его курсъ русскаго гражданскаго права требуетъ еще оцѣнщика,—настолько онъ отступаетъ отъ традиціи, отъ системъ, по которымъ этотъ предметъ излагается въ преподаваніи и въ учебникахъ. Школы Кавелинъ не образовалъ, какъ цивилистъ, и не имѣетъ, на сколько мнѣ извѣстно, послѣдователей. Эстетика не была спеціальностью Константина Дмитриевича. Во всякомъ поэтическомъ произведеніи онъ доискивался идеи, направленія. Онъ не могъ понять прелести „Стихотвореній въ прозѣ“ Тургенева и относился къ нимъ отрицательно.—Малый знатокъ въ пластическихъ искусствахъ, онъ страстно любилъ музыку и восхищался безпредѣльно Бетховеномъ. Изъ великихъ философовъ прошлаго онъ отлично зналъ Канта, Спинозу, Локка.—Сначала чистый гегеліанецъ, Кавелинъ пришелъ потомъ къ заключенію, что „философія въ формулѣ Гегеля есть все еще кабалистика и религія“. Онъ предлагалъ перевернуть формулу Гегеля: *die Natur ist das Anderssein des Geistes*, и выворотить ее такимъ образомъ: *der Geist ist das Anderssein der Natur*. Онъ утверждалъ, что между міромъ нравственнымъ и физическимъ есть глубочайшая связь, единство началъ, и что они находятся въ непрерывномъ взаимодействіи, что уже завоевано наукою. Но изъ-за ихъ единства, взаимодействія и связи не надо, однако, ихъ смѣшивать. Гдѣ всякое различіе уже теряется, тамъ перестаетъ и наука, перестаетъ и жизнь (стр. 15, письмо 1859 г.).—Въ 1862 г. Кавелинъ писалъ, что у него есть мысль провѣрить по методу естественныхъ наукъ операціи мышленія и воли. «Работы Локка и Канта, — писалъ онъ,—устарѣли, а послѣ нихъ только строили по результатамъ, которые они дали. Надо провѣрить эти результаты. Мнѣ кажется, тутъ ключъ къ выходу изъ дуалистическихъ

возрѣній и въ новый міръ. Лѣтъ шесть какъ эта мысль меня занимаетъ, но успѣю ли ее изложить, какъ бы хотѣлось, не знаю. Все некогда».—Было не некогда, а уже слишкомъ поздно. Замысль былъ великъ: благодаря ему, научное знаніе достигло въ XIX столѣтіи блистательнѣйшихъ результатовъ, но съ сороковыхъ до шестидесятыхъ годовъ Кавелинъ былъ постоянно увлекаемъ въ другія стороны, къ другимъ занятіямъ. За философіею онъ не имѣлъ времени слѣдить, насколько то было необходимо; метода естественныхъ наукъ онъ не успѣлъ себѣ усвоить; съ позитивизмомъ Огюста Конта онъ слишкомъ мало былъ знакомъ; эволюціонизма по Герберту Спенсеру тоже не изучалъ. Онъ не работалъ въ фізіологическихъ лабораторіяхъ и не наблюдалъ даже издали за тѣмъ, что дѣлаютъ фізіологи, работающіе надъ мельчайшими объективными данными сознанія, надъ эмоціями, мышленіемъ, воленіемъ, не въ самихъ себѣ только, а и въ другихъ субъектахъ, въ массѣ людей. Берясь за рѣшеніе логическихъ и этическихъ задачъ, онъ дѣйствовалъ вооруженный только однимъ старымъ, вѣрнымъ, но недостаточнымъ орудіемъ внутренняго самонаблюденія. За отправную точку онъ бралъ готовое самосознаніе, свое «я», какъ недѣлимое, между тѣмъ какъ это «я» есть нѣчто крайне сложное и имѣющее глубокіе корни въ темныхъ глубинахъ безсознательнаго состоянія. Таковы были, на мой взглядъ,—хотя я по моей профессіи не совсѣмъ компетентный судья въ философіи,—слабыя стороны двухъ послѣднихъ произведеній Кавелина: «Задачи психологіи», 1872 г., по поводу которыхъ онъ состязался съ М. Съченовымъ, и «Задачи этики», которыя онъ кончилъ за годъ до смерти своей, 2 августа 1884 г. Этотъ послѣдній трудъ не былъ еще конченъ, когда мнѣ пришлось, какъ адвокату, защищать въ петербургскомъ окружномъ судѣ дѣло Островлевой и Худина (VII т. моихъ сочиненій, стр. 1—58) передъ присяжными засѣдателями, въ числѣ которыхъ оказался Кавелинъ, избранный по этому дѣлу старшиною комплектомъ присяжныхъ засѣдателей. Съ

фактической стороны своей это дѣло было крайне простое, почти безспорное,—разбой. Женщина 25 лѣтъ, Островлева, отправилась со служащимъ у нея крестьяниномъ Худинымъ за городъ на Лахту. Они наняли извозчика, чухонца 19 лѣтъ, Савина, потомъ на пути напали на него и ранили. Савинъ притворился умершимъ, съ него снять армякъ, въ который нарядился Худинъ. Похитители отправились въ городъ на пролеткѣ Савина, продали пролетку и лошадь барышникамъ. На слѣдующій день похищенное было найдено и по принадлежности возвращено. Въ психологическомъ отношеніи задача суда была весьма трудная, потому что при производствѣ блистательной по составу экспертовъ психіатрической экспертизы (Мержеевскій, Чечоть, Чижъ, Кандинскій) оказалось, что Островлева—существо въ высшей степени ненормальное въ психическомъ отношеніи. Я защищалъ Островлеву въ первый разъ одинъ. Судъ оправдалъ и ее, и Худина. Уголовный кассационный департаментъ сената отмѣнилъ это рѣшеніе. Когда дѣло шло во второй разъ въ окружномъ судѣ, я пригласилъ въ помощь себѣ при защитѣ Островлевой моего товарища по профессіи, Евгенія Исаковича Утина, который былъ еще весьма молоденькимъ студентомъ въ 1861 году, во время университетской катастрофы, а потомъ сдѣлался однимъ изъ дѣятельныхъ сотрудниковъ «Вѣстника Европы». Я помню, что когда передъ выборомъ по жребію присяжныхъ намъ, защитникамъ, предстояло воспользоваться правомъ отвода присяжныхъ по очередному списку, Евгеній Утинъ возбуждалъ вопросъ не отвести ли Кавелина, какъ строгаго моралиста; Утинъ боялся, что Кавелинъ не раздѣлитъ, можетъ быть, мнѣнія экспертовъ-врачей, убѣжденных въ психической уродливости Островлевой, но не отрицающихъ, что эта уродливость—не столько въ разумѣніи, сколько въ чувствованіи и волѣ, и съ трудомъ можетъ быть отнесена къ тѣмъ формамъ психическихъ болѣзней, которыя, бывъ въ прежнее время отмѣчены и, такъ сказать, занумерованы наукою, нашли мѣсто въ перечнѣ этихъ болѣз-

ней, включенномъ въ нашъ сильно уже отсталый отъ современности кодексъ 1845 года. Я долженъ былъ разбирать по новѣйшимъ сочиненіямъ о болѣзняхъ воли, въ особенности по книгѣ Рибо, волевые движенія автоматическія, импульсивныя и идеомоторныя, заключать о такъ называемой *абуліи* у Островлевоѣ, о безсиліи воли, болѣзни, которая нашимъ кодексомъ не предусмотрена.

Кавелинъ, какъ старшина, вынесъ для Островлевоѣ оправдательный приговоръ, постановленный, какъ я потомъ узналъ, единогласно. Слуга ея Худинъ обвиненъ, но отдѣлался двухлѣтними арестантскими ротами. По порученію присяжныхъ, Кавелинъ, по постановленіи приговора, имѣлъ длинное объясненіе съ предсѣдателемъ суда. Онъ выразилъ мнѣ потомъ полное одобреніе методу, который я избралъ для характеристики болѣзней воли, и моимъ общимъ взглядамъ на этотъ вопросъ. Можетъ быть, слѣдствіемъ моеѣ защиты Островлевоѣ было то, что Кавелинъ двукратно бралъ съ меня обѣщаніе, что я напишу критику на его «Задачи этики». Последнее обѣщаніе дано мною было за двѣ недѣли до его кончины. Я былъ въ отъѣздѣ изъ С.-Петербурга во время быстротечной болѣзни, причинившей ему смерть. Данное мною обѣщаніе я исполнилъ въ 1885 г. (IV т. моихъ сочиненій стр. 157—210) по мѣрѣ моихъ силъ, причемъ я счелъ святымъ долгомъ по отношенію къ памяти умершаго высказать откровенно, почему я не могу раздѣлять многихъ основныхъ его мнѣній; но, оканчивая теперь мои воспоминанія о Кавелинѣ я считаю моею обязанностью воспроизвести мой окончательный выводъ объ этой книгѣ и ея авторѣ, какъ одномъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей, которыхъ мнѣ довелось видѣть въ моеѣ жизни, какъ о лицѣ, внушающемъ къ себѣ полнѣйшую привязанность. а мнѣ въ особенности чувство глубокой благодарности, за мое умственное развитіе, за то, что онъ первый заставилъ меня полюбить Россію.—Книга Кавелина, писалъ я (стр. 207), заставила не только юношей, но и стариковъ сильно подумать о томъ, чего коснулась. Она

вложила пальцы вниманія въ открытую рану, заставила скорбѣть о томъ, что личность зачахла и одичала, а вмѣстѣ съ тѣмъ, что при кажущихся успѣхахъ чисто внѣшней культуры испортилась сама среда, и жутко въ ней приходится человѣку. Эта скорбь необычайно глубока и сердечна, вслѣдствіе чего она краснорѣчива и выразительна. Она обаятельно дѣйствуетъ и притомъ она увлекаетъ въ гораздо большей степени людей не-философовъ, нежели записныхъ психологовъ, да и предназначалась она не для немногихъ, а для массы читателей. Я увѣренъ въ томъ, что всѣ наши критики книги, направленные противъ ея построенія и техники, кануть въ Лету и забудутся, а читатели «Задачъ этики» все-таки не переведутся, и будутъ они не изъ тѣхъ, которые читаютъ книги ради критики, но изъ тѣхъ, которые дорожатъ всякими изліяніями благородной души, потому что въ нихъ самихъ откликаются и ихъ эмоціонируютъ мощное негодованіе и искренняя печаль.

(Вѣстникъ Европы. Февраль 1898 г.).



Чествованіе памяти Палацкаго

(въ Чешской Прагѣ, въ 1898 году).

Чествованіе памяти Палацкаго

(въ Чешской Прагѣ, въ 1898 году).

Открытое письмо къ А. Н. Пыпину.

I.

Вы взяли съ меня слово, дорогой Александръ Николаевичъ, когда я отправлялся въ Прагу на съѣздъ, — куда вы хотя были приглашены, но не могли поѣхать, — чтобы я передалъ вамъ мои впечатлѣнія по поводу этого событія, которое не могло не интересоватъ васъ, какъ знатока и любителя славянскаго міра, вступающаго нынѣ въ новый фазисъ бытія, причемъ, конечно, славянскій вопросъ получаетъ новую постановку.

Мы оба, какъ мнѣ помнится, наблюдали -- я въ первый разъ, а вы, вѣроятно, не въ первый -- чешскаго историка и политика въ 1867 году, въ С.-Петербургѣ, когда онъ отправлялся въ Москву на этнографическую выставку. Онъ былъ уже пожилой человѣкъ лѣтъ 69, сѣдой, задумчивый, малоподвижный и молчаливый. Настоящимъ ораторомъ пріѣзжей западно- и южно-славянской дружины являлся зять Палацкаго, Владиславъ Ригеръ, но руководителемъ группы былъ, несомнѣнно, самъ Палацкій, народный чешскій вождь и патріархъ. По обстоятельствамъ тогдашняго времени московскій съѣздъ не могъ быть общеславянскимъ, никто изъ моихъ земляковъ-поляковъ не могъ въ немъ участвовать, не навлекая на себя подозрѣнія либо въ неискренности и притворствѣ, либо въ измѣнѣ своему народному чувству и достоинству. Я полагаю, что

еслибы и вы рѣшились поѣхать на выставку въ Москву въ 1867 г., то вы бы почувствовали, что обрѣтаетесь въ неподходящей къ вамъ средѣ. У насъ въ Россіи какъ будто бы заведено относиться къ славянскому вопросу только сентиментально, а никакъ не рационально. Откликаются громче другихъ, когда рѣчь зайдетъ объ этомъ вопросѣ, только такія лица, которыя питаютъ въ себѣ несбыточные и противныя чешскимъ народнымъ чувствамъ мечтанія о возможности, если не теперь, то въ будущемъ, общенія съ братьями-славянами на основаніяхъ единовѣрія, единоначалія и даже единойзычія. Съ тѣхъ поръ, какъ пріѣзжали къ намъ славяне на выставку 1867 г., прошло слишкомъ 30 лѣтъ, все придунайское славянство преобразилось, въ Австро-Венгріи произошло нѣсколько самыхъ крупныхъ и коренныхъ перемѣнъ, но утопіи остались у большинства тѣ же, какія были въ то минувшее время, безъ малѣйшихъ уступокъ, безъ всякаго приближенія къ дѣйствительности. Пражскій съѣздъ 1898 г. памятенъ будетъ тѣмъ, что не могъ не повліять прямо или косвенно на ихъ разсѣяніе и не содѣйствовать ихъ опроверженію. Судить о значеніи этого съѣзда слѣдуетъ не только по заранее заготовленнымъ торжественнымъ рѣчамъ въ засѣданіяхъ разныхъ ученыхъ обществъ и при закладкѣ памятника Палацкому, но въ особенности при болѣе свободныхъ застольныхъ рѣчахъ и бесѣдахъ членовъ съѣзда за обѣдами, при угощеніяхъ. Необходимо принять въ соображеніе и письменные документы, заготовленные для съѣзда, напимѣръ, изданія учрежденной въ началѣ 1897 г. девятичленной комиссіи для чествованія имени Палацкаго по случаю приближавшагося дня 14-го іюня 1898 г., когда истекало сто лѣтъ со времени его рожденія. Изъ этого рода изданій, которыя были розданы въ Прагѣ всѣмъ членамъ съѣзда, обращаю ваше вниманіе особенно на книгу въ 726 страницъ in 8° убористой печати подъ заглавіемъ: *Památník na oslavu stých narozenin Frantiska Palackého*. Книга издана издѣвніемъ чешской матицы; редактировали 1-е и 3-е отдѣленія Императорской Чешской Академіи

Франца-Іосифа и представители чешскаго научнаго общества. 42 писателя приняли участіе въ этомъ сборномъ трудѣ (39 мужчинъ и 3 женщины), въ томъ числѣ Ригеръ, дочь Ригера Червинкова и сынъ Палацкаго, Янъ Палацкій, профессоръ университета, два француза (Louis Léger и E. Denis), два англичанина (Maurice и Morfill), одинъ профессоръ варшавскаго университета (Зигель) и три нѣмца (Helfert, Zimmermann и Köpl). Сочиненія трехъ послѣднихъ сотрудниковъ помѣщены на нѣмецкомъ языкѣ, а всѣхъ остальныхъ иностранцевъ — въ переводахъ на чешскій языкъ. Знаменитѣйшій современный чешскій поэтъ Ярославъ Врхлицкій почтилъ память чествуемаго великаго чеха стихотвореніемъ; другіе сотрудники либо сообщали личныя воспоминанія объ умершемъ, какъ о близкомъ своемъ знакомомъ (напримѣръ, чешскій историкъ Томекъ), либо предлагали критическія оцѣнки дѣятельности его — научной, художественной, общественной и политической. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ работъ особенно выдѣляются по своей содержательности двѣ статьи: одна — Іосифа Калоуска (о руководящихъ идеяхъ въ историческомъ трудѣ Палацкаго) и другая — Адольфа Срба (о политической дѣятельности Палацкаго). Никто, конечно, изъ пріѣзжихъ гостей не могъ ознакомиться съ содержаніемъ этого увѣсистаго сборника до и во время празднествъ, но теперь, когда я перечитываю эту книгу на досугѣ, пользуясь эскими водами, предо мною воскресаетъ мощный образъ этого весьма крупнаго чешскаго дѣятеля и патріота. Я теперь въ состояніи дать по этой книжкѣ обстоятельный отвѣтъ на вопросъ: какъ великъ былъ этотъ человекъ и что онъ представлялъ собою по сравненію, напримѣръ, съ другими его сверстниками и однолѣтками, съ славянами Мицкевичемъ (родившимся въ 1798) и Пушкинымъ (въ 1799 г.) съ французомъ Огюстомъ Контомъ (род. 1798) и, наконецъ, съ не стоявшимъ съ названными мною лицами на одной высотѣ, но тоже незабвеннымъ и имѣющимъ восторженныхъ почитателей — нѣмцемъ, Генрихомъ Гейне (род. 1799 г.). Все, что скажу о Палацкомъ, бу-

детъ взято изъ указаннаго мною чешскаго сборника, особенно въ моихъ глазахъ авторитетнаго потому, что онъ сочиненъ почти сплошь чехами и прошелъ сквозь самую строгую чешскую національную критику,—слѣдовательно, Палацкій изображенъ въ немъ, какъ понимали его соотечественники его и какъ они желаютъ, чтобы понимали его и иностранцы. Затѣмъ, я займусь изложеніемъ того, какія имѣли цѣли и задачи устроители съѣзда, созывая его. Наконецъ, я коснусь того, какъ осуществились въ дѣйствительности эти цѣли и задачи, въ чемъ заключаются осязательные результаты съѣзда, то-есть, собственно, въ какомъ настроеніи разстались съ чехами пріѣзжіе гости. направляясь къ своимъ роднымъ мѣстамъ.

II.

Въ первой половинѣ XIX столѣтія у всѣхъ народностей западно- и южно-славянскихъ произошло ихъ національное возрожденіе въ смыслѣ культурномъ, начавшееся съ поэзіи и вообще съ литературы и имѣвшее ближайшую связь съ умственнымъ движеніемъ западно-европейскимъ, извѣстнымъ подъ кличкою *романтизма*. Это возрожденіе проявилось даже въ племенахъ, утратившихъ свою политическую самобытность, перезабывшихъ свою исторію и разучившихся употреблять свой языкъ въ смыслѣ литературнаго органа. Для подобнаго возрожденія необходимы были два условія: живое, прочувствованное сознаніе своего племенного своеобразія и пламенная любовь и привязанность къ родному. Обоими этими чувствами былъ въ высокой степени одушевленъ моравецъ Франтишекъ Палацкій, родившійся 14 іюня 1798 г. въ Годславицахъ, на южномъ склонѣ гряды Бескидовъ, отдѣляющейся отъ Карпатскаго хребта. Онъ былъ сынъ народнаго учителя и по вѣроисповѣданію — протестанта лютеранина. Учился онъ въ нѣмецкихъ заведеніяхъ въ Венгріи въ Тренчинѣ, а потомъ въ Пресбургѣ, готовился къ духовному званію, но поки-

нулъ эту мысль, когда познакомился съ философіею Канта и когда въ немъ очнулось свободомысліе, которое было у него, можно сказать, въ крови и по наслѣдству. И въ Богеміи, и въ Моравіи протестантство имѣло корень Гуситскій. Послѣ паденія гуситства въ XVI и XVII столѣтіяхъ, оно было преслѣдуемо, но продолжало существовать подъ именемъ «чешскихъ братьевъ». Въ 1787 г., изданъ былъ при Іосифѣ II патентъ о свободѣ вѣроисповѣданія для протестантовъ, какъ лютеранъ, такъ и кальвинистовъ. Чешскіе и моравскіе протестанты успѣшили тогда приписаться къ лютеранамъ, а венгерскіе—къ кальвинистамъ. Гуситскій элементъ въ Палацкомъ опредѣлилъ и дальнѣйшее направленіе его дѣятельности. Въ глазахъ Палацкаго надъ исторіею его родины носится и теперь ореолъ той вѣковѣчной славы, что она опередила всѣ европейскіе народы по части свободы вѣроисповѣданія; что, начиная съ 1419 г., Богемія сдѣлалась первымъ въ христіанствѣ свѣтскимъ, такъ называемымъ «нововѣковымъ», государствомъ; что она поставила впервые, хотя и преждевременно, задачу, которую не удалось ей какъ слѣдуетъ разрѣшить, объ освобожденіи человѣческаго духа отъ гнета средневѣкового авторитета. Такъ какъ Палацкій имѣлъ умъ широкій, способный къ историческому пониманію событій, доискивающийся во всѣхъ великихъ борьбахъ человѣчества картины состязанія двухъ противоположныхъ силъ, одинаково узаконенныхъ въ томъ смыслѣ, что въ каждой изъ нихъ есть частица истины (Калоусекъ назвалъ это свойство его ума «полярностью» его міросозерцанія), то онъ понималъ, что въ концѣ концовъ побѣждаетъ изъ этихъ двухъ противоположныхъ началъ лучшее, но что всякая побѣда обходится не безъ сожалѣнія достойныхъ и не вознаградимыхъ потерь. Палацкій былъ до того безпристрастенъ, какъ историкъ, что его жизнеописатели въ сборникѣ не рѣшаются сказать, былъ ли онъ лично въ душѣ своей протестантъ, или католикъ (Kalousek, стр. 202). По словамъ сына Палацкаго (Jan Palacký, стр. 129), отецъ его сдѣлалъ въ завѣщаніи два отказа на двѣ католическія

церкви и выразился однажды такимъ образомъ: «католицизмъ имѣетъ основаніе быть признательнымъ протестантству: оно его охранило отъ византийства, въ которое бы католицизмъ неминуемо погрузился».

Историкъ Гельфертъ называетъ Палацкаго *veliky muž*, *veliky vlastenec* (т.-е. великій патріотъ, стр. 106). Вникая въ сущность этого патріотизма, Калоусекъ находитъ, что у Палацкаго онъ—особаго рода, потому что Палацкій считалъ его посредствующею ступенью между животнымъ себялюбіемъ и всеобъемлющимъ человѣколюбіемъ или гуманностью, которая ставитъ завѣтъ: не дѣлай другому, чего для себя не хочешь (слова Палацкаго на славянскомъ съѣздѣ 1848 года). Патріотизмъ Палацкаго совмѣщался въ немъ съ необычайною умѣlostью пріискивать наиболѣе прямые и подходящіе къ практическому осуществленію его средства. Въ первой половинѣ XIX вѣка (до 1848 г.) средства эти заключались для Богеміи въ созданіи живого народнаго литературнаго языка и въ возстановленіи для народа его исторіи, которую онъ забылъ и такимъ образомъ потерялъ. Какъ трудна была эта задача, повидимому далеко превосходящая силы отдѣльныхъ лицъ, о томъ можно судить по нижеслѣдующимъ характернымъ даннымъ.

Въ 1813 году, 15-лѣтній юноша Палацкій учился въ Пресбургѣ въ лицѣ, гдѣ преподаваніе производилось на латинскомъ языкѣ. Другъ его отца, чехъ Бакошъ, спросилъ его о значеніи нѣкоторыхъ словъ и выраженій въ чешской книгѣ. Оказалось, что Палацкій зналъ меньше, нежели вопрошавшій его; устыдившись своего незнанія, онъ сталъ изучать сочиненія Амоса Коменскаго. Въ своихъ запискахъ Палацкій подъ 1819 годомъ отмѣтилъ, какъ весьма непріятное для него событіе, свой споръ съ товарищемъ по лицу, Бенедикти, въ присутствіи другого товарища обоихъ, Шафарика, уже поступившаго въ іенскій университетъ. Бенедикти серьезно утверждалъ, что чехи не могутъ имѣть великаго историка, потому что не совершили никакихъ великихъ историческихъ дѣяній. «Развѣ

мы господствовали?—говорилъ онъ.—Гдѣ наше государство? Безъ государства не можетъ быть историческаго духа». Колебавшійся между беллетристическимъ творчествомъ, къ которому онъ чувствовалъ расположеніе, и исторію, Палацкій рѣшился посвятить себя исторіи. Въ 1823 году, онъ прибылъ въ Прагу, гдѣ онъ и остался на всю свою жизнь до своей кончины, въ 1876 году. Здѣсь сразу приняли въ немъ участіе ученые Юнгманъ и Добровскій. Послѣдній познакомилъ его съ графами Штернберками, нуждавшимися въ труженикѣ, который, разобравши ихъ фамиліные архивы и заглянувъ въ историческіе источники, составилъ бы ихъ родословную и исторію ихъ рода. Эта работа исполнена была Палацкимъ столь блистательно, что и другіе чешскіе вельможи, Чернины, Кинскіе, Кламъ-Мартиницъ, обратились къ нему съ такими же порученіями. Въ 1827 г., королевское ученое общество возложило на Палацкаго трудъ изданія народныхъ лѣтописцевъ. По выходѣ въ свѣтъ въ 1836 г. перваго тома «Чешской исторіи», Палацкій, по представленію земскаго выбора Богеміи, то-есть выборной управы отъ засѣдающихъ въ Богемскомъ сеймѣ сословій, назначенъ исторіографомъ Богеміи. Еще раньше того, подъ числомъ 20 декабря 1825 г., у Палацкаго въ его запискахъ имѣется интересная замѣтка объ одной послѣбѣжденной бесѣдѣ его съ Добровскимъ и съ графами Каспаромъ и Францемъ Штернберками, продолжавшейся до поздней ночи. Чтобы оцѣнить всю жизненность происходившаго въ этой бесѣдѣ спора, необходимо имѣть въ виду, между какими людьми онъ происходилъ. Всю жизнь свою посвятившій изученію древняго чешскаго языка, Добровскій относился къ нему какъ къ языку мертвому, совсѣмъ отжившему; самъ онъ писалъ только по-нѣмецки. Аристократы Штернберки были весьма образованные люди и на свой манеръ чешскіе патріоты, но мыслили и разговаривали въ обществѣ только на нѣмецкомъ языкѣ, подобно русскимъ людямъ временъ Екатерины II и Александра I, привыкшимъ объясняться только по-французски. Предсѣдатель чешскаго

музея, Каспаръ Штернберкъ, жадовался на то, что чешскій народъ относится вполне безучастно къ хорошему и дорого стоившему музею. Палацкій, не разъ уже упрекавшій Добровскаго за не-писаніе на чешскомъ языкѣ, сталъ доказывать, что въ равнодушіи народа виновато само музейное начальство, что оно должно содѣйствовать національному пробужденію и заговорить къ народу на родномъ его языкѣ. Его собесѣдники слушали его съ недовѣріемъ. Когда много лѣтъ спустя, въ 1850 г., одинъ высокій сановникъ богемскій, Фальклъ, мать коего была кровная чешка, высказался однажды такимъ образомъ: «Boehmen kann nie slavisiert werden, wozu also für einen Boehmen das Traum eines Slavenreiches»,—то это выраженіе всѣмъ показалось уже анохронизмомъ и отмѣчено было какъ нѣчто возмутительное; но въ 1825 г. убѣжденія, подобныя Фальковымъ, были въ ходу между самими чехами и принимаемы были ими какъ неопровержимая истина. «Я сказалъ моимъ собесѣдникамъ,—записалъ Палацкій,—что если всѣ мы будемъ скрываться, то весь нашъ народъ погибнетъ отъ недостатка духовной пищи. Будь я цыганъ, будь я послѣдній потомокъ этого племени, я все-таки счелъ-бы долгомъ всячески содѣйствовать тому, чтобы честная память о моемъ народѣ осталась по крайней мѣрѣ въ исторіи человѣчества». Къ словамъ этимъ Добровскій и Каспаръ Штернберкъ отнеслись какъ къ увлеченію молодого энтузіаста, но Францъ Штернберкъ потакалъ Палацкому. Бесѣда имѣла тотъ результатъ, что органъ чешскаго музея сталъ издаваться на двухъ языкахъ, на чешскомъ и на нѣмецкомъ.

III.

Громадный успѣхъ Палацкаго, какъ историка, объясняется совпадениемъ въ его лицѣ рѣдко совмѣщающихся качествъ: онъ умѣлъ съ невѣроятнымъ терпѣніемъ рыться въ архивахъ, онъ былъ острый критикъ, а сверхъ того

художникъ-живописецъ, какъ повѣствователь. Этими дарованіями располагалъ притомъ человѣкъ цѣльный, послѣдовательный, идеалистъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, человѣкъ съ сильнымъ характеромъ, одушевленный пламенною любовью къ родинѣ и ко всему человѣчеству. Силы его росли по мѣрѣ того, какъ подвигалась впередъ его колоссальная работа. Онъ раскапывалъ прошлое, до того забытое, что современники имѣли впечатлѣніе, будто извлекаются изъ земли какіе то новыя Помпеи. Откапываемое прошлое было красивое, живое и столь близко связанное съ настоящимъ, что оно ставило передъ современниками вполне готовые практическіе идеалы. къ которымъ, по примѣру предковъ, и имъ бы слѣдовало стремиться. Палацкій бралъ исторію съ ея практической стороны, и былъ глубоко убѣжденъ въ истинности Тацитовскаго изреченія, что исторія должна быть наставницею людей—*vitae magistra*. Его исторія Богеміи есть произведеніе далеко не безупречное, многіе его взгляды не могутъ не считаться уже превзойденными и отжившими. Идя слѣдами Мацѣевскаго и Лелевеля, Палацкій слишкомъ идеализировалъ славянъ. Онъ дѣлилъ племена и народы на тихіе, вольные, мирные, къ которымъ относилъ древнихъ грековъ и славянъ, и на воинственные, властные, хищническіе, къ которымъ причислялъ римлянъ и германцевъ. Жизнь человѣчества Палацкій понималъ какъ борьбу противоположныхъ началъ, кончающуюся тѣмъ, что эти начала проникаются взаимно и приходятъ къ устойчивому равновѣсію. Двѣ были міровыя духовныя силы, которыя взаимно прониклись и объединились: христіанство и древне-классическая образованность; и двѣ великія матеріальныя силы: Римъ и германцы, изъ которыхъ послѣдніе завладѣли Римомъ и усвоили себѣ все, что было здороваго и крѣпкаго въ римскомъ мірѣ. Примиреніе и уравниваніе двухъ господствъ: духовнаго и матеріальнаго, выразилось въ средніе вѣка въ двоевластіи папы и императора, двухъ всемірныхъ по коренной идеѣ и безусловныхъ авторитетовъ. Когда къ концу XIV вѣка оба

авторитета пошатнулись и обнаружили явные признаки своего разложенія и упадка, когда завелись и спорили другъ съ другомъ три папы и три императора, тогда въ сердцевинѣ Европы, въ небольшой странѣ, составляющей западную окраину славянства, омываемую, какъ полуостровъ, съ трехъ сторонъ волнами Нѣмецкаго моря, среди борьбы между славянствомъ и нѣмечествомъ, черезъ которое просачивалось и римское начало, произошло со стороны славянства освободительное движеніе, клонящееся къ ниспроверженію обоихъ авторитетовъ—и папы, и императора, въ пользу свободы совѣсти, руководимой однимъ лишь священнымъ писаніемъ (Гусъ), и въ пользу совершенно свѣтскаго государства въ нововременномъ духѣ (богемскій король Юрій Подѣбрадъ). Это новшество въ концѣ концовъ восторжествовало въ западной Европѣ, мы имъ теперь проникнуты, мы имъ дышемъ, но оно взяло верхъ лишь послѣ многихъ жертвъ и неудавшихся попытокъ. Первою жертвою своего почина сдѣлалась сама Богемія, которая пала не столько вслѣдствіе того, что нѣмецкій элементъ физически одолѣлъ элементъ славянский, но больше еще потому, что задача была крайне трудна и не по силамъ образованному классу, отступившему отъ родныхъ началъ, усвоившему себѣ нѣмецкій феодализмъ и неравенство состояній и приложившему руку къ закрѣпощенію свободнаго до того времени сельскаго престопаго. Намъ, восточнымъ по отношенію къ Чехіи славянамъ, вполне понятно ретроспективное историческое направленіе, которое мы сами въ свое время переживали; оно — превзойденная точка зрѣнія; ему мы обязаны польскимъ мессіаниззмомъ, русскимъ славянофильствомъ. На только-что вспаханной наполеоновскими войнами почвѣ, послѣ бродившихъ космополитическихъ идей французской философіи, имѣвшей дѣло только съ отвлеченнымъ, не дифференцирующимся челоѣкомъ, съ его столь жѣ отвлеченными и практически неосуществимыми прирожденными правами, начинали всходить растенія новаго посѣва—націонализмы, сдѣлавшіеся главнымъ яв-

леніемъ XIX вѣка. Всякій націоналистъ, опредѣляя свои неясныя еще для него самого требованія, прибѣгалъ къ ретроспективнымъ идеаламъ, то-есть, воображалъ себѣ, что они были поставлены уже въ прошедшемъ, и въ этомъ самообольщеніи находилъ громадную силу, точно миеологическій гигантъ Антей въ прикосновеніи къ матери своей, землѣ. Хотя идеи Палацкаго излагаемы имъ были въ строго-научной формѣ и по научному методу, но онѣ не могли не казаться революціонными близорукому косному правительственному режиму эпохи Меттерниха, основанному на бюрократической централизаци въ нѣмецкомъ духѣ въ пестрой, изъ разныхъ лоскутковъ сшитой, монархіи. Возможность распространенія этихъ идей, несмотря на суровую предварительную цензуру и духовную, и свѣтскую, объясняется только поддержкою, оказываемою Палацкому со стороны высокородныхъ чеховъ патріотовъ, засѣдавшихъ въ земскомъ выборѣ или управѣ, а также тѣмъ, что въ 1848 году, когда послѣ февральской революціи цензура была отмѣнена, Палацкій дошелъ въ своемъ трудѣ только до появленія Гуса на историческомъ поприщѣ. Исторію послѣдующихъ временъ онъ доканчивалъ въ полной уже свободѣ печати и въ часы досуга, оставшіеся свободными отъ политической, дѣятельности, въ которую онъ былъ вовлеченъ въ 1848 г. Его историческій трудъ въ пяти томахъ не доведенъ до роковой для чеховъ битвы у Бѣлой-Горы 1620 г., которая имѣла для Богеміи то самое значеніе, какое имѣли для Польши ея три раздѣла въ концѣ XVIII вѣка. Исторія Палацкаго обрывается на 1529 году. Какъ ни велики были заслуги Палацкаго, какъ чешскаго историка, онъ, можетъ быть, не сдѣлался бы извѣстнымъ внѣ предѣловъ своей родины и не послужилъ бы поводомъ къ международному съѣзду, не всемірному, правда, но все-таки всеславянскому, если бы его не выдвинула впередъ западно-европейская революція 1848 г., среди которой Палацкій сдѣлался политикомъ, вѣское и убѣжденное слово котораго имѣло рѣшающее значеніе въ критическіе моменты и повліяло не только

на его родную Богемію, не только на Австрію, но и на совокупность международных отношеній въ цѣломъ объемѣ славянской группы европейскихъ народовъ. Политической суматохи, ознаменовавшей 1848 годъ, избѣгла одна только Россія подъ властною рукою Николая I. Австрія была ею поколеблена, можно сказать, до самого дна. Поставленъ былъ даже ребромъ вопросъ о возможности существованія этой кучи національностей, ненавидящихъ себя взаимно и державшихся подъ однимъ началомъ только потому, что онѣ были нанизаны на одну династическую нитку подъ самодержавною властью одного государя-вотчинника, приобрѣвшаго ихъ не завоеваніями, а либо по наслѣдству, либо по фамилінымъ и инымъ трактатамъ (*Tu, felix Austria, nube*). Съ точки зрѣнія націоналистической теоріи, предполагающей, что сколько есть національностей, столько должно быть и отдѣльныхъ государствъ,—само существованіе Австріи представлялось нелѣпостью; она должна была повидимому распасться на свои составныя части, когда не станетъ центральнаго правительства. Правительство въ 1848 г. на нѣкоторое время какъ будто бы исчезло; возникло нѣчто подобное вавилонскому столпотворенію и смѣшенію языковъ. Два фактора произвели этотъ переворотъ: съ одной стороны, свободолюбивый конституціонализмъ, какъ дальнѣйшій фазисъ французской революціи конца XVIII вѣка, а съ другой стороны—пробуждающіеся націонализмы. Понятно, что при подобномъ политическомъ движеніи не могъ не быть призванъ къ работѣ лучшій знатокъ и толкователь народной исторіи, значить — естественный наставникъ и руководитель. Государственные люди бываютъ двухъ родовъ: одни годящіеся особенно въ правители—они обыкновенно оппортунисты, люди гибкіе, мастера сочинять всякіе компромиссы, не стѣсняющіеся послѣдовательностью, лишь бы главныя намѣченныя ими цѣли были тѣмъ или другимъ способомъ сполна или отчасти осуществлены; и другіе—вожаки партій, люди строго послѣдовательные, воплощающіе въ себѣ совѣсть народа, его понятія о добрѣ

и злѣ, его честность. Палацкій былъ исполнѣ государствен-
ный человѣкъ второго рода; сынъ его, Янъ, выражается
о немъ слѣдующимъ образомъ: „muž skalopevných zásad,
a to jednotných a ne kolikerych, jak te ted' moda“ (мужъ
твердыхъ, какъ скала, убѣжденій, и то однихъ, а не мно-
гихъ, какъ то теперь бываетъ въ модѣ). Какъ каждый
хорватъ или сербъ назоветъ Штросмайера: „prvi syn Srbii“,
такъ каждый чехъ назоветъ Палацкаго: отецъ народа или
отецъ отечества (otec vlasti). По словамъ его жизнеопи-
сателя Жилки (Žilka „F. Palasky“. 1898), Палацкій оста-
вилъ для чешскаго народа первую политическую программу
и указалъ соотвѣтствующую этой программѣ тактику. Его
авторитетъ былъ безусловно непререкаемъ до 1863 г. Въ
1863 году обозначился расколъ въ чешскомъ лагерѣ, обо-
собились Грегръ и Сладковскій, получившіе названіе младо-
чеховъ; ихъ органомъ стали „Narodni Listy“, вслѣдствіе
чего главное ядро старочешское, съ Палацкимъ, Ригеромъ
и Браунеромъ во главѣ, должно было основать новый
органъ— „Narod“. Уже по смерти Палацкаго младочехи
одолѣли старочеховъ, но на дѣлѣ оказалось, что эти младо-
чехи идутъ по стопамъ старочеховъ, дѣйствуютъ по той
же программѣ, что вся разница между обоими оттѣнками
незначительна, что она главнымъ образомъ состоитъ въ
большей горячности приѣмовъ, а можетъ быть и въ со-
перничествѣ личныхъ честолюбій. Роли между обоими от-
тѣнками раздѣлены; на каждой должности чередуются
нынѣ представители обоихъ; если какую-нибудь должность
занимаетъ младочехъ, то его двойникъ замѣститель, или
товарищъ, бываетъ старочехъ, и наоборотъ. Оба направ-
ленія принимали равно горячее участіе въ сѣздѣ въ
честь Палацкаго. Насъ принимали въ Прагѣ и чествовали
городской голова (starosta mesta Prahy), младочехъ Янъ
Подлипный, и товарищъ его (namestnik), старочехъ Вла-
диміръ Сербъ. Мнѣ остается указать на главные моменты,
въ которыхъ Палацкій проявилъ рѣшительнымъ образомъ
свой политическій умъ; тогда станетъ ясно, что и до
нынѣ чешское дѣло продолжаетъ двигаться взмахомъ ве-
селъ этого могучаго гребца.

IV.

Палацкій въ теченіе всей своей жизни былъ проникнутъ прогрессивными идеями XIX вѣка, былъ либераль, конституціоналистъ, безусловный сторонникъ равноправности людей, не допускающій никакихъ сословныхъ перегородокъ, но онъ не выводилъ своихъ убѣжденій изъ рационализма, изъ какихъ-то прирожденныхъ челоуку правъ. Онъ ихъ строилъ на воображаемой чисто исторической подкладкѣ, съ отнесеніемъ ихъ корней къ исчезнувшему національному славянскому прошлому. Его поддерживало высшее чешское общество, въ особенности чешское дворянство, никогда не утрачивавшее представленія объ особенномъ положеніи чеховъ въ габсбургской державѣ и о правахъ свято-вацлавской короны. Богемія имѣла нѣкоторый малый остатокъ прошлаго въ такъ-называемыхъ ландштэндахъ, то-есть, въ разносословномъ земствѣ, съ преобладающимъ дворянскимъ оттѣнкомъ и съ выборною во главѣ этого земства управою. По желанію земскихъ чиновъ, Палацкій излагалъ въ своихъ чтеніяхъ и запискахъ свои идеи о необходимости отмѣны феодальной раздѣльности состояній и о желательной децентрализации. Когда въ 1848 г., вслѣдствіе переворота въ Вѣнѣ, всѣмъ австрійскимъ народамъ пожалована была конституція, а въ Прагѣ съ разрѣшенія императорскаго намѣстника образовано нѣчто въ родѣ временнаго правительства, участвовать въ которомъ приглашенъ былъ Палацкій, то при сильномъ его участіи оно установило полную равноправность въ Богеміи всѣхъ національностей и вѣръ — чеховъ, нѣмцевъ и даже евреевъ, и тотчасъ же натолкнулось на весьма трудный и сложный вопросъ, какъ ему отнестись къ преобразовательному движенію въ объединяющейся Германіи, пытающейся и Богемію втянуть въ свою среду. Королевство Богемія составляло часть священной римской имперіи; по упраздненіи этой имперіи

въ 1806 г., она включена, по вѣнскимъ трактатамъ 1815 г., въ составъ германскаго союза, имѣвшаго свое постоянное международное представительство во Франкфуртѣ-на-Майнѣ. Въ этомъ-то Франкфуртѣ съѣхались нѣмецкіе патріоты въ числѣ 50 человекъ, образовавшіе по своему почину общегерманскій парламентъ. Они пригласили въ свой составъ выдающихся политическихъ дѣятелей германскаго международного союза, а въ томъ числѣ и Палацкаго. Вѣнскій кабинетъ сочувствовалъ этому предложенію въ виду господствовавшаго между вѣнскими нѣмцами лозунга: *inniger Anschluss an Deutschland*. Рѣзкій отрицательный отвѣтъ Палацкаго подѣйствовалъ такимъ образомъ, что 24 апрѣля 1848 г. вѣнскій кабинетъ высказался противъ принятія постановленій франкфуртскаго парламента, а слѣдовательно и противъ всякаго въ немъ участія. Отъ мотивовъ этого отвѣта чехи не отступили и донынѣ, какъ отъ основныхъ положеній своей политической программы. Вся суть ея въ томъ, что австрійскій государь можетъ быть въ какихъ угодно отношеніяхъ къ нѣмецкимъ государствамъ и державамъ, но никогда народъ чешскій не сочтетъ себя нѣмецкимъ и не сольется съ Германіею. По взгляду Палацкаго, намѣренія нѣмецкихъ патріотовъ вели къ тому, чтобы умалить Австрію и сдѣлать ее несамостоятельною. „Еслибы совсѣмъ не было существующаго искони австрійскаго государства,—писалъ Палацкій,—то въ интересахъ и Европы, и человечества, мы должны были бы всячески стараться, чтобы Австрія была создана“—въ смыслѣ организованной совокупности автономныхъ частей, имѣющихъ общую кровеносную артерію, Дунай, и далеко отъ Дуная не отступающей. Палацкій объяснялъ необходимость существованія Австріи для Европы и человечества, посредствомъ соображеній, неоспоримыхъ въ то время со стороны нѣмецкихъ реформаторовъ: „только союзъ придунайскихъ національностей можетъ предохранить Европу отъ россійской монархіи“, которой хотѣлъ самымъ рѣшительнымъ образомъ противодействовать и Палацкій, не потому, что она рус-

ская, но потому, что она была бы *универсальная*. Палацкій сопротивлялся объединяющимся нѣмцамъ не только какъ австріецъ, но и какъ убѣжденный по своему національному чувству вѣрноподанный своего монарха. „Я некомпетентенъ судить,—писалъ онъ,—будетъ ли объединенная Германія республика или не-республика, но мы въ Австріи должны отвергнуть и отогнать всякую мысль о республикѣ. Представимъ себѣ, что она раздѣлится на множество большихъ и малыхъ республикъ—вѣдь это будетъ начало универсальной русской монархіи“. Съ момента обнародованія этого письма Палацкій прослылъ между австрійскими нѣмцами фанатикомъ, ярымъ германофобомъ; въ Вѣнѣ произошло волненіе, когда первый министръ Пиллерсдорфъ предложилъ ему портфель австрійскаго министра просвѣщенія. 2 іюня того же 1848 года, въ Прагѣ собирався, затѣянный не Палацкимъ, а другими лицами, общеславянскій племенной съѣздъ съ весьма широкими, но неопредѣленными задачами, кончившійся кровавымъ столкновеніемъ съ войсками на улицахъ Праги въ день Святого Духа и осаднымъ положеніемъ по распоряженію князя Виндишгреца. Палацкій избранъ былъ председателемъ этого эфемернаго собранія. Затѣмъ, въ обща-австрійскихъ учредительныхъ сеймахъ 1848 и 1849 годовъ въ Вѣнѣ и Кромержжѣ (Kremsier) онъ развивалъ послѣдовательно и успѣшно свою любимую тему федеративнаго устройства австрійской державы, какъ неизбежное послѣдствіе полной раздѣльности и своеобразности народовъ этой группы при условіи совершенной ихъ равноправности. Послѣ распушенія кромержжскаго сейма, австрійская октроированная конституція 4 марта 1849 г. (Стадіоновская) осталась только на бумагѣ, въ дѣйствительности-же наступилъ, при Феликсѣ Шварценбергѣ, возвратъ къ полнѣйшему абсолютизму. Когда 21 декабря 1849 г. Палацкій напечаталъ въ газетѣ „Narodni Noviny“ свои идеи о федерализаціи Австріи, то газета была прекращена изданіемъ, а самъ Палацкій едва не былъ преданъ военному суду. Съ 1849 по 1860 г. поприще поли-

тической дѣятельности было для него закрыто, и онъ возвратился цѣликомъ къ своей научной дѣятельности.

Въ теченіе десятилѣтняго управленія Австріею Шварценберга и Баха, чистый абсолютизмъ обнаружилъ вполнѣ свою несостоятельность и привелъ къ крупнѣйшимъ пораженіямъ во внѣшней политикѣ. Каждое изъ этихъ поражений (въ войнѣ 1859 г. съ Франціею изъ-за Италіи; въ войнѣ 1866 г. съ Пруссіею, въ погромѣ подъ Садовой) толкало Австрію на путь внутреннихъ реформъ, децентрализаціи и парламентаризма. Во всѣхъ частяхъ Австріи земскіе сеймы были либо возстановлены, либо вновь заведены. Требовалось вѣнчать государственное зданіе однимъ общегосударственнымъ сеймомъ. Для достиженія этой цѣли пришлось по почину тогда молодого императора, и самимъ нѣмцамъ федерализировать объединенную бюрократически громаду, что производилось съ величайшимъ трудомъ и при постоянныхъ колебаніяхъ между отжившимъ прежнимъ и проектируемымъ новымъ (дипломъ 20-го октября 1860 Голуховскаго и патентъ 26-го февраля 1861 Шмерлинга). Потуги родовъ были необычайно трудны, во-первыхъ, потому, что австрійскіе народы извѣрились въ октроированныя конституціи, такъ что привлекать ихъ приходилось только посредствомъ особыхъ соглашеній, причемъ народъ венгерскій, имѣвшій, начиная со среднихъ вѣковъ, свою испытанную старинную конституцію, а потомъ всего сильнѣе пострадавшій и расчлененный, относился ко всѣмъ дѣлаемымъ ему предложеніямъ отрицательно; а во-вторыхъ, потому, что федераціонная идея на видъ только проста, въ сущности же она есть величайшее въ европейскомъ быту новшество и находится въ рѣзкомъ противорѣчій, какъ съ историческимъ правомъ, изъ котораго чехи, съ Палацкимъ во главѣ, пытались ее вывести, такъ и съ племенной подкладкою отдѣльных областей. Конечно, федерація возможна, но только при условіи, чтобы федерирующіеся сбратались, иными словами, чтобы они нравственно переродились, а они всегда склоннѣе бывали поѣдать себя взаимно, памятуя—одни,

что они были подначальными людьми и терпѣли притѣсненія и обиды, а другіе—что они властвовали и что, слѣдовательно, признаніе равноправности было бы для нѣкогда владычествовавшихъ равносильно отказу отъ преданій ихъ національной исторіи.

На первыхъ порахъ, въ промежуткѣ времени отъ вилла-франкского мира до погрома подъ Садовою, мадьяры отличались своимъ полнѣйшимъ отказомъ на всѣ дѣлаемые имъ предложенія и блистали, такъ сказать, своимъ отсутствіемъ. Изъ всѣхъ другихъ земель вѣскія историческія права имѣла одна только Богемія, въ которой хотя меньшинство населенія составляли нѣмцы, расположенные къ централизаціи, но значительнымъ большинствомъ, то есть чехами, ставились не получившія еще и донинѣ отказа ходатайства о томъ, чтобы австрійскій императоръ, по примѣру своихъ предковъ, короновался въ Прагѣ короною св. Вацлава. Вслѣдствіе новаго поворота къ централизаціи, совпадающаго съ возложеніемъ должности перваго министра на Шмерлинга, возникъ между чехами вопросъ, не послѣдовать ли примѣру Венгріи и не отказаться ли совсѣмъ отъ послышки богемскихъ депутатовъ въ вѣнскій рейхсратъ. Потерявшій всякую вѣру въ возможность соглашенія съ нѣмцами, Палацкій совѣтовалъ, начиная съ 1861 г., не посылать депутатовъ, но уступилъ, чтобы не дѣлать раскола въ партіи, тѣмъ болѣе, что зять его, Ригеръ, былъ противнаго мнѣнія. Затѣмъ во все продолженіе сеймованія Палацкій настаивалъ, чтобы чехи покинули рейхсратъ, выражая тѣмъ свой протестъ, что они и сдѣлали, переставъ являться въ рейхсратъ съ лѣта 1863 года.

Второе сильное пораженіе извнѣ испытала Австрія въ 1866 г. въ сраженіи подъ Садовою, послѣ котораго она должна была выйти изъ Германскаго Союза, причемъ, конечно, значеніе нѣмецкаго элемента въ ней было ослаблено. Ей предстоялъ одинъ только выходъ: пойти за какую угодно цѣну на сдѣлку съ мадьярами, возстановить Венгрію въ полномъ территоріальномъ ея составѣ, съ ея

конституціею, съ ея державнымъ сеймомъ, и устроить ту систему австро-венгерскаго дуализма съ собирающимися періодически делегаціями обѣихъ частей имперіи, которая и теперь дѣйствуетъ и въ которой рѣшающія силы — нѣмцы и мадьяры, а всѣ остальные племена и элементы образуютъ только второстепенные привѣски либо къ Транс-лейтаніи, либо къ Цислейтаніи. Осуществилось именно то, чего больше всего опасался Палацкій. Вотъ его подлинныя слова (Srb, стр. 577): „Дуализмъ въ какой бы то ни было формѣ гибеленъ для Австріи, онъ даже гибельнѣе, чѣмъ полная централизація; онъ есть двойная централизація. Обѣ противны и природѣ вещей, и праву, а двойное иго всегда хуже, чѣмъ единичное“.

Въ то самое время, когда въ Вѣнѣ, въ рейхсратѣ, безъ всякаго участія въ томъ чеховъ, рѣшаемы были указанныя выше перемѣны и дѣлались приготовленія къ коронованію Франца-Іосифа въ Буда-Пештѣ короною св. Стефана, которое и состоялось 7-го іюня 1867 года, Палацкій рѣшился на поѣздку въ Петербургъ и въ Москву, въ маѣ и іюнѣ того же года, на выставку, что съ тѣхъ поръ ставилось ему врагами его постоянно въ вину, какъ родъ протеста противъ своего правительства, съ оттѣнкомъ если не измѣны, то такъ-называемой нелойальности по отношенію къ своему государству. Съ тѣхъ поръ и до конца своей жизни, несмотря на сильно измѣнившіяся обстоятельства, Палацкій отстаивалъ наложенный имъ на Богемію зарокъ — не посылать въ рейхсратъ чешскихъ депутатовъ. Въ 1870 г., положеніе дѣла было совсѣмъ новое. „Мѣщанскій“ кабинетъ Ауэршперга, нѣмецкій и централистическій, уступилъ мѣсто кабинету графа Альфреда Потоцкаго и Таафе. Такъ какъ послѣ рокового 1863 года въ сознаніи галицкопольскаго общества произошла та перемѣна, что поляки въ Галиціи отказались отъ мечтаній о возстановленіи прежняго польскаго государства и связали свою судьбу съ судьбами Габсбургской династіи и монархіи, то ничто уже не мѣшало сближенію чеховъ съ польскою партіею въ рейхсратѣ,

которая ни въ чемъ не могла мѣшать чехамъ въ ихъ національныхъ стремленіяхъ. Еслибы чехи соединились тогда съ поляками, вслѣдствіи чего вокругъ этого ядра могли бы сгруппироваться второстепенныя славянскія и не-славянскія племена, то чехи могли бы уже тогда занять то вліятельное положеніе въ рейхсратѣ, которое они заняли при кабинетѣ Бадени и затѣмъ при кабинетѣ Туна, когда борьба дошла до кризиса и когда ребромъ былъ поставленъ вопросъ, быть ли Австріи двуглавымъ государствомъ, или федераціею равноправныхъ народностей, въ числѣ которыхъ нѣтъ ни господствующихъ, ни подчиненныхъ. Графъ Таафе поручилъ, въ 1870 г. въ сентябрѣ, Гельферту войти въ переговоры съ чехами. Гельфертъ передаетъ намъ (стр. 101), какъ заупрямился при этомъ случаѣ старикъ Палацкій: „Такъ мы должны пойти въ рейхсратъ, и только тогда намъ дадутъ то, чего мы требуемъ? Да это то же, что сказать намъ: сначала мы вамъ головы отрубимъ, а потомъ вы получите то, чего желаете. Объ это упрямое — *нитъ!* разбились усилія посредниковъ. Пока жилъ Палацкій, чешскіе депутаты не ѣздили въ рейхсратъ. Какъ только они затѣмъ вступили въ рейхсратъ, то дѣла получили иное, но небезнадежное для чеховъ направленіе. Несмотря на острый кризисъ, наступившій въ послѣднее время вслѣдствіе обструкціонизма со стороны нѣмцевъ, можно предвидѣть, что изъ кризиса найдется какой-нибудь благопріятный для чеховъ выходъ. Этой перемѣны отношеній не предвидѣлъ Палацкій; онъ умеръ, однако, спокойный и увѣренный, что его народъ не погибнетъ. Вотъ что писалъ онъ въ концѣ своихъ дней: „Byli sme pred Kakouskem, budeme i po nem“ (мы были раньше Австріи, мы и послѣ нея останемся).

V.

Для пополненія характеристики Палацкаго я долженъ еще посвятить нѣсколько словъ объ его поѣздкѣ въ Мос-

кву на этнографическую выставку; о цѣляхъ этой поѣздки существуютъ въ Россіи самыя сбивчивыя и превратныя представленія. Драгоцѣнныя данныя по этому предмету имѣются въ Памятномъ Сборникѣ Палацкаго, въ статьѣ парижскаго профессора Лэжэ (Louis Leger, стр. 153).

Собиравшіеся на выставку южные славяне условились съ чехами, Юліемъ Грегромъ, Браунеромъ и другими, съѣхаться въ Прерау. Къ нимъ только въ Вильнѣ примкнули ѣхавшіе изъ Эйдкунена Палацкій и Ригеръ; они заѣхали предварительно въ самомъ началѣ мая 1867 г. въ Парижъ, чтобы повидаться съ сотрудникомъ „Revue des deux Mondes“, слѣдившимъ за славянскими дѣлами, St. Rene Taillandier, и съ польскими выходцами—князьями Чарторыскими, генераломъ Замойскимъ и другими, дабы предупредить ихъ, что поѣздка предпринимается не въ непріязненныхъ для поляковъ видахъ, иными словами, чтобы убѣдить поляковъ, что въ намѣреніяхъ ѣхавшихъ нѣтъ ни тѣни такъ-называемаго „панславизма“. Нельзя сказать, чтобы польскіе выходцы отнеслись къ затѣваемой поѣздкѣ благосклонно; они скорѣе осуждали этотъ шагъ, не какъ противный польскимъ интересамъ, но какъ составляющій нѣчто въ родѣ измѣны Европѣ и ея цивилизації. Даровитый Юліанъ Клячко написалъ противъ Палацкаго статью въ „Revue des deux Mondes“, но въ Парижѣ встрѣтились Палацкій и Ригеръ съ Штресмайромъ и съ горячимъ польскимъ патріотомъ, познакомившимся съ ними на славянскомъ съѣздѣ въ Прагѣ 1848, княземъ Юріемъ Любомирскимъ. Оба эти лица поощряли ихъ къ поѣздкѣ. Палацкій и Ригеръ обѣщали, что замолвятъ слово за поляковъ въ духѣ примиренія, для успокоенія возбужденныхъ мятежемъ 1863 года страстей. Они тѣмъ охотнѣе дали это обѣщаніе, что передъ тѣмъ они относились устно и печатно самымъ отрицательнымъ образомъ къ польскому мятежу, признавая его несчастнѣйшимъ для славянскаго дѣла событіемъ. По этому своему отношенію къ польскимъ событіямъ они главнымъ образомъ и разошлись съ младочехами. Славянскаго съѣзда собственно и не было въ

Москвѣ въ смыслѣ созданнаго кѣмъ-либо по извѣстной программѣ конгресса. Въ Россіи пріѣзжіе славяне приняты были радушно. Янъ Палацкій описываетъ впечатлѣніе, которое произвели на отца и его товарищей слова, раздавшіяся съ высоты престола, когда они были приняты императоромъ Александромъ II: „Здравствуйте, какъ родные братья въ родной землѣ“. Въ качествѣ австрійскихъ подданныхъ они побывали съ визитомъ у австрійскаго посланника въ С.-Петербургѣ. Ихъ намѣреніе сказать нѣчто въ пользу поляковъ не удалось. Слова ихъ приняты были холодно и не удостоились никакого сочувственнаго отвѣта на пиршествѣ московскомъ 21-го мая 1867 г. Прежніе взгляды Палацкаго на Россію значительно измѣнились во время его поѣздки. То былъ моментъ, когда приводились въ исполненіе и были въ полномъ цвѣтѣ и сіяніи великія реформы Александра II, возбуждая надежды, которыя далеко не всѣ сбылись. Прогрессъ Россіи показался Палацкому гигантскимъ, неимовѣрнымъ. По словамъ Калоуска (стр. 224), Палацкій никогда въ жизни не былъ панславистомъ, или, какъ выражается Калоусекъ, *панруссистомъ*, ни въ культурномъ, ни въ политическомъ отношеніи. Въ 1873, за три года до смерти, полемизируя съ профессоромъ Макушевымъ, онъ писалъ (Srb, стр. 594): „еслибы намъ пришлось перестать быть чехами, то намъ было бы все равно—станемъ ли мы нѣмцами, итальянцами, мадьярами или русскими. Чехи сохранять свою народность такъ долго, какъ сами захотятъ. Г. Макушевъ можетъ успокоиться, онъ не найдетъ въ насъ будущихъ русскихъ, а только благорасположенныхъ къ русскимъ ихъ пріятелей, да и то подъ условіемъ взаимной же пріязни“.

VI.

Пражская городская дума (rada) не поскупилась на средства какъ празднованія, такъ и пріема гостей. Намъ передавали, что устраивавшему съѣздъ комитету (výbor)

открытъ былъ кредитъ въ 300.000 гульденовъ. Зазван-
ныхъ гостей было болѣе сотни. Приглашенія разсылались
по національностямъ на всѣхъ славянскихъ языкахъ. Го-
стей просили объ отвѣтахъ—пріѣдутъ ли они. Для дав-
шихъ утвердительные отвѣты приготовлены были помѣ-
щенія въ первоклассныхъ гостинницахъ, при чемъ наблю-
даемо было, чтобы гости группировались по національно-
стямъ въ однѣхъ и тѣхъ же гостинницахъ: такъ, напри-
мѣръ, русскіе были размѣщены въ гостинницѣ „Чернаго-
Коня“, а поляки—въ смежномъ съ нимъ „Hotel de Saxe“. Предупредительность доходила до мелочей, до пріемовъ,
насколько мнѣ извѣстно, нигдѣ не практикуемыхъ на
конгрессахъ. Такъ, напримѣръ, при отѣздѣ послѣ почти
недѣльнаго пребыванія въ гостинницѣ, съ насъ ничего
не взяли. Экипажи, въ которыхъ мы ѣхали на закладку
памятника, были тоже на счетъ комитета.

Текстъ пригласительныхъ писемъ, обращенныхъ къ
„братьямъ-славянамъ“, можетъ объяснить отчасти, въ ка-
комъ духѣ и съ какими предвзятыми цѣлями предпола-
галось отпраздновать столѣтнюю годовщину рожденія Па-
лацкаго, открытіе ему одного памятника въ музеѣ и за-
кладку другого на площади. Главнымъ мотивомъ праздни-
кованія комитетъ ставилъ значеніе Палацкаго культурное,
роль его, какъ дѣятели чешскаго народа, который изъ
нѣдръ забвенія извлекъ дивный кладъ славныхъ дѣяній
народа и государства, помѣщающихся въ самой сердцеви-
нѣ Европы, и доказалъ право этого народа на независимость
и на особое мѣсто въ средѣ просвѣщенныхъ народовъ, за
что онъ и былъ названъ чехами „отцомъ народа“. Его
дѣятельности въ продолженіи полувѣка родина обязана въ
значительной степени своимъ пробужденіемъ и освобо-
жденіемъ отъ несказаннаго угнетенія и душевнаго, и фи-
зическаго, въ которое она была повергнута погромами ея
въ двухъ предъидущихъ столѣтіяхъ. Такая постановка во-
проса несомнѣнно цѣлесообразна и устраняетъ подозрѣніе
въ томъ, что подъ именемъ Палацкаго затѣвается ка-
кой-то политическій съѣздъ, а вовсе не празднество на-
учное и культурное.

Но комитетъ, не стѣсняясь, рѣшилъ указать на ряду съ великими дѣйствительскими заслугами Палацкаго и на меньшія его заслуги по части австрійской политики. Палацкій своею политическою мудростью, отвагою и дальновидностью проложилъ дальнѣйшій путь чешскому народу, составилъ ему его теперешнюю политическую программу, основавъ ее на стремленіи къ свободѣ и къ тому, чтобы разрозненные члены великаго славянскаго племени, сознавъ себя братьями и спокойно обсудивъ свою взаимную другъ отъ друга зависимость, приобрѣли для пародностей своихъ въ Австріи всѣми доступными имъ способами тѣ же права въ государствѣ, которыми уже пользуются народы нѣмецкій и мадьярскій. Программа эта формулирована Палацкимъ еще въ 1848 г. на славянскомъ съѣздѣ; она не измѣнилась и остается та же и среди остраго кризиса, причинившаго паденіе кабинета Бадени. Она—животрепещущій вопросъ настоящей минуты, но она такого рода, что не выходитъ за предѣлы державы Габсбурговъ и есть внутреннее дѣло австрійской политики, совершенно однородное съ затѣяннымъ одновременно со съѣздомъ Палацкаго другимъ дѣломъ, долженствующимъ разбираться въ пражской ратушѣ, а именно со съѣздомъ австрійскихъ журналистовъ. На этомъ послѣднемъ съѣздѣ могли присутствовать изъ любопытства и польскіе журналисты изъ Варшавы, и русскіе со всѣхъ концовъ Россіи, но не участвуя въ преніяхъ.

Если главная задача съѣзда Палацкаго касается преимущественно только австрійцевъ, то такимъ образомъ можетъ быть объяснено присутствіе на немъ чужихъ внѣ-австрійскихъ, закордонныхъ гостей съ сѣвера, востока и съ задунайскаго юга? Для оправданія нашего присутствія на съѣздѣ необходимо было комитету прибѣгнуть еще къ третьему положенію, которое бы изъ этого собранія, отчасти національно-чешскаго, отчасти чисто австрійскаго, сдѣлало нѣчто гораздо болѣе общее, а именно всеславянское. Это третье положеніе выражено въ слѣдующихъ словахъ комитетскаго пригласительнаго письма: „Палацкій

свою научную и политическую дѣятельность закрѣпилъ точно якоремъ (zakotvil) на широкой почвѣ славянской, чѣмъ далъ толчекъ ко взаимному сближенію, каковое сближеніе уже краснорѣчиво и великолѣпно сказалось въ памятномъ сѣздѣ австрійскихъ славянъ, собиравшемся въ Прагѣ въ 1848 г.“ (замѣтимъ мимоходомъ, что въ этомъ сѣздѣ участвовали и не-австрійскіе славяне). Такимъ образомъ, выходитъ, что Палацкій былъ и великій чехъ, и великій славянинъ, а потому и въ память пробужденія чешскаго народа, и въ память новаго возбужденія славянской идеи, комитетъ звалъ гостей, простирая къ нимъ руки и объятія: „пріѣзжайте погостить у нашего же очага (krb), въ королевской, златой, славянской Прагѣ; зовемъ васъ отъ всего сердца, nazdar!“ (на здоровье).

Изъ содержанія зазывныхъ писемъ ясно было какъ день, что о Палацкомъ, какъ историкѣ, будетъ говорено только между прочимъ и вскользь, тѣмъ болѣе, что оцѣнка историческаго труда, предпринятаго за семьдесятъ лѣтъ тому назадъ—дѣло научной критики и спеціалистовъ, а не сѣзда; что Палацкаго будутъ славить преимущественно какъ политика, а такъ какъ въ политикѣ онъ былъ федералистъ, то будутъ превозносить федерализмъ, тѣмъ болѣе, а можетъ быть именно потому, что эта идея уже по смерти Палацкаго сдѣлала необычайно большой шагъ впередъ, вслѣдствіе происшествія небывалаго, необычайно счастливаго для чеховъ, увеличивающаго ихъ силы и обезпечивающаго ихъ на будущее время. Это происшествіе—тѣснѣйшій союзъ чеховъ на конституціонной почвѣ въ средѣ вѣнскаго рейхсрата съ галицкими поляками, образовавшійся при существованіи кабинета Бадени и еще болѣе укрѣпившійся послѣ паденія этого кабинета. Есть основаніе думать, что этотъ союзъ будетъ проченъ, крѣпокъ, а можетъ быть и не расторгимъ.

Въ одной изъ статей газеты „Свѣтъ“ г. Комарова (№ 159 сего года) несомнѣнное, необычайно большое теперешнее расположеніе чеховъ къ полякамъ на сѣздѣ Палацкаго объясняемо было тѣмъ, что поляки имѣли дав-

нишнія связу съ чехами. Въ сущности дѣло обстоитъ совсѣмъ не такъ, а иначе. Въ теченіе всего XIX столѣтія поляки отличались полнѣйшею невосприимчивостію къ славянской идеѣ, доходившею до враждебности, и подобнымъ же отрицательнымъ отношеніемъ къ австрійской государственной идеѣ, какъ понималъ ее Палацкій, то-есть къ придунайской федерализаціи. Полякамъ долго мерещилась ихъ историческая Польша въ границахъ до 1772 г., внутри же австрійской имперіи послѣ 1848 г. они претендовали на такое же привилегированное положеніе, въ какомъ обрѣтались только нѣмцы и мадьяры. Съ чехами поляки дѣйствовали постоянно врознь; ихъ депутаты ѣздили въ рейхсратъ, когда чехи отказывались его посѣщать. Былъ одинъ моментъ, когда послѣ отказа австрійскаго правительства въ принятіи резолюцій или ходатайствъ львовскаго сейма, отъ 24-го сентября 1868 г., относительно извѣстныхъ льготъ для Галиціи, поляки рѣшили въ началѣ 1870 г. послѣдовать примѣру чеховъ и совсѣмъ уйти изъ рейхсрата, послѣ чего дальнѣйшее функціонированіе этого центрального сейма оказалось бы невозможнымъ. Но послѣ неудачи польскаго мятежа въ Россіи 1863 г. и въ особенности послѣ седанскаго погрома Франціи и паденія Наполеонидовъ, въ обществѣ польскомъ въ Галиціи произошелъ полный переворотъ. Возникла партія такъ-называемыхъ *станчишковъ*, отказавшихся отъ ретроспективныхъ мечтаній и связавшихъ польскій элементъ некрѣпко въ предѣлахъ Австріи съ судьбами габсбургской державы. Эта партія вышколилась въ вѣнскомъ сеймѣ, приобрѣла выправку, приучилась дѣйствовать какъ одинъ человекъ и не только доставила Австріи нѣсколькихъ государственныхъ людей (Голуховскіе, Альфредъ Потоцкій, Дунаевскій, Бадени), но и оказала чехамъ, вступившимъ наконецъ въ парламентъ уже по смерти Палацкаго, нѣсколько существенныхъ услугъ въ борьбѣ ихъ съ нѣмцами. Въ послѣднее время поляки, дѣйствуя въ интересѣ австрійскаго государства, какъ цѣлаго, стали на сторонѣ чеховъ по поднятому младочехами и обострившемуся во-

просу о языкахъ въ Богеміи. Чувствуя, что они проигрываютъ, нѣмцы въ парламентѣ прибѣгли къ обструкціонизму, то-есть къ безчинствамъ, къ грубымъ площаднымъ приемамъ въ законодательномъ собраніи. Имъ удалось заставить кабинетъ Бадени подать въ отставку, но нравственное превосходство остается въ парламентской борьбѣ за тою стороною, которая спокойнѣе и сдержаннѣе, такъ что будущая побѣда будетъ, вѣроятно, не на сторонѣ нѣмцевъ. Въ ходу этой борьбы поляки должны были стать на федеративной почвѣ, то-есть усвоить себѣ идеи чеховъ въ томъ видѣ, какъ ихъ проповѣдовалъ Палацкій, и проникнуться тѣми же чувствами. Это небывалое сближеніе съ чехами въ обще-славянскомъ духѣ выразилось во внезапной поѣздкѣ въ Краковъ въ началѣ 1898 г. чешскихъ и другихъ видныхъ парламентскихъ дѣятелей изъ славянъ и въ обратныхъ проводахъ этихъ почетныхъ гостей до границы единоплеменной съ чехами Моравіи, Прерау, — крупнѣйшими представителями мѣстнаго польскаго общества, которымъ сдѣланы были большія оваціи мѣстнымъ моравскимъ и чешскимъ населеніемъ и властями. Отвѣчая на сердечность сердечностью, галицкіе поляки откликнулись на приглашеніе ихъ въ Прагу чествовать память Палацкаго, какъ не откликнулась ни одна изъ австрійскихъ земель и столицъ. Городскія думы львовская и краковская рѣшили ѣхать въ Прагу не только съ серебрянымъ вѣнкомъ (отъ Львова), но и самолично въ составѣ своихъ городскихъ головъ и четырехъ членовъ своихъ городскихъ управъ. По всему пути отъ Прерау вплоть до Праги ихъ встрѣчали сельскія и городскія населенія почти официально съ развернутыми знаменами и музыкою. Такимъ образомъ, чествованіе Палацкаго осложнилось съ самаго его начала однимъ чисто мѣстнымъ и свойственнымъ только послѣднему времени обстоятельствомъ. Оно должно было выразить и удовольствіе отъ тѣснаго сближенія двухъ подружившихся въ цислейтанской части Австріи національностей, о чемъ, конечно, не знали пріѣзжіе изъ дальнихъ концовъ Россіи, не посвященные въ тайны ав-

стрийской политики. Не все русские, но некоторые из них не могли не оказаться несколько отсталыми в том смысле, что они теперь представляли себя западное славянство в том виде, в каком они его знали еще в 1867 году. Они непрерывно ссылались на московский славянский съезд, то-есть собственно не на съезд, а на этнографическую выставку 1867 г. Из этого смешения понятий и воспоминаний выходили иногда забавныя недоразумѣнія, на которыя я потомъ укажу. Теперь замѣчу лишь, насколько память мнѣ не измѣняетъ, что ни одинъ чехъ, ни западно- или южно-славянинъ не обмолвился на пражскихъ празднествахъ ни однимъ словомъ про поѣздку славянъ въ Москву въ 1867 г., между тѣмъ какъ русскіе пріѣзжіе упоминали о ней почти все въ своихъ рѣчахъ.

VII.

Мнѣ предстоитъ теперь изобразить съездъ съ его внѣшней стороны. Задача эта весьма не легка, вслѣдствіе соіпаденія нижеслѣдующихъ обстоятельствъ. На празднества назначены были три дня: суббота 6-го (18-го), воскресенье 7-го (19-го) и понедѣльникъ 8-го (20-го) іюня. Къ этимъ тремъ днямъ прибавился еще въ видѣ пролога пятничный вечеръ 5-го (17-го) іюня на Софійскомъ острову среди рѣки Влтавы, посвященный предварительному ознакомленію другъ съ другомъ съѣзжавшихся гостей, и дополнительный пятый день 9-го (21-го) іюня, посвященный поѣздкѣ въ Кутну-гору и балу на Софійскомъ острову, данному въ честь гостей дамами—пражскими чешками. Въ каждый изъ трехъ главныхъ дней предполагалось совершить какой-нибудь торжественный актъ или обрядъ съ музыкою и пѣніемъ, при чемъ мы должны были насладиться мастерскими хоровыми напѣвами пѣвческаго общества „Глаголь“ и другихъ. Въ первый день, назначено было открытіе бронзовой статуи Палацкаго въ стѣ-

нахъ чешскаго народнаго музея или пантеона. На второй день, на площади у набережной Палацкаго предположено пройти народнымъ шествіемъ всему чешскому народу въ миниатюрѣ, со всѣми его сочлененіями, состояніями, товариществами, школами, съ развернутыми знаменами и при звукахъ безчисленныхъ оркестровъ. Третій день долженъ былъ быть заключительный и прощальный. Важныя засѣданія и серьезные обряды перемежались съ угощеніями и развлеченіями. По вечерамъ мы были приглашаемы въ чешское „дивадло“, или театръ, выстроенный недавно по народной подпискѣ. Каждый день мы были угощаемы по крайней мѣрѣ два раза обѣдомъ и завтракомъ либо ужиномъ, при чемъ *inter rosula*, но весьма чинно и серьезно провозглашались тосты и произносились рѣчи въ честь Палацкаго или по поводу Палацкаго. Рѣчей произнесено значительно болѣе сотни—значить, ораторство доходило до истощенія силъ, до переутомленія, до дурноты. Немногіе изъ пріѣзжихъ гостей (десятка полтора) могли объясняться по-чешски,—значить, мы были поставлены въ необходимость говорить каждый на своемъ родномъ языкѣ, при чемъ, къ величайшему нашему удивленію, мы удосто-вѣрились, что мы отлично другъ друга понимаемъ, или по крайней мѣрѣ, что хотя попадались въ рѣчахъ незнакомыя намъ слова, но общій смыслъ рѣчей былъ намъ вполне доступенъ и ясенъ. Конечно, не могли попасть въ печать въ полномъ ихъ текстѣ рѣчи не-чешскія, которыя не были потомъ сообщены на письмѣ ораторами для помѣщенія ихъ въ газетахъ. Особаго стола или бюро для стенографовъ не было ни въ одномъ собраніи; притомъ стенографъ, хотя бы и владѣющій нѣсколькими языками, не въ состояніи мысленно и, такъ сказать, на лету переводить слышанное и этотъ переводъ записывать. Еслибы даже мы имѣли подъ руками полный стенографическій отчетъ о происходившемъ, то этотъ сырой матеріалъ едва ли бы годился для непосредственнаго пользованія имъ, потому что въ морѣ словъ, по большей части повторяющихся и банальныхъ, утопали бы, ложась на дно, самыя

цѣнныя, характерныя мысли, которыя бы приходилось на досугѣ вспоминать, извлекать и сортировать для составленія себѣ самому возможно вѣрнаго и правдиваго представленія о происходившемъ, какъ о чемъ-то цѣльномъ. Я полагаю, что всего лучше справлюсь съ моею задачею, если для распредѣленія матеріала по категоріямъ сопоставлю сначала адреса и телеграммы, какъ заранѣе и на досугѣ обдуманые письменные отвѣты на приглашительныя письма, потомъ рѣчи главныхъ ораторовъ чеховъ, какъ устроителей сѣзда; наконецъ, распредѣленные по національностямъ голоса пріѣзжихъ гостей двоякаго рода, то-есть, либо принадлежащихъ къ тѣснѣйшему австро-венгерскому союзу, либо принадлежащихъ къ болѣе далекимъ странамъ. Послѣдніе изъ нихъ могли интересоваться австрійскими дѣлами и событіями не непосредственно, а издали, и любовное ихъ отношеніе къ происходившему могло быть конечно только, такъ сказать, платоническое.

VIII.

Что касается до *адресовъ и телеграммъ*, то чтенію ихъ главнымъ образомъ было посвящено торжественное засѣданіе 18 іюня трехъ ученыхъ чешскихъ обществъ (музея, академіи и научнаго общества) подъ предсѣдательствомъ начальника музея, графа Гарраха. Имъ предшествовала рѣчь ученика Палацкаго, его помощника и продолжателя его работъ по исторіи, профессора Томека, у котораго я позаимствую слѣдующую характеристику великаго покойнаго. „Чешское дворянство противодѣйствовало абсолютизму, но не достигло цѣли потому, что для успѣха дѣла ему надлежало бы еще объединиться съ остальными слоями народа. Палацкій оказалъ помощь чехамъ, познакомивъ ихъ съ историческими правами, чѣмъ подготовилъ онъ народъ къ тому, что народъ сталъ самостоятельно дѣйствовать, когда настала тому пора, въ 1848 г.,

но Палацкій не дожиль до надлежащаго осуществленія своихъ надеждъ, какъ не доживемъ и мы по всей вѣроятности“.

Чтеніе писанныхъ, значить мертвыхъ, словъ производитъ охлаждающее впечатлѣніе. Мнѣ оно всегда напоминало угощеніе сладкимъ мороженымъ, которыми должны не начинаться, а оканчиваться — вкусные обѣды. Сидѣли приглашенные довольно тѣсно, весьма чинно и безмолвно. Присутствовали и великолѣпно разряженные дамы и мужчины, въ значительной части съ орденами и въ мундирахъ. Польскіе муниципалитеты, львовскій и краковскій, красовались въ своихъ обычныхъ пышныхъ древне-польскихъ костюмахъ. За кресломъ предсѣдателя передъ темною занавѣсью стояли четыре педэля въ тогахъ съ громаднѣйшими булавами въ рукахъ. Послѣ рѣчи Томека опустилась занавѣсь, и мы увидѣли бронзовый ликъ стоящаго великаго человѣка, изображеніе, какъ мнѣ показалось, не особенно важное, хотя въ защиту художника надобно сказать, что фигура Палацкаго была непригодна для скульптуры, мало поэтична, — я ее наблюдалъ вблизи и хорошо въ 1867 г., и могу сказать, что Палацкій былъ больше всего похожъ на зауряднаго учителя или книжника. Пришлось почти пожалѣть, что въ этомъ темномъ залѣ поставленъ не кусокъ мрамора, а бронзовая масса. По условіямъ сѣвернаго климата, мы поставлены въ необходимость сооружать бронзовые изображенія на площадяхъ, но въ закрытыхъ помѣщеніяхъ нѣтъ вещества, которое могло бы сравниться съ мраморомъ.

О телеграммахъ мы узнали изъ газетъ. Были телеграммы отъ отдѣльныхъ лицъ, единичныхъ и собирательныхъ, отъ высшихъ савовниковъ имперіи, напримѣръ отъ Туна, отъ министра финансовъ Кайцля, отъ Штросмайра — вплоть до студентовъ въ различныхъ заграничныхъ столицахъ или городкахъ. Особенное всеобщее вниманіе привлекла одна телеграмма изъ Петербурга за подписью: „В. К. Константинъ“; она вызвала исполненные раздраженія нападки со стороны нѣмецкой вѣнской прессы, хотя и

была послана Августѣйшимъ Предсѣдателемъ с.-петербургской академіи наукъ не отъ своего имени, а отъ имени академіи,—а письменныхъ привѣтовъ отъ иностранныхъ академій, было нѣсколько: отъ императорской вѣнской академіи наукъ, поднесенный нашимъ общимъ знакомымъ профессоромъ И. В. Ягичемъ, отъ краковской, отъ югославянской загребской, отъ королевской бѣлградской. Петербургская телеграмма была лаконична и исполнена достоинства: „Палацкій содѣйствовалъ своими трудами возрожденію и укрѣпленію самостоятельности (само собою разумѣется, культурной) чешскаго народа. Да не оскудѣваютъ чешская земля и славянство такими доблестными мужами!“ Трудно бы и перечестъ всѣ телеграммы и адреса отъ университетовъ, ученыхъ обществъ, всякихъ товариществъ и городовъ. Неизбѣжное свойство поздравительныхъ адресовъ—то, что чѣмъ болѣе они приличны, тѣмъ скорѣе могутъ показаться ординарными и шаблонными. Своею оригинальностью выдѣлялись до извѣстной степени адресъ краковской академіи наукъ и затѣмъ московскіе и петербургскій — отъ славянскаго благотворительнаго общества (такъ-называемаго Кирилло-Мееодіевскаго). Въ краковскомъ адресѣ, прочитанномъ проф. Смолькою, проводилась та мысль, что послѣ погрома чеховъ въ XVII в. пропасть самъ народъ чешскій, а отъ государства остались только простонародье и ученые. Простонародье не имѣло литературы, доступа въ школы и на государственныя должности, а чешскіе ученые уже не говорили по-чешски, занимались, правда, стариною, но увлекались какими-то туманными идеалами. Къ идеаламъ относились они съ піэтетомъ, сознавали себя славянами, но не вѣрили, чтобы они, какъ чехи, могли имѣть право на существованіе. Эту вѣру внушилъ имъ только Палацкій... Два московскіе адреса поднесены были профессоромъ Р. Θ. Брандтомъ, съ которымъ я впервые на пражскомъ съѣздѣ познакомился. Одинъ адресъ, отъ Румянцовскаго музея, славилъ Палацкаго, какъ высоко поднявшаго смѣлою рукою въ Богеміи знамя всеславянства, а другой—отъ москов-

скаго Общества исторіи и древностей—сопоставлялъ Палацкаго съ Гусомъ и Коменскимъ. Что касается адреса с.-петербургскаго славянскаго благотворительнаго общества, за подписью графа Н. П. Игнатъева, то онъ такого рода, что можно бы было сильно съ нимъ поспорить. Въ немъ сказано, что Палацкій „воскресилъ святой образъ Гуса и эпоху гуситскую, и объяснилъ историческое значеніе этого движенія, которое обезпечило за чехами славное имя въ исторіи взаимнаго отношенія *славянскаго востока и латино-нѣмецкаго запада*“... Затѣмъ адресъ ставилъ въ заслугу Палацкому, что онъ „освѣтилъ опасность, которою грозитъ чешско-моравскому племени нѣмецкій западъ съ своимъ германскимъ высокобріемъ (rychem) и *австрійско-жидовскимъ лже-либерализмомъ*“ (rakousko-zidovskim lzeliberalismem). Подлинный текстъ адреса русскій и былъ прочитанъ на русскомъ языкѣ, но онъ, насколько мнѣ извѣстно, не былъ опубликованъ въ русскихъ газетахъ. Онъ появился въ чешскомъ переводѣ и въ этомъ видѣ напечатанъ двукратно въ газетѣ „Narodni Listy“, №№ 166 и 167, отъ 18 и 19 іюня, такъ что отрывки изъ него я предлагаю въ обратномъ переводѣ на русскій языкъ. Адресъ озадачилъ меня немало. Какъ можетъ чешское гуситство быть названо славянскимъ востокомъ, когда оно еще западъ, а не востокъ, и когда, оно начало свое ведетъ отъ Виклефа, то-есть, отъ еще болѣе западнаго человѣка и его страны. Сочинять для гуситства невѣрную родословную, выводя его якобы отъ православія, никакъ невозможно, такъ какъ гуситство было прямымъ предтечею протестантства. Оно само по себѣ являлось расколомъ, а православіе зиждется на авторитетѣ. Происхожденіе гуситства съ востока есть просто мечта воображенія, будемъ ли мы отождествлять его съ православіемъ или съ русскимъ расколомъ,—да у Палацкаго ничего подобнаго никогда и въ мысляхъ не было. Крѣпкія выраженія въ концѣ адреса заключаютъ въ себѣ извѣстную дозу если не соли, то по крайней мѣрѣ перца („австрійско-жидовскій лже-либерализмъ“). Въ Австріи

имѣють вліятельное положеніе евреи на биржѣ и въ прессѣ, но весьма сильны также и антисемиты, напр. Люгеръ. Палацкій никогда не былъ антисемитомъ. Я отношусь совершенно спокойно къ тому, что эти выраженія могли бы поставить въ неловкое положеніе присутствовавшія въ засѣданіи предержащія власти, императорскаго намѣстника въ Богеміи Куденгова, земскаго маршала князя Юрія Лобковица. Они не знаютъ русскаго языка и вѣроятно не уразумѣли содержанія адреса, такъ какъ онъ читался на русскомъ языкѣ. Но я думаю, что если бы Палацкій былъ живъ и находился въ числѣ слушателей, то его бы сильно покорило отъ этихъ выраженій. Вѣдь онъ во всю свою жизнь, и по крайней мѣрѣ съ 1848 г. до кончины въ 1876 г., даже и тогда, когда ѣздилъ въ Москву, былъ до мозга костей австріецъ. О немъ не разъ говорили, что онъ по убѣжденіямъ болѣе австріецъ, нежели самъ императоръ. Я остановился на этой мелкой въ сущности подробности, и привожу ее какъ подтвержденіе уже прежде высказаннаго, что въ русской средѣ обращаются самыя сбивчивыя представленія, какъ о Палацкомъ, такъ и вообще о чешскихъ дѣлахъ и отношеніяхъ.

IX.

По закрытіи торжественнаго засѣданія трехъ ученыхъ корпорацій въ музеѣ, хозяиномъ по дальнѣйшему чествованію памяти Палацкаго всецѣло сдѣлался пражскій староста, или, по нашему, городской голова, Янъ Подлиппный, не старый еще человѣкъ лѣтъ сорока-пяти, тонкій, живой, рѣчистый, съ огненными глазами и съ откинутыми назадъ длинными черными волосами, съ выразительными чертами лица, которыя, такъ сказать, просятся въ какую-нибудь историческую картину кисти Матейки или Брожика. Не носилъ онъ на себѣ никакого мундира, ни отличительнаго знака, а одѣтъ былъ весь въ черномъ, въ

такъ-называемую чемарку—черный однобортный сюртукъ, съ шелковыми на груди черными же шнурами и нашивками.

Еще раньше того, въ пятницу 17 іюня, въ своемъ манифестѣ къ обывателямъ пражскимъ, Подлиппный просилъ ихъ оказать пріѣзжающимъ гостямъ гостепріимство по обще-славянской поговоркѣ: „гость въ домъ—Богъ въ домъ“. Вечеромъ того же дня въ великолѣпномъ въ два свѣта залѣ на Софійскомъ острову онъ открылъ бесѣду между съѣзжающимися гостями и чехами сердечнымъ обращеніемъ къ гостямъ, въ которомъ, однако, явственно сквозили большія или меньшія симпатіи его и чеховъ къ той или другой славянской группѣ по обстоятельствамъ настоящаго момента.

„Привѣтствую васъ,—сказалъ онъ,—дорогіе друзья, и прежде всего—васъ, наиблизайшіе къ намъ нынѣ братья-поляки! затѣмъ и васъ, сердечные братья отъ Криваня (словаки въ Австріи по ту сторону Татровъ), и васъ съ юга отъ Любляны и Савы, братья словинцы, хорваты и сербы,—всѣхъ васъ сердечнѣйшимъ образомъ принимаю. Напоследокъ, но никакъ не послѣдними въ любви нашей, привѣтствую васъ, дорогіе друзья изъ святой Руси, а вмѣстѣ съ вами и пріятелей, и братьевъ (галицкихъ) русиновъ. Не могу кончить, не поздравивъ и нашихъ кровныхъ родныхъ, пріѣхавшихъ изъ Моравіи. Всѣмъ вамъ посылаю наше чешское, сокольское: на zdar!“

Отвѣчать на это привѣтствіе взялся одинъ изъ русскихъ, профессоръ Брандтъ, который тотчасъ же повернулъ свою рѣчь на этнографическую выставку въ Москвѣ 1867 г. Поляки не могли, конечно, остаться въ долгу отвѣтомъ. Ораторомъ съ ихъ стороны явился молодой еще и бойкій членъ вѣнскаго сейма, Августъ Соколовскій, котораго рѣчь послужила естественнымъ противовѣсомъ къ рѣчи проф. Брандта. Ссылаясь на фѣдеративныя начала бывшаго польскаго государства, слагавшагося изъ частей, которыя соединялись добровольно по трактатамъ или уніямъ, какъ равныя съ равными, Соколовскій указы-

валь на совпаденіе этихъ федеративныхъ данныхъ въ минувшемъ прошломъ Польши — съ современными федеративными стремленіями чешскаго народа, при чемъ упомянулъ, что и чехи принимали участіе въ грюнвальдскомъ бою (15 іюля 1410 г.), при погромѣ тевтонскаго ордена — ссылка не совсѣмъ точная, не совсѣмъ удачная, которую въ слѣдующій же день воспользовался въ своей рѣчи В. В. Комаровъ. Я считаю эту ссылку неудачною потому, что хотя въ грюнвальдскомъ бою принимала участіе на сторонѣ поляковъ наемная чешская рать, подѣ командою знаменитаго Яна Жижки изъ Троцнова, но чехи въ бою не участвовали какъ народъ. Такъ какъ у короля Ягеллы были подѣ Грюнвальдомъ также и нѣмецкіе наемники, а у Витольда состояли на службѣ и дѣйствовали смоленскій полкъ и татарская орда, то на этомъ основаніи можно бы утверждать, что подѣ Грюнвальдомъ одержали побѣду и нѣмцы, и татары. Рѣчь Соколовскаго была безупречна въ томъ отношеніи, что она не содержала ни слова о Руси, о русскомъ, о современной Россіи. Всѣ пріѣзжіе, и русскіе и поляки, безъ всякаго сговора, по внутреннему чутью — *tacito consensu* — поняли, что съ ихъ стороны было бы въ высшей степени неприлично по отношенію къ гостепріимнымъ чехамъ, еслибы они на чужбинѣ въ гостяхъ стали разбираться въ своихъ междоусобіяхъ. По окончаніи рѣчи Соколовскаго, присутствовавшіе изъ русской группы, въ томъ числѣ гг. Комаровъ, Вацликъ и другіе, подходили къ нему и знакомились съ нимъ, чѣмъ, конечно, выражали не усвоеніе ими себѣ основной идеи его рѣчи, но только то, что онъ говорилъ съ тактомъ и велъ свою линію, никого не задѣвая. Я утверждаю, что установившееся на съѣздѣ этого рода перемиріе было строго соблюдено до конца, безъ нарушенія его съ чьей бы то ни было стороны.

19-го іюня, въ воскресенье, при закладкѣ камня подѣ памятникъ Палацкаго, Подлинный дѣйствовалъ уже какъ власть, распоряжался какъ настоящій командиръ. Съ 8 часовъ утра, по всѣмъ частямъ города, устраивались группы,

которыя потомъ отъ музея и Свято-вацлавской площади прошли стройнымъ маршемъ по Фердинандовой улицѣ на площадь Палацкаго. Площадь эта доходитъ одною своею стороною до высокой набережной надъ Молдавою (Влтавою) съ видомъ на Любушинъ Вышеградъ, а съ противоположной стороны имѣетъ рядъ пятиэтажныхъ домовъ; до высоты ихъ третьяго этажа доходили устроенныя для гостей и публики трибуны. Насупротивъ трибунъ, между ними и набережною, стоялъ навѣсъ на четырехъ столбахъ, а подъ нимъ камень, предназначенный въ подножье статуи; тутъ же устроена была площадка въ родѣ кафедръ для ораторовъ. Съ 10 часовъ, когда показался первый отрядъ шествія, направлявшагося по площади между трибунами и навѣсомъ, шествіе это продолжалось непрерывно за полдень. Отряды текли одинъ за другимъ, точно рѣка, правильными колоннами, почти ритмически. То были по праздничному принаряженныя общественныя группы, конныя и пѣшія, изъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей, подъ знаменами, сопровождаемыя своими оркестрами. По расчету газеты «Narodni Listy», однихъ участниковъ процессіи, не считая смотрѣвшей на нихъ публики, прошло болѣе 30.000 головъ. Въ каждомъ ряду было человѣкъ отъ 6 до 8. Можетъ быть, тому обстоятельству, что въ Богеміи сильна донинѣ гуситская закваска, слѣдуетъ приписать, что въ ней, какъ будто въ протестантской странѣ, духовенство не участвуетъ въ народныхъ празднествахъ. Оно не освящало камня подъ памятникъ Палацкаго. Замѣтно было также отсутствіе другого элемента, а именно—военной силы. Вдоль набережной выстроились немногочисленными шеренгами такъ-называемые народные гвардейцы—почетные воины, добровольцы, единственные привилегированные охранители австрійскаго императора во время рѣдкихъ посѣщеній имъ богемской столицы. Они были въ красивыхъ мундирахъ, но не имѣли при себѣ ружей; у каждого рядового были офицерскіе позументы и погоны. Полиція была крайне немногочисленна и едва замѣтна. Нѣкоторое подобіе войска представляли собою «соколы»,

подражаніе нѣмецкимъ «турнифрейнамъ», добровольцы-гимнасты, упражняющіеся въ развитіи физическихъ силъ. Ихъ считаютъ въ Богеміи до 50.000. На празднествѣ они присутствовали въ числѣ 5.000, распределенныхъ по своимъ мѣстнымъ округамъ или жупамъ, въ своихъ красивыхъ, легкихъ гороховаго цвѣта костюмахъ, похожихъ на мундиры, и съ соколиными перьями на шапкахъ. Затѣмъ, двигались всевозможныя дружины стрѣleckiя, всѣ мастерства, промыслы, руководѣлія со своими рабочими, орудіями и фабрикатами, увеселительныя товарищества и клубы, труппы пѣвческія и актерскія, общества учительскія, дамскія, даже uhadnictvo, то-есть чиновники, громадный отрядъ мужчинъ и женщинъ, циклистовъ на велосипедахъ, а вслѣдъ за всѣми этими товариществами и дружествами, три колоссальныя аллегорическія колесницы. Главная изъ нихъ представляла чету крестьянъ изъ Годславицъ, держащихъ въ рукахъ изображеніе домика, въ которомъ родился Палацкій, и помѣщенныхъ передъ его бюстомъ, обставленнымъ символическими изображеніями исторіи и славы. Колесницу сопровождали три отряда, изображающіе три великія эпохи въ историческомъ трудѣ Палацкаго и облеченные въ костюмы этихъ эпохъ: доисторическое время династіи Пржемысловцевъ, люксембургскій вѣкъ временъ Карла IV и, наконецъ, вѣкъ гуситовъ и таборитовъ. При проходѣ каждаго отряда, отъ него отдѣлялись одинъ или два человѣка и становились на площади возлѣ навѣса, такъ что кругомъ навѣса сгруппировался лѣсъ знаменъ и волнующаяся гора человѣческихъ головъ и живыхъ цвѣтовъ. Наконецъ, на площади появились и наполнили ее цѣликомъ самыя „сливки“, такъ сказать, чешскаго общества, его интеллигенція: Карлово-Фердинандовскій чешскій университетъ съ ректоромъ Кадержабкомъ и профессорами (въ Прагѣ два отдѣльные университета: чешскій и нѣмецкій, но послѣдній не показывался; вообще все нѣмецкое въ эти дни такъ скрылось, что его въ Прагѣ какъ бы вовсе и не бывало). Затѣмъ, всевозможныя академіи, члены чешскаго сейма, предста-

вители всѣхъ чешскихъ и моравскихъ городовъ. Аріергардъ похода образовали таборы пожарныхъ добровольческихъ командъ со всѣхъ концовъ Богеміи. Не стѣмлю передать вамъ, Александръ Николаевичъ, то удовольствіе, которое я ощущалъ при соприкосновеніи съ этою подавляющею массою людей, о которой никакъ уже нельзя сказать: *profanum vulgus*—, „толпа не просвѣщенна“, какъ писали еще не такъ давно русскіе пѣнты,—до того эта масса была проникнута сверху и до низу нововременными чувствами непринужденности, неторопливости, свободы, полного равенства и единодушія. Нынѣшняя Богемія, можетъ быть, одна изъ самыхъ демократическихъ странъ въ Европѣ и притомъ въ совершенно новомъ стилѣ. Она не клерикальна; есть въ ней малая толика остатковъ вельможества, но просвѣщеннаго, и стоящаго за чешскую національность; нѣтъ почти совсѣмъ средняго и мелкаго дворянства, а есть только весьма многочисленное и богатое мѣщанство и крестьянство, въ которыхъ, конечно, замѣтны оттѣнки, представляемые большею или меньшею зажиточностью, но для посторонняго чловѣка эти оттѣнки незамѣтны. Соціализмъ имѣетъ, конечно, своихъ сторонниковъ, онъ организованъ; онъ принималъ также участіе въ празднествахъ. Мнѣ указывали на группы въ походныхъ отрядахъ, въ которыхъ примѣтами, отличающими соціалистовъ, служили извѣстнаго рода живые цвѣты, напримѣръ фіалки, носимыя на груди или на шапкахъ.

Зрѣлище народнаго шествія черезъ площадь, которой присвоено теперь имя площади Палацкаго, было настолько поразительное, что затѣмъ самъ обрядъ такъ-называемой закладки камня показался чѣмъ-то второстепеннымъ и придаточнымъ. Произнесены были двѣ рѣчи — старостою Подлиннымъ, который говорилъ по обыкновенію тепло и граціозно, и сеймовымъ дѣятелемъ и журналистомъ Герольдомъ, младочехомъ, считающимся у чеховъ талантливейшимъ ораторомъ, одареннымъ превосходными внѣшними средствами и темпераментомъ мощнаго народнаго трибуна. Рѣчь эта на меня не особенно сильно подѣйствовала, мо-

жетъ быть, потому, что была длинна, а можетъ быть и потому, что будь у оратора громовой голосъ, все-таки онъ былъ бы несоразмѣренъ задачѣ бесѣдовать съ сотнею тысячъ людей на открытомъ воздухѣ; можетъ быть, также и потому, что рѣчь произнесена была въ воскресенье 19 іюня, а наканунѣ предъ тѣмъ, 18 іюня, въ большомъ софійскомъ залѣ на острову сервированъ былъ большой обѣдъ для съѣзда, который и сдѣлался самымъ интереснымъ и, такъ сказать, кульминаціоннымъ моментомъ, опредѣлившимъ съ возможною точностью, для чего мы собрались и что мы, пріѣзжіе изъ разныхъ странъ, вынесемъ изъ Праги въ смыслѣ душевнаго дара. Къ этому обѣду, которымъ я займусь, я и приурочу, разбирая всѣ рѣчи, и рѣчь Герольда при закладкѣ камня подъ памятникъ. Теперь же, кончая повѣтствованіе о закладкѣ, скажу, что обрядъ совершался такимъ образомъ, что участвующіе въ немъ поочередно, начиная съ чеховъ и переходя затѣмъ къ другимъ славянскимъ паціямъ, изъ которыхъ отъ каждой являлся одинъ представитель, ударяли молоткомъ по камню, произнося какое-нибудь краткое, соотвѣтствующее минутѣ изреченіе. Починъ принадлежалъ богемскому маршалу князю Лобковицу; затѣмъ, Подлинный повторилъ девизъ Палацкаго „*svuj k světu a vzdy dla pravdy*“ (свой къ своему и всегда для правды). Ригеръ пожелалъ, чтобы этотъ камень сдѣлался межою, за которою кончается вѣкъ тяготы и начинается вѣкъ свободы, равенства и братства. Томекъ произнесъ: „да здравствуетъ знаніе и родина, которыя представлялъ собою Палацкій“. Нѣсколько продолжительнѣе было слово, сказанное львовскимъ городскимъ головою Малаховскимъ, указавшимъ на совпаденіе и годовъ рожденія, и годовъ сооруженія памятниковъ Палацкому и Мицкевичу. Однимъ изъ послѣднихъ исполнителей обряда съ молоткомъ былъ болгаринъ, профессоръ Георговъ, который выразилъ раздѣляемое, конечно, всѣми присутствовавшими пожеланіе: „дай Богъ, чтобы мы поставили скорѣе въ Солуни (Θεσσαλονικαхъ) памятникъ святымъ Кириллу и Меѳодію“.

Х.

Перехожу къ *рѣчамъ чеховъ*. Я долженъ прежде возвратиться отъ закладки памятника къ состоявшемуся наканунѣ, въ субботу 28 іюня, банкету или пиру, предложенному комитетомъ съѣзда всѣмъ его гостямъ пріѣзжимъ. Обѣдъ былъ сервированъ на 500 слишкомъ чело-вѣкъ и продолжался отъ двухъ часовъ до семи. Подлинный уступилъ предсѣдательство вице-предсѣдателю комитета Войтлю, который превозгласилъ первый тостъ, принятый съ большимъ одушевленіемъ и громкими ура—за императора Франца-Іосифа. По предложенію Подлиннаго, условлено, чтобы отъ каждой народности говорилъ только одинъ ораторъ, но отъ этого правила сдѣланы были по-томъ нѣкоторыя, хотя и немногочисленные, отступленія. По принятому порядку, пришлось говорить первому за себя и за другихъ земляковъ чеховъ доктору Крамаржу. По своему политическому отгѣнку, онъ не младочехъ, а такъ-называемый *реалистъ*, то-есть, нѣчто среднее между старо-и младочехами. Онъ былъ въ послѣднее время вице-предсѣдателемъ рейхсрата и боролся уже при кабинетѣ Туна съ нѣмецкими обструкціонистами. Онъ извѣстенъ и въ Петербургѣ, гдѣ бывалъ, знаетъ Россію и превосходно владѣетъ русскимъ языкомъ. У младочешскаго поколѣнія онъ и Герольдъ считаются лучшими ораторами. Герольда я слышалъ впервые только на слѣдующій день, при об-рядѣ съ молоткомъ. Онъ страстиѣе Крамаржа. Для образ-чика приведу самый конецъ его рѣчи 19 іюня: «Мы знаемъ, за что мы боремся; эта борьба за правду противъ лжи обязательно должна быть довершена. Мы должны, если желаемъ побѣдить, исполнить завѣтъ Палацкаго: *svuj k světu a vzdy dla pravdy*. Неминуемо побѣда склонится къ нашимъ краснобѣлымъ знаменамъ, возглаголютъ коло-кола сто-башенной златой Праги, они загудятъ торже-ствующимъ хораломъ; просвѣтятся королевскіе Градчаны (дворецъ Hradschin, по-нѣмецки) и блеснетъ свято-вац-

лавская корона новымъ блескомъ, миллионы же чешскихъ душъ провозгласятъ передъ всѣмъ свѣтомъ: бой, который велъ Палацкій, былъ нами побѣдоносно доведенъ до конца! Взирая на насъ съ небесныхъ высотъ, духъ отца отечества будетъ благословлять свой народъ и утѣшится, что его желанія осуществились. Итакъ, возстаньте, всѣ чехи. дадимъ себѣ взаимно славный обѣтъ, что въ духѣ Палацкаго мы будемъ продолжать его подвижничество, будемъ сражаться за идеи, за правду, пока не побѣдимъ. Дадимъ себѣ обѣтъ, что только такимъ образомъ можно почтить великую память Палацкаго, которому да будетъ нескончаемая слава»!

Въ каждомъ словѣ Крамаржа въ его застольной рѣчи 18-го іюля сказывалось не только прочувствованное убѣжденіе, но и то, что эти слова произносилъ трезвый политикъ, дѣйствующій на умъ слушателей и притомъ знающій, къ чему онъ рѣчь ведетъ, и какія границы имѣютъ его желанія, примѣнительно къ условіямъ даннаго момента, а наконецъ. и то, что недостаточно желать, чтобы побѣдить; что побѣда возможна, но не безъ труда и вдалекѣ, такъ что нельзя еще опредѣлить, когда можно будетъ огласить ее трубнымъ звукомъ. Главнымъ предметомъ рѣчи становился уже не Палацкій, а тотъ исполнинскій бой двухъ міровъ, который закипаетъ вездѣ, гдѣ нѣмецкое сталкивается со славянскимъ, въ Познани ли, Силезіи, Штирії или въ Хорутаніи (Kärnthen),—всемирно-историческій бой, отъ котораго зависитъ самое существованіе Австріи. «Мы его не вызывали,—говорилъ Крамаржъ,—мы никого не желаемъ угнетать, мы защищаемся отъ натиска тѣхъ, для которыхъ ихъ границы всегда недостаточно велики». Ораторъ въ особенности жаловался на то, что этотъ натискъ производятъ не какіе-нибудь политическіе юнкера-рыцари изъ средневѣковья, но отборные вожди нѣмецкой образованности и культуры; что прокламаціи о нѣмецкихъ притязаніяхъ на Богемію подписали 800 нѣмецкихъ профессоровъ, претендующихъ на удержаніе гегемоніи нѣмецкой.

Въ этотъ моментъ ораторъ обратился къ прїѣзжимъ представителямъ славянства, просилъ ихъ о нравственной поддержкѣ противъ такого нравственнаго давленія со стороны нѣмецкой интеллигенціи по вопросу въ сущности только внутреннему, австрійскому, въ которомъ дѣйствуя въ духѣ Палацкаго, «мы,—говорилъ ораторъ,—осуществляетъ лишь программу равноправности всѣхъ народовъ, какъ славянскихъ, такъ точно и нѣмецкаго, потому что никого мы не намѣрены притѣснять. Съ нашей стороны была бы въ эту минуту черная неблагодарность, еслибы я не упомянулъ о горячей поддержкѣ со стороны подружившихся съ нами и побратавшихся славянскихъ клубовъ въ рейсратѣ. Позвольте мнѣ напомнить вамъ, что тотъ государственный человѣкъ (Казиміръ Бадени) былъ полякъ, который пострадалъ за то, что хотѣлъ, чтобы намъ даны были наши права по предмету языковъ. То былъ, господа, польскій клубъ, которому больше другихъ пришлось терпѣть за наше дѣло. Въ тѣ тяжкія минуты въ тѣ жаркіе дни, выковано было первое кольцо, которымъ обняты всѣ славянскіе народы Австріи, и я глубоко убѣжденъ, что это кольцо продержится и на будущее время и что никакая сила его не разорветъ»...

«Но господа,—продолжалъ Крамаржъ,—я вовсе не намѣренъ пѣть гимнъ о томъ, будто бы въ нашемъ славянскомъ мірѣ все обстоитъ благополучно, что въ немъ все такъ просто, какъ бы и слѣдовало ему быть. Настоящее празднество не должно закрывать намъ правду. Хотя мы вовсе не желаемъ какого бы то ни было политическаго объединенія славянъ,—а не желаемъ этого просто потому, что мы—самостоятельные дѣятели,—но у насъ далеко еще и до того внутренняго душевнаго единенія, о которомъ мечталъ Палацкій и которое выразилъ въ кипучихъ словахъ безсмертный Достоевскій. До того единенія придется намъ идти по долгимъ и труднымъ путямъ; но не забывайте, господа, что первое начало хорошаго заключается въ томъ, чтобы имѣть самопознаніе и познаніе своихъ братьевъ. До такого познанія еще намъ

очень, очень далеко. Тѣмъ не менѣе, наше собраніе все-таки фактъ нешуточный! Мы не сошлись чествовать кого-нибудь великаго вождя, который на горахъ мертвыхъ тѣлъ водрузилъ свой побѣдный стягъ. Мы не сошлись славить государственнаго человѣка, который разнесъ державы и вмѣсто нихъ соорудилъ новыя. Мы сошлись славить простаго славянскаго ученаго и политика, котораго единственными цѣлями было право и справедливость, который ничего не разрушалъ, чтобы попомъ на развалинахъ строить, но старался только о томъ, чтобы Габсбургскій домъ привлекалъ къ себѣ славянъ только тѣмъ, что его держава всегда по отношенію къ нимъ справедлива». Ораторъ просилъ затѣмъ присутствующихъ славянъ записать себѣ въ душѣ и сердцѣ, что настоящій моментъ обозначаетъ сдѣланный ими шагъ впередъ къ великому будущему, къ душевному и нравственному подъему всего славянства.

Рѣчь Крамаржа сопровождалась послѣ каждой почти фразы криками: «vubogne!» (отлично), и покрыта была громкими единодушными рукоплесканіями. Послѣ этой рѣчи сослуживаютъ особеннаго вниманія только слова профессора Голля (Goll) и Ригера. Рѣчь Голля была специальная. Онъ благодарилъ откликнувшіеся на приглашеніе изъ Праги всѣ славянскіе университеты, въ числѣ шести. Одинъ изъ нихъ не славянскій, а именно вѣнскій, отрядилъ отъ себя славянина, весьма ученаго слависта (Ягича). Съ ягеллоновскимъ краковскимъ университетомъ пражскій состоитъ въ общеніи уже 500 лѣтъ. Пока не было загребскаго, южные славяне ѣздили учиться въ Прагу. По основаніи загребскаго университета, большинство каедръ заняли сначала чехи. Изъ русскихъ университетовъ всего больше сближены съ пражскимъ кievскій, московскій и петербургскій; во всѣхъ трехъ процвѣтаетъ славяновѣдѣніе, начало которому положилъ чехъ Добровскій. Въ заключеніе, Голль провозгласилъ тостъ за живыхъ ближайшихъ сподвижниковъ Палацкаго, которые тутъ же на обѣдѣ присутствовали, за Ригера—по политикѣ, и

Томека—по исторіи. Тогда поднялся этотъ, какъ по неволѣ вызванный, еще крѣпкій, не сѣдбующій и на видъ совсѣмъ бодрый человѣкъ, вполне можно сказать, историческій, не сходявшій цѣлые полвѣка (съ 1848 г.) съ политической арены и дѣйствовавшій порою въ первыхъ роляхъ. Въ назиданіе молодому окружающему его поколѣнію, Ригеръ очертилъ подобно Крамаржу, такимъ же правильнымъ кругомъ настоящую задачу своего народа, и въ центрѣ этого круга, объемлющаго одну только внутреннюю австрійскую политику, онъ поставилъ извѣстную фразу Палацкаго, дословно имъ воспроизведенную: «еслибы Австрія не существовала, то мы бы были принуждены ее создать». Мотивировка этого вывода, за которымъ послѣдовалъ тостъ за гармонію между династіею и чехами, а также и со всѣми славянскими народами, была слѣдующая: «народъ чешскій сдѣлался основателемъ австрійскаго государства, когда призвалъ Габсбурговъ на свой престолъ, каковому примѣру послѣдовали и венгерцы. Къ тому вела неотложная политическая необходимость: спасеніе отъ пораженія турками. Въ теченіе двухъ столѣтій чешскій народъ безъ счету жертвовалъ свою кровь и деньги на борьбу съ Турціею. Но Австрія необходима еще и въ настоящее время. Она—общій оплотъ и охрана для всѣхъ заключающихся въ ней и взаимно уважающихъ себя народовъ. Въ настоящее время замыслы германскіе направлены къ тому, чтобы разбить австрійскую державу и сдѣлать насъ частями объединенной Германіи. Опасность велика и требуетъ дружнаго дѣйствія всѣхъ австрійскихъ славянъ, чтобы противостоятъ этому германскому напору. Итакъ, мы всѣ стоимъ за австрійскую монархію, ея интересы суть наши интересы, ея непріатели—наши непріатели. Австрійская держава немыслима безъ королевства чешскаго, а мы не можемъ почти представить себѣ наше существованіе безъ этой династіи, связующей накрѣпко всѣ эти народы».

Я передалъ выдающіяся рѣчи, произнесенныя устроителями съѣзда—чехами. Онѣ всѣ, такъ сказать, были на

одинъ голосъ, и очевидно рассчитаны на то, что ихъ на-
пѣвъ поддержать хоромъ всѣ славянскіе голоса. Въ этомъ
предпріятіи былъ рискъ, вмѣсто хора могла, при извѣст-
ныхъ условіяхъ, выйти кошачья музыка, нестерпимая со-
вокупность рѣжущихъ и противныхъ диссонансовъ. Весь
вопросъ заключался въ томъ, достигнуто ли будетъ, что-
бы въ славянской семьѣ, состоящей изъ множества чле-
новъ, имѣющихъ другъ съ другомъ свои особые счеты,
могло хотя бы условно и на одинъ моментъ установиться
общее перемиріе?—можетъ ли, хотя не реально (что еще
нынѣ невозможно), а только идейно осуществиться то, о
чемъ мечталъ Пушкинъ въ своемъ отрывкѣ, посвящен-
номъ Мицкевичу: «Когда народы, распри позабывъ—въ
великую семью соединятся?». Можетъ ли гимнъ, испол-
ненный лиризма, кончиться благопристойно, не разрѣшив-
шись либо драмою, либо какимъ-нибудь судьбищемъ, то-
есть, если не побоищемъ, то, по крайней мѣрѣ, рѣзкимъ
и скандальнымъ препирательствомъ? На дѣлѣ, къ удивле-
нію, все сошло мирно, хотя и не безъ нѣкоторыхъ ше-
роховатостей. Чтобы объяснить, какимъ образомъ соблю-
дено было до конца миролюбивое настроеніе, я долженъ
соединить, при обзорѣ *ответныхъ* на чешскіе *другихъ
славянскихъ голосовъ*, то, что произнесено было и на пиру
18-го іюня, и на сходкѣ австрійскихъ журналистовъ въ
ратушѣ 19-го іюня, послѣ закладки памятника, и на
ужинѣ въ честь журналистовъ того же дня въ париж-
ской «Мѣщанской Бесѣдѣ», и, наконецъ, 20-го іюня при
прощальномъ завтракѣ передъ разѣздомъ, послѣ котораго
сѣздъ уже считался закрытымъ. Начну съ объясненія
значенія и дѣятельности сѣзда журналистовъ, функцио-
нировавшаго одновременно со сѣздомъ въ честь Палацкаго.

XI.

Задумано было нѣчто весьма хорошее и практически полезное. Такъ какъ большинство народныхъ дѣятелей у западныхъ и южныхъ славянъ—литераторы, ученые или журналисты, то и порѣшили, чтобы ѣдущіе на съѣздъ австрійскіе журналисты выработали по всѣмъ славянскимъ литературамъ историческія и статистическія записки, каждый о своей печати, и предложили совмѣстно общія заключенія о томъ, въ какомъ бы смыслѣ должна была дѣйствовать въ государствѣ славянская журналистика, чтобы содѣйствовать успѣхамъ обще-славянскаго дѣла. Такимъ образомъ составлено было семь записокъ: о прессахъ чешской, галицко-польской, галицко-русинской, хорватской (Загребъ), сербской въ Приморьѣ или Далмаціи, словинской (Любляна) и словацкой (св. Мартинъ-Турчанскій). Редакторы записокъ посовѣщались сообща и условились предложить пять положеній, которыя и были внесены въ единственное засѣданіе общей сходки 10 іюня послѣ закладки памятника. Засѣданіе состоялось въ большомъ залѣ ратуши, гдѣ красуются на стѣнахъ двѣ громадныя картины Брожика: съ одной стороны—Гусь, объясняющійся передъ констанцкимъ соборомъ, и съ другой—избраніе въ короли Юрія Подѣбрада. Предсѣдательствовалъ съ большимъ тактомъ и распорядительностью Иванъ Грибаръ изъ Любляны; вице-предсѣдателями были М. Хилинскій, редакторъ краковской газеты «Czas», и Маззура изъ Загреба. Собравшіеся рѣшили, во-первыхъ, помогать себѣ взаимно въ достиженіи славянскими журналистами въ Австріи совершенной и одинаковой равноправности, и старательно избѣгать всего, что можетъ порождать споры и распри между народами и племенами въ Габсбургской монархіи (значитъ, не въ одной Цислейтаніи, но и въ совокушной Австро-Венгріи). Во-вторыхъ, они постановили хлопотать о возможно большей свободѣ печати. Въ-третьихъ, журналисты затѣяли дѣло новое и на нашъ взглядъ

совсѣмъ не подходящее, которое потребовало бы, чтобы его подвергли обсужденію со стороны экономистовъ, и могло вызвать противъ себя множество крупныхъ возраженій. Журналисты рѣшили проповѣдовать образованіе славянскаго экономического союза, завести систему торговаго и промышленнаго славянскаго протекціонизма, противоѣствовать иностранному производству, не потреблять иностранныхъ товаровъ, препятствовать промышленной эксплуатаціи въ Австріи посредствомъ иностранныхъ капиталовъ. Въ-четвертыхъ, постановлено создать въ Австріи справочный органъ для печати, посредничающій между славянскими литературами. Наконецъ, постановлено, въ-пятыхъ, соѣдинять ославленію въ общественномъ обиходѣ и въ печати именъ собственныхъ славянскихъ, какъ личныхъ, такъ и въ особенности топографическихъ, которыя поминутно искажаются до неузнаваемости, переходя черезъ нѣмецкія офіціальные канцеляріи.

При обсужденіи предложеній, производимомъ, конечно, съ необычайною быстротою, но не безъ преній, обнаружилось, какого труда стоитъ достиженіе славянскаго единенія, хотя бы въ тѣсныхъ австрійскихъ границахъ. За Австрію стоитъ и Венгрія, а двѣ централизаціи, по выраженію Палацкаго, хуже одной. Ради послѣдовательности, чехи должны бы были позвать на съѣздъ однихъ цислейтанскихъ славянъ, что оказалось невозможнымъ, потому что нѣкоторыя славянскія народности разсѣчены, и одною половиною сидятъ въ Цислейтаніи, а другою — въ Транслейтаніи. Притомъ есть и такія, которыя обрѣтаются цѣликомъ подъ мадыарскою пятою, напримѣръ тѣ словаки и угорскіе русины у Криваня, которыхъ Подлиппный поименовалъ въ своемъ первомъ привѣтствіи тотчасъ послѣ поляковъ. Они, очевидно, въ гораздо худшемъ положеніи, нежели аннектированные къ коронѣ св. Стефана загребскіе хорваты или сербы далматинцы. Есть, наконецъ, племена, которыя сами у себя еще не разобрались порядкомъ и хотя говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ, но имѣютъ разныя азбуки, напримѣръ хорваты и сербы. По-

литика внушаетъ чехамъ не трогать пока мадьяръ, не вести двойной борьбы за-разъ. И въ Венгріи чередуются настроенія болѣе или менѣе примирительныя. Когда въ іюлѣ нынѣшняго года Штройсмайръ, никогда не бывавшій у хорватскаго бана Гедервари, сдѣлалъ ему визитъ, то тотчасъ явились предположенія, что идутъ у хорватосербовъ какіе-то переговоры съ мадьярами. На сѣздѣ Палацкаго случалось поминутно, что кто-нибудь изъ приглашенныхъ не выдержитъ и проговорится. Такъ, напри-мѣръ, на банкетѣ 18 іюня, редакторъ одной газеты въ св. Мартинѣ-Турчанскомъ, Матвѣй Дуля, провозгласилъ тостъ за воссоединеніе всѣхъ разрозненныхъ частей святовацлавской короны, а въ томъ числѣ Силезіи (австрійской), на которую претендуютъ и поляки, также Моравіи и Словачины съ угорскою Русью, что отняло бы у Венгріи кусокъ ея владѣній. На сходкѣ журналистовъ, члены ея изъ венгерскаго состава поминутно требовали поправки въ выраженіяхъ относительно правительства, потому что они, считаясь со своимъ правительствомъ въ Буда-Пештѣ, не могли такъ относиться къ нему, какъ другіе ихъ собратья къ вѣнскому. Со стороны нѣкоторыхъ сербовъ грозилъ по этому поводу расколъ, который, однако, кое какъ уладился. Во время преній на сходкѣ хорошую примиряющую рѣчь сказалъ полякъ Хилинскій. Обо всѣхъ польскихъ рѣчахъ на сѣздѣ (а ихъ было много; очень толково, между прочимъ, говорили городскіе головы—краковскій Фридлейнъ и львовскій Малаховскій), можно сказать, что именно по своему спокойствію онѣ не выдвигались впередъ и не врѣзывались въ памяти, но дѣйствовали какъ тормазы на живой, увлекающійся темпераментъ чеховъ. Съ другой стороны, сближенію поляковъ съ чехами и вліянію чешскихъ федералистическихъ идей приписываю я, что старая нескончаемая тяжба галицкихъ русиновъ съ галицкими поляками если не прекратилась (такія глубокія розни не прекращаются вдругъ и безпричинно), но снята была съ очереди и на сѣздѣ Палацкаго безусловно отсутствовала. Мнѣ лично говорили влія-

тельные чехи, что они всячески располагають поляковъ къ всевозможной уступчивости. Русины никогда не держатся вкупѣ и часто переходять изъ одного изъ своихъ лагерей въ другой. Есть между ними небольшіе остатки преобладавшей нѣкогда святоюрской, или руссофильской, партіи. Одна небольшая часть русиновъ—съ весьма способнымъ, перешедшимъ совсѣмъ въ партію социалистовъ, Иваномъ Франкомъ — протестовала противъ поѣздки въ Прагу, но рѣшительное большинство стояло за поѣздку, и представители такъ-называемой малороссійской, или украинофильской, партіи, Барвинскій и Вахнянинъ, присутствовали на съѣздѣ въ самомъ миролюбивомъ настроеніи. Одного только слышалъ я, на сходкѣ журналистовъ, старорусина Щавинскаго, редактора «Галичанина», который выражался на книжномъ великорусскомъ то-есть, по нашему, на русскомъ языкѣ. По успѣшномъ и скоромъ принятіи сходкою журналистовъ пяти сдѣланныхъ имъ предложеній, всѣ мы, пріѣзжіе, были приглашены на вечеръ и ужинъ въ такъ-называемую «Мѣщанскую Бесѣду» — большой клубъ съ громаднымъ помѣщеніемъ. Палацкій былъ постояннымъ посѣтителемъ этого клуба. Здѣсь поздно вечеромъ, около полуночи, произнесъ г. Комаровъ ту рѣчь, которая по вызванному ею негодованію въ германской печати и по ожесточенію, съ которымъ на нее накинудись нѣмцы, сдѣлалась на одну минуту болѣе извѣстною, нежели все остальное, въ Прагѣ происходившее. Она представляется еще и теперь лицамъ, мало знакомымъ съ дѣломъ, въ невѣрномъ и обманчивомъ освѣщеніи. Постараюсь, какъ очевидецъ, возстановить истину во всей ея простотѣ и по возможности спокойно и безпристрастно.

XII.

Рѣчь г. Комарова была очень длинна; исподволь обдуманная, она — изъ числа тѣхъ, которыя называются программными. Она показалась мнѣ еще длиннѣе, когда я

ее прочелъ въ № 164 „Свѣта“, нежели тогда, когда я ее слушалъ. Пропускаю въ ней части ея описательныя, напимѣръ изображеніе нѣмца, какъ онъ „подкрадывается волчьимъ шагомъ“, ищущій, кого пожрать, чтобы, проглотивъ чеха, „разорвать всю славянскую позицію“, въ чемъ ораторъ якобы убѣдился во-очію въ тѣ два-три дня, когда пріѣхалъ въ Чехію, но гдѣ, вѣроятно, онъ, какъ и всѣ мы, пріѣзжіе, ни одного нѣмца въ натурѣ не созерцалъ, — до такой степени нѣмцы въ Прагѣ укрылись, вѣроятно, съ тою цѣлью, чтобы доставить намъ удовольствіе окунуться въ одну только чисто-славянскую среду.

Я оставляю также въ сторонѣ всю историческую часть рѣчи г. Комарова, но не совѣтую никому учиться исторіи по этой рѣчи. На основаніи ея онъ бы себя представилъ, что Карлъ Великій „далъ преобладаніе германской монархіи“, между тѣмъ какъ онъ, не былъ ни германецъ, ни французъ, а жилъ въ эпоху, когда еще не дифференцировалось племенное вещество, изъ котораго вышли позже и итальянцы, и французы, и испанцы, и нѣмцы. Изъ рѣчи г. Комарова читатель бы заключилъ, что напрасно трудятся историки надъ разысканіемъ путей, по которымъ ходили святыя Кириллъ и Меѳодій, и нарѣчія, на которомъ они переводили священное писаніе. По словамъ г. Комарова, оказывается, что эти святыя (дѣйствовавшіе во второй половинѣ IX вѣка, начиная съ 865 года, полвѣка послѣ кончины Карла В., въ 814 г., и бывшіе современниками Рюрика) пошли сначала къ „рускимъ въ Россію“ (которыхъ еще не было), потомъ къ полякамъ (которыхъ тоже не было), наконецъ — къ моравамъ и чехамъ. Они даже „стояли съ чехами грудь съ грудью противъ нѣмцевъ и помогли имъ одолѣть первую нѣмецкую волну“ (Карла Великаго). Самый неразборчивый, однако, читатель придетъ, вѣроятно, въ недоумѣніе: — какъ могли эти святыя „отдѣлить точно огневою гранью міръ славянскій отъ міра нѣмецкаго“, когда еще не существовало ни Польши, ни Руси, и когда христіанская церковь была еще единая, не расколовшаяся на два

католицизма--восточный и западный ¹⁾). Притомъ чехи пріобщились несомнѣнно къ латинскому западу, а главнымъ просвѣтителемъ поляковъ явился кровный чехъ и латынянинъ по богослужебному обряду, святой Войтѣхъ.

Чтобы найти оправданіе своей ненависти къ нѣмцамъ, г. Комаровъ примазывается, такъ сказать, къ грюнвальдскому сраженію 1410 г., и утверждаетъ, что если не онъ самолично, то его если не предки, то родственники-великоруссы смоленяне дрались въ этомъ боѣ подѣ знаменами Польши и Литвы. Зачѣмъ искать столь далеко, въ XV столѣтіи, примѣровъ, подобныхъ указываемому? Въ половинѣ прошлаго вѣка русскіе дрались съ нѣмцами и прижали, такъ сказать, Пруссію къ стѣнѣ въ Семилѣтнюю войну, такъ что Пруссія вѣроятно погибла бы, не наступи перемѣны въ русской внѣшней политикѣ. То же послабленіе оказала нѣмцамъ и Польша послѣ грюнвальдскаго сраженія, когда, по упраздненіи тевтонскаго ордена, Сигизмундъ I допустилъ ему превратиться въ ленное, зависимое отъ Польши, свѣтское владѣніе. Я полагаю, что можно бы представить себѣ, съ нѣкоторою, конечно, натяжкою, въ родѣ той, какую дѣлаетъ и г. Комаровъ, что теперешняя непріязнь русскаго къ нѣмцамъ есть не что иное, какъ расплата русскихъ за то, что и пруссаки и австрійцы участвовали въ походѣ на Россію въ 1812 г. дванадцати языкъ подѣ Наполеономъ. Итакъ, въ исторической части рѣчи г. Комарова много фантазіи, но мало дѣла. Обратимся теперь къ единственно существующей заключительной части этой рѣчи, т.-е. къ ея политикѣ.

Г-нъ Комаровъ беретъ за отправную точку въ своей программѣ одно крайне спорное и даже, прямѣе говоря, совсѣмъ невѣрное положеніе, что у всего славянства, а

¹⁾. Новѣйшій историкъ Богеміи, Липпертъ (Julius Lippert, Social Geschichte Boehmens. Wien. 1896. I, стр. 158), установилъ, что св. Кириллъ и Меѳодій никогда не бывали въ Богеміи. Онъ доказываетъ, что въ Моравію христіанская вѣра занесена была франками при преемникахъ Карла Вел. еще въ началѣ IX столѣтія.

въ томъ числѣ и у русскихъ, и у чеховъ, „есть только *одинъ* врагъ, а не *два*“, а именно *нѣмцы*, и что ихъ надобно немедленно побороть, вслѣдствіе чего онъ и проповѣдуетъ общій, соединенными силами, крестовый походъ на нѣмцевъ. Это положеніе невѣрно потому, что въ настоящее время у Россіи во всѣхъ частяхъ свѣта нѣтъ явныхъ враговъ, а есть только разные недоброжелатели, противники и, можетъ быть, соперники, съ которыми она справляется теперь, а вѣроятно и въ будущемъ справится, не прибѣгая къ войнѣ. Съ другой стороны, у другихъ славянскихъ народовъ и у чеховъ, у которыхъ мы гостили въ Прагѣ, есть несомнѣнно не одинъ врагъ или противникъ, а большее ихъ число, по крайней мѣрѣ двое: нѣмцы и *мадьяры*. Г. Комаровъ, какъ стратегъ, долженъ знать, что на войнѣ есть правило разъединять противниковъ, а не спланивать ихъ. Чехи на съѣздѣ тщательнѣйшимъ образомъ обходили мадьярскій вопросъ. По тому же разсчету чехи нападали только на своихъ австрійскихъ нѣмцевъ, да на одушевляющихъ сихъ послѣднихъ германскихъ профессоровъ. Чехи отлично понимаютъ, что въ ходу нынѣ только внутренній австрійскій вопросъ между нѣмцами и славянами, рѣшаемый на конституціонной почвѣ парламентскими мѣрами. Надъ нѣмецкимъ насильственнымъ обструкціонизмомъ возьметъ въ концѣ верхъ единеніе славянъ, а самъ же г. Комаровъ выразился, что „единеніе рождаетъ силу“. Ни разу чехи на съѣздѣ не коснулись германскаго императора, между тѣмъ г. Комаровъ, вспомнивъ вѣроятно классическое изрѣченіе: *Nanibal ante portas*, — рисуетъ намъ слѣдующую картину: „Готовится третій напоръ (германизма), можетъ быть болѣе опасный, чѣмъ первые два (при Карлѣ Великомъ и подъ Грюнвальдомъ). Франко-прусская война, кончившаяся столь неудачно (замѣтимъ, что она такъ кончилась только по благопріятному для Пруссіи нейтралитету Россіи) для нашего друга, народа французскаго (замѣтимъ, для друга сегодняшняго, а не вчерашняго), подняла престижъ Германіи до небывалой высоты... подъ ея выдающимся воз-

демъ, который знаетъ, куда идетъ, и знаетъ, чего хочетъ. Нѣмецъ ищетъ теперь всемірнаго владычества, чтобы раздавить западное славянство и раскинуть свои сѣти по всей Россіи“. По этимъ соображеніямъ г. Комаровъ предлагаетъ нынѣ же помочь чехамъ отбросить нѣмецкую волну, настигающую ихъ, между тѣмъ какъ чехи пока ни о чемъ подобномъ Россію не просили и не просятъ, такъ какъ они знаютъ, что имъ достаточно сгруппироваться поплотнѣе вокругъ Габсбургской династіи. Опасность для Россіи отъ германцевъ есть столь колоссальное преувеличеніе, что я не могу не признать, — эти выраженія г. Комарова употреблены имъ только какъ реторическая фигура. Державѣ, ничѣмъ внутри не волнуемой, изъ 120 милліоновъ человѣкъ, не можетъ грозить серьезная опасность отъ Германіи, имѣющей всего на все 55 милліоновъ. Притомъ Россія заручилась дружбою и крѣпкимъ союзомъ съ Франціею, такъ что ей не страшенъ и тройной союзъ, который пригомъ только оборонительный, и который вѣроятно будетъ въ будущемъ разшатанъ, такъ какъ всякій новый шагъ Австріи по части федерализаціи славянъ долженъ сближать ее съ славянскою же Россіею.

Слушая послѣдовательно рѣчь г. Комарова, я невольно задавался вопросомъ: какаѧ еѧ настоящая цѣль, какія скрыты за нею заднія мысли оратора? Я не могъ себѣ представить, чтобы г. Комаровъ, какъ русскій человѣкъ, серьезно опасался чего-нибудь для Россіи отъ нѣмцевъ. Я не могъ допустить, чтобы онъ хотѣлъ представить изъ себя выразителя народнаго чувства или общественнаго мнѣнія въ Россіи по отношенію къ нѣмцамъ. Мы недолюбливаемъ нѣмцевъ, хотя многому отъ нихъ научились и многое отъ нихъ заимствовали. Повода къ ненависти русскіе не имѣютъ никакого. Память о нѣмецкомъ господствѣ не сохранилась даже и въ преданіяхъ. Въ сто разъ больше основаній имѣли бы относиться такимъ образомъ къ нѣмцамъ поляки, въ виду того, что въ настоящее время въ бывшемъ великомъ княжествѣ познанскомъ и въ прусскихъ земляхъ открыто преслѣдуется польскій

элементъ, потому что верхъ взяло товарищество такъ-называемыхъ гакатистовъ, поддерживаемое прусскою администраціею и кабинетомъ, но у внѣ-германскихъ поляковъ этой стихійной ненависти къ нѣмцамъ вовсе нѣтъ. Поляки знаютъ, что кромѣ юнкерской партіи въ сеймахъ есть еще центръ, есть усиливающийся и равнодушный къ національностямъ социализмъ, есть нѣкоторыя гарантіи въ конституціонномъ правленіи, такъ что можно сосредоточиться, сжаться и переждать ненастное время, не опасаясь за дальнѣйшее, хотя и небезбѣдное существованіе. Я не рѣшаюсь объяснить также рѣчь г. Комарова его желаніемъ снискать себѣ дешевую популярность у чеховъ, нападая на нѣмцевъ, съ которыми чехи состоятъ во враждѣ. Онъ вовсе не нуждался въ этомъ приемѣ для своей популярности. Пріѣхавъ въ Прагу съ вѣнкомъ отъ города С.-Петербурга, съ адресомъ отъ петербургскаго славянскаго благотворительнаго общества и съ письмомъ отъ генерала Черняева, у котораго онъ былъ въ Сербіи начальникомъ главнаго штаба, г. Комаровъ сталъ какъ будто бы во главѣ пріѣзжихъ русскихъ. Его одного называли пражскія газеты „*zastupce Rusi*“, то-есть, представитель Россіи. Изъ его товарищей русскихъ никто ему не возражалъ, хотя я знаю, что нѣкоторые совсѣмъ не раздѣляли его образа мыслей; однако, никто изъ нихъ содержательной програмной рѣчи не произнесъ. Г. Комаровъ утверждаетъ въ „Свѣтѣ“, что ему сильно рукоплескали, что ему рукоплескали болѣе, нежели польскимъ ораторамъ. Рѣшать этотъ вопросъ не берусь и оставляю его открытымъ; но допустимъ, что ему сильно рукоплескали; это въ данномъ случаѣ доказывало бы только, что на каждомъ славянскомъ съѣздѣ и вообще въ средѣ славянства Россія пользуется такимъ значеніемъ и авторитетомъ, что рукоплескать будутъ неизбежно всякому, кто отъ ея имени говоритъ, не за его краснорѣчіе и даже не входя обстоятельно въ то, что онъ говоритъ. Россія—наиболѣе могучая славянская держава; она можетъ и не принимать прямого участія въ извѣстномъ славянскомъ предпріятіи, напримѣръ въ съѣздѣ, но вся-

кому извѣстно, что порою она дѣйствовала въ славянскихъ вопросахъ и въ славянскомъ духѣ, что она многимъ на эти предпріятія жертвовала, и что порою она новыя славянскія государства созидала, дѣйствуя какъ освободительница (напримѣръ, въ войнѣ 1877—1878 года). Даже и тогда, когда она не дѣйствуетъ, она представляетъ собою такую могучую силу въ запасѣ, которой нельзя не уважать уже потому, что она можетъ въ будущемъ пригодиться. Я пришелъ къ убѣжденію—не сразу, то-есть не тотчасъ послѣ выслушанія рѣчи г. Комарова, на заключительныя слова которой мало кто обращалъ вниманія, а впослѣдствіи, когда я эту рѣчь прочелъ въ „Свѣтѣ“,—что настоящій смыслъ ея заключается весь въ слѣдующихъ двухъ ея отрывкахъ, изъ которыхъ одинъ помѣщенъ въ срединѣ ея: „еслибы даже и было за что упрекнуть теперь то и другое славянское племя въ его отношеніяхъ къ другимъ славянамъ, то не время теперь считаться между нами, когда *общій врагъ у порога и насильственно ломится въ нашу дверь*“. Другой отрывокъ помѣщенъ въ самомъ концѣ рѣчи: „когда мы будемъ знать, что нѣмецкая волна отброшена и пошла назадъ, *только тогда* мы можемъ, если у насъ будетъ къ тому охота, заниматься нашими семейными дразгами, и тогда мы выработаемъ для человѣчества ту правду и тотъ распорядокъ, ту гуманность, сродную всѣмъ славянскимъ племенамъ изъ родъ въ рода и изъ вѣка въ вѣкъ“.

Предложеніе г. Комарова какъ будто бы и хорошее: забудемъ и отложимъ междоусобія, не мирясь,—но оно вѣрно только если предпосылка его истинна, то-есть, если врагъ ломится дѣйствительно въ нашу дверь. Но если предпосылка—ложна, если врагъ не ломится въ дверь, и можетъ быть не станетъ въ нее ломиться, то само предложеніе получаетъ видъ маневра, рассчитаннаго на то, чтобъ отложить на неопредѣленное время осуществленіе той правды, того распорядка и той гуманности, которые самъ ораторъ признаетъ свойственными славянамъ и обязательными, хотя онъ допускаетъ, что они не соблюдены.

Ораторъ не сообразилъ, что онъ самъ себѣ противорѣчить. Онъ проповѣдовалъ, что нѣмца можно одолѣть только единеніемъ, и что „единеніе рождаетъ силу“, значить, что съ него надобно и начинать. Но онъ внезапно забилъ фальшивую тревогу, и отложилъ гуманность до побѣды, послѣ которой она будетъ уже совсѣмъ ненужная и лишняя; однимъ словомъ, онъ поступилъ совсѣмъ противно словамъ Палацкаго, приведеннымъ мною выше въ моемъ письмѣ и обращеннымъ къ управлявшимъ цислейтанскою Австріею нѣмцамъ: „вы хотите сначала снять съ насъ головы, а потомъ уже намѣрены намъ благодѣтельствовать“.

XIII.

Рѣчь г-на Комарова весьма интересна, какъ образчикъ того, какъ трудно бываетъ русскому человѣку, оставшемуся неизмѣнно при взглядахъ временъ этнографической выставки въ Москвѣ 1867 г. на славянскій вопросъ, рассматриваемый сквозь призму тогдашнихъ, до полной враждебности обострившихся, отношеній Россіи къ польской національности,—ориентироваться въ славянскомъ вопросѣ въ настоящее время, когда все кругомъ перемѣнилось, и послѣ того какъ въ прошломъ году лѣтомъ молодой нашъ Государь былъ съ неимовѣрнымъ восторгомъ принять польскимъ населеніемъ въ Варшавѣ, и милостиво произнесъ великодушныя слова о возвращеніи своего Высочайшаго довѣрія бунтовавшей тридцать лѣтъ тому назадъ подвластной ему націи. Такъ какъ почти все то, что говорилъ г. Комаровъ, было или совсѣмъ *несвоевременное* (призывъ на бой русскихъ съ нѣмцами), или *неотносящееся къ дѣлу*, для котораго славяне собрались въ Прагѣ не для предстоящей войны съ Германіею, а для установленія между собою болѣе справедливыхъ и гуманныхъ отношеній, и, наконецъ, весьма *невеликодушное* по отношенію къ полякамъ,—то никто изъ присутствовавшихъ въ „Мѣщанской Бесѣдѣ“ не пожелалъ вдаваться

съ г. Комаровымъ въ продолжительный принципальный споръ, который не могъ бы притомъ обойтись безъ причиненія крайняго огорченія чехамъ: онъ привелъ бы неминуемо, такъ или иначе, къ размолвкѣ, къ судьбищу надъ спорящими, и далъ бы поводъ недоброжелателямъ славянъ утверждать, что славяне не могутъ сойтись, не наговоривъ себѣ грубостей и капитально не перессорившись между собою. У предсѣдательствовавшаго на бесѣдѣ журналиста Голечека записано было послѣ г. Комарова нѣсколько лицъ, но они дѣлали только отрывочныя заявленія, въ томъ числѣ польскій журналистъ въ Вѣнѣ, Альфредъ Щепанскій. Не могу теперь точно вспомнить, какъ онъ выражался, но положительно утверждаю, что онъ не высказывалъ того одобренія рѣчи г. Комарова, которое ему приписали чешскія газеты. Я не былъ расположенъ возражать г. Комарову, но просилъ, чтобы мнѣ дали голосъ внѣ очереди, что и было исполнено. Я рѣшилъ, не входя ни въ какое препирательство съ г. Комаровымъ, дать совсѣмъ другую постановку славянскому вопросу, и высказать то, что у меня было давно на душѣ по дѣлающемуся съ каждымъ днемъ болѣе успѣшнымъ нынѣшнему общенію между славянами, иными словами, то, о чемъ мы съ вами, Александръ Николаевичъ, не разъ пространно другъ съ другомъ толковали. Я позволю себѣ привести дословно мою рѣчь, что необходимо для возстановленія истины, такъ какъ она была переиначиваема и превратно толкуема въ неблагопріятномъ для меня смыслѣ. Она напечатана въ краковскомъ „Czas“ ъ, № 143, и въ петербургскомъ еженедѣльномъ „Kraj“ ъ № 25.

«Позвольте мнѣ, господа, послѣдовать примѣру моихъ земляковъ, и объяснить съ вами на моемъ родномъ языкѣ. Съѣздъ нашъ, хотя продолжается всего три дня, но уже имѣетъ свою исторію. Ссылаюсь на одно изъ его событій, на прекрасную рѣчь въ залѣ Софійскаго острова сеймоваго депутата Августа Соколовскаго, которую я считаю образцовою въ томъ отношеніи, что по произнесеніи ея тѣ члены съѣзда, которые бы одни могли возражать

оратору, а именно прїѣзжіе русскіе, подходили къ нему одинъ за другимъ, хотя онъ говорилъ только о Польшѣ, и восхваляли его приблизительно такими словами: — никого не задѣлъ, никого не оскорбилъ, а говорилъ не банально, но объективно и содержательно, и такъ, что подѣтъ, что онъ говорилъ, могъ бы всякій славянинъ подписаться. Коснусь еще одного обстоятельства, которое тогда же случилось. Московскій профессоръ Брандтъ и другіе русскіе ораторы постоянно ссылались на славянскій съѣздъ въ Москвѣ въ маѣ 1867 г., состоявшійся будто бы по почину великаго человѣка, котораго мы чувствуемъ теперь, и еще другого историческаго человѣка, который бодро несетъ на своихъ плечахъ свои восемьдесятъ лѣтъ, на доктора Франтишка-Владислава Ригера. Именно за этотъ съѣздъ, состоявшійся 31 годъ тому назадъ, обвиняемы были въ оно время обѣ названныя мною личности въ томъ, что они совершали тогда нѣчто противоправительственное, что они дѣйствовали во вредъ австрійской державѣ. Обвиненія были напрасныя, и сами собою упали. Въ числѣ главныхъ цѣлей, которыя преслѣдовали оба прїѣзжавшіе изъ Богеміи въ Москву лица, была одна, по истинѣ христіанская: вступить за отсутствовавшихъ и никакого участія въ съѣздѣ не могущихъ принимать поляковъ; простереть къ бесѣдующимъ масличную вѣтвь примиренія и согласія, и пролить нѣсколько капель цѣлительнаго бальзама на воспаленную и кровь сочащую рану въ междуславянскихъ отношеніяхъ, на роковыя послѣдствія польскаго мятежа 1863 года. Говорить за поляковъ взялся главный ораторъ съѣзда, докторъ Ригеръ, который сдѣлалъ свое предложеніе въ формѣ удивительно искусной, красивой и поэтичной. «Есть въ Москвѣ, — сказалъ Ригеръ, — 300 слишкомъ церквей: каждая имѣетъ нѣсколько, а можетъ быть и нѣсколько десятковъ колоколовъ. Когда загудятъ эти колокола въ какой-нибудь праздникъ, напримѣръ въ свѣтлое Христово воскресенье, то выходитъ дивная гармонія, великолѣпнѣйшая музыка. Предположимъ, что люди захотѣли бы и

постановили сплавить эти колокола, и сдѣлать изъ нихъ одинъ единственный, но колоссальный. Въ результатѣ вышло бы, что и звука меньше, и гармоніи нѣтъ никакой, и все дѣло рѣшительно испорчено»... Извѣстно, что успѣхъ всякаго обращенія къ публикѣ зависитъ отъ случайностей. Не каждое слово своевременно, не каждое попадаетъ въ подготовленную для него почву. Такъ и случилось: рѣчь Ригера была дурно принята, не дождалась подходящаго отвѣта, и въ полномъ смыслѣ слова провалилась, не потому, чтобы всѣ присутствовавшіе на съѣздѣ были по отношенію къ полякамъ одинаково враждебно расположены, но на съѣздахъ, подобныхъ настоящему, всѣ постановленія, какъ то бывало въ прежнихъ польскихъ сеймахъ, проходятъ только когда есть единогласіе: значить, достаточно двухъ, трехъ оппонентовъ, чтобы провалить какое бы то ни было, хотя бы самое серьезное предложеніе. Ригеровское предложеніе не было принято, потому что страсти бесѣдующихъ были еще слишкомъ сильно возбуждены. Съ тѣхъ поръ протекло много времени, нѣсколько поколѣній прошло, чередуясь, по общественной аренѣ; не въ Австріи, а въ другихъ государствахъ, послѣдовало одно за другимъ нѣсколько новыхъ царствованій, господствуетъ иное настроеніе, инныя потребности проявляются въ обществахъ. При такихъ измѣненіяхъ порядка вещей, предложеніе доктора Ригера, понынѣ не разрѣшенное, получаетъ значеніе живой дѣйствительности и является передъ нами какъ первоклассный принципальный вопросъ, какъ будто бы онъ только сегодня зародился въ человѣческомъ мозгу, и сегодня же поставленъ на очередь.

«Я убѣжденъ, что цѣль нашего съѣзда не будетъ достигнута, если всѣ мы, сколько насъ ни есть, разнородные члены великаго славянскаго племени, не сойдемся на той идеѣ, по истинѣ чешской, формулированной Ригеромъ въ 1867 году, что лучше имѣть—не скажу нѣсколько сотъ или тысячъ, но полтора десятка меньшихъ колоколовъ, нежели только одинъ; что слѣдуетъ имѣть ихъ столько,

сколько ихъ создали естественный ходъ событій и историческое развитіе славянскихъ особей, что государство—одно дѣло, а національности—другое: что мы не можемъ терпѣть равнодушно, чтобы насъ переливали въ нѣчто непохожее на то, чѣмъ насъ создала исторія, чтобы съ насъ стирали клеймо отдѣльной національности, которое мы обязаны сохранять, приумножать и передавать другимъ поколѣніямъ.

«И вотъ во мнѣ рождается нѣкоторая надежда, что предложеніе Ригера, которое не имѣло успѣха въ 1867 г., такъ какъ оно вызвало тогда протесты, пройдетъ теперь и будетъ принято нами единогласно, что оно насъ всѣхъ укрѣпитъ; а такъ какъ источникъ его—истинно чешскій, и такъ такъ у чеховъ, раньше чѣмъ у другихъ народовъ, возникъ культъ славянскаго единенія, котораго жрецами и рыцарями стали чешскій народъ и его интеллигенція, то я провозглашаю тостъ за чешскій народъ и за развивающееся изъ малой почки славянское братство, тихое, мирное, не ищущее завоеваній. Въ этомъ братствѣ, которое осуществится не сегодня, не завтра, а вѣроятно во времени далекомъ послѣ насъ,—вся наша будущность. Вѣра эта почти такая, какъ и христіанская: не дѣлай другому, что тебѣ самому не любо; желай для другихъ того, чего для себя желаешь, и начинай любить людей и группы людей—съ тѣхъ, которые къ тебѣ поближе, переходя затѣмъ отъ ближайшихъ къ болѣе отдаленнымъ»...

XIV.

Рѣчь г. Комарова дала обильную пищу нѣмецкимъ газетамъ. Особенно много столбцовъ посвятила ей вѣнская «Neue Freie Presse». Рѣчь эта оказала славянскому дѣлу ту вполне медвѣжью услугу, что совсѣмъ разстроила назначенный на 8-е августа въ Познани съѣздъ польскихъ врачей и естественниковъ. Познанская полиція распоря-

дилась, а 19-го іюля 1898 г. министръ внутреннихъ дѣлъ фонъ-деръ-Реке утвердиль, что на этотъ съѣздъ не допускаются члены-иностранцы, не состоящіе въ подданствѣ германской имперіи, подъ страхомъ высылки прибывшихъ за границу. Распоряженіе мотивировано тѣмъ, что оно сдѣлано въ виду допущенныхъ въ подобныхъ случаяхъ въ новѣйшее время анти-нѣмецкихъ манифестацій (значить, по поводу пражскаго съѣзда). Другимъ результатомъ рѣчи г. Комарова былъ пронесшійся слухъ о какомъ-то будто бы состоявшемся примиреніи, сближеніи или соглашеніи поляковъ съ русскими, осуществившемся невѣдомо на какихъ основаніяхъ, которыхъ никто не могъ опредѣлить, ни даже указать, въ чемъ бы они могли состоять. Повѣрили этому невѣрному слуху прежде другихъ чехи, которымъ пришлось, конечно, по сердцу нападки г. Комарова на нѣмцевъ, и которые всегда желали русско-польскаго сближенія. Былъ на лицо одинъ несомнѣнный, но отрипательный фактъ, что сошлись вмѣстѣ русскіе и поляки, и при этомъ не наговорили другъ другу непріятностей. Изъ этого факта, посредствомъ логическаго скачка, чехи додумались, что вѣроятно мировая заключена. Изъ обоюднаго воздержанія отъ взаимныхъ пререканій они заключили, что завсегдашніе спорщики подружились. Въ это заблужденіе впалъ и пражскій староста Подлинный, нашъ любезный хозяинъ, который на прощальномъ завтракѣ въ ратушѣ, 20-го іюня, произнесъ слѣдующія слова, къ сожалѣнію не точныя и не сходныя съ дѣйствительностью: «Мы вчера, къ великому утѣшенію нашему, видѣли, какъ нѣкоторые славянскіе народы, которые еще недавно были не совсѣмъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ, нынѣ другъ съ другомъ обнялись» (*nyni v pratelskom objeti se našli*). Чтобы возстановить все такъ, какъ оно было, я долженъ войти въ нѣкоторыя подробности.

Послѣ рѣчи г. Комарова, ни я, ни мои земляки, не подходили къ г. Комарову чокаться съ нимъ и выражать ему свое сочувствіе. Даже и Щепанскій передавалъ мнѣ,

что, подошедши къ Комарову. онъ выразилъ ему только сожалѣніе, что нынѣ русское общество въ своемъ большинствѣ относится къ полякамъ менѣе дружелюбно, нежели само русское правительство. Моя рѣчь ни въ чемъ не сходилась съ рѣчью г. Комарова, и опровергала ее пунктъ за пунктомъ. Между тѣмъ, присутствующіе русскіе и въ ихъ главѣ самъ г. Комаровъ подходили ко мнѣ чокаться бокалами, что по внѣшнему виду заставило предполагать, что они если не во всемъ, то во многомъ со мною согласны и раздѣляютъ по крайней мѣрѣ нѣкоторыя мои мнѣнія. Я долженъ отдать всѣмъ русскимъ на съѣздѣ полную справедливость, что по отношенію къ полякамъ они были безукоризненно приличны, привѣтливы и даже уступчивы въ нѣкоторыхъ случаяхъ когда ихъ чувства могли бы быть немного задѣты. Я не имѣлъ никакого повода, ни резона, не чокаться съ подходившими ко мнѣ, хотя бы и зная, что оказательство ими своего доброжелательства только наружное, не соотвѣтствующее ихъ внутреннему настроенію. Зная всегдашній образъ дѣйствія г. Комарова и его прошлую дѣятельность, я не могъ питать никакой надежды на то, чтобы онъ измѣнился и чтобы мы могли съ нимъ стать за одно по славянскому вопросу, а тѣмъ болѣе, чтобы мы столковались съ нимъ по польско-русскому вопросу, который конечно для каждаго изъ насъ не могъ не служить предверіемъ къ славянскому. Для полнаго утвержденія, что эта невозможность дѣйствительно существуетъ и теперь, я долженъ привести нижеслѣдующія данныя. Въ то самое время, когда мы чокались въ Прагѣ бокалами (7—19 іюня), въ органѣ Комарова «Свѣтъ» печатались и помѣщены въ № 150 отъ 10 (22) іюня, во-первыхъ, перепечатка изъ «Московскихъ Вѣдомостей» 1867 г. отрывка изъ рѣчи Ригера въ пользу поляковъ на обѣдѣ 21 мая 1867 г., и отвѣта на эту рѣчь редакціи «Московскихъ Вѣдомостей», смыслъ котораго тотъ, что русскіе не ненавидятъ поляковъ, но обязаны относиться съ «непримиримою враждою» къ польской идеѣ. Отрывокъ сопровождается замѣткою

«Свѣта»: «какъ-то даже не вѣрится, чтобы это было писано тридцать лѣтъ тому назадъ—*такъ дышитъ оно современностью*». Во-вторыхъ, въ томъ же номерѣ «Свѣта» помѣщена телеграмма изъ Вильна, отъ 8 іюня: «идетъ оживленная работа по постановкѣ памятника графу Муравьеву. Къ осени памятникъ будетъ готовъ»,—а въ слѣдующемъ номерѣ, 151, этому памятнику посвящена обширная корреспонденція. Нужнымъ считаю объяснить насчетъ памятника графу М. Н. Муравьеву. Не стану оспаривать, что Муравьевъ оказалъ русскому государству большую услугу безпощаднымъ подавленіемъ вспыхнушаго мятежа. Свобода признавать кого бы то ни было полезнымъ человѣкомъ или даже и великимъ человѣкомъ принадлежитъ всякому. Почитатели Муравьева вправѣ были отпраздновать закладку памятника ему. Празднованіе не имѣло ваціональнаго или даже общегосударственнаго характера, но для него выбрана была какъ разъ та минута, когда молодой Государь осчастливилъ Варшаву своимъ посѣщеніемъ. Затѣмъ газета г. Комарова избрала какъ разъ моментъ закладки памятника Палацкому, чтобы напомнить двукратно о виленскомъ памятникѣ Муравьеву. Сопоставленіе этихъ двухъ во всякомъ случаѣ разнородныхъ величинъ сдѣлано, конечно, не для чеховъ, у которыхъ «Свѣтъ» не распространенъ. Оно получаетъ свой смыслъ, если его сопоставить съ замѣткою редакціи о современности непримиримой ненависти русскихъ и теперь къ польской національной идеѣ. Какъ членъ пражскаго съѣзда, могу увѣрить моего бывшаго сочлена, что именно онъ—несовременный и отсталый человѣкъ по отношенію къ славянскому вопросу. Весь съѣздъ ставилъ на первомъ планѣ уваженіе ко всѣмъ національнымъ идеямъ. Въ извѣстіяхъ «Свѣта» о виленскомъ памятникѣ я не могу не усмотрѣть еще нѣкотораго забвенія или нарушенія г. Комаровымъ, ѣхавшимъ на съѣздъ, гдѣ онъ зналъ, что будутъ и поляки—правила приличія, которое французы мѣтко выразили въ слѣдующей поговоркѣ: *on ne parle pas de la corde dans la maison d'un pendu*. Съ извѣстіями о памят-

никѣ безъ всякаго вреда или потери можно было повременить до іюля или августа мѣсяца...

Послѣ прощальнаго завтрака въ ратушѣ съѣздъ сталъ быстро разъѣзжаться. Многіе изъ сочленовъ поляковъ и чеховъ собирались на 4 (16) іюня въ Краковъ, на торжество открытія памятника Мицкевичу. Я былъ въ томъ числѣ. Собрался также ѣхать въ Краковъ и профессоръ Ѳ. Р. Брандтъ, который, какъ знатокъ всѣхъ славянскихъ языковъ, приготовилъ на этотъ случай рѣчь на польскомъ языкѣ. По поводу этой рѣчи и сопровождавшихъ ее, но не прервавшихъ ее шиканій, ходятъ самые невѣрные слухи. Я въ другой разъ напишу объ этомъ инцидентѣ. Могу теперь же удостовѣрить, что рѣчь г. Брандта была весьма теплая по отношенію къ полякамъ и весьма приличная; что она была принята сочувственно лучшими краковскими и львовскими газетами; что г. Брандтъ проявилъ несомнѣнно признаки извѣстной гражданской храбрости и въ этомъ случаѣ, и что онъ былъ и принятъ и провожаемъ съ подобающимъ ему почетомъ...

Я кончилъ, дорогой Александръ Николаевичъ, мое слишкомъ, можетъ быть, растянувшееся повѣствованіе. По прочтеніи его, вамъ вспомнится, можетъ быть, извѣстное изреченіе, приписываемое Галилею: *e pur si muove!* Въ славянствѣ западномъ и южномъ кой-что движется, происходитъ нѣчто новое, и есть прогрессъ къ лучшему. Въ области русской государственной политики славянскій вопросъ есть одинъ изъ весьма многихъ, но онъ далеко не первая скрипка въ оркестрѣ. По временамъ, но не часто, прибѣгаютъ къ этому инструменту и на немъ заигрываютъ. Въ промежуткахъ его разработка могла бы быть производима съ поспѣшными усиліями частныхъ лицъ, единичныхъ и собирателей литературы, ученыхъ обществъ и вообще русской интеллигенціи. Надлежало бы ознакомиться съ родственными племенами, съ ихъ литературою, нравами и учрежденіями. Знакомство это должно бы быть не столько книжное, сколько бытовое. Вы знаете, Александръ Николаевичъ, что по этой части наше рус-

ское общество, къ которому и я принадлежу, какъ умственный работникъ, трудящійся многіе десятки лѣтъ, весьма еще слабо; въ немъ нѣтъ настоящей заинтересованности къ этому предмету, нѣтъ охоты идти по этому пути. Оно отличается косностью; средній уровень знаній о братьяхъ славянахъ, начиная съ ближайшихъ а именно съ поляковъ и чеховъ, весьма невысокъ. Будемъ надѣяться, что наступитъ въ будущемъ перемѣна. Будемъ полагаться на дѣятельность подрастающихъ молодыхъ поколѣній.

Эмсъ.—15-го іюля 1898 г.

Страсти Господни въ Оберъ Аммергау.

(Путевыя воспоминанія).

Страсти Господни въ Оберъ Аммергау.

(Путевыя воспоминанія).

I.

Въ пятницу 18 іюля 1890 я отправился по желѣзной дорогѣ изъ Мюнхена въ Партенкирхенъ; въ поѣздѣ были по большей части англичане и въ числѣ ихъ множество духовныхъ лицъ. Мы очутились у самыхъ предгорій Баварскаго Тироля.—Десятковъ пять—шесть экипажей: каретъ, фазтоновъ, повозокъ ждуть пассажировъ и везутъ ихъ по шоссеиной дорогѣ въ 9 километровъ нарочно для доставки зрителей на Passionspiel устроенной. Дорога подымается зигзагами вверхъ по Аммеру на Этталъ къ длиннѣйшей въ одну улицу выстроенной деревушкѣ Оберъ Аммергау. — Весь этотъ край званъ былъ поповскимъ (Pfaffenwinkel); одни прелатуры да монастыри.—Обѣзжая его, можно было въ теченіе двухъ недѣль проводить каждую ночь въ иномъ монастырѣ или церковномъ домѣ. Земля эта принадлежала Вельфамъ, потомъ Гогенштауфенамъ, потомъ Виттельсбахамъ. Одинъ изъ сихъ послѣднихъ Людви́гъ Баварскій сталъ Императоромъ въ 1314 (Людви́гъ IV) отправился въ Италію короноваться а потомъ, вернувшись опять въ свои баварскія владѣнія, устроилъ въ Этталѣ монастырь и при немъ общежитіе для 13 престарѣлыхъ рыцарей, подчиненное строгому уставу, нѣчто подобное тому, что по сказанію существовало въ

Монсальватѣ для храненія святого Грааля. Отъ Миннезингера Вольфрама фонъ Эшенбаха и Людвигу IV до Людвигу II, короля баварскаго, построившаго неподалеку Шванштейнъ и помышлявшаго о сооруженіи новаго Монсальвата въ Фалькенштейнѣ, вездѣ слышатся здѣсь отголоски сказанія о Парсивалѣ, вдохновившіе Вагнера.—Рыцарское братство, основанное Людвигомъ IV, какъ-то разстроилось, исчезло, но монастырь оставался и былъ умственнымъ и артистическимъ свѣточемъ въ этомъ захолустѣ. Когда въ 1744 г. церковь въ Этталѣ сгорѣла, ее отстроили вновь въ XVII вѣкѣ въ стилѣ бароко на подобіе венеціанской Santa Maria della Salute. Громадный куполъ увѣнчанъ фонаремъ, верхъ котораго пирамидальный; множество арокъ, избытокъ позолотъ, множество орнаментовъ, амурчиковъ, лѣпныхъ и рѣзныхъ облаковъ, множество фрескъ на сводахъ—Въ 1803 монастырь закрытъ, церковь обращена въ простую приходскую съ хорошею при ней монастырскою школою.

Отъ Этталя по пути къ Оберъ Аммергау край небосклона образуютъ вереницею растягивающіеся верхи горнаго хребта, между которыми особенно замѣтна тонкая и заостренная игла *Kofel* (римскія *Coveliasae*). Тутъ былъ римскій лагерь, тутъ была большая и въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ сильно посѣщаемая дорога изъ Вероны въ Аугсбургъ.—По этой дорогѣ не только ввозились въ Германію издѣлія италіанскія, но распространялись италіанскія культура и искусство.—Все мѣстное населеніе художнически образованное, въ каждой избѣ есть живописцы или рѣзчики, главнымъ образомъ *богортъчики* (*Herrgottschnitzler*), выдѣлывающіе распятія и изображенія святыхъ. Оберъ Аммергау—простая деревня, въ видѣ одной безконечной ломаной линіи, съ множествомъ придворковъ, съ простыми деревянными заборами изъ жердей. Каждый домъ въ два этажа. Дома большею частью каменные, бѣлые, но на этомъ бѣломъ фонѣ росписаны фрески: Христосъ, святые въ облакахъ. Есть теперь и гостинницы на европейскій манеръ, но только для весьма богатыхъ людей;

за то имѣется великое множество заѣзжихъ домовъ (Gastwirtschaften) устроенныхъ на одинъ манеръ. Съ крыльца ходъ въ сѣни, на одну сторону которыхъ нарядная гостиная (Gaststube), по другую шинокъ, преимущественно пивной. Изъ сѣней крутая лѣстница ведетъ на верхъ въ жилыя комнаты, которыя въ эпохи представленій превращаются въ общія спальни для пріѣзжихъ посѣтителей. кроватей по 3 или 4 въ комнатѣ, съ платою по 4 марки съ персоны за переночеваніе. Такъ какъ въ томъ же домѣ подъ тою же крышей есть помѣщенія для лошадей и скота, то запахи отъ навоза и кухни проникаютъ повсюду. Деревня растянулась по рѣчкѣ Аммеру; на одномъ ея концѣ церковь, на другомъ театръ, обнесенный заборомъ съ греческимъ фронтономъ, весь расписанный сѣро-коричневыми фигурами (grisaille). По другой сторонѣ рѣки на холмѣ высится великолѣпное исполинское распятіе, кругомъ котораго расположена группа, состоящая изъ Богоматери и учениковъ. Этотъ памятникъ изъ желтоватаго камня сооруженъ королемъ баварскимъ Людвигомъ I.

Такова мѣстность; къ субботѣ переполненіе ея посѣтителями страшное, всѣ дома, не исключая самыхъ скромныхъ крестьянскихъ, заняты; ненашедшіе себѣ мѣста помѣщаются въ окрестныхъ селеніяхъ.—Богатые экипажи и конные ѣздоки проталкиваются съ трудомъ чрезъ толпу пѣшихъ гуляющихъ, между которыми преобладаютъ англосаксонцы надъ нѣмцами и духовные надъ свѣтскими. Между духовными у многихъ по фіолетоваго цвѣта примѣтамъ въ костюмѣ видно, что они римскокатолическіе прелаты или епископы.—Тотчасъ послѣ того какъ смерклось, улица пустѣетъ. Пріѣзжіе рано ложатся спать. На слѣдующій день съ 6 часовъ утра идутъ обѣдни, а ровно въ 8 начинается представленіе. Прежде чѣмъ стану его описывать, скажу нѣсколько словъ о происхожденіи и теперешнемъ устройствѣ представляемыхъ на сценѣ страданій или мукъ Господнихъ.

II.

Большинство космополитической интеллигентной публики, стекающейся въ этотъ театръ выносить обыкновенно то впечатлѣніе, что они созерцали какимъ то чудомъ уцѣлѣвшій остатокъ средневѣковыхъ мистерій, нѣжный цвѣтокъ наивной, чистой народнической поэзіи, продолжающій цвѣсти и благоухать въ какомъ то захолустьи у мало образованныхъ мужиковъ. Такое мнѣніе совсѣмъ несогласно съ истиною. *Passionsspiel* есть нѣчто весьма искусственное, плодъ книжной учености, школьной выправки и обдуманнѣйшей религіозной политики.— Своими подземными для простаго глаза невидимыми корешками представленія страстей Господнихъ по своему содержанію, по своему тексту, заходятъ въ средніе вѣка, но сами они произошли отъ скрещенія италіанскаго возрожденія, перенесеннаго на нѣмецкую почву, съ католической антиреформаціей, обновившей римскій католицизмъ въ XIV столѣтіи, съ религіознымъ движеніемъ, во главѣ котораго стояли иезуиты.

Вездѣ въ западной Европѣ вообще, а слѣдовательно и въ Германіи, были въ ходу такъ называемыя мистеріи, представленія изъ ветхаго и новаго завета, разыгрываемыя цеховыми, церковными или иными братствами,—иногда труппами странствующихъ актеровъ, товарищами мейстер-зенгеровъ занимающихся драматическимъ искусствомъ. — Отличительными чертами подобныхъ представленій въ Германіи были простота, наивность, серьезность.—На первомъ планѣ стояли мораль благочестія, забота о самой сути представленнаго сюжета, а не о пышной внѣшности, не объ обстановкѣ, дѣйствующей на воображеніе посредствомъ чувственныхъ представленій.—Наоборотъ, за Альпами въ періодъ возрожденія сама обстановка стала главнымъ дѣломъ и совершенствовалась по мѣрѣ усилиющагося знакомства съ античнымъ театромъ. Сохранились извѣстія, что въ самомъ концѣ XV и въ первой четверти XVI

вѣка страсти Господни представляемы были въ Римѣ въ Колизеѣ и что тогда же изданъ былъ самъ текстъ этого представленія Пенитенціаріемъ *Джуліано Дати* (умершимъ въ 1520 г.): *La rappresentazione del Nostro Signore Jesu Christo quale si representa in Coliseo in Venerdi Santo con la sua Resurrezione istoriata* (См. статью Грегоровіуса въ «*Unsere Zeit*» 1890 г. 8 выпускъ). — Представленія происходили обыкновенно на Пасхѣ, постановкою занималось церковное братство *del Gonfalone* при церкви *S. Maria Maggiore*. Зрители помѣщались внизу, на самой аренѣ, сцена устраивалась на возвышающихся ступеняхъ амфитеатра, еще совѣмъ на манеръ средневѣковый. Рядкомъ одна возлѣ другой помѣщались немѣняющіяся декорации, изображающія Садъ Елеонскій, Голгоѳу и дворецъ Пилата, надъ ними родъ галлерей изображающей облака съ ангелами, а внизу преисподняя, сообщающаяся со сценою посредствомъ трапа. — Прологъ произноситъ ангелъ. Душа патріарха Іакова опускалась въ адъ, возвѣщая пришествіе Мессіи. Представленіе кончалось докладомъ сотника Пилату о чудесахъ и знаменіяхъ сопровождавшихъ распятіе Христа. Представленія въ Колизеѣ были прерваны по разореніи Рима въ 1525 г. войсками Карла V, они возобновились въ 1529 г., но были окончательно закрыты въ 1539 г., потому что давали поводъ къ беспорядкамъ, къ избіенію евреевъ. — Между тѣмъ театральное зодчество въ XVI столѣтіи ознаменовалось въ Италіи громадными успѣхами. Великіе мастера берутся за преобразование, устраивая сцену по образцу античнаго театра. Знаменитый Андрей Палладіо родомъ изъ Виченцы (род. 1518 умеръ 1680) затѣялъ въ Виченцѣ постройку «Олимпійскаго театра» которую довелъ до конца въ началѣ XVII в. его ученикъ Скамоцци. — Сценическая обстановка въ Оберъ Аммергау по своему устройству поразительно похожа на этотъ Олимпійскій театръ Палладіо. Начало Оберъ Аммергаускихъ представленій относится къ первой половинѣ XVII вѣка, то есть ко времени, когда іезуиты, ставъ твердою ногою въ Баваріи, господствовали не только въ

политикѣ, но и въ искусствѣ, когда они были въ модѣ, давали тонъ, были законодателями вкуса и когда ихъ вліянію подчинялось все духовенство, всѣ церковныя братства, занимавшіяся драматическимъ искусствомъ.— Всѣ усовершенствованія въ театральной Technikѣ въ подражаніе древнимъ образцамъ не только въ архитектурѣ, но и въ пластикѣ, музыкѣ и мимикѣ были примѣнены братьями ордена съ религіозною цѣлью борьбы съ протестантизмомъ и усиленія привязанности народа къ римскокатолическому вѣроисповѣданію посредствомъ дѣйствія на его чувственность, на его воображеніе.—Переворотъ произведенный братьями ордена въ сценическомъ искусствѣ отчасти былъ похожъ на тотъ, который совершенъ въ нашемъ вѣкѣ Рихардомъ Вагнеромъ и который состоялъ въ сочетаніи всѣхъ родовъ искусствъ въ рамкахъ драмы, причемъ однако сама основа драмы, заключающаяся въ текстѣ, сдѣлалась чѣмъ то второстепеннымъ. Этотъ текстъ могъ бы быть и даже бывалъ иногда латинскій Уразумѣнію его помогутъ печатныя книжки (Perioschen), не вслушиваются же и теперь въ слова текста иностранные пріѣзжіе въ Оберъ Аммергау.—Самъ текстъ взятъ изъ средневѣковыхъ мистерій, но онъ передѣланъ и до неузнаваемости изукрашенъ; точно также измѣнена и вся обстановка на сценѣ съ помощью итальянскихъ мастеровъ, скульпторовъ, рѣзчиковъ, штукатуровъ, при содѣйствіи такихъ капельмейстеровъ, какъ знаменитый въ свое время Орlando ди Лассо и при роскошнѣйшей костюмировкѣ.

Религіозная драма, въ которой главными дѣятелями были братья іисусова ордена пришла въ концѣ XVII и въ XVIII столѣтіяхъ въ состояніе полнаго разложенія и упадка, вслѣдствіе того, что съ переменною времени и вкусовъ сцена сдѣлалась по отношенію къ церкви совсѣмъ независимою и свѣтскою. Въ Германіи постепенный ходъ этой секуляризаціи драматическаго искусства обозначается тѣмъ, что при дворяхъ нѣмецкихъ, а въ томъ числѣ и при баварскомъ заводится иноземныя привозныя представленія: итальянская опера (*drama per musica* съ

1652 г.) и французскія труппы актеровъ (съ 1670 г.). Денежныя средства, щедро сыпавшіяся изъ казны на іезуитскіе спектакли, текутъ уже по иному руслу, на эти иностранныя сцены международного характера. Образованное и великосвѣтское общество уже не интересовались библейскими сюжетами. Эти сюжеты стали развлекать одно лишь простонародье и представленія ихъ дѣлаются болѣе и болѣе уродливыми и рутинными. Они переполняются аллегоріями, Дѣйствующими лицами являются отвлеченныя понятія: смерть, грѣхъ, или божества языческой міѳологіи. Это смѣшеніе языческаго съ христіанскимъ, доходящее до карикатурнаго изображенія религіозныхъ предметовъ, заставило само католическое духовенство вооружаться противъ религіозныхъ представленій на сценѣ и требовать ихъ запрета. Духъ XVIII вѣка былъ вообще антирелигіозный и раціоналистическій склонный къ тому, чтобы относиться къ религіознымъ предметамъ не только отрицательно, но и насмѣшливо. Въ представленіяхъ духовенства проводится та идея, что священныя таинства религіи безусловно не подлежатъ сценическому представленію. — 31 марта 1770 г. послѣдовало распоряженіе баварскаго курфюрста Макса Іосифа III безусловно запрещающее постановку страстей Господнихъ (*die Passionstragödien gänzlich abzuschaffen und dieselbe weder in der Fasten, am mindesten aber in der heiligen Charwoche mehr zu gedulden*), тяжелая рука бюрократіи и полиціи легла такимъ образомъ на этой отрасли искусства, сдѣлавшейся простонародною, вслѣдствіе того, что для интеллигентнаго общества она стала безразличною. — Спрашивается, какъ могли уцѣлѣть при запретѣ 1770 г. народныя религіозныя представленія въ Оберъ Аммергау?

III.

По мѣстному преданію, когда въ 1633 г. въ Баваріи свирѣпствовала *черная смерть*, Оберъ Аммергауская община, которую опустошала эта зараза, постановила въ видѣ религіознаго обѣта справлять каждые десять лѣтъ трагедію смерти Господней (die Tragedie zur Ehren des bitteren Leydens und Sterbens Jesu Christi zu halten und zu exhibiren).—Какъ только данъ былъ этотъ обѣтъ, язва внезапно прекратилась. Первое представленіе дано въ 1634 г., но затѣмъ въ 1680 г. рѣшено перенести зрѣлища на года оканчивающіяся нулемъ, что продолжалось съ 1680 г. по 1770 г., когда послѣдовалъ правительственный запретъ. Оберъ Аммергауцы жаловались, ссылаясь на обѣтъ. Правительство отвѣтило, что дѣнный обѣтъ можно исполнять инымъ какимъ-нибудь образомъ (eine andere gottesdienstliche Handlung, Predigt oder Standgebet). Ходатайство общинниковъ возобновилось въ 1780 г. при курфирстѣ Карлѣ Теодорѣ, когда сила запрета значительно уже ослабѣла. Примѣняясь къ мотивамъ вызвавшимъ запретъ, Оберъ Аммергауцы просили о допущеніи представленія изъ ветхаго и новаго завѣта, по очищеніи его отъ всѣхъ дающихъ поводъ къ соблазну несообразностей (von allen anstosslichen Ungebührlichkeiten). Имъ разрѣшено то, о чемъ они просили, но послѣ представленія 1780 г. поднялось уже послѣднее преслѣдованіе зрѣлищъ въ духѣ просвѣщеннаго деспотизма. Первый министръ графъ Монжеля (Montgelas) запретилъ въ 1801 г. Passionspiel безусловно и объявилъ, что привилегія данная Оберъ Аммергауцамъ потеряла силу. Въ 1810 г. депутація отъ общинъ, имѣя во главѣ своего бургомистра Лонга, пріѣхала въ Мюнхенъ хлопотать о разрѣшеніи. Прошеніе для депутаціи сочинилъ священникъ Самбуга, бывший воспитатель тогдашняго кронпринца, сдѣлавшагося потомъ королемъ Людовигомъ I. По просьбѣ сына король Максъ Іозефъ разрѣшилъ 3 марта 1811 г. представленія, которыя съ тѣхъ

поръ отбываются по нулевымъ годамъ, по въ 1870 г. были прерваны по случаю франко-германской войны. Ближайшее произойдетъ въ 1900 г.

Необходимость приспособленія зрелища къ духу вѣка и устраненія изъ него несообразностей и неприличій повлияла самымъ благотворнымъ образомъ на логическую часть зрѣлища, то есть на содержаніе текста, который представляется нынѣ въ слѣдующемъ видѣ. У мѣстнаго почтмейстера Гвидо Лонга имѣется старинный печатный текстъ представленія изъ 4500 стиховъ, помѣченный 1662 г.,---Критическія изслѣдованія показали, что онъ образовался отъ сліянія въ одно двухъ источниковъ: 1) рукописнаго *Passionsspiel*'а XV вѣка, которымъ пользовалось какое-то братство аугсбургскихъ лицедѣевъ, весьма грубого и наивнаго и 2) трагедіи о страстяхъ и смерти І. Х. напечатанной въ 1566 и сочиненной аугсбургскимъ учителемъ *Basti* (т. е. Себастіаномъ) *Kild*омъ. Въ своей совокупности компиляція 1662 г. ниже всякой критики, она произведеніе преимущественно нравоучительное. Съ конца XVII в. въ представленіе включаются разныя вставки, разныя аллегоріи; входитъ душа и начинаетъ бесѣдовать съ ангеломъ о страстяхъ господнихъ. Когда близилось представленіе 1750 г. и Оберъ Аммергауцы ожидали пріѣзда до 12000 посѣтителей, они обратились къ ученому профессору Фердинанду Росслеру, кончившему жизнь монахомъ въ Этталѣ, какъ къ извѣстному того времени драматургу (*berühmter Comicus seiner Zeit*) съ просьбою о приспособленіи текста „Страстей“ къ требованіямъ новаго времени и вѣка. Росслеръ установилъ то дѣленіе представленія и тотъ распорядокъ частей, которые соблюдаются и теперь. Сцены драмы чередуются съ такъ называемыми *Exhibitionen*, то есть живыми пластическими картинами, изъ ветхаго завѣта, прелвозвѣщающими страданіе Христа. — Передъ дѣйствіями драмы и живыми картинами на просцениумъ выходятъ такъ называемые „духи хранители“ (*Schutzgeister*), родъ хора знакомящаго зрителя съ тѣмъ, что будетъ представляться. — Сверхъ этихъ духовъ храни-

телей выводились на сцену олицетворенія отвлеченныхъ понятій: смерть, грѣхъ, жадность, зависть, толпы адскихъ духовъ. — Представленіе сопровождалось музыкальнымъ акомпаниментомъ и хоровыми аріями. О вкусѣ господствовавшемъ въ этомъ произведеніи, скомпанованномъ Росселемъ, можно судить по заключительной картинѣ представленія или по такъ называемому апоѳеозу. Стоялъ на сценѣ алтарь, на немъ книга съ семью печатями, а на ней агнецъ съ ореоломъ, лавровымъ вѣнкомъ и хоругвью. Предъ алтаремъ лежатъ скованные грѣхъ, смерть и дьяволъ, алтарь окружали прародители и пророки.

Я уже упоминалъ о томъ, что подъ вліяніемъ развившейся въ XVII в. реакціи противъ религіозныхъ зрѣлищъ, признано необходимымъ произвести очистку ихъ отъ миеологическихъ налетовъ, и видоизмѣнить даже словесную ихъ форму, сдѣлавъ дѣйствіе болѣе простымъ, болѣе свободнымъ и реальнымъ. — Эта новая переработка произведена въ 1811 г. однимъ изъ монаховъ упраздненнаго монастыря Отмаромъ Вейссомъ и была весьма коренная, капитальная. Вейссъ безпощаднѣйшимъ образомъ исключилъ изъ представленія все аллегорическое, стихи онъ оставилъ только для хора, то есть для части представленія поучительно-лирической, а все лицедѣйствіе передалъ просто прозою, съ воспроизведеніемъ представляемыхъ событій на сколько возможно по подлиннымъ словамъ евангелія. Последняя ретушировка текста сдѣлана умершимъ въ 1883 г. отцомъ Іосифомъ Алоизіемъ *Дайзенбергеромъ*, который сильную прозу Вейсса превратилъ въ бѣлые нерифмованные стихи. — Музыкальный акомпаниментъ игравшійся при представленіяхъ 1890 г. принадлежитъ мѣстному школьному учителю Року у *Дедлеру*, сочинившему въ 1814 г. музыку довольно однообразную и слабую, но подходящую къ представленію и къ средствамъ труппы въ качествѣ добавочнаго второстепеннаго элемента.

IV.

Представленіе начинается въ 8 часовъ утра и продолжается до 6 часовъ вечера съ малымъ перерывомъ въ полдень, длящимся полтора часа. Оно происходитъ на открытомъ воздухѣ. Они не прерывались даже въ случаяхъ довольно частыхъ въ этой горной мѣстности падающихъ дождей. Отъ этой непріятности нынѣ защищена часть сидѣній для публики; эти дорожки оплачиваемыя мѣстами имѣютъ надъ собою родъ легкаго навѣса. Три крытыя строенія возвышаются на сценѣ, одно главное съ фасадомъ въ родѣ греческаго храма съ занавѣсью, поднимающеюся, когда внутри этого храма представляются живыя картины изъ ветхаго завета или идутъ главныя явленія напримѣръ: тайная вечеря, моленіе въ Геосиманскомъ саду или распятіе на Голгоѣѣ. — По обѣ стороны этого храма расположены симметрически двѣ меньшія постройки, направо дворецъ первосвященника Каіафы и налѣво дворецъ Пилата. Оба боковыя строенія соединены съ главнымъ посредствомъ арокъ, подъ которыми виднѣются на перспективѣ двѣ улицы Іерусалима. Передъ тремя зданіями широкая площадка или такъ называемое *proscenium*, на которомъ свободно движутся изображаемыя толпы народа числомъ до четырехсотъ человѣкъ и потомъ быстро исчезаютъ, либо входя въ храмъ либо стекая по улицамъ подъ арками. — Все представленіе состоитъ изъ трехъ совершенно отдѣльных перемежающихся и поочередно дѣйствующихъ на публику элементовъ.

Представленіе состоитъ *во-первыхъ* изъ хора „духовъ хранителей“, произносящаго на распѣвъ при акомпаниментѣ музыки въ церковномъ стилѣ стихи въ родѣ псалмовъ. Послѣ каждого драматическаго явленія и во все время представленія живыхъ картинъ выходятъ на просценіумъ и располагаются лицомъ къ зрителямъ полукругомъ 10 мушкетѣровъ, 14 женщинъ, всего 24 человѣка такъ называемые *Schutzgeister*. — Въ былое время они являлись въ фанта-

стических костюмахъ, съ вѣнками изъ птичьихъ перьевъ на головахъ, съ какими изображалъ поздній ренессансъ американцевъ время Колумба. Теперь дѣйствуютъ они въ нарядахъ царей и царицъ средневѣковыхъ, въ золотыхъ коронахъ и опоясанные золотыми шнурами. Лица хористовъ грубыя, но выразительныя. Есть между женщинами такія, которыя по голосу и по очертаніямъ прямогодились бы въ валькири.

Вторую составную часть представленія образуютъ *Vorbilder* или живыя картины изъ ветхаго завета, представляющія символически событія новаго завета. — Въ 1880 г. даваемы были 22 такія картины. Нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ съ новымъ заветомъ самую отдаленную и такъ сказать натянутую связь, въ доказательство чего, напримѣръ, приведу поясненіе даваемое хоромъ разводу Артаксеркса съ Васты и возведеніе въ царицы Эсѣири.

Seht Vasti die stolze wird verstossen

Ein Bild was mit der Synagoge hat Gott beschlossen.

Первоклассные мюнхенскіе художники помогли крестьянамъ Оберъ Аммергауцамъ ставить эти картины, онѣ скомпанованы въ стилѣ италіанской живописи лучшаго времени, то есть XVI вѣка.

Наконецъ *третью* часть представленія, собственно ту, которая и есть существенная, образуетъ сама драма, въ 17 дѣйствіяхъ подраздѣляющихся на явленія. Представленіе начинается со вѣзда Христа въ Іерусалимъ на ослиати. — Густыя толпы народа текутъ изъ проходовъ подъ арками, изображающихъ улицы Іерусалима, на просценіумъ. Христосъ спѣшившись входитъ въ храмъ и изгоняетъ оттуда торговцевъ. — Христосъ и ученики изображены въ костюмахъ, въ какихъ ихъ писали Тиціанъ и Рафаэль. Толпа наряжена по восточному въ цвѣтныя яркія одежды; она движется съ такою свободою и непринужденностью, какими мы восхищались при представленіяхъ мейнингенской труппы. Конечно, въ уста Христа влагается многое, чего нѣтъ въ евангеліи, но это вставное превосходно выдержано въ тонѣ и духѣ евангельскаго повѣствованія.

Затѣмъ слѣдуетъ совѣщаніе архіереевъ и книжниковъ у Каиафы, въ которомъ надо было все сочинять отъ начала до конца. Сочинено недурно; главная забота какъ заполнить и взять въ свои руки Христа; есть въ виду ученыхъ сребролюбецъ, котораго рѣшено къ себѣ зазвать и склонить на свою сторону. Затѣмъ въ Виѳаніи Христосъ разговариваетъ съ учениками по случаю близящагося праздника Опрѣсноковъ; приходитъ Лазарь съ сестрами; Христосъ прощается съ матерью.—Въ этой средѣ, дышащей одними только задушевыми чувствами и любовью обрисовывается темнымъ пятномъ лицо предателя, передаваемое довольно близко къ евангелію, но задуманное съ замѣчательно тонкою художественностью и не превращенное въ нѣчто сатанинское. За нимъ оставленъ обликъ человѣческій, такъ что мы понимаемъ мотивы его дѣйствій, рѣшимость грубаго, черстваго, ограниченнаго чело-вѣка, имѣющаго свои поводы недовольства образомъ дѣйствія Христа. Это по натурѣ любострастительный скопидомъ; онъ недаромъ и избранъ былъ Христомъ въ назначеніе всего братства, въ распорядители довѣренной ему мощны, которая истощалась вслѣдствіе щедрости Спасителя. Іуда искренно скорбитъ о томъ, что одного наряда на умощеніе ногъ Спасителя вышло на 300 динаріевъ.—Онъ страдаетъ потому, что вмѣстѣ съ другими вѣруетъ въ возстановленіе Христомъ Іудейскаго царства, но когда онъ услышалъ, что Христосъ готовится душу свою положить за овцы, то крайне смущенъ и озадаченъ мыслію о томъ, а съ нимъ же самимъ что будетъ? (*Wer sorgt, wenn ich nicht Sorge, bin ich nicht Säckelmeister*)? Въ эту минуту раздраженія къ нему подходятъ посланные отъ первосвященника, которымъ онъ открываетъ душу свою по пріятельски, думая что они напрашиваются поступить въ ученики Христа. Онъ сообщаетъ, что имъ нечего ожидать отъ Христа, что Христосъ собирается умереть и что онъ расточаетъ общее достояніе своихъ послѣдователей. Посланные склоняютъ Іуду указать имъ, гдѣ учитель, что онъ въ концѣ-концевъ и дѣлаетъ, предполагая, что

онъ самъ и заступится за Христа передъ первосвященникомъ. Онъ думаетъ, что Христа арестуютъ только на нѣкоторое время и разстанется съ посланными добродушно на нѣмецкій манеръ ударивъ другъ другу рука объ руку и имѣя на умѣ при этомъ рукобитіи поговорку: *ein Mann, ein Wort*. Оставшись наединѣ онъ разсуждаетъ самъ съ собою въ монологѣ, который сочиненъ въ шекспировскомъ стилѣ: арестуютъ Его—тогда я получу изрядныя деньги.— Онъ ли возьметъ верхъ—тогда я испрошу у него прощеніе; Онъ вѣдь добръ и милосердъ. Собственно я не измѣняю Ему, я только сообщилъ извѣстіе о томъ, гдѣ онъ будетъ находиться.

Наступаетъ широкою кистью написанная сцена Тайной Вечери, вся по евангелію, воспроизводимому почти дословно, съ омовеніемъ ногъ ученикамъ, съ преломленіемъ хлѣба (пріймите ядите...) съ выпиваніемъ вина и съ указаніемъ на будущаго предателя, какъ на опускающаго вмѣстѣ съ Христомъ руку въ солило.

Громадное впечатлѣніе, производимое дѣйствіемъ Тайной Вечери, усиливается еще и растетъ прогрессивно въ послѣдующихъ сценахъ. Іуда продаетъ учителя архіереямъ въ синедрионѣ за 30 серебрянниковъ при сильномъ сопротивленіи продажѣ со стороны Никодима, котораго тутъ же заподозрили его товарищи, что онъ тайный послѣдователь Христа.—Послѣ ухода Іуды съ солдатами и слугами архіерейскими, совѣтъ, въ маломъ, такъ сказать, комплектѣ предрѣшаетъ смерть Іисуса.

Въ слѣдующей затѣмъ сценѣ въ Геосиманскомъ саду, переданной точнымъ образомъ по евангелію, въ составъ представленія входитъ сверхъестественный элементъ, не-неизбѣжный при условіяхъ религіознаго зрѣлища; съ облаковъ спускается ангелъ съ чашей на камень, у котораго изнемогаетъ Христосъ и подкрѣпляетъ его.—Затѣмъ появляется Іуда съ вооруженными людьми, у Малха усѣчено ухо, Христосъ заарестованъ. Въ Оберъ Аммергау на сценѣ это событіе происходитъ не въ полночь, а ровно въ полдень, и тѣмъ кончается первая часть представленія.— Послѣ

полуторачасового перерыва идетъ вплоть страшная и необычайно сильно дѣйствующая на нервы трагедія страданій Христовыхъ. Почти все дѣйствіе происходитъ подъ открытымъ небомъ либо на просценіумѣ передъ самой публикой, либо на двухъ боковыхъ крыльцахъ направо у Каіафы или на лѣво у Пилата; Христосъ поставленъ сначала передъ Анною, а потомъ передъ зятемъ его, первосвященникомъ Каіафою. Смертная казнь изрекается всѣмъ совѣтомъ въ полномъ составѣ. Послѣ заперательства Петра появляется раскаявшійся Іуда, который приноситъ совѣту свои серебрянники, и недостигнувъ освобожденія Христа, бросаетъ ихъ на землю. Увѣнчаннаго терніемъ и почти обнаженнаго Христа солдаты сажаютъ на стулъ, кланяюся ему, а потомъ сталкиваютъ его на полъ. — Когда Христа увели за утвержденіемъ приговора, въ среднемъ строеніи опять показывается Іуда, надѣваетъ себѣ веревку на шею; занавѣсъ опускается въ тотъ самый моментъ, когда онъ вѣшается.

Замѣчательно хорошо очерченъ Пилатъ. Этотъ проконсулъ до мозга костей римлянинъ, въ глубинѣ души онъ справедливый человѣкъ, но настолько безхарактерный, что всѣ его попытки къ тому, чтобы Христа выгородить, служатъ только къ усилению поруганія Христа и его мученія. Пилатъ съ презрѣніемъ относится къ евреямъ. Онъ какъ юристъ доискивается состава преступленія и требуетъ доказательствъ. — Вмѣсто доказательствъ онъ слышитъ одни крики и ругательства. Когда ему надоѣла эта бессмысленная орава, онъ хватается за пришедшій ему на умъ предлогъ, чтобы сбыть Христа съ рукъ: «оказывается, что онъ галилеянинъ, такъ ведите его къ царю Ироду».

Недурно также задуманъ и Иродъ, сластолюбецъ и безбожникъ, но вѣрующій въ чудеса и сгорающій желаніемъ, чтобы Іисусъ, котораго онъ представляетъ себѣ великимъ фокусникомъ, показалъ бы ему какойнибудь фокусъ, превратилъ бы день въ ночь или посохъ въ змѣю. Раздраженный молчаніемъ Христа (stumm wie ein Fisch)

онъ рѣшаетъ отдать его на посмѣяніе и такъ какъ говорили люди, что онъ называетъ себя царемъ іудейскимъ, то облечь его въ багряницу и въ такомъ видѣ отправить его опять къ Пилату. — Передъ проконсуломъ Христосъ предсталъ почти нагой, въ трико, опоясанный холстомъ вокругъ торса, со связанными руками, ручьи крови изображенны струящимися изъ ранъ его на головѣ по всему тѣлу. Пилатъ хитритъ съ евреями, желаетъ ограничиться бичеваніемъ, предлагаетъ дать народу на выборъ, кого онъ захочетъ отпустить—Христа или Варавву, наконецъ прибѣгаетъ къ слѣдующей юридической уловкѣ.—Вы не народъ, говоритъ онъ къ старѣйшинамъ, священникамъ и книжникамъ, пускай выскажется народъ, который его превозносилъ. Тогда архіереи распускаютъ во всѣ концы своихъ клевретовъ.—Между тѣмъ происходитъ за сценою бичеваніе, а потомъ на сценѣ же въ главномъ строеніи вбиваніе въ голову тернового вѣнка и всученіе въ руки Христа тростника вмѣсто скипетра.

Наступаетъ особое явленіе народнаго мятежа (*die Empörung*), вся труппа лицедѣевъ въ полномъ сборѣ на просценіумѣ: старцы, взрослые, дѣти; бѣснующіеся, разъяренные, точно тигры, съ ревомъ и воемъ домагающіеся преданія Христа на распятіе. Христа выводятъ изъ дома Пилата. Онъ спускается медленно по лѣстницѣ въ накинутаго на него и опускающейся до стопъ мантии, со связанными руками, съ лицомъ обращеннымъ къ народу и зрителямъ.—Еврейскій бунтъ озадачилъ Пилата; онъ оmyваетъ руки заявляя, что онъ удовлетворяетъ ихъ домогательству, чтобы избѣгнуть большаго зла (*Ich habe eurem Drängen nachgegeben um grösseres Uebel zu verhüten*). Форма суда соблюдена, писарь читаетъ приговоръ, народъ ликуетъ, что ему выдали Христа. Верхъ художественности представляетъ собою шествіе на Голгофу; впереди ѣдетъ сотникъ верхомъ и движутся солдаты, затѣмъ изнемогающій подъ тяжестью креста Христосъ, о которомъ сожалѣютъ даже его палачи, заставляющіе нести крестъ Симона Киренейскаго. Происходитъ свиданіе Христа съ

матерью. Одна изъ женщинъ обтираетъ лицо Христа платкомъ.

Передъ явленіемъ, посвященномъ распятію, хоръ духовъ-хранителей является въ черныхъ ризахъ. Во время хороваго пѣнія за сценой слышенъ стукъ молотковъ. Когда поднимается занавѣсъ, закрывающая главное строеніе, уже два разбойника висятъ прикрѣпленные къ своимъ висѣлицамъ, а Христосъ лежитъ въ горизонтальномъ положеніи на крестѣ который придется водружать. По словамъ исполнявшаго роль Христа Майра пребываніе на крестѣ—самая трудная поза, которая, еслибы продолжалась дольше чѣмъ положено, то кончилась бы тѣмъ, что лицедѣй впалъ бы въ обморокъ. Такъ и случилось разъ съ Майромъ въ 1880 г. Едва онъ произнесъ: Или или лима совахѣани, какъ потерялъ сознаніе и пришелъ въ себя только послѣ того, какъ оказался снятымъ уже съ креста среди Богородицы и женщинъ. Впечатлѣніе на зрителей поднятіемъ и водруженіемъ креста съ Христомъ переходитъ за предѣлы художественнаго; всѣ страдаютъ отъ болѣзненнаго нервнаго раздраженія, отъ преизбыточнаго реализма въ зрѣлищѣ. Изъ прободенныхъ ногъ и рукъ торчатъ подобія гвоздей, потоки крови стекаютъ по членамъ тѣла.— Двадцать минутъ длится распятіе. Изображающій Христа Майръ имѣлъ подъ своимъ трико корсетъ прикрѣпленный къ фиксированному въ крестѣ крюку. Преломленіе голеней у разбойниковъ не производитъ даже и иллюзій.— Два палача съ преобладающими палицами въ рукахъ, состоящими изъ кожи начиненной хлопкомъ ударяютъ раза четыре по разбойникамъ и произносятъ: «довольно съ тебя» (*Jetzt hast du genug*). Прободеніе груди у Христа по распоряженію сотника исполняется такимъ образомъ, что изъ имѣющагося подъ трико пузыря наполненнаго красной жидкостью брызжетъ подобіе крови.— Великолѣпны снятіе съ креста и погребеніе. На томъ можно было бы покончить представленіе. По религіознымъ соображеніямъ оно было бы однако не полно безъ воскресенія, которое значительно сокращено противъ текста сочи-

неннаго Дайзенбергомъ и занимаетъ не болѣе четверти часа. Мы видимъ стражу у Гроба Господня; происходитъ внезапное сіяніе, камень закрывающій гробъ отваливается, Христосъ появляется въ бѣлой ризѣ и удаляется со сцены, между тѣмъ какъ солдаты разинувъ рты недоумѣваютъ и рѣшаютъ доложить архіереямъ о происшедшемъ. Затѣмъ хоръ поетъ: Христосъ воскресъ и аллилуйа, а въ глубинѣ сцены въ апоѳеозѣ возносится на небо воскресшій Христосъ. По пространному тексту, исполнявшемуся до 1890 г. послѣ женщинъ и ангеловъ, возвѣщающихъ о воскресеніи, прибѣгали испуганные вѣстью Анна, Каіафа и архіереи, ругались со стражею, грозили жалобою Пилату за допущенное похищеніе мертвѣго тѣла, потомъ подкупали эту стражу, дабы она заявила, что тѣло украдено было учениками.—Послѣ ухода и солдатъ и архіереевъ на опустѣвшей просценіумъ вбѣгаютъ святыя жены и апостолы, въ томъ числѣ Петръ и Іоаннъ. Представленіе должно было заканчиваться богоявленіемъ Христа одной Маріи Магдалинѣ и прощальными обращенными къ ней словами Христа. Представленіе завершается хоровымъ гимномъ аллилуйа безъ мала въ 6 часовъ пополудни.

Мнѣ остается прибавить еще нѣсколько интересныхъ закулисныхъ свѣдѣній о лицедѣяхъ религіознаго представленія и о финансовой сторонѣ этого крупнаго и существенно важнаго для благосостоянія общины Оберъ Аммергау предпріятія. Эти данныя я заимствую изъ интересной книжки Вюля (W. Wyl), присутствовавшего при представленіяхъ 1880 и 1890 годовъ: *Der Christus Mayr*.

V.

Функции поставщика на сцену или такъ называемаго *impressario* по представленію страстей Господнихъ исполняетъ Оберъ Аммергауская община, состоящая изъ 217 домохозяевъ; конечно не община въ цѣломъ ея составѣ, а ея представительство или спеціальныи комитетъ для *Passinospiele*.

въ которомъ предсѣдательствовалъ въ 1890 г. бургомистръ Іоганъ *Лонгъ*, онъ же и Каіафа въ пьесѣ, а дочь его Роза изображала Богородицу, другая же дочь играла роль Марѣы. Родственникъ ихъ, учитель рисованія, тоже по фамиліи Лонгъ, ставилъ живыя картины. Руководителемъ и главнымъ вдохновителемъ этого комитета былъ мѣстный приходскій священникъ. Роли въ Оберъ-Аммергау не наслѣдственны, но даются только людямъ приписаннымъ къ общинѣ и очень долго остаются за однимъ и тѣмъ же лицомъ, которое переходитъ постепенно съ одного амплуа на другое. Начавъ съ мальчика актеръ становится въ слѣдующее десятилѣтіе апостоломъ Іоанномъ, а еще по истеченіи десяти лѣтъ бывали случаи, что прежній Іоаннъ дѣлался Христомъ. Бывали примѣры, что прежній Іоаннъ превращался потомъ въ Іуду Искаріотскаго (живописецъ Цвинкъ). Геттъ, продолжающій оставаться апостоломъ Петромъ, имѣлъ прежде черные какъ смоль волосы, а въ 1890 г. былъ уже какъ лунь сѣдой. — Рендль, бывшій сначала Іоанномъ, потомъ Пилатомъ, состязался въ 1870 г. съ Іосифомъ Майромъ, начинавшимъ только играть въ то время, по вопросу о томъ, кому изъ нихъ играть роль Христа. Майръ сослужилъ 3 срока (1870, 1880 и 1890 г.) и, достигнувъ въ послѣдній срокъ 47 лѣтъ, покидаетъ окончательно свою театральную должность, потому что и посѣдѣлъ и отъ игры на холоду въ одномъ трико совсѣмъ разболѣлся и страдаетъ неизлѣчимымъ ревматизмомъ. Когда въ 1890 г. Іосифу Майру нездоровилось, такъ что усумнились будетъ ли онъ въ состояніи играть, то по мірскому приговору общины постановлено было возложить исполненіе этой роли на бывшаго Пилата Рендля, влѣдствіи чего выписанъ былъ для него даже особый парикъ изъ Мюнхена, но всякую мысль о подобной замѣнѣ лица пришлось бросить, такъ какъ Рендль оказался совсѣмъ неблагообразнымъ и неподходящимъ къ роли человѣкомъ. Мрачный, рѣзкій, онъ былъ совсѣмъ лишенъ той мягкости, и той извѣстной степени, елейности, которыя неразлучны съ образомъ Христа въ

воображеніи народномъ; онъ бы не могъ заставить зрителей, чтобы они надлежащимъ образомъ страдали за него и ему соболъзновали.—Представленіямъ грозили перерывы, забастовка, а можетъ быть и крахъ всего предпріятія. Я расскажу потомъ какимъ образомъ вышла община изъ этого необычайно труднаго положенія.

Всѣ Майры изъ рода въ родъ рѣзчики; самъ Іосифъ Майръ нынѣ продавецъ рѣзныхъ издѣлій (Schnitzwarenverleger). Родился онъ въ 1843 г. отъ отца исполнявшаго роль Каіафы, и учился своему искуству въ Нюрнбергѣ. Въ 1866 г. онъ исполнялъ обязанности военной службы какъ артиллеристъ во время австро-прусской войны, затѣмъ поступилъ въ 1867 г. унтеръ-офицеромъ въ запасъ. Еще будучи солдатомъ онъ женился на бывшей въ услуженіи у графа Голлейна женщинѣ старше его 5 годами.—Супруги Майръ были круглые бѣдняки. Въ концѣ 1867 г., когда ему было только 26 лѣтъ, когда онъ былъ въ полной красѣ молодости, когда онъ успѣлъ отростить себѣ волосы и когда оказалось, что онъ обладаетъ прекраснымъ теноровымъ голосомъ, община избрала его единогласно на роль Христа послѣ состязанія съ Рендлемъ. Съ первой же пробы всѣ убѣдились, что онъ Христосъ превосходный, какихъ еще никогда не бывало.—Въ самомъ началѣ представленій 1870 г. разыгралась франко-прусская война и, какъ унтеръ-офицеръ запаса, Майръ отправился въ Мюнхенъ со своею батареею и долженъ былъ идти на войну. Разумѣется, представленіямъ положенъ былъ въ 1870 г. конецъ; изъ Оберъ-Аммергауца отправилась депутація къ королю Людвигу II всеподданнѣйше просить объ оставленіи Майра въ гарнизонѣ и о разрѣшеніи ему не бриться и не стричь своихъ великолѣпныхъ шатеновыхъ волосъ. Принцы крови ходатайствовали за него, король вошелъ въ положеніе общинниковъ, трепещущихъ за своего безподобнаго Христа, и разрѣшилъ просимое. Лѣтомъ 1871 г. отпразднованъ былъ Passionspiel на славу въ присутствіи короля, который затѣмъ угощалъ Майровъ въ своемъ по близости лежащемъ Линдергофѣ и подарилъ общинѣ тысячу гульденовъ.

Майръ сдѣлался потомъ героемъ печатнаго романа. Одна знатная дама, Вильгельмина фонъ Гиллернъ, выстроившая на Аммерѣ изящную дачу къ началу представленій 1890 г. обнародовала повѣсть въ 2 томахъ подъ заглавіемъ *Am Kreutze*, въ которой дѣйствуютъ подъ прозрачными псевдонимами живыя лица (Freyr-Mayr, Rendl-Renner, Grois-Long, сама писательница, какъ графиня Wildersee).—Фабула повѣсти та, что героиня Вильдерзе, увидѣвъ Фрейра, играющаго роль Христа, вспыхнула къ нему страстною любовью. Она его увлекла, но такъ какъ она вдова, получившая большое состояніе отъ мужа по его завѣщанію подъ условіемъ не выходить ни за кого замужъ, то любовники соединяются тайнымъ бракомъ, отправляются странствовать, посѣщаютъ Палестину. Въ концѣ концовъ Вильдерзе дѣлаетъ Майра своимъ управляющимъ по имѣніямъ, но по простотѣ своей онъ ей надоелъ, притомъ родившіяся отъ этого брака дѣти померли.—Фрейръ самъ уходитъ отъ Вильдерзе, не взявъ отъ нея ни гроша. Оборванный, нищій онъ возвращается на родину и поступаетъ на свою роль, въ свою сценическую дѣятельность. Въ графинѣ отъ жалости къ нему пробуждаются опять нѣжныя чувства. Она присутствуетъ на представленіяхъ, открыто заявляетъ себя женою Фрейра, теряетъ имѣніе, но на оставшіеся при ней брилліанты и драгоценности покупаетъ домъ, въ которомъ супруги проживаютъ до новаго представленія. Въ это послѣднее представленіе Фрейръ умираетъ на крестѣ отъ разрыва сердца.

Таковъ романъ. Доля правды въ немъ только та, что г-жа Гиллернъ влюбилась въ Майра и что она преслѣдовала его своими ухаживаніями за нимъ. Никакихъ подарковъ отъ нея онъ не принималъ, но она успѣла оказать ему существенную услугу. Онъ страдалъ ревматизмомъ; болѣзнь коснулась и мозговыхъ покрововъ; она настояла на томъ, чтобы онъ отправился лѣчиться въ Мюнхенъ. Онъ тамъ и вылѣчился. Гиллернъ рассказывала всѣмъ, что она восхищалась Майромъ какъ натурщикомъ и пыталась посредствомъ книги *Christus in die Mode zu brin-*

ген.—Но ея честолюбіе заходило гораздо дальше; она затѣяла попасть въ члены комитета представленій и повліять на то, чтобы все предпріятіе было приспособлено къ духу времени, чтобы оно было сильно модернизировано. Она заручилась обѣщаньемъ содѣйствія ей со стороны Мюнхенскихъ художниковъ, одобреніемъ со стороны министровъ, письмами отъ мѣстнаго архіепископа. Музыку предположено было измѣнить, текстъ рѣчей передѣлать. Когда эти обширные планы огласились и бурмистръ Лонгъ созвалъ общинную сходку, то произошло страшное волненіе между общинниками, они взбунтовались и единогласно постановили оставить все по старинѣ и прервать съ г-жей Гиллернъ всѣ сношенія. Съ тѣхъ поръ никто изъ дѣйствующихъ въ представленіи лицедѣевъ не показался къ ней, кромѣ одного Пилата Ренделя, управляющаго ея имѣніями.—Она покинула Оберъ Аммергау, продавъ свою виллу. Ея вмѣшательство отклонено и всѣ ея предположенія отвергнуты, но тѣмъ не менѣе духъ новизны проникъ въ селеніе и произвелъ соблазнъ; онъ повліялъ на нѣкоторую порчу и искаженіе прежнихъ нравовъ.—Несомнѣнно, что въ Оберъ Аммергау съ каждымъ десятилѣтіемъ мѣняются и публика и нравы и самъ духъ зрѣлища.—Характеръ этихъ измѣненій всего виднѣе сказывается въ слѣдующихъ данныхъ статистическихъ, числовыхъ.

VI.

По отчету объ операціяхъ комитета въ 1880 г. дано было 40 представленій, которыя принесли 330000 марокъ за билеты для 121000 посѣтителей и 6000 марокъ отъ продажи текстовъ представленій и фотографій, изображающихъ актеровъ и отдѣльныя сцены дѣйствія, всего 336000 марокъ.—Изъ валоваго прихода израсходовано.

На ремонтъ зданія и костюмы . . . 78000

На уплату процентовъ займа на представленія 3000

На увеличеніе помѣщенія сельской школы	11000
На пробный театр и его гардеробъ . .	7000
На церковь мѣстную, выстилку камнемъ русла ручья, пожарную машину, мостовую	12000
Въ запасный капиталъ	44000
На школу, бѣдныхъ, училища рисованія и скульптуры	23000

178.000 марокъ.

Остатокъ отъ вычета изъ прихода 336000 марокъ израсходованныхъ на потребности общины 178000 марокъ составляетъ 158000 марокъ, которыя при дѣлежѣ распределены слѣдующимъ образомъ:

нищимъ	1500
207 домохозяевамъ общинникамъ . . .	40000
актерамъ, музыкантамъ и статистамъ уча- ствовавшимъ въ представленіяхъ . . .	116500

Участвовали въ представленіяхъ 700 человекъ; еслибы всю приходящуюся на участниковъ сумму раздѣлить между ними поровну, то на долю каждаго вышло бы по 166 марокъ или по 4 марки за каждое изъ 40 представленій. Правда, что значительное большинство участниковъ или статисты или музыканты или дѣти, все-же эти разряды оплачиваются весьма скудно. — Майръ послѣ 1880 г. затрудовья деньги завелъ лавку рѣзныхъ товаровъ, и купилъ для себя вторую корову.

Растущій успѣхъ предпріятія заставилъ общину расширить предпріятіе весьма значительно. Стало впередъ извѣстно, что стекутся во множествѣ не одни крестьяне, но и богатые посѣтители со свѣхъ частей свѣта. Пущена въ ходъ реклама. Я самъ видѣлъ объявленія объ удешевленныхъ поѣздахъ къ Оберъ Аммергау въ Галиціи, Венгріи, Богеміи. Чтобы не ударить въ грязь лицомъ, община рискнула заключить заемъ въ 200000 марокъ и употребила эту сумму на постройку заново театра, расписала его рисунками заимствованными изъ плафона Сикстинской капеллы въ Ватиканѣ, вмѣсто старинныхъ изображеній

вѣры, надежды и любви. Устроены крытыя мѣста съ повышенными цѣнами, припасено мѣстъ въ оградѣ на 4000 зрителей съ максимальнымъ сборомъ, еслибы всѣ мѣста были заняты, въ 20.000 марокъ, что принесло бы со всѣхъ 40 представлений 800000 марокъ.—Еслибы сборы дали только 500000 марокъ валоваго прихода, то это равнялось бы неудачѣ предпріятія и прямому убытку, чего однако въ 1890 г. не случилось.—Рискъ былъ громадный.—Община пережила самый критическій моментъ въ іюнѣ 1890 г., когда у Майра разболѣлись зубы съ 25 мая. Въ субботу 31 онъ выдернулъ больной зубъ, но боль не прекращалась и щека сильно распухла. Зрителей собралось неимоверное число, между тѣмъ время стояло самое дождливое. Доктора строжайше запрещали больному даже и думать объ игрѣ. Всю ночь онъ пролежалъ въ лихорадкѣ. На слѣдующій день въ 6 часовъ утра бурмистръ, не спросивъ его, далъ сигналъ о готовности къ представленію выстрѣломъ изъ мортиры. — Когда ничѣмъ не предупрежденный больной услышалъ выстрѣлъ, онъ соскочилъ съ кровати со словами «jetzt muss es sein», сталъ надѣвать трико, пошелъ на представленіе и сыгралъ свою роль, хотя весьма блѣдный и съ припухшею щекою.

Когда я былъ въ Оберъ Аммергау во второй половинѣ іюля уже опредѣлилось, что предпріятіе окупится, что долгъ будетъ покрытъ и актеры получать по сравненію съ прежнимъ временемъ надбавку. Я не думаю, чтобы эта надбавка была значительна, чтобы актеры превратились въ промышленниковъ. Тому мѣшаетъ и малая матеріальная выгода, которую они извлекали изъ своей работы и продолжительность десятилѣтняго промежутка между игрою и игрою.—Однако помимо нихъ духъ коммерческой спекуляціи проникаетъ въ селеніе. Оно дѣлается предметомъ разныхъ всемірныхъ промышленныхъ затѣй. Крестьянинъ Лехнеръ, бывшій Іуда, открылъ Pension Lechner съ платою по 20 марокъ въ сутки съ квартиранта. Мужики, перебирающіеся на ночь на чердакъ или на сѣно-

валъ, получаютъ по 3 или 4 марки въ день за кровать, а иные передаютъ свои дома въ аренду на время представлений за 10 тысячъ марокъ и болѣе. Въмѣсто мужицкихъ хозяйствъ и харченень съ хорошимъ пивомъ есть теперь и трактиры съ гастрономическими деликатессами, завелись винная *Bodega* и *Restaurant Lucullus*. Въ 1880 община предоставила фотографу изъ Партенкирхенъ исключительное право продажи фотографій театра и сценъ за 3000 марокъ. Въ 1890 году Вѣнская фотографія купила это право за 3700 марокъ. — Бургомистръ Лонгъ выражался недавно, что ему хотѣлось порою взять плетку въ руки и выгонять торгашей изъ храма, но торгашей этихъ теперь несмѣтное число.

VII.

Невольно ставится вопросъ: какова будущность Оберъ Аммергаускихъ представлений? — Вопросъ этотъ вызываетъ на размышленія, потому что преобразованія представлений въ 1890 г. коснулись только декоративной ихъ части, то есть несущественной внѣшности, а будущія реформы должны будутъ коснуться и инструментальной и хоровой и самого текста, сообразно тому, съ какой точки зрѣнія рѣшаемо будетъ преобразование сложнаго цѣлаго? какія цѣли будутъ руководить преобразованиемъ: художественныя или религіозныя?

Допустимъ, что наступить увлеченіе только одною стороною дѣла — чисто художественною; что освободившись отъ всякихъ требованій религіозныхъ и обращаясь свободно съ историческою истиною, преобразование поставитъ себѣ единственною задачею наибольшее артистическое наслажденіе, самое сильное и самое глубокое.

Тогда придется все съ корнемъ измѣнить, вмѣсто слабой деревенской музыки Дедлера дать ораторію во вкусѣ Вагнера или нѣчто вокально-инструментальное въ родѣ Вердѣвскаго *Requiem*, а можетъ быть устранить и то и

другое, потому, что сочетаніе разныхъ искусствъ производить впечатлѣніе, которое по своей силѣ слабѣе впечатлѣнія отъ одного искусства, доведеннаго до высшей степени совершенства. И такъ придется отсѣчь ораторію и остаться при одной драмѣ или наоборотъ. Скорѣе придется пожертвовать музыкою и хоромъ. Деревенская музыка не соответствуетъ нашему утонченному вкусу. Хоръ имѣетъ много въ его пользу свидѣтельствующее; во время хорового пѣнія успокаиваешься и отдыхаешь послѣ сильныхъ драматическихъ ощущеній.— Гораздо легче придется пожертвовать праздными, устарѣвшими и терпимыми только по преданію живыми картинами.— Онѣ произведенія богословской схоластики.

Допустимъ, что живыя картины упразднены, что музыкальный и хоровой элементы либо устранены либо превращены въ простыя рамки для драмы? По законамъ свободнаго художественнаго творчества драма эта будетъ безпрестанно до неузнаваемости измѣняема по вкусу вѣка. Прежде всего будетъ выкинуть изъ драмы сверхъестественный элементъ, безъ котораго не можетъ обойтись религіозное зрѣлище. Затѣмъ, вслѣдствіе того, что искусство заимствуетъ и изъ природы и изъ исторіи только нѣкоторые факты, которые потомъ произвольно усиливаются или сочетаются и что — всякое подобное новшество колеблетъ представленія утвердившіяся и передаваемыя по преданію, перемѣны будутъ вызывать оппозицію даже въ слояхъ общества самыхъ интеллигентныхъ и самыхъ скептическихъ. — Поватору говорятъ: печатайте что угодно, печатаемое сойдетъ, но не ставьте на сцену, тамъ всегда верхъ берутъ религіозныя требованія народной массы. Въ Оберъ Аммергау эти требованія стоятъ на первомъ планѣ. Мѣстное искусство насквозь мужицкое и держится только потому что оно благочестиво. Превратите мистерію въ въ театръ и въ Оберъ-Аммергау никто больше не пойдетъ.

Перейдемъ на религіозную почву, на поклоненіе посредствомъ искусства извѣстной до скончанія вѣка уста-

новленной святыни, известному религиозному идеалу считаемою неподвижнымъ. Строго религіозная точка зрѣнія на искусство можетъ быть только отрицательная. Искусство, какъ способъ передачи религіозныхъ идей, есть примѣсь языческая. Собственно религіозное искусство есть ересь, есть сознательное отступленіе отъ хрустальной чистоты и безцвѣтности вѣры у самаго ея источника, но разъ оно существуетъ и дѣйствуетъ благотворно, то надобно его лелѣять, относясь къ нему впрочемъ консервативно, какъ относимся мы къ складнямъ какого-нибудь Мемлинга, къ прерафаэлитамъ, къ самому Рафаэлю. «Страсти Господни» въ Оберъ Аммергау и суть такіе складни съ мощами, которые выставляются на показъ публикѣ каждые 10 лѣтъ. «Держитесь старины, ничего не измѣняйте», сказалъ послѣ представленій 1871 г. Оберъ Аммергауцамъ Людвигъ II въ Линдергофѣ. — Такой же совѣтъ могли бы и мы предложить. Представленія въ Оберъ Аммергау — палеонтологическій остатокъ вѣковъ минувшихъ, поражающій современныя поколѣнія тѣмъ, что онъ произведеніе религіознаго искусства не наивнаго, но происходящаго изъ такой эпохи, когда вѣра была сильнѣе, остатокъ твердо хранимый въ рукахъ консервативнаго мужичья неподобно приспособленнаго къ такому храненію, вслѣдствіе своей профессионально художественной подготовки.

С.-Петербургъ,
28 Января 1896 г.

Новый опытъ оцѣнки Гёте въ книгѣ Э. Рода.

Новый опытъ оцѣнки Гёте въ книгѣ Э. Рода.

I.

Швейцарецъ по происхожденію, новеллистъ и литературный французскій критикъ Эдуардъ Родъ въ предисловіи къ своему этюду о Гёте (*Étude sur Goethe*, Paris, 1898 г. 308) утверждаетъ, что назадъ тому лѣтъ десять онъ былъ еще восторженный поклонникъ Гёте, но, побывавъ въ Веймарѣ, вчитавшись въ источники и надумавшись, онъ измѣнилъ свои мнѣнія, пріобрѣлъ свободу болѣе критическаго отношенія къ жизни великаго поэта, отражающейся въ его произведеніяхъ. Его новый трудъ, вольнѣе задуманный, вольнѣе написанный, безъ фанатизма, но и безъ придиричivosti (*dénigrement*), пріучить, можетъ-быть, читателей пользоваться произведеніями великаго поэта безъ излишняго увлеченія. — Передъ нами далеко не первая въ этомъ родѣ и не лишенная таланта попытка понизить цѣну человѣку и его произведеніямъ, противо-дѣйствовать вліянію, которое этотъ писатель оказываетъ до сихъ поръ на европейскія общества, побороть такъ называемый «гётеизмъ», къ дружинѣ послѣдователей котораго авторъ причисляетъ во Франціи Поля Бурже съ его «интеллектуализмомъ» и Мориса Баррэ съ его «самомъ-культурой» (*culture du moi*). Немногочисленна, собственно, эта секта гётеистовъ, но она привлекаетъ къ себѣ самые гибкіе и самые тонкіе умы. Характеристическую ея черту составляетъ то, что она интересуется всѣмъ въ мірѣ безъ

изытія не по любви къ истинѣ и не для практическихъ какихъ-либо результатовъ, но только потому, что ее улаживаетъ самый процессъ постигать и обнимать предметы, хотя бы и безъ проникновенія въ ихъ въ глубину. Въ сущности, это только умственный *дилетантизмъ*, хотя и всесторонній, но сухой и безплодный. Заигрывая по очереди со всеѣми безъ исключенія формами бытія, гётеистъ не преданъ ни одной изъ нихъ и не станетъ никогда практическимъ человѣкомъ. При всей своей всеобщности, въ сущности это только себялюбіе, или *эгоизмъ*. Гётеистъ отвергаетъ все то, что противно гармоніи, которую онъ всюду отыскиваетъ; придерживаясь началъ этой философіи, онъ „не пойметъ никогда страданія“, не будетъ дѣлиться имъ съ другими душами, не будетъ скорбѣть за несчастныхъ.—По словамъ Рода, Гёте не успѣлъ никогда отрѣшиться отъ прирожденной ему (*congénitale*) сухости сердца, несмотря на всѣ свои усилія къ тому, чтобы отъ нея освободиться и внушать людямъ любовь другъ къ другу.—Родъ соглашается съ Баррэ, что Гёте не останавливался на томъ, есть ли въ дѣяніи добро или зло, приноситъ ли оно счастье или несчастье, но что вездѣ и во всемъ онъ чуялъ всякую растущую и способную развиться силу.—Эта всестороннѣйшая понятливость ведетъ къ терпимости, но также и равнодушію по отношенію къ добру и злу. Она похожа на лучъ свѣта, который, отразившись отъ предмета, возвращается къ своему источнику, къ синтезу, въ которомъ сливаются, не дифференцируясь, природа, искусство и сама жизнь.

Свои положенія Родъ беретъ доказать и начинаетъ свою работу съ записокъ Гёте, т.-е. съ изображенія имъ лѣтъ своей молодости въ *Wahrheit und Dichtung aus meinem Leben*. Гёте приступилъ къ этой работѣ въ 1811 г., когда имѣлъ уже 62 г., и довелъ ее до конца только до своего пріѣзда въ Веймаръ въ 1775 г. Первоначально она была озаглавлена *Dichtung und Wahrheit*, но слова эти переставили издатели ради только лучшаго созвучія. Судя по заглавію, Родъ заключаетъ, что Гёте въ своемъ жизне-

описаніи не былъ искрененъ, что онъ не ставилъ себѣ задачею сказать одну правду, написать исповѣдь, что жизнь свою онъ тенденціозно скрашивалъ, гармонизировалъ, что онъ прикрывалъ ее тонкимъ кружевомъ поэтического вымысла, что онъ принаряжался, чтобы потомство считало его такимъ полубогомъ, какимъ онъ хотѣлъ, чтобы его считали, что онъ готовилъ для своей статуи подходящій пьедесталъ, но что это кажущееся величіе въ значительной степени искусственное, довольно ординарное и банальное. Гёте пытался совмѣстить простоту правды съ красотою вымысла, а создалъ нѣчто гораздо менѣе цѣнное, нежели автобіографическія записки Стэндала, Бенжамена Констана или Аміэля. Эти послѣдніе исповѣдывались, изображая безъ прикрасъ свои заблужденія и неудачи; ихъ влекла неудержимая потребность изобразить свои личныя качества и грѣхи, каковой потребности Гёте никогда не ощущалъ, потому что такова была его натура. Родъ сопоставляетъ записки Гёте съ *Mémoires d'Outre Tombe* Шатобріана и полагаетъ, что оба произведенія внушены были желаніемъ лицъ, исполненныхъ высокаго о себѣ разумнія, соорудить для себя при жизни великолѣпные мавзолеи.

Составивъ по запискамъ извѣстное представленіе о самомъ Гёте, Родъ пользуется затѣмъ этимъ увеличительнымъ стекломъ для довольно поверхностнаго обзрѣнія въ слѣдующихъ затѣмъ 5 главахъ пяти крупныхъ произведеній Гёте (Гёцъ, Вертеръ, Тассъ, *Wahlverwandschaften* и Фаустъ) и ограничивается однимъ простымъ безсодержательнымъ упоминаніемъ о такихъ созданіяхъ, которыя несомнѣнно заслуживали того, чтобы и они были приняты въ расчетъ, каковы: Эгмонтъ, Ифигенія въ Крыму, Вильгельмъ Мейстеръ, Германъ и Доротея, Баллады, Внѣбрачная Дочь. — Критикъ не скрываетъ того, что намѣренъ дѣло о Гёте подвергнуть новому разсмотрѣнію (*réviser le procès du Grand Goethe*), т.-е. привести сужденія о Гёте въ соотвѣтствіе съ духомъ современной эпохи. Прежде чѣмъ приступлю къ повѣркѣ возраженій, направленныхъ

противъ Гёте, и къ пересмотру при свѣтѣ новой критики какъ записокъ Гёте, такъ и другихъ его произведеній, считаю необходимымъ предпослать этому разбору нѣсколько предварительныхъ соображеній.

II.

Всякое растеніе уже содержится въ сѣмени своемъ. Человѣкъ всегда бываетъ только таковъ, какимъ онъ созданъ природою; онъ предрасположенъ къ тому, чѣмъ онъ сдѣлается по своему индивидуальному темпераменту. Люди рождаются либо слабыми, хилыми, вѣчно страждующими существами, пессимистически настроенными, либо крѣпкими, бодрыми, жизнерадостными. Гёте былъ изъ числа наиболѣе жизнерадостныхъ, наиболѣе здоровыхъ и уравновѣшенныхъ, умѣющихъ наслаждаться жизнью и испивать изъ чаши жизни все до послѣдней капельки. У каждаго человека есть слабыя стороны и недостатки. Отнесемъ къ недостаткамъ Гёте, что онъ не только не любилъ страдать, но избѣгалъ и самаго вида физическихъ страданій; не навѣщая умершихъ, остерегался даже и говорить объ умершихъ, хотя бы и близкихъ къ нему лицахъ. Чѣмъ больше онъ старѣлъ, тѣмъ болѣе дорожилъ покоемъ. Онъ боялся смерти по самый конецъ своего 83-лѣтняго существованія. — Нельзя обвинить его въ трусости. Свою личную храбрость и самообладаніе онъ доказалъ и на полѣ битвы подъ Вальми подъ выстрѣлами французскими. Онъ былъ всегда доступенъ, благожелателенъ, услужливъ, весьма устойчивъ въ своихъ пріятельскихъ отношеніяхъ. — Для изображенія его, какъ эгоиста, Родъ заимствуетъ черты не изъ записокъ, а изъ другихъ источниковъ, указываетъ на его поклоненіе величайшему политическому гению того времени — Наполеону, на его полнѣйшее равнодушіе къ пробуждающемуся народническому движенію Германіи, на рѣшительное несочувствіе его политическому объединенію Германіи. Намъ кажется, что именно въ этомъ противодѣйствіи стреми-

тельному, все съ большею силою обнаруживающемуся теченію проявляется характерная черта генія Гёте, источникъ великаго, еще не приходящаго къ концу, его вліянія на будущія поколѣнія. Родъ признаетъ, что развитіе Гёте было весьма медленное, что оно походило на олицетвореніе гегелевской идеи *des Werdens*, что въ этомъ развитіи движеніе впередъ чередовалось длинными перерывами; что когда всѣмъ казалось, что дарованіе Гёте исчерпано, онъ разрѣшался вдругъ и неожиданно какимъ-нибудь шедевромъ, столь мало соотвѣтствующимъ настроенію общества и господствующимъ теченіямъ, что его принимали холодно, и что требовалось много времени, чтобы оно пришлось по вкусу и сдѣлалось популярнымъ. Такъ какъ Гёте многократно мѣнялся въ теченіе своего продолжительнаго существованія и являлъ собою образъ мифологическаго Протея, то и всякое опредѣленіе его личности по одному какому-нибудь періоду его дѣятельности можетъ и не годиться для другихъ періодовъ. Въ 1771 г. онъ защищалъ на степень доктора въ Страсбургѣ тезисъ, въ духѣ чистѣйшаго лютеранства, что государство вправе устанавливать религіозное вѣроисповѣданіе, которое духовенство обязано преподавать и съ которымъ свѣтскіе должны, хотя бы только наружнымъ образомъ, сообразоваться (кн. XI, W. und D.). Спрашивается, что общаго между защитникомъ этого тезиса и религіознымъ мистикомъ, другомъ Лафатера и дѣвицы Клеттенбергъ, наконецъ, между обоими этими лицами и «великимъ язычникомъ», какимъ звали Гёте впослѣдствіи, показывавшимъ друзьямъ кусокъ мрамора изъ Дельфъ и приговаривавшимъ. «вотъ моя святыня» (*dass sind meine Reliquien*)? Въ одномъ только Гёте остался во всю свою жизнь неизмѣненъ: то былъ идеализмъ, вѣра въ существованіе сверхчувственнаго міра (XX кн. W. und D.). Въ силу этого идеализма юноша, воспитывавшійся въ духѣ французской литературы и писавшій французскіе стихи, почувствовалъ себя нѣмцемъ, почувствовалъ влеченіе къ своему родному. „*Système de la nature* барона Гольбаха, пишетъ

Гёте, показался намъ произведеніемъ сѣрымъ, мертвеннымъ, отъ котораго мы бѣжали, какъ отъ привидѣнія. Мы ощущали холодъ и пустоту этого печальнаго атеистическаго сумрака, въ которомъ исчезала земля со свѣми ея произведеніями и небо со всѣми его звѣздами... На самомъ пограничій Франціи мы отрѣшились заразъ и цѣликомъ отъ всего французскаго. Холодна и чопорна была ихъ поэзія, разрушительна была ихъ критика, ихъ философія слишкомъ сложна и слишкомъ недостаточна» (XI кн., W. und D.). Толчокъ, удалившій Гете отъ французовъ, сблизилъ его съ Шекспиромъ. Въ результатѣ получился *Goetz von Berlichingen*, въ которомъ Гёте прилѣпился къ нѣмецкой старинѣ и положилъ начало нѣмецкому романтизму. Слѣдующія за тѣмъ «Страданія Вертера» имѣютъ видъ дани, платимой революціонному духу вѣка; они пропитаны чувствами, волновавшими Ж. Ж. Руссо, омерзѣніемъ къ бездушной, медленно влекущейся мѣщанской жизни, и порывами души къ вещамъ, какими онѣ должны быть, а не къ тѣмъ, какими онѣ суть въ дѣйствительности. *Вертеръ* сразу достигъ всемірнаго распространенія, до такой степени онъ соотвѣтствовалъ всеобщему настроенію въ моментъ своего появленія. Отъ автора Гёца нѣмецкіе патриоты ждали продолженія его драмы, дальнѣйшаго прославленія средневѣковыхъ идеаловъ. Ожиданія не сбылись; изъ романтическаго кокона вылетѣла бабочка — чистый классикъ, созидающій красивыя вещи, но холодныя какъ мраморъ. Поэтъ превратился въ придворнаго, въ тайнаго совѣтника, въ перваго министра крошечнаго государства, въ неизмѣннаго сторонника мелкодержавной нѣмецкой политики, не только не предугадывающаго послѣдующей эпохи крови и желѣза, эпохи Бисмарка, но чувствующаго непреодолимое отвращеніе къ перевороту, въ которомъ пропало бы безповоротно, то, «что онъ дороже всего цѣнилъ». «Лежали предо мною, пишетъ Гёте (XV к. W. u. D.) *Патриотическія фантазіи* Мёзера. Я объяснялъ князю (Карлу Августу Веймарскому), что хотя упрекаютъ нѣмцевъ въ анархизмъ и безсиліи, но съ мёзеровской точки

зрѣнія многочисленность мелкихъ государствъ есть состояніе, наиболѣе желательное для преуспѣянія культуры въ отдѣльныхъ частяхъ, сообразно потребностямъ, вытекающимъ изъ положенія и устройства различныхъ частей». Извѣстно, что всякій переворотъ окупается дорого, что потери при каждомъ бываютъ весьма значительны. Въ колоссальной громадинѣ, образовавшейся изъ объединившихся частицъ, не могло бы устроиться такое мощное умственное средоточіе, какое представили собою германскія Аены, иными словами — Веймаръ. Сіяющее надъ этими Аенинами созвѣздіе Кастора и Поллукса, послѣ Гёте и Шиллера будетъ еще и въ будущемъ противодѣйствовать огрубѣнію нравовъ, пониженію уровня гуманизма, и не допустить, можетъ-быть, до того, чтобы всѣ нѣмцы сдѣлались пруссаками.

Эгоизмъ, въ которомъ Родъ обвиняетъ Гёте, недостаточенъ для объясненія, почему Гёте былъ столь равнодушенъ къ освободительной войнѣ нѣмцевъ противъ Наполеона. Мы можемъ не одобрять этого равнодушія; мы должны, однако, признать, что оно имѣло весьма разнообразныя и глубокія причины. Основательны ли и другія обвиненія Гёте въ сухости, въ безсердечности, въ неспособности сочувствовать людямъ, постигать и раздѣлять ихъ страданія? Намъ кажется, что французскій критикъ нѣсколько слабъ по части психологіи, что онъ смѣшиваетъ качества сердца съ качествами ума и творчества воображенія, что онъ строитъ свои выводы на смѣшеніи понятій, такъ что съ этими выводами нельзя никакъ согласиться. По самой природѣ своей люди бываютъ либо сердечные, либо рассчитывающіе. Сердечные люди подраздѣляются еще на нѣжно-чувствительныхъ и на бойцовъ. Однимъ изъ самыхъ сильныхъ сердечныхъ людей — борцовъ съ большею примѣсю геройства былъ Байронъ, но творческое воображеніе его было чисто субъективное; ему никогда не удавалось перевоплотиться въ другое лицо, усвоить себѣ чужія чувства и понятія; онъ изображалъ только одного себя въ различныхъ позахъ. Люди рефлектирующіе,

расчитывающіе, не бываютъ никогда непосредственно добры, доброта не струится изъ нихъ безъ ихъ о томъ вѣдома, по самой ихъ натурѣ и, такъ сказать, невольно. Ихъ доброта имѣетъ свой источникъ въ присущемъ ихъ сознанию понятіи долга. Это посредственное облюбованіе людей по идеѣ долга не умаляетъ заслугъ рефлектирующихъ людей, не ставитъ ихъ ниже неразсуждающихъ сердечниковъ. Бывали великіе писатели, которые ради этики, истекающей изъ головы, а не изъ сердца, отреклись отъ эстетики, отъ культа красоты и даже отъ своего поэтического творчества и превратились въ простыхъ проповѣдниковъ одной только морали. Живой примѣръ такой невыгодной, съ общественной точки зрѣнія, перемѣны у насъ на глазахъ: это графъ Левъ Толстой. Былъ еще и другой, а именно Гоголь, который сдѣлался такимъ же точно аскетомъ. Мы весьма мало данныхъ имѣемъ о Шекспирѣ. Мы не знаемъ съ точностью, былъ ли онъ добрый человѣкъ или злой, эгоистъ или альтруистъ. Не подлежитъ, однако, сомнѣнію, что никто еще не произвелъ въ искусствѣ столько душъ человѣческихъ поразительно живыхъ, никто не былъ такимъ, какъ онъ, знатокомъ и выразителемъ человѣческихъ страданій. Гёте одинъ изъ немногихъ того же разряда людей, одинъ изъ проницательнѣйшихъ анализаторовъ и воспроизводителей человѣческихъ мыслей и чувствъ. Жизнь каждаго изъ насъ складывается не изъ однихъ только удовольствій; она не имѣла бы полноты, если бы обходилась безъ страданій. Художникъ, который умѣлъ бы воспроизводить одни только радостныя, чувства, былъ бы только средней руки артистъ, только ограниченный въ своемъ творествѣ человѣкъ. Кто читалъ Ифигенію, Тасса, и въ особенности Фауста, тотъ знаетъ, какъ мощно и какъ точно воспроизводитъ Гёте человѣческія страданія, что и заставляетъ насъ предполагать, что онъ эти страданія лично переносилъ, въ противномъ случаѣ онъ не былъ бы въ состояніи ихъ воспроизвести. Есть притомъ и подходящія къ этому заключенію данныя въ запискахъ Гёте, которыя не были, какъ слѣдуетъ, по-

няты Родомъ и которыя имъ крайне несправедливо оцѣнены.

III.

Устранимъ прежде всего предположенія, основанныя на заглавіи *Wahrheit und Dichtung* (правда и поэзія или правда и фантазія). Родъ предполагаетъ, что Гёте приступилъ къ написанію этого сочиненія съ предвзятымъ намѣреніемъ украсить свою жизнь включеніемъ въ нее небывалаго, что онъ желалъ, чтобы потомство считало его именно таковымъ, какимъ онъ себя изобразилъ въ этой книгѣ. Поводомъ къ написанію книги служило, по словамъ Гёте, письмо одного уважаемаго пріятеля, который просилъ его расположить свои произведенія по взаимной ихъ связи и въ хронологическомъ порядкѣ, съ объясненіемъ притомъ душевнаго настроенія, обстоятельствъ, послужившихъ поводомъ и матеріаломъ къ сочиненію, наконецъ, теоретическихъ началъ, руководившихъ писателемъ.—Гёте сообщаетъ, что онъ радъ былъ предложенію, что онъ рѣшился удовлетворить пріятеля, что онъ сталъ отмѣчать и располагать свои работы въ хронологическомъ порядкѣ, припоминая время и обстоятельства, сопровождавшія ихъ писаніе, что не давалось ему легко, такъ какъ между опубликованными произведеніями бывали большіе промежутки, недоставало начатыхъ, незаконченныхъ еще работъ, да и тѣ, которыя были окончательно отдѣланы, подвергались многократнымъ измѣненіямъ и передѣлывались заново по нѣскольку разъ. Кромѣ того, ему приходилось возстановлять въ памяти свои попытки научныхъ изслѣдованій и открытій. По мѣрѣ того, какъ онъ сталъ себя представлять внѣшнія и внутреннія дѣйствовавшія на него побудительныя причины, теоретическія и практическія ступени, по которымъ онъ подвигался, совершенствуясь въ искусствѣ и въ знаніи, онъ чувствовалъ, какъ онъ переносился изъ рамокъ тѣсной своей личной

жизни на болѣе широкое поприще. Знаменитые люди, съ которыми онъ былъ въ общеніи, становились на первомъ планѣ. Большія міровыя движенія политическія требовали принятія ихъ также въ расчетъ. Главная задача всякаго жизнеописанія, состоитъ въ томъ, чтобы разыскать, въ какой степени совокупность внѣшнихъ обстоятельствъ сопротивлялась или содѣйствовала направленію дѣятельности лица, какой выработалъ онъ свой общій взглядъ на міръ и на людей, а если онъ былъ писатель, то какими средствами онъ свой взглядъ выразилъ. Вѣкъ увлекаетъ человѣка въ свои теченія, такъ что если бы онъ родился десятью годами раньше или десятью годами позже, то онъ бы ужъ не тотъ, а иной, различный отъ настоящаго и по образованію, и по внѣшней дѣятельности.

Гёте самъ изобразилъ, какимъ путемъ и вслѣдствіе какихъображеній и воспоминаній составилось то повѣствованіе о прошлой его жизни, полуисторическое, но вмѣстѣ съ тѣмъ и полупоэтическое. Вполнѣ понятно, что 60-лѣтній человѣкъ не можетъ смотрѣть глазами ребенка или юноши на людей, съ которыми онъ жила въ старину, что онъ не можетъ судить о событіяхъ, ими пережитыхъ, не пользуясь свѣтомъ позднѣйшихъ своихъ опытовъ, что онъ не можетъ, наконецъ, не дополнять пробѣловъ въ испытанномъ, и въ томъ, что онъ запоминать, не прибѣгать къ содѣйствію своего воображенія. Въ XII кн. W. u. D. Гёте выражается такъ: «я не обѣщаль дать трудъ самостоятельный; назначеніе моего труда заключалось между прочимъ и въ томъ, чтобы восполнить пробѣлы въ пережитомъ, объяснить многіе написанные отрывки и сохранить воспоминаніе о неосуществленныхъ, оставшихся безплодными замыслахъ».

Какъ настоящій поэтъ, Гёте обладалъ способностью освобождаться отъ душевныхъ мукъ и страстей, подвергая ихъ извѣстной кристаллизаци, воплощая ихъ въ поэтическія произведенія. Разъ онъ ихъ описалъ, онъ точно самого себя выгородилъ и сталъ отъ нихъ независимымъ. Онъ пишетъ въ VII кн. W. u. D.: «я смолodu получилъ

то направленіе, которому остался вѣренъ во всю свою жизньъ, заключающееся въ томъ, чтобы все, что меня радовало, томило или, вообще говоря, занимало,—превращать въ стихи или въ образы на готъ конецъ, чтобы исправлять мои понятія о внѣшнихъ предметахъ или доставлять себѣ внутреннее успокоеніе... Когда я нуждался для моей поэзіи въ реальной подкладкѣ, когда для работы требовались чувства или размышленія, я долженъ былъ искать ихъ въ моей собственной груди. Съ тѣхъ поръ (кн. XII W. u. D.). какъ меня стала мучить скорбь о положеніи Фредерики (Бріонъ), я, по старой привычкѣ, прибѣгъ опять къ поэзіи. Я продолжалъ поэтическую исповѣдь, чтобы посредствомъ этого мучительнаго покаянія заслужить внутреннее отпущеніе содѣяннаго». Никакой такой потребности въ покаяніи или въ успокоеніи себя Гёте въ годахъ 1811—1820 не ощущалъ. Писалъ онъ записки, какъ человѣкъ пожилой, онъ оживлялъ, восстанавливалъ и сосредоточивалъ впечатлѣнія своей молодости, когда еще не былъ придворнымъ человѣкомъ и министромъ. Записки предназначались для малаго кружка друзей, интересующихся постепенностью его умственнаго развитія. Онъ самъ себѣ хотѣлъ выяснить процессъ эволюціи своего преимущественно литературнаго только творчества и дать себѣ самому себѣ отчетъ въ томъ, что именно изъ пережитаго и перечувствованнаго вошло видоизмѣненное и до неузнаваемости идеализированное въ его произведенія. Гёте былъ одновременно и поэтъ и научный человѣкъ. Записки писаны были научнымъ человѣкомъ, историкомъ, имѣющимъ свою опредѣленную задачу, не желающимъ прибѣгать къ вымыслу, вполне сознающимъ, что самый совѣстливый историкъ не дойдетъ до безусловной правды, что онъ по необходимости обязанъ прибѣгать къ помощи воображенія, чтобы связать свои матеріалы, чтобы ихъ закруглить и дополнить. Записки обрываются на 1775 г., т.-е. по пріѣздѣ Гёте въ Веймаръ. Десятилѣтній, слѣдующій затѣмъ, веймарскій періодъ (1776—1786) былъ малопроизводителенъ по числу и качеству

литературныхъ трудовъ. Впечатлѣнія двухъ лѣтъ странствованій по Италіи отмѣчались поэтомъ почти изо дня въ день въ дневникѣ. Что касается до памятнаго десятилѣтія дружбы двухъ великихъ нѣмецкихъ поэтовъ Гёте и Шиллера съ 1794 г. по смерть Шиллера въ 1805 г., то продолжать жизнеописаніе за эти годы совсѣмъ не приходилось, такъ какъ оно было лишнее въ виду опубликованной Гёте переписки между нимъ и Шиллеромъ.

IV.

Слабѣйшая и легко уязвимая сторона всякаго писателя передъ судомъ критики есть его эротизмъ, его любовныя похождения. Читатель не выноситъ обыкновенно никакого хвастовства со стороны писателя на счетъ его удачъ, насчетъ его побѣдъ надъ женщинами. Такихъ побѣдъ было у Гёте много. Г. Родъ признаетъ, что при изображеніи своихъ отношеній къ женщинамъ Гёте старательно избѣгалъ всего, что могло бы ихъ компрометировать, и что рассказы его не содержатъ ни тѣни хвастовства. Критикъ крайне недоволенъ этою воздержностью; онъ въ претензіи на Гёте за то, что сей послѣдній, отмѣчая весьма сжато и сухо вліяніе той или другой женщины на творчество, на тѣ или другія произведенія, отдѣляется отъ предметовъ своей любви непріятнымъ манеромъ (*d'un ton détaché qui déplaît*), при чемъ обнаруживаетъ прирожденное равнодушіе любовника и почти презрительное превосходство разказчика (р. 24). Родъ упрекаетъ Гёте за эту корректность, за избѣганіе подробностей, и за замалчиваніе обстоятельствъ, которыя, если бы были раскрыты, то, по мнѣнію критика, объяснили бы, что въ каждой любовной связи была доля вульгарности или притворства, что было много условности и романической фикиціи въ этомъ якобы правдивомъ, но слегка поэтизированномъ повѣствованіи событія и (р. 37) много сухости, эгоизма и даже жестокости (р. 39).

Душа Гёте имѣла отъ природы одно свойство, не состоящее, впрочемъ, ни въ какой связи съ записками. Даже въ пылу самаго страстнаго любовнаго порыва Гёте не могъ воздерживаться отъ анализированія своей страсти. и производилъ самъ надъ собою опыты. Страсть не могла завладѣть имъ сполна; ни одной изъ своихъ любовницъ онъ не отдался всецѣло и безусловно. Во второй половинѣ своей жизни (1806) онъ кончилъ тѣмъ, что женился на необразованной пригожей цвѣточницѣ Христіанѣ Вульпиусъ, съ которою уже 17 лѣтъ прожилъ во внѣбрачномъ сожитіи. Мы вовсе не намѣрены ни хвалить его, ни порицать за то, что онъ именно такимъ образомъ жизнь свою домашнюю устроилъ. Замѣтимъ притомъ, что Гёте самъ себя осуждалъ за свою неустойчивость въ любви. «Отвѣтъ Фредерики, пишетъ Гёте (XII кн., W. u. D.), поразилъ меня; я почувствовалъ потерю, которую понесъ. Она стояла постоянно передъ моими глазами. Я не могъ себѣ простить; я впервые былъ кругомъ виноватъ. Я нанесъ глубокую рану прекраснѣйшему сердцу; настало для меня время мрачнаго раскаянія—состояніе мучительное, почти невыносимое. Обѣ Маріи въ Гёцѣ и въ Клавиго и обѣ скверныя фигуры ихъ любовниковъ явились результатами моихъ исполненныхъ раскаянія размышленій».

Родъ не допускаетъ, чтобы Гёте былъ правдивъ въ своемъ раскаяніи. Онъ думаетъ, что поймалъ Гёте на неправдѣ и можетъ уличить его въ неискренности, въ сочинительствѣ при изображеніи своихъ романическихъ отношеній къ Кестнерамъ въ Вэцларѣ, которыя послужили основою для позднѣйшихъ «Страданій Вертера». Въ краткихъ словахъ вотъ что произошло въ Вэцларѣ. Получивъ въ Страсбургѣ званіе доктора правъ, Гёте работалъ, какъ кандидатъ на судебную должность, при вэцларскомъ имперскомъ судѣ. Другъ его Кестнеръ познакомилъ его со своею невѣстою Шарлоттою Буффъ, въ которую Гёте страстно влюбился. Въ теченіе лѣта 1772 г. происходило нѣчто похожее на идиллію въ чисто нѣмецкомъ родѣ и вкусѣ, въ трехъ лицахъ, состоящихъ между собою въ не-

прерывномъ общеніи и полнѣйшемъ согласіи. Лотта дружески и сочувственно относилась къ Гёте; Кестнеръ былъ настолько къ ней увѣренъ, что не ревновалъ ея нисколько. «Мое отношеніе, пишетъ Гёте въ запискахъ, становилось болѣе и болѣе страстно въ силу своей привычки; нареченные сообщались со мною столь свободно, что ихъ полнѣйшая самоувѣренность заставила меня забываться и терять изъ виду всякую опасность. Молодая чета намѣрена была вскорѣ затѣмъ бракосочетаться. Такъ какъ человѣкъ маломальски энергическій можетъ всегда захотѣть и сдѣлать то, что сочтетъ необходимымъ, то и я рѣшился добровольно удалиться, не дожидаясь того, чтобы меня изгнала нестерпимая дѣйствительность». 11 сентября 1772 года Гёте бѣжалъ изъ Вэцлара, не предупредивъ пріятелей, не простившись съ ними и оставивъ послѣ себя для передачи имъ двѣ коротенькія записки, выражавшія довольно безсвязно волновавшія его при отъѣздѣ чувства (*Er ist fort, Kestner, wenn Sie diesen Zettel kriegen, er ist fort... O mein armer Kopf!*..). Письма Гёте къ Кестнерамъ, писанныя въ 1773 году, свидѣтельствуютъ, что его преслѣдовалъ образъ Шарлотты, что его меланхолическое настроеніе было весьма продолжительное, что его мучила столь распространенная въ этой эпохѣ мысль о самоубійствѣ. Онъ имѣлъ обыкновеніе класть въ постель подъ подушку острый кинжалъ и пробовать, могъ ли бы онъ при случаѣ вогнать его въ свою грудь дюйма на два (XIII кн., W u. D.). Въ записки Гёте занесено, что вдругъ пронеслось извѣстіе о томъ, что въ Вэцларѣ наложилъ на себя руку знакомый Гёте молодой богословъ Ерузалемъ, застрѣлившійся вслѣдствіе нераздѣляемой любовной страсти. «Тогда планъ «Страданій Вертера» созрѣлъ во мнѣ мгновенно. Подобно тому, какъ вода въ сосудѣ, охлажденная до градуса замерзанія, превращается при малѣйшемъ сотрясеніи въ ледъ, такъ и у меня всѣ подробности сплотились, образуя связное цѣлое». Эти слова показываютъ наглядно, какъ можетъ ошибаться всякій человѣкъ, вспоминая даже о событіяхъ, относящихся непосредственно

къ его собственной личности. Гёте бѣжалъ изъ Вецлера 11 сентября 1772 г. Ерузалемъ застрѣлился 30 октября. Въ теченіе 1773 г. Гёте пребываетъ большею частью во Франкфуртѣ, передѣлываетъ и издаетъ *Гёца*, знакомится съ этикою Спинозы, проникается его идеями и становится на всю уже послѣдующую жизнь пантеистомъ. Въ началѣ 1774 года онъ узнаетъ о весьма неприятныхъ супружескихъ отношеніяхъ своей доброй знакомой въ Эренбрейтштейнѣ Максимилианы Ларошъ, на которой женился негоціантъ Брентано. Это извѣстіе внушаетъ ему мысль приступить къ работѣ. Онъ пишетъ почти безъ перерыва «Страданія Вертера», начатыя 1 февраля, конченныя въ мартѣ 1774 г.

Мы можемъ легко исправить допущенныя въ запискахъ погрѣшности, возстановить настоящую связь между причинами и слѣдствіями. Порывъ къ самоубійству свирѣпствовалъ въ то время во всей Европѣ въ видѣ повальной болѣзни. «Страданія Вертера» распространились вдругъ и сдѣлались общеизвѣстны. Книгою этою зачитывался Наполеонъ въ Египтѣ. Она имѣла свой отголосокъ и на востокѣ Европы въ 4 части «Дѣдовъ» Мицкевича, изданной въ 1822 году. Гёте отмѣтилъ въ XIII кн., W. u. D.: „въ концѣ концовъ я сталъ смѣяться надъ собою, отдѣлался отъ ипохондрическихъ призраковъ и рѣшилъ еще немного пожить. Для того, чтобы съ удовольствіемъ (mit Heiterkeit) жить, необходимо было взяться за поэтическую задачу, въ которой оговорено было бы все то, что я передумалъ, прочувствовалъ и о чемъ мечталъ по этому важному вопросу... Я сосредоточилъ всѣ данныя къ тому, которыя въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ во мнѣ бродили, возстановлялъ въ памяти событія, которыя наиболѣе меня тревожили и мучили. Недоставало мнѣ одной лишь фабулы“. Вдругъ пронеслась вѣсть о самоубійствѣ Ерузалема, и тотчасъ затѣмъ *Вертеръ* былъ готовъ. Въ дѣйствительности было не такъ. Романъ созрѣлъ въ годъ слишкомъ по смерти Ерузалема. Онъ былъ написанъ значительно позже, но послѣ того момента, когда

Гёте отрѣшился отъ призрака самоубійства. Толчокъ къ написанію романа дало сочувствіе автора несчастному положенію госпожи Брентано. Шарлотта Буффъ и Максимилиана Брентано позировали обѣ передъ Гёте, когда онъ изображалъ героиню „Страданій Вертера“. Сочиненіе писалось не подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ испытанныхъ страданій, оно скорѣе плодъ воображенія, но оно тронуло чувствительное мѣсто, понало въ самую болѣзнь вѣка, сдѣлалось въ данный моментъ модною книгою. Французскій критикъ имѣлъ несомнѣнное право, которымъ и воспользовался, понизить значительно артистическое достоинство „Страданій Вертера“. Ихъ мало кто нынѣ читаетъ. Интересъ ихъ былъ преходящій, теперь въ значительной степени онъ только историческій. Кто же нынѣ зачитывается даже „Новою Элоизою“ Ж. Ж. Руссо? Родъ дѣлаетъ справедливое замѣчаніе, что если бы когда-нибудь и гдѣ-нибудь встрѣтились Сень-Прё и Вертеръ, то съ ужасомъ отскочили бы другъ отъ друга: каждый бы изъ нихъ увидѣлъ своего собственнаго двойника. Но Родъ идетъ гораздо дальше и умозаключаетъ, что съ самаго момента, какъ Гёте влюбился въ Шарлотту Буффъ, онъ уже форсировалъ себя и, такъ сказать, навинчивалъ съ намѣреніемъ извлечь изъ своего любовнаго чувства сюжетъ для романа. Родъ думаетъ, что даже тѣ записочки, которыя были написаны Гёте 10 сентября 1772 г. къ Кестнерамъ передъ отъѣздомъ изъ Вецлара, сочиняемы были въ этихъ видахъ, т.-е. для будущаго романа, что ихъ писалъ чело-вѣкъ, играющій самъ съ собою родъ комедіи, не недобросовѣстной, впрочемъ, и не притворной, что онъ поступалъ, какъ поступаютъ люди съ сухимъ сердцемъ, искусственно воспламеняющіе свое воображеніе, съ тѣмъ чтобы произвести въ читателяхъ ложное впечатлѣніе искренности, котораго они сами не испытывали, такъ какъ они сами передъ собою только позировали. Родъ утверждаетъ, что трагическая развязка въ *Вертерѣ* прикрываетъ спокойный исходъ идилліи, довольно ординарной и плоской (р. 120). По его выводу романъ о Вертерѣ по своему содержанію

сводится къ слѣдующему, если его сопоставить съ его источниками: личное подлинное событіе, весьма обыкновенное и незначительное, стекающееся съ того же рода другимъ личнымъ событіемъ, касающимся совсѣмъ иныхъ лицъ (чета Брентано). Чтобы придать своему сюжету трагическій характеръ и такую же развязку, авторъ вводитъ въ произведеніе совсѣмъ постороннее происшествіе (Ерузалемъ), чуждый элементъ, заимствованный не изъ своего собственнаго опыта, а изъ внѣшнихъ наблюдень (р. 129). Требованія критика, направленные уже не на записки, а на произведеніе изящной литературы, приводятъ насъ въ недоумѣніе. Гёте въ *Вертеръ* не дѣлалъ никакихъ личныхъ признаній, не заявлялъ ничего похожаго на исповѣдь. Исполонъ вѣка были отличаемы людьми истина реальная и истина поэтическая. Поэтическая истина — это красивый вымыселъ, дѣйствительность, сильно видоизмѣненная согласно требованіямъ идеи красоты. Въ число условій красоты не входитъ ни то, много ли введено въ произведеніе событій, дѣйствительно пережитыхъ и прочувствованныхъ авторомъ, ни то, бралъ ли авторъ въ основу произведенія давнишнія свои впечатлѣнія и воспоминанія или новыя и совсѣмъ свѣжія. Произведеніе тогда лишь неудачно, когда авторъ не сумѣлъ воспользоваться дѣйствительностью, когда изобразилъ предметъ въ худшемъ и менѣе занимательномъ видѣ, нежели какимъ онъ былъ въ дѣйствительности, но не наоборотъ. Бываютъ, конечно, исключенія, но большинство поэтовъ не испытываетъ тѣхъ необычайныхъ случаевъ и столкновень, которые изображены въ ихъ произведеніяхъ. Талантливый поэтъ создаетъ безсмертные рассказы или дивныя пѣсни на основѣ мотивовъ весьма извѣстныхъ, обыденныхъ и даже банальныхъ. Постараюсь пояснить мою мысль примѣромъ изъ жизни А. Мицкевича, изъ первыхъ лѣтъ его поэтической дѣятельности. Онъ влюбился въ богатую барышню Марію Верещака. Любовь была взаимная, но семья выдала Марію за болѣе солиднаго и болѣе подходящаго соискателя ея руки Путкамера, который отчасти походилъ на Кестнера

въ томъ, что не ревноваль Мицкевича къ своей женѣ и надѣялся, что со временемъ ему удастся снискать ея расположеніе. Супруги Путкамеры переписывались съ Мицкевичемъ и даже выдались съ нимъ по временамъ.— Что перенесъ и какъ страдалъ Мицкевичъ—покрыто мракомъ неизвѣстности; не подлежитъ сомнѣнію, что онъ заимствовалъ извнѣ горючій матеріалъ для усиленія въ себѣ огня страсти, что онъ читаль *Вертера* и, идя по слѣдамъ Вертера, помышляль о самоубійствѣ. Онъ изобразилъ это самоубійство въ 4-ой части „Дѣдовъ“, и томъ своихъ произведеній, въ которомъ заключалась и эта драма, поднесъ любимой имъ женщинѣ съ посвященіемъ, кончающимся стихомъ: „И память милого изъ рукъ прими ты брата“. — Сердце поэта не можетъ долго пустовать; въ сердцѣ этомъ перебивали многія барыни и барышни, одесскія, петербургскія, московскія, но восемь лѣтъ послѣ разлуки съ Маріею онъ еще мечталъ о ней, и только о ней, въ Альпійскихъ горахъ, на Сплугенѣ въ 1829 г. Никто не подвергалъ сомнѣнію искренность чувства въ Мицкевичѣ, между тѣмъ любовныя отношенія его къ Маріи П. происходили среди самыхъ обыденныхъ обстоятельствъ. Обстановка могла быть ординарная, но страстное чувство настоящаго поэта никогда банальнымъ быть не можетъ.

V.

Всѣ выходки Рода противъ Гёте, всѣ изъ записокъ Гёте почерпаемыя разоблаченія, клонящіяся къ тому, что хотя Гёте самъ себя изобразилъ въ Вертерѣ, но Вертера не стоитъ, потому что онъ по характеру менѣе возвышенъ и менѣе поэтиченъ,—лишены всякаго основанія и могутъ быть отнесены къ числу простыхъ придиорокъ.—Критику слѣдовало бы точнѣе справиться съ Гёцомъ, Вертеромъ и записками, соблюсти большую пропорціональность въ частяхъ своей работы. Половина его книги посвящена

либо запискамъ, которыя хотя и богаты содержаніемъ, но значеніе этого содержанія только историческое, либо Гёцу и Вертеру—двумъ произведеніямъ, въ которыхъ Гёте еще несамостоятеленъ, въ которыхъ онъ испытываетъ, по словамъ автора, два кризиса: романтическій и сентиментальный, и сильно увлекается двумя могучими революционными теченіями, волновавшими европейское общество въ XIX столѣтіи. — Романтизмъ Гёте объясняется совокупностью слѣдующихъ обстоятельствъ: поощренія со стороны Гердера, въ своемъ родѣ новатора, проповѣдывавшаго народную поэзію, противопоставляемую имъ ученой поэзій, увлеченія Шекспиромъ, по примѣру того же Гердера и Лессинга, и впечатлѣнія, которое на Гёте произвелъ Страсбургскій соборъ. Гёте сильно заинтересовался готическою архитектурою, считая ошибочно, что она національная нѣмецкая. Народническое направленіе было уже въ Германіи распространено; даже ученики въ школахъ представляли себѣ своихъ праотцевъ такими, какими они изображены въ „Гермавіи“ Тацита (VI кн. W. u. D.). Была всеобщая склонность къ націоналистическому освобожденію себя отъ французской моды, литературы и культуры, при чемъ освобождающіеся, сами того не сознавая, заимствовали свой революціонизмъ изъ Франціи и слѣдовали Ж. Ж. Руссо, преклоняясь передъ этимъ верховнымъ властителемъ думъ въ XVIII столѣтіи. Послѣдователями Руссо были учитель Гердера Кантъ, самъ Гердеръ и Гёте. Увлечшись націоналистическимъ вѣяніемъ, Гёте извлекъ изъ прошлаго и сильно идеализировалъ мало симпатичную личность довольно зауряднаго рыцаря-хищника (Raubritter) XVI вѣка, попирающаго императорскую власть въ эпоху полнѣйшаго политическаго безначалія. Родъ увѣренъ (р. 80), что никто въ свѣтѣ не будетъ серьезно утверждать, якобы Гёте былъ въ своемъ Гёцѣ политическимъ предшественникомъ Бисмарка и достигнутого имъ политическаго объединенія Германіи. Гёте пишетъ (X кн. W. u. D.): „дѣянія Гёца потрясли меня до глубины души; я былъ сильно заинтересованъ личностью неотесаннаго,

благонамѣреннаго бойца самопомощи среди дикаго и совсѣмъ анархическаго вѣка“. Справедливо замѣтилъ Родъ, что Гёте увлекся Гёцомъ потому, что усматривалъ въ немъ призывъ къ возврату въ природное состояніе, возстановленіе въ первобытную вольность, что его понятіе о Гёцѣ вырабаталось при созерцаніи Гёца съ помощью оптическаго стекла, заимствованнаго отъ Руссо (р. 80). Почти учебническая работа начинающаго дѣйствовать писателя полная была недостатковъ и ошибокъ. Самъ Гёте признаетъ (XIII к. W. u. D.), что, расторгая связующія его цѣпи единства времени и мѣста, онъ пренебрегъ и гораздо важнѣйшимъ внутреннимъ единствомъ дѣйствія и создалъ рядъ отдѣльныхъ сценическихъ явленій, въ которыхъ главный герой Гёцъ перестаетъ болѣе и болѣе быть дѣйствующимъ лицомъ, а на первомъ планѣ становится слабохарактерный и вѣроломный Вейслингенъ, въ которомъ Гёте самъ себя изобразилъ, когда каялся, что покинулъ Фредерику Бріонъ, и вполне мелодраматическая героиня Адельгейда—цѣликомъ вымышленная; подобной женщины онъ никогда въ жизни не встрѣчалъ.

Съ Вертеромъ мы уже покончили и раздѣляемъ въ сущности мнѣніе критика, что, несмотря на громадный писательскій талантъ автора, его произведеніе, зачатое въ духѣ Ж. Ж. Руссо, исполненное преизбыточной, болѣзненной и навинченной чувствительности, не будетъ числиться въ ряду человѣческихъ шедевровъ, вѣчно юныхъ и истинно безсмертныхъ. Такъ какъ Родъ поставилъ себѣ задачу изслѣдовать личность Гёте во всѣхъ ея видоизмѣненіяхъ въ продолженіи весьма многолѣтняго его существованія, то несовсѣмъ понятно, почему, перепрыгнувъ чрезъ Ифигенію и Эгмонта, онъ затѣмъ отдѣлался отъ Гёте, какъ *придворнаго поэта* (глава IV), коснувшись одного только Тасса. Этотъ періодъ жизни длиненъ, онъ начинается съ пріѣзда Гёте въ Веймаръ, въ концѣ 1775 года, и доходитъ до возвращенія Гёте изъ его перваго итальянскаго путешествія въ 1788 году. Онъ весьма важенъ потому, что содержитъ полное отрѣшеніе Гёте отъ сен-

тиментализма и отъ титаническаго небоборства (Der gigantische himmelstürmende Sinn verlieh meiner Dichtungsart kein Stoff) и переходъ его въ состояніе олимпійскаго спокойствія (XV кн. D. и W.). Какъ Прометей, Гете признавалъ боговъ, но стремился къ тому, чтобъ стать съ ними въ одномъ ряду посредствомъ спокойной, практической, пассивной оппозиціи. Въ писательскихъ его приемахъ произошелъ полный переворотъ. Передъ нами совсѣмъ новый человѣкъ, не романтикъ, но классикъ, даже въ смыслѣ псевдоклассической французской эстетики; онъ уже не чувствовалъ, чтобы ея правила его отягощали; онъ обходился даже безъ всякаго античнаго хора и довольствовался личнымъ составомъ изъ какихъ-нибудь пяти лицъ, почти совсѣмъ не дѣйствующихъ, а только говорящихъ, но такимъ образомъ говорящихъ, что въ ихъ рѣчахъ отражается наглядно происходящая въ душахъ эволюція ихъ настроеній и чувствованій. У Рода приведены новѣйшіе жизнеописатели Гёте: Робертъ М. Мейеръ (Goethe. Berlin, 1895) и Бельшовскій (D-r Albert Bielschowsky, Goethe, sein Leben und seine Werke. München 1896). Онъ могъ бы узнать отъ Мейера, что Гёте сочинялъ Ифигенію не для актрисы Короны Шретеръ, что для Ифигеніи служила образцомъ придворная дама г-жа Штейнъ, совсѣмъ не похожая на тѣхъ дѣвушекъ, за которыми онъ до того времени ухаживалъ, старше его 7 годами и имѣвшая семерыхъ дѣтей, женщина высокообразованная, весьма практичная и кроткая, вліяніе которой было по отношенію къ нему успокоивающее и примиряющее. Средоточіемъ дѣйствія въ пьесѣ является моментъ, когда матереубійца, преслѣдуемый мстительными эриніями, освобождается отъ ихъ жестокаго преслѣдованія вмѣшательствомъ старшей своей сестры, чистой и великодушной женщины, которая восторжествовала надъ ними и обратила ихъ въ бѣгство. Гёте имѣлъ свои собственныя заботы и мученія, менѣе жестокія, чѣмъ Орестовы, но томительныя. Его преслѣдовали упреки совѣсти за покинутую Фредерику Бріонъ, которую онъ не переставалъ любить и которая до самой

своей смерти (1813) не вышла замужъ, и за модницу и щеголиху Лили (Анну Шёнemannъ, впоследствии г-жу Тюркгеймъ), съ которою онъ разорвалъ связь послѣ даннаго слова и послѣ обрученія, когда рѣшился ѣхать въ Веймаръ и поступить на придворную должность. Отъ этихъ привидѣній спасла Гёте нѣжная, заботливая опека г-жи Штейнъ. Къ обѣимъ своимъ бывшимъ любимицамъ онъ ѣздилъ изъ Веймара навѣстить ихъ; обѣ сохранили о немъ наилучшія и почтительныя воспоминанія. Мы не возражаемъ противъ пропуска *Элмонты* въ книгѣ Рода—это одно изъ слабѣйшихъ произведеній Гете. По отношенію къ поэтическому творчеству поэта только обременительна и крайне бесплодна была жизнь его при дворѣ въ званіи перваго министра какого бы то ни было, хотя бы крошечнаго государства, -- обязаннаго быть руководителемъ своего, еле достигнувшаго совершеннѣйшаго, государя, хозяйничать и вмѣстѣ съ тѣмъ забавлять и развлекать великосвѣтскій кружокъ. Ему въ концѣ концовъ опротивѣли эта жизнь и обстановка, ему стало въ тягость даже отношеніе его къ г-жѣ Штейнъ, вслѣдствіе чего, внезапно и никому не повѣдавъ о своемъ намѣреніи, онъ убѣжалъ изъ Карльсбада, гдѣ лѣчился на водахъ, 3 сентября 1786 г. въ Италію, о которой онъ давно уже тосковалъ. Черезъ два года потомъ онъ вернулся съ окончательно передѣланною Ифигеніею, законченнымъ Тассомъ и нѣсколько дополненными отрывками Фауста, но въ управленіе прежнихъ должностей онъ уже не вступилъ. Утонченные эстетики, смакующіе въ особенности въ Тассѣ, считаютъ, что эта драма есть верхъ совершенства по части законченности въ отдѣлкѣ и преодоленіи величайшихъ трудностей техническихъ. Притомъ не подлежитъ сомнѣнію, что онъ вложилъ въ это произведеніе много изъ своихъ личныхъ опытовъ и воспоминаній, такъ что вся пьеса есть какъ бы экстрактъ и квинтъ-эссенція пережитаго имъ лично при дворѣ и у кормила правленія. Родъ слѣдуетъ при опѣнкѣ Тасса по стопамъ Куно Фишера и сопоставляетъ Тасса съ талантливымъ этюдомъ

Шербюлье *Le prince Vitale*. Гёте совсѣмъ не задавался мыслью изобразить Тасса, какимъ онъ былъ въ исторіи по даннымъ, въ недавнее время опубликованнымъ, но въ концѣ XVIII в. совсѣмъ еще неизвѣстнымъ. Тассъ былъ запоздалый пѣвецъ эпохи возрожденія, очутившійся невпопадъ среди жестокой борьбы возстаивающаго свою власть строгими мѣрами католицизма и реформаціи. Онъ сдѣлался жертвою взыскательной церковной цензуры. Кромѣ того онъ, какъ неимущій поэтъ того времени, зависѣлъ матеріально отъ милости покровителей литературы и жилъ при весьма развращенномъ дворѣ одного изъ безсердечныхъ мелкихъ итальянскихъ тирановъ. Хотя драма разыгрывается якобы въ Феррарѣ, но настоящее мѣсто ея дѣйствія — Веймаръ; князь и другія дѣйствующія лица любуютъ искусство и покровительствуютъ ему, но они чопорные люди, преклоняются предъ условностями и строго соблюдаютъ приличія. Оцѣненный княжною Леонорою Эстэ и увѣнчанный ею лавровымъ вѣнкомъ, поэтъ забывается, воспламеняется и относится къ ней какъ мужчина къ удостоившей его своей любви женщинѣ, между тѣмъ какъ она отличила въ немъ только поэта. Онъ попалъ въ немилость и удаленъ отъ двора — не болѣе. Нѣтъ тутъ ни нищенскаго скитальчества, ни заключенія въ домѣ сумасшедшихъ. Что касается до умственной организаціи Тасса въ драмѣ, то онъ напоминаетъ собою былого Вертера, но уже притихшаго, остепенившагося; онъ только болѣзненно чувствителенъ и подозрителенъ и готовъ въ каждомъ встрѣчномъ видѣть врага; людей притомъ совсѣмъ онъ не знаетъ. Влагая въ Тасса многое изъ своего опыта юныхъ лѣтъ, Гёте свое собственное я раздвоилъ, то-есть противоставилъ Тассу бойкаго политика Антоніо Монтекатино, обладающаго иного рода качествами, которыхъ Гёте самъ въ себѣ выработалъ и развилъ за то время, какъ сталъ править людьми, какъ сдѣлался министромъ. Два эти лица діаметрально противоположны по своимъ натурамъ. Восторжествовалъ тотъ изъ нихъ, который практичнѣе, который обращается съ поэзіею какъ пріятною

забавою, который способенъ уколоть до крови поэта и вертѣть ихъ по своему произволу; но сочувствіе и автора и читателей склоняется къ другой, болѣе высокой и благородной натурѣ, то-есть къ Тассу.

Такъ какъ Родъ занимался главнымъ образомъ не произведеніями Гёте, но личностью его, насколько она проявляется въ его произведеніяхъ, то мы слегка лишь претендуемъ на него за то, что онъ, не останавливаясь, проскользнулъ по дивной идилліи въ гомеровскомъ родѣ (*Германъ и Доротея*) на фонѣ новѣйшихъ европейскихъ событій изъ французской революціи, а также, что онъ не оцѣнилъ надлежащимъ образомъ единственной написанной части задуманной трилогіи, озаглавленной «Внѣбрачная Дочь» (*die naturliche Tochter*). Критики вообще не жалуютъ этой работы, но она обнаруживаетъ необычайную проницательность Гёте при опредѣленіи послѣдствій французской революціи и предвидѣніе блажащейся демократизаціи европейскихъ обществъ. Гораздо труднѣе намъ помириться съ пропускомъ. «Ученическихъ годовъ Вильгельма Мейстера». Въ концѣ своей жизни въ разговорахъ съ Эккерманомъ Гёте выражался о семъ трудѣ слѣдующимъ образомъ: «это одно изъ моихъ неизмѣримѣйшихъ произведеній (*incommensuralbelsten*), къ которому я нынѣ не имѣю даже и ключа». Какъ всѣ капитальнѣйшія произведенія Гёте, оно не додѣлано, оно нѣчто въ родѣ торса статуи, но этотъ обломокъ одушевленъ, онъ точно живой. Въ немъ Гёте изобразилъ самого себя, знакомыхъ людей, весь XVIII вѣкъ съ его анархіей и распущенностью нравовъ. Интересъ произведенія слабѣетъ послѣ первыхъ пяти книгъ, когда на первый планъ выдвигаются этика и дидактика, когда богатый купчикъ, любитель литературы и театралъ, послѣ цѣлаго ряда приключеній, изъ дилетанта превращается въ серьезнаго и положительнаго человѣка. Сочиненіе въ цѣломъ взятое несомнѣнно тенденціозно и направлено противъ дилетантства въ искусствѣ, между тѣмъ какъ Родъ увѣряетъ, что оно пропагандируетъ это дилетантство. Изъ писемъ къ

Шиллеру за 1799 годъ видно, что Гёте собирався написать цѣлый трактатъ о «такъ называемомъ дилетантствѣ или о практическомъ любительствѣ искусства», въ которомъ предполагалъ, что ему удастся подѣлать зло въ самыхъ его корняхъ (Meyer S. 261).

VI.

Послѣднюю главу своего опыта Родъ посвящаетъ послѣднему роману Гёте *die Wahlverwandschaften*, основанному на любви, какъ на стихійной силѣ, слѣпой и неудержимой. Этотъ романъ считается отраженіемъ страсти, которую испыталъ 58-лѣтній Гёте къ миловидной дѣвочкѣ 18 лѣтъ Миннѣ Герцлибъ. Это увлеченіе было не послѣднее; въ 1828 году, имѣя 74 года, Гёте сильно ухаживалъ въ Маріенбадѣ за Ульрикою Лѣвцовъ. Родъ не исчерпалъ, такимъ образомъ, большей части сочиненій Гёте, которыя могли бы доставить весьма пригодный матеріалъ для его этюда. Съ весьма легкимъ багажомъ приступаетъ онъ въ послѣдней 6-ой главѣ книги къ разбору того, что онъ называетъ *Grand Oeuvre*, то-есть къ двумъ частямъ Фауста. Онъ справляется съ ними на 53 страницахъ. Противъ этого конца намъ не придется много возражать, потому что на этихъ страницахъ критикъ либо обозрѣваетъ сказочные источники драмы, опредѣляетъ числа, когда сочинялись тѣ или другія частицы, изъ которыхъ складывалось цѣлое въ теченіе всей почти жизни Гёте, постепенную группировку, въ концѣ концовъ безуспѣшную, такъ какъ эти части все-таки не сплывались воедино; либо онъ выражаетъ общія сужденія объ обѣихъ частяхъ Фауста, заимствованныя отъ записныхъ знатоковъ, отъ такихъ спеціалистовъ, какъ Куно Фишеръ, Леперъ и другіе. Родъ принимаетъ участіе въ ихъ хвалебномъ хорѣ и дѣлаетъ слѣдующее курьезное признаніе (р. 285): «я много разъ сердился на этого человѣка, котораго превосходство сопровождалось столькими слабостями. Здѣсь по

крайней мѣрѣ могу восхищаться безъ ограниченій величіемъ артиста и труженика въ виду оконченнаго произведенія, воплощающаго всю его душу». Для Гёте Фаустъ былъ нѣчто въ родѣ копилки, въ которую въ теченіе многихъ десятковъ лѣтъ онъ опускалъ поштучно монеты, пока не накопилась большая сумма этихъ монетъ самаго разнообразнаго чекана. Первоначально имѣлись только сцены, написанныя въ 1773 и 1775 гг.; еще не существовали прологи на сценѣ и въ небесахъ, Мефистофель являлся въ видѣ шутника и насмѣшника, но проходила передъ читателемъ вся трагедія Маргариты, безъ Валентина впрочемъ и безъ конечной катастрофы. Не подлежитъ сомнѣнію, что если бы изъ Фауста исключить трагедію Маргариты, то произведеніе сдѣлалось бы неинтереснымъ, мертворожденнымъ. Сблизившись съ Шиллеромъ, Гёте совѣтовался съ нимъ и приступилъ согласно этому совѣту къ углубленію самой идеи пьесы, къ сообщенію ей широкой философской подкладки. Къ имѣющемуся уже были посвященіе и оба пролога. Бьющійся съ Богомъ объ закладъ сатана сталъ духомъ отрицанія и зла. Затѣмъ Фаустъ пытается отравиться, прогуливается за городомъ съ Вагнеромъ, подписываетъ на себя кабалу. Выведенъ Валентинъ, его дуэль и смерть, сцена въ тюрьмѣ и душевное спасеніе оставляемой Фаустомъ и Мефистофелемъ Маргариты, уже рѣшившейся принять добровольно смертную казнь. Пьеса не то что кончена, скорѣе слѣдовало бы сказать, что она урѣзана. потому что хотя послѣ казни Маргариты можно считать, что Фаустъ совсѣмъ пропавшая душа, но еще не выполнены тѣ условія, отъ которыхъ зависитъ завладѣніе дьявола его окаянною душою; условія эти опредѣлены были въ договорѣ такимъ образомъ: «когда воскликну я: «мгновеніе, прекрасно ты, продлись, постой!» тогда готовъ лишь цѣль плѣненія, земля разверзнись предо мной!» Эти стихи суть какъ бы ниточки, связующія первую часть Фауста съ второю и указывающія, что первая часть должна имѣть продолженіе. Первая часть упоминаетъ и о греческой Еленѣ, а ска-

заніе о Фаустѣ заставляло его вызывать передъ императоромъ Карломъ V лики Александра Македонскаго и Роксаны; притомъ извѣстно, что сказочный Фаустъ показывалъ воскрешенную Елену ученымъ и прижилъ съ нею сына. Гёте не могъ пренебречь этими данными сказанія, тѣмъ болѣе, что съ молодости онъ чувствовалъ въ себѣ въ душѣ нѣчто прометеевское, роднящее его съ богами. Не могъ онъ допустить, чтобы дьяволъ восторжествовалъ, не могъ онъ не попытаться вырвать душу Фауста изъ чортовыхъ когтей въ силу того начала, которое провозглашаютъ въ концѣ 2 части ангелы, поющіе въ небесахъ: *Wer immer strebend sich bemüht, Den sollen wir erlösen!* (Кто всегда подвизаясь трудится—тотъ долженъ быть спасенъ). Съ мотивами и подробностями, вошедшими во вторую часть Фауста, Гёте носился еще во время своего итальянскаго путешествія, а можетъ-быть, даже и со временъ своего студенчества, но многіе десятки лѣтъ прошли прежде, чѣмъ онъ приступилъ къ сочиненію второй части Фауста. Побудительная причина, заставившая его предпринять эту работу, заключалась въ необычайномъ успѣхѣ первой части въ обществѣ нѣмецкомъ. Первая часть издана въ 1808 году, въ моментъ наибольшей политической приниженности Германіи, слѣдовавшей за битвою подъ Іеною, тильзитскимъ миромъ 1807 и союзомъ Александра I съ Наполеономъ. Произведеніе было сразу признано, какъ полнѣйшее выраженіе умственнаго и литературнаго возрожденія Германіи въ народномъ духѣ. Гёте подняли на щитъ и понесли на своихъ плечахъ люди, бывшіе до того его противниками, — романтики. Жанъ Поль Рихтеръ назвалъ Фауста *Shakspeare posthumus*. Его сразу поставили рядомъ съ Гамлетомъ и Божественною Комедіею. Великій нѣмецкій патріотъ Штейнъ называлъ Фауста *mein Katechismus, der Inbegriff meiner Ueberzeugungen und Gefühle*. Справедливо замѣчаніе Рода, что тогдашняя Германія была наиболѣе умственно развита страна, что она праздновала появленіе всякаго интеллектуальнаго шедевра, какъ національную побѣду, хотя казалось бы, что

въ эти трудныя времена хорошія пушки должны были быть важнѣе прекраснѣйшихъ стиховъ. Наивная вѣра въ духовныя силы народа поддержала произведеніе, расширила смыслъ его, усмотрѣла въ немъ нѣчто и сильнонародное и общечеловѣческое, покрыла его, такъ сказать, кристаллизаціею, состоявшею изъ осѣвшего на немъ множества прилѣпившихся къ нему замысловъ и мечтаній, зачатыхъ бессознательно и прикрѣпившихся, такъ что они съ нимъ срослись и невыдѣлимы. На произведеніе накнулись цѣлыми роями комментаторы, символисты и аллегористы, открывающіе въ немъ чудеса, которыхъ авторъ не видалъ даже и во снѣ. Историки и филологи докапывались до самыхъ корней сказанія; изъ комментаріевъ образовалась непроходимая чаща, нѣчто въ родѣ Дантовой *selva oscura*, тропическій лѣсъ, не соотвѣтствующій по величинѣ своему первоисточнику, потому что въ этой обрубленной драмѣ безъ надлежащей развязки герой порывается бороться съ Господомъ Создателемъ, кончаетъ же на томъ, что ординарнѣйшимъ манеромъ соблазнилъ дѣвочку и погубилъ ее, а потомъ невѣдомо куда исчезъ, оставляя насъ въ полной неизвѣстности о своей дальнѣйшей судьбѣ.

Самого Гёте озадачилъ неожиданный громаднѣйшій успѣхъ Фауста. Сбывались предсказанія Шиллера, что произведеніе будетъ нѣчто необычайно великое. Мало-по-малу Гёте сживался съ мыслью, что онъ вложилъ въ произведеніе гораздо больше того, что предполагалъ вложить; онъ уже наслаждался чтеніемъ комментаріевъ и сталъ помышлять о томъ, какъ бы поставить Фауста въ одинъ уровень съ ними, какъ бы прибавить къ нему все то, что могло бы быть присовокуплено съ точки зрѣнія позднѣйшихъ на него воззрѣній. «Его увлекли, говорить Родъ, широкіе разливы критики, онъ потерялъ ясность своего творческаго сознанія» (р. 293, *la simple lucidité de sa conscience de créateur*). Гёте началъ сочинять продолженіе Фауста, то-есть вторую его часть, въ 1824 г., имѣя уже 75 лѣтъ, и кончилъ работу передъ послѣднимъ

празднованіемъ своего рожденія, то-есть передъ 28 августа 1831 г. за семь мѣсяцевъ до смерти (22 марта 1832 г.). Дописывая послѣднія строки, онъ сказалъ Эккерману: «дальнѣйшую мою жизнь я считаю просто подаркомъ». По своей формѣ 2-я часть Фауста—произведение изумительное. Дряхлый старикъ обладаетъ полнымъ мастерствомъ техники и слога, пишетъ образно яркими красками и, какъ чародѣй, группируетъ самымъ фантастическимъ образомъ наиболѣе несогласимые элементы. Роковое вліяніе преклоннаго возраста сказывается въ слабости и несвязности замысла, въ такомъ построеніи цѣлаго, что части распадаются, что драма превращается въ волшебство, въ феерію, въ какую-то индійскую метампсихозу, въ хороводъ быстро смѣняющихся, только мелькающихъ видѣній подъ пантеистическимъ девизомъ: «*Alles vergängliche ist nur ein Gleichniss*» (лишь символъ все, что преходяще). Смолоду Гёте сознавалъ, что онъ неспособенъ воплощать отвлеченности, что его творчество состоитъ только въ превращеніи личныхъ его впечатлѣній въ живые художественные образы. Съ теченіемъ времени главный источникъ творчества изсякъ, впечатлительность притупилась, въ памяти оставались шатающіяся и стирающіяся постепенно воспоминанія. Приходилось пережевывать представленія и мысли, которыя занимали его вѣчно кипучій умъ въ теченіе долгаго его существованія; приходилось изъ этихъ данныхъ создавать произведенія уже совсѣмъ нереальныя, отъ начала до конца вымышленныя, изобрѣтать изысканныя и малосодержательныя символы. Гёте самъ признавался Эккерману, что онъ порой выдумывалъ трудно рѣшимыя загадки (*Ich habe manches hineingeheimnisst*). Поэзія не можетъ обойтись безъ символовъ, всякое великое созданіе искусства неизбѣжно символично въ томъ смыслѣ, что оно неисчерпаемо и, такъ сказать, бездонно, что оно продолжаетъ умственно питать всѣ послѣдующія поколѣнія, какъ чувственное выраженіе безконечной сверхчувственной идеи. Нельзя сказать, чтобы не имѣли законнаго права гражданства въ искусствѣ и аллегоріи, то-есть

чувственныя представленія сверхчувственныхъ происшествій. И символизмъ и аллегорія бывають или индуктивные или дедуктивные. Индуктивный символизмъ дѣйствуетъ, какъ могучій пріемъ при добываніи истины по чутью, онъ есть непосредственное откровеніе истины путемъ чувства, прежде чѣмъ разумъ успѣлъ ее себѣ уяснить. Но есть еще и другой символизмъ—дедуктивный, свойственный старости отдѣльныхъ лицъ и обществъ. Характерная черта старости естъ оскуденіе умственной изобрѣтательности, отсутствіе новыхъ идей. Для удовлетворенія привычной потребности мыслить, лицо или общество берутъ крошку мысли и завертываютъ ее бережливо въ богатые узорчатые покровы и пеленки, завязываютъ потомъ пакетъ замысловатыми гордіевыми узелками и заставляютъ людей угадывать, что въ пакетъ запрятано. Это уже не поэзія, а только философствованіе, притомъ проявляющееся въ самой сложной и неудобной формѣ. Такого философствованія много во 2-й части Фауста, но этотъ недостатокъ не можетъ быть автору вмѣняемъ; онъ объясняется преклоннымъ возрастомъ. Пренебрегать подобнымъ произведеніемъ не слѣдуетъ, по мнѣнію Рода, потому, что даже и уклоненія генія въ сторону и слѣдованіе по ложному пути не лишены величія и назидательны. Притомъ вторая часть Фауста содержитъ символическое міросозерцаніе поэта, имѣетъ симпатичную центральную идею; въ ней есть своя мораль, въ ней есть объясненіе поэтомъ существа его духа, раскрытіе того, къ чему онъ всегда и сознательно и безсознательно стремился. Это идея активнаго добра, идея спасенія, непрестаннаго трудового усилія. По договору съ дьяволомъ, Фаустъ передастъ себя дьяволу, какъ только онъ чѣмъ бы то ни было удовлетворится. Насталъ моментъ, когда Фаустъ воскликнулъ: «Мгновеніе, остановись, стой!» Это моментъ, когда онъ жертвуетъ собою для общаго добра, когда онъ въ самомъ дѣлѣ возлюбилъ людей. Иными словами, Фаустъ кончаетъ жизнь, какъ настоящій христіанинъ; отчасти онъ какъ бы социалистъ, можетъ-быть онъ и то и дру-

гое вмѣстѣ, но несомнѣнно, что съ этого момента нѣтъ у сатаны надъ душою Фауста никакой уже власти.

Изъ-подъ символическихъ покрововъ и всякаго узорчатаго шитья выходитъ наружу, по словамъ Рода, чистая и ясная идея спасенія дѣломъ. Это и есть цементъ, связующій части, которыя бы иначе разлетѣлись, невидимая душа всего организма, которая, однако, не содѣйствуетъ возвышенію значенія всего произведенія, а скорѣе ведетъ къ уменьшенію его размѣровъ. Мы имѣемъ дѣло съ необыкновеннымъ, исключительнымъ человѣкомъ, котораго замыслы и пожеланія безпредѣльны, который бьется объ закладъ, что онъ ничѣмъ въ мірѣ не удовольствуется. Онъ могучъ, когда работаетъ надъ разрѣшеніемъ міровой загадки, или когда жаждетъ испытать никѣмъ еще неизвѣданныя наслажденія, или когда усиливается подчинить своему господству тайныя силы природы, которыя окружаютъ его и беспокоятъ. Въ чемъ выражается, однако, эта, по выраженію Ничше, сверхчеловѣчность? Въ томъ, что онъ соблазнилъ дѣвочку, что онъ потѣшается непомѣрно полетомъ вѣдьмъ на метлахъ на чортову гору; что затѣмъ, послѣ неисчислимыхъ блужданій по темнымъ символическимъ лѣсамъ, этотъ человѣкъ, столѣтній уже и ослѣпшій, привязывается къ человѣчеству, радѣетъ о его счастіи, отнимаетъ у моря часть его дна, дѣлаетъ насыпь, которую потомъ населяетъ. Послѣдній остатокъ своихъ силъ онъ затрачиваетъ на этотъ подвигъ, хотя и заурядный, но несомнѣнно общепользительный. Его замыслы понизились, его желанія канализировались, опредѣлились, ограничились. Въ своей старческой мудрости онъ сдѣлался обыкновеннымъ добрымъ человѣкомъ. Читатель невольно призадумается и усомнится въ высокой цѣнности основной идеи произведенія. Былъ, положимъ, алхимикъ, который бросилъ въ котелъ и заварилъ множество разнообразнѣйшихъ припасовъ: сердце дѣвочки, душу стараго мудреца, чортово копыто, мечъ солдата, убитаго въ поединкѣ, призракъ прекрасной Елены. Результатъ операціи—кусокъ металла; но какого металла: золота, стали или

свинца? Сомнѣніе переносится съ произведенія на самого автора, на его жизнь, на ту идею, вокругъ которой онъ вертѣлся точно шаръ на своей оси. Была въ Гёте извѣстная сила, дѣйствовавшая въ немъ скорѣе инстинктивно, нежели сознательно, которая руководила имъ смолоду, господствовала надъ нимъ, увлекала его иногда и на ложные пути, но приводила опять на битую дорогу. Всѣ—и поклонники и порицатели Гёте—не могутъ его не почитать въ виду того, что онъ развился вполне по своему особенному закону, совершенствуя всѣ свои способности, доводя до полного роста и расцвѣта тѣ сѣмена, которыя пропадаютъ бесплодно и атрофируются въ душахъ людей обыкновенныхъ. Законъ, котораго исполненіе сдѣлало его столь могучимъ, опредѣляется легко, онъ совпадаетъ съ основною идеею его главнаго произведенія. Возлюбивъ преимущественно само дѣйствіе, Гёте всю свою жизнь приспособилъ къ этой цѣли и сосредоточилъ въ этомъ любительствѣ всѣ свои помысленія. Въ томъ его величіе, въ томъ только, можетъ-быть, и все его величіе (р. 308). Остального не стоитъ изучать, потому что подробное разбирательство его страшной подвижности, его ухаживаній за женщинами и громаднаго количества его произведеній, между которыми есть и легковѣсныя, могло бы только причинить ущербъ его славѣ и умалить ее.

VII.

Выводъ, который нами изложенъ по книгѣ Рода, есть у него окончательный. Онъ заключилъ свой трудъ, не досказавъ, что собственно нашелъ онъ въ Фаустѣ, а затѣмъ и въ самомъ Гёте: золото или свинецъ. Онъ даетъ скорѣе понять, что мы обладаемъ сплавомъ, въ которомъ есть и золото, но есть и значительная примѣсь мѣди, такъ что цѣна этому сплаву не столь высока, какъ предполагали, но во всякомъ случаѣ не малая.

Если бъ мы сами примѣнили этотъ пріемъ и способъ

оцѣнки французскаго критика не къ Фаусту и Гёте, а къ его же критическому этюду, и если бы мы поставили вопросъ, изъ какого металла его окончательный выводъ, то мы бы очутились въ большомъ затрудненіи, потому что въ снарядѣ алхимика оказался бы не металлъ, но одна тѣнь чего-то, пустая фраза, вмѣсто рѣшенія задачи, какое-то алгебраическое *x*. Гёте возлюбилъ дѣйствіе, но, спрашивается, какое? Трудовой подвигъ, но, спрашивается, стремленіе къ чему? Дѣйствіе есть цѣлесообразное движеніе въ извѣстномъ направленіи. Допустимъ, что это движеніе наиболѣе цѣлевое, такъ называемое практическое. Высшимъ сортомъ дѣянія считаютъ большею частью дѣяніе политическое. Наиболѣе славы и блеска доставляли до сихъ поръ дѣйствія, сопровождаемыя штыковыми ударами или пушечною пальбою. Самыя эти орудія были иногда называемы *ultima ratio*. При жизни Гёте горѣло на горизонтѣ ослѣпительно яркое свѣтило — Наполеонъ, величайшій геній дѣйствія, передъ которымъ Гёте преклонялся даже послѣ его паденія. Гёте никогда не считалъ политики своимъ призваніемъ; хотя онъ сдѣлался министромъ, но онъ весьма рано отказался отъ этого поприща. То обстоятельство, что онъ никогда не хотѣлъ принять никакого участія въ государственномъ объединеніи Германіи, вмѣняется Родомъ ему въ вину, какъ признакъ эгоизма, хотя не трудно было бы объяснить его предвидѣніемъ тѣхъ дѣйствій, какія влечетъ за собою чувство исключительнаго и враждебно относящагося ко всему вокругъ націонализма, противное Гёте, какъ вѣрному сыну XVIII вѣка, отъ колыбели и до гроба окруженному атмосферой чистѣйшаго гуманизма. Величіе Гёте заключается именно въ томъ, что онъ постигъ ничтожество самостоятельно дѣйствующей матеріальной силы, что онъ уразумѣлъ необходимость состязаться мыслями, не кулаками; что онъ гениальнымъ образомъ самъ себя ограничилъ и предпочелъ быть только ученымъ и очень значительнымъ поэтомъ; что, избравъ писательскую профессію, онъ ни на минуту не пересталъ быть человѣкомъ въ шекспировскомъ смыслѣ

этого слова (*he was a man* по отношенію къ Гамлету и къ Бруту); что онъ имѣлъ девизъ: по пути добра къ истинѣ, и никогда не раздѣлялъ фальшивой теоріи: искусство для искусства, которая порождаетъ однихъ только декадентовъ. Поэтъ поставленъ внѣ того, что, собственно, называется дѣйствиємъ. Его вліяніе на людей только посредственное: онъ настраиваетъ сердца, какъ музыкантъ скрипку, подаетъ имъ собственныя чувства и функционируетъ, такимъ образомъ, какъ наставникъ и воспитатель будущихъ поколѣній. Педагогическое вліяніе Гёте было громадное и не прекратилось донинѣ. Онъ наставлялъ людей всѣхъ націй, какъ жить по-человѣчески. Онъ, собственно, не нѣмецъ; всѣ народности имѣютъ на него одинаковое право. Начавъ съ систематическаго пониженія оцѣнки Гёте и съ подробнаго обзора его слабыхъ сторонъ, Родъ кончилъ тѣмъ, что возвелъ его на весьма высокій пьедесталъ и сдѣлался почти единомышленникомъ 18 друзей Гёте—англичанъ, имѣвшихъ во главѣ Карлейля, которые прислали ему на память въ послѣднюю его годовщину 28 августа 1831 г. печать съ высѣченнымъ на ней символомъ вѣчности—зміемъ, кусающимъ себя за хвостъ, и съ заимствованною отъ самого Гёте надписью: *ohne Hast, aber ohne Rast* (безъ спѣха, но и безъ отдыха). Конецъ этюда не вяжется съ его началомъ. Если бы авторъ сталъ повѣрять дурныя отмѣтки, которыя онъ поставилъ Гёте, глядя назадъ и идя вспять отъ старости къ юнымъ годамъ, то ему пришлось бы зачеркнуть многія изъ этихъ дурныхъ отмѣтокъ на основаніи либо записокъ Гёте, которыми критикъ пользуется какъ главнымъ своимъ орудіемъ противъ Гёте, либо на основаніи тѣхъ сужденій о творчествѣ Гёте, которыя содержатся въ письмахъ Шиллера, дружбу съ которымъ критикъ ставитъ въ особенную заслугу Гёте («то былъ великій фактъ, славнѣйшее чувство въ жизни, красивѣйшая ея страница»).

Голова Гёте была совсѣмъ не философская. Онъ признаетъ (кн. XII W. u D.), что ему никакъ не удавались эстетическія работы, потому что всякое теоретическое

мышленіе отражалось въ немъ какъ отсутствіе или заторможеніе его творческой силы. Самъ онъ не состояніи дать себѣ отчета, почему, прочитавъ этику Спинозы, онъ привязался къ Спинозѣ и обрѣлъ въ немъ успокоеніе страстей, широкія перспективы на весь міръ чувственный и умственный; въ особенности поразило его безграничное безкорыстіе этой философіи (XIV W. u D.). Если взять шиллеровское дѣленіе поэзіи на наивную или непосредственную и сентиментальную или рефлектирующую, то Гёте надлежало бы отнести къ совсѣмъ наивнымъ, къ непосредственно творческимъ, къ геніальнымъ, къ которымъ прямо идетъ опредѣленіе Канта: *das Genie ist eine Intelligenz die als Natur wirkt*, — иными словами, что геній есть творчество, дѣйствующее какъ стихійная сила природы. Въ концѣ своихъ записокъ XIX кн. W. u D.), значить, около 1820 г., Гёте признаетъ какъ аксіому положеніе, котораго еще не знали въ эпоху молодости его, что геній есть та сила въ человѣкѣ, которая дѣйствіемъ своимъ ставитъ законы и правила, то-есть творитъ какъ будто бы по самымъ строгимъ правиламъ. Онъ смолodu сознавалъ свою геніальность, онъ полагался на нее, вырабатывалъ ее и не ошибся, потому что послѣ всякихъ блужданій онъ отыскалъ себѣ свою дорогу и сталъ по конецъ жизни господствующимъ въ литературѣ лицомъ. Свое творческое я Гёте хранилъ какъ зѣницу ока, какъ свое сокровище, онъ ставилъ его себѣ какъ идеалъ и относился къ нему съ извѣстнаго рода благоговѣніемъ. Родъ считаетъ это чувство эгоизмомъ, съ чѣмъ однако, мы не можемъ согласиться. Призваніе къ широкой дѣятельности на умственномъ поприщѣ повлекло за собою то послѣдствіе, что Гёте не женился во время, не втянулся въ семейную жизнь, что онъ уклонился отъ всякихъ связей, которыя ему въ его творчествѣ мѣшали, что отъ г-жи Штейнъ и отъ заботъ правленія бѣжалъ въ Италію. Какъ всякій человѣкъ. Гёте имѣлъ свои слабости и недостатки. И эти пятна или пробѣлы должны быть обсуждаемы критически во имя истины, которая всего дороже, если только

мы не желаемъ допустить, что исторія превратилась въ сказаніе, если мы остерегаемся всякаго идолопоклонства. Мы убѣждены, что Родъ ошибся, не сообразивъ средствъ, которыя онъ избралъ, съ цѣлью, которой хстѣль достигнуть; онъ насъ не переубѣдилъ, онъ не доказалъ необходимости понизить господствующее нынѣ и раздѣляемое нами высокое представленіе о Гёте. Признаемся, что мы тому и рады. Всемирныхъ поэтическихъ геніевъ имѣется не много, какіе нибудь четыре человѣка — не болѣе: Гомеръ, Дантъ, Шекспиръ и Гёте; къ нимъ каждый изъ насъ, смотря по своей національности, присовокупляетъ двухъ-трехъ своихъ пенатовъ, любить жить въ этомъ немногочисленномъ, но отборномъ обществѣ и даже часто имъ однимъ довольствуется и ограничивается. Развѣнчаніе кого-нибудь изъ этихъ исполиновъ равносильно было бы утратѣ какой-нибудь дорогой особы, значительному сокращенію личнаго состава той умственной семьи, въ которую мы уходимъ съ тѣмъ, чтобы уединиться и забыть о сѣрой, туманной и неприглядной окружающей насъ дѣйствительности.

1897 г. Петербургъ.

— 188 —

А д а м ъ М и ц к е в и ч ъ

и его поэтическое творчество.

А да м ъ Ми ц ке ви ч ъ

и его поэтическое творчество *).

I.

Мнѣ предстоитъ нелегкая задача сжать въ двѣ бесѣды широкое содержаніе избранной темы и сказать нѣчто новое и современное о предметѣ, о которомъ написано столько книгъ, что онѣ образуютъ цѣлую библіотеку.— Я могу взять какъ безспорный тотъ фактъ, что въ началѣ XIX вѣка состоялось повсемѣстное литературное возрожденіе всѣхъ славянскихъ національностей, сопровождаемое значительнымъ подъемомъ ихъ самосознанія и появленіемъ необычайно великихъ поэтическихъ геніевъ. Одному изъ нихъ, о которомъ будемъ бесѣдовать, минуло уже столѣтъ отъ его рожденія, другого, родственнаго ему, юбилейное столѣтіе исполнится въ маѣ. Оба они поясняются и дополняются взаимно. Ближайшіе ихъ современники были менѣе способны, нежели послѣдующіе люди, судить объ ихъ значеніи и силѣ. И Мицкевичъ, и Пушкинъ вырастаютъ, такъ сказать, на нашихъ глазахъ; мы далеки еще отъ возможности опредѣлить величину каждаго изъ нихъ. Что касается до общеевропейскаго ихъ значенія, то это значеніе всемірно-историческое славянскихъ геніевъ XIX вѣка установится лишь тогда, когда произойдетъ

*) Двѣ публичныя лекціи, читанныя въ Харьковѣ, 3 и 4 марта 1899 г.

подъемъ не только литературный, но и политическій, всего славянства, когда славянское единеніе, считающееся еще только миеомъ, станетъ живою дѣйствительностью. Я вѣрю, что это совершится, но чтобы оно состоялось, нужно, чтобы славянское единеніе началось. Оно начнется, когда Мицкевичъ ли, Пушкинъ ли не будутъ изучаемы съ исключительно польской или русской точки зрѣнія, но и съ чешской и съ общеславянской или, проще сказать, и съ общечеловѣческой. Позвольте мнѣ высказать теперь же мое глубокое убѣжденіе, что наши славянскіе гени если не всѣ, то нѣкоторые изъ нихъ выдержатъ побѣдоносно это испытаніе, и что съ своихъ національныхъ надгорій они перейдутъ на міровой Парнассъ. Мы находимся теперь несомнѣнно въ періодѣ нѣкотораго регресса гуманизма, нѣкотораго одичанія и разнузданности національныхъ эгоизмовъ; но надежду на поворотъ къ лучшему внушаетъ мнѣ тотъ успѣхъ, какой имѣло въ Россіи празднованіе столѣтняго юбилея Мицкевича, обновляющійся въ Россіи интересъ къ произведеніямъ Мицкевича и приглашеніе меня въ Харьковъ спеціально для чтеній о Мицкевичѣ. Я принялъ это приглашеніе какъ самый практическій способъ сослужить службу славянской идеѣ, братству при раздѣльности о взаимопомощи безъ сліянія. Чтобы выполнить сколько-нибудь удовлетворительно мою задачу, я долженъ ее ограничить. Я не касаюсь Мицкевича, какъ ученаго, какъ профессора и историка литературы, какъ критика, какъ публициста, какъ мистика, я беру его только какъ поэта. Я предполагаю въ моихъ слушателяхъ нѣкоторое знаніе его главнѣйшихъ произведеній. Остается только Мицкевичъ поэтъ, котораго можно разсматривать съ разныхъ точекъ зрѣнія, либо какъ живое лицо, которое по большому обилію біографическихъ данныхъ о немъ можно прослѣдить почти шагъ за шагомъ отъ колыбели до могилы, наглядно, образно, анекдотически. Получится живой человѣкъ въ его обстановкѣ, Мицкевичъ и его вѣкъ, нѣчто сложное, можетъ быть интересное, а можетъ быть и утомительное, потому что отъ насъ ускользаетъ

вопросъ о вліяніи этого человѣка на общество въ настоящемъ и въ будущемъ. Народъ и недѣлимое связаны въ данномъ случаѣ столь неразрывно, что, можно сказать, они отождествляются. Лицо до того воплощаетъ въ себѣ свое общество, свой народъ съ его темпераментомъ, съ его добродѣтелями и пороками, что лицо порою становится символомъ, то-есть олицетвореніемъ народа въ данную эпоху. При такомъ взглядѣ на историческаго человѣка личныя черты его ступшеваются, обходятся какъ неважныя, сама его эволюція превращается въ маленькій кружокъ, почти что въ точку. Все вниманіе сосредоточивается только на томъ, чтобы отыскать въ изучаемомъ лицѣ его преобладающую черту (*faculté maitresse*) и къ этой чертѣ приурочить родъ и характеръ господства, которое имѣлъ и сохраняетъ по своей смерти великій человѣкъ на потомство. Нашъ умъ столь привыкъ къ тому, чтобы все обобщать, чтобы гнаться за уясненіемъ себѣ смысла жизни и единичнаго лица и собирательнаго, что всѣ наши старанія направляются къ тому, чтобы получить окончательную сжатую формулу великаго человѣка какъ *символа*, при чемъ не надо никогда забывать, что сама эта формула получилась посредствомъ исключенія изъ цѣлаго безчисленнаго множества черточекъ, можетъ быть, весьма существенныхъ, что она требуетъ непрестанной повѣрки и что она—изображеніе не реальное уже потому, что предполагаетъ существованіе во всю жизнь одного твердаго, плотнаго, немѣняющагося *я*, между тѣмъ какъ это *я* постоянно мѣнялось, въ чемъ и состояла собственно его эволюція. Съ другой стороны, если взять весь жизнеописательный матеріалъ и излагать день за днемъ, что происходило съ великимъ человѣкомъ, то можетъ получиться большая книга о немъ, въ которой не будетъ только самого его, потому что пропадетъ то самое *я*, котораго послѣдовательныя измѣненія и составляютъ главный интересъ жизнеописанія. Заявляю напередъ, что я пойду среднимъ путемъ. Подробностей жизни и быта я не буду касаться, если онѣ не имѣли прямого вліянія на

творчество. Окончательный выводъ о творествѣ Мицкевича будетъ мною данъ въ концѣ; но я займусь главнымъ образомъ изображеніемъ постепенныхъ фазисовъ его развитія, всею его эволюціею съ подраздѣленіемъ ея на періоды.

Князь Петръ Андреевичъ Вяземскій (Полн. Собр. соч. VII, 306) писалъ о Мицкевичѣ въ 1873 г.: „все же остался онъ братомъ нашимъ: онъ литвинъ“. Пушкинъ въ отрывкахъ „Е. Онѣгина“ изображаетъ его въ Крыму: „и посреди прибрежныхъ скалъ свою Литву воспоминалъ“. Первый стихъ „Пана Тадеуша“ у Мицкевича написанъ такъ: „Литва, о родина моя, ты точно здоровье“ (Litwo! *ojczyzna moja ty jesteś jak zdrowie*). Нельзя брать это слово въ его этнографическомъ смыслѣ. Мицкевичъ былъ литвинъ, а не литовецъ. Имѣется въ Европѣ по Нѣману небольшое племя не славянское, аріійское, остававшееся до XIV в. въ язычествѣ. Послѣ татарскаго нашествія и въ періодъ образованія московской централизаціи оно создало изъ себя и изъ западно-русскихъ земель и племенъ особое государство и возвысило на своихъ плечахъ династію, которая воевала съ одной стороны съ татарами, а съ другой стороны съ Тевтонскимъ орденомъ и съ Польшею, а потомъ приглашена была на польскій престолъ. Тогда литовское племя крещено было въ христіанскую вѣру по латинскому обряду, послѣ чего соединенными силами Польши и Литвы Тевтонскій орденъ былъ разбитъ. По восшествіи на польскій престолъ Ягеллоновой династіи, Польша, какъ болѣе культурная часть новаго политическаго цѣлаго, ассимилировала себѣ Литву, при чемъ сильное литовское самодержавіе превратилось въ ограниченную, почти призрачную монархію съ связанными руками, польское же дворянство пустило глубокіе корни въ Литвѣ, внося польскій языкъ, польскіе нравы и польское земское самоуправленіе. Совокупное цѣло называлось Рѣчь Посполитая; оно было федеративное и

состояло изъ двухъ частей: Короны и Великаго Княжества Литовскаго. Земляческія особенности были въ началѣ XIX в. еще рѣзкія. Только теперь, послѣ двухъ мятежей 1830 г. и 1863, онѣ стерты и почти неузнаваемы. Мицкевичъ никогда, вѣроятно, не говорилъ на литовскомъ простонародномъ языкѣ; онъ былъ литвинъ только какъ уроженецъ В. К. Литовскаго.

Было ли у него нѣчто литовское въ крови, трудно сказать. На то указываетъ прозвище его фамиліи Рымвидъ и княжеская шапка надъ гербомъ Порай,—слѣды происхожденія отъ литовскихъ князьковъ. Настоящее семейство, въ которой родился Мицкевичъ наканунѣ Рождества 1798 года (12—24 декабря), было не аристократическое, даже весьма скромное, но все-таки польское и мелко-шляхетское. Отецъ его, Николай, былъ безпомѣстный, съ 1806 г., дворянинъ и адвокатствовалъ въ Новогрудкѣ, гдѣ имѣлъ домъ. Семья была многочисленная, единодушная и оживленная патріотическими чувствами. Я долженъ опредѣлить особенности этого патріотизма, насколько онѣ повліяли потомъ на творчество Мицкевича.

Польская Рѣчь Посполитая перестала фактически быть самостоятельнымъ государствомъ уже со шведскихъ войнъ Карла XII съ Петромъ Великимъ. Нежизнеспособная по своему устройству, она постепенно разлагалась. Послѣ перваго ея раздѣла въ 1772, наступило 20-тилѣтнее затишье, въ теченіе котораго, подъ вліяніемъ философскихъ идей, которыхъ фокусомъ была Франція съ ея интеллектуальнымъ созвѣздіемъ: Вольтеромъ и Руссо, польская литература оживилась и освободилась отъ такъ-называемыхъ латинскихъ макаронизмовъ, измѣнились нравы, костюмы и образовалось поступательное преобразовательное движеніе, направленное къ тому, чтобы отиѣнить *liberum veto*, усилить власть короля, допустить къ политическимъ правамъ средній классъ и дать человѣческія права крестьянству.

Патріоты воспользовались временнымъ разладомъ между Россією и Пруссією и достигли заключенія союза съ Прус-

сією противъ Россіи. Даже и при этомъ союзѣ нельзя было законнымъ путемъ достигнуть преобразованія государства. Оно совершилось посредствомъ *coup d'état*, государственнаго переворота, которому содѣйствовалъ король. Провозглашена была конституція 3 мая 1791 г., противъ которой олигархическая партія золотой вольности шляхетской, образовавъ Тарговицкую конфедерацію, обратилась за помощью къ Екатеринѣ II. Въ семьѣ Мицкевича всѣ были горячіе реформаторы, сторонники конституціи 3 мая и Косцюшки; всѣ сочувствовали образованію во Франціи и Италіи легионовъ изъ польскихъ выходцевъ, служившихъ потомъ Наполеону. Осиротѣвшій въ 1812 году за смертью отца, 14-лѣтній юноша Мицкевичъ былъ наочнымъ свидѣтелемъ похода французовъ на Москву и горячимъ поклонникомъ Наполеона. Съ годами эта любовь дѣлалась все болѣе мистическою. Въ Римѣ въ 1829 году онъ предсказывалъ возстановленіе во Франціи наполеоновской династіи.

Вотъ его слова въ «Панѣ Тадеушѣ» о 1812 годѣ.

Годъ приспомятнѣнный, великій и единый—
Останешься въ Литвѣ священнои ты годиною!
Ты, урожайная красавица весна,
Вѣкъ будешь спитъся намъ обильна и красна
Густыми злаками и воинвоу одеждою—
Громами славныхъ битвъ и ясною надеждою,
Досель, переносясь въ минувшіе года,
Тебя какъ сладкій сонъ я вижу иногда.

Послѣдніе два стиха этого отрывка сильно измѣнены, вѣроятно, по цензурнымъ соображеніямъ въ переводѣ Н. Берга. Я привожу ихъ по подлиннику: *Urodzony w niewoli, okuty w srowiciu*—«Рожденный въ неволѣ, окованный въ пеленкахъ, увы! я въ жизни зналъ только одну весну такую». Я привожу эти выраженія чувствъ Мицкевича въ періодъ его отрочества не затѣмъ, чтобы мои слушатели ихъ раздѣлили, но чтобы они ихъ поняли: скорбь объ утраченной свободѣ, тоскованіе за прежнимъ національно-политическимъ бытіемъ. Тотчасъ послѣ раздѣловъ Польши народилось поколѣніе, которое очутилось въ поло-

женіи рыбъ, плававшихъ въ водѣ и вдругъ выброшенныхъ на берегъ, то-есть обрѣтающихся въ совѣтѣ иной стихіи, къ которой имъ весьма трудно приспособиться.

Прежній бытъ домашній и семейный оставался тотъ же, о такъ-называемомъ обрусѣніи внѣшними мѣропріятіями еще не было и помину, судъ и воспитаніе были прежніе. Воспитаніе было весьма усовершенствованное и основанное на прогрессивныхъ началахъ по почину польской Эдукаціонной комиссіи временъ короля Станислава-Августа въ духѣ просвѣтительныхъ философскихъ идей XVIII вѣка, которому Тэнъ даетъ названіе *esprit classique* («*Origines de la France contemporaine*»). Убыла только прежняя сторона жизни—публичная, связанная съ унаслѣдованными привычками заниматься дѣлами общественными, сеймовать и самоуправляться.

Кончивъ курсъ наукъ въ средне-учебномъ заведеніи у отцовъ доминиканцевъ въ Новогрудкѣ, Мицкевичъ вмѣстѣ со многими своими товарищами-сверстниками поступилъ въ 1815 въ виленскій университетъ, основанный еще въ 1578 году при Стефанѣ Баторіѣ и превращенный изъ іезуитской академіи въ свѣтское заведеніе. Преобразованный въ 1803 году при Александрѣ I по новому уставу, виленскій университетъ блистательно развился при попечительствѣ Адама Чарторыскаго во время ректорства знаменитаго астронома Яна Снядецкаго. По способу преподаванія университетъ былъ тогда многоязычный, лекціи читались на польскомъ, французскомъ, латинскомъ и русскомъ языкахъ, преподавали нѣкоторые вызванные изъ-за границы ученые, въ томъ числѣ филологъ Эрнстъ-Готфридъ Гроддекъ, исторію увлекательно читалъ Іоакимъ Лелевель, который въ области польской исторіи совершилъ такую работу, какую совершили по чешской—Палацкій, а по русской—Сергѣй Соловьевъ, то-есть сдѣлалъ попытку всю жизнь народа осмыслить, выводя ее изъ одного индивидуально-національнаго начала. Мицкевичъ многимъ былъ

обязанъ своимъ университетскимъ учителямъ, но многимъ также и виленскому студенчеству, въ которое онъ окупился и котораго сдѣлался душою и средоточіемъ. Мнѣ приходится разобраться въ обоихъ этихъ вліяніяхъ.

То, чѣмъ Мицкевичъ обязанъ наставникамъ, превосходно изображено имъ въ его поэтическомъ посланіи къ Лелевелю, написанномъ въ 1822 году. Въ этихъ стихахъ начерченъ ходъ развитія собственной души поэта, моментъ, когда у него самого выросли крылья. Мицкевичъ берется анализировать общій, принадлежащій каждому изъ народниковъ извѣстнаго народа, фондъ идей и чувствъ, обладаніе которымъ имѣетъ то неизбѣжное послѣдствіе, что, куда ты не обернешься и какъ ни поставишь стопу, сейчасъ обнаружится, что ты принѣманецъ, полякъ, что ты европеецъ. Между тѣмъ оказывается, что своего собственного въ этомъ фондѣ почти ничего у тебя и нѣтъ, все заимствовано, все въ тебя влилось извнѣ. «Въ познаны истины мы въ дѣтствѣ слѣпы были. Когда чуть-чуть прозрѣли, наставники спѣшили Помочь намъ и въ свои глаза глядѣтъ насъ заставляли, Чтобъ глубже и яснѣй мы вещи понимали. Мы всѣ рабы съ пелентъ; не только ощущенья. Но отъ другихъ беремъ не наши мы сужденья. Въ ребячествѣ отцу всѣ дѣти подражаютъ. Въ дни юности оковы обычаевъ насъ жмутъ. Ту мысль, которая намъ кажется своей, Всосали мы въ себя изъ груди матерей, Или внушилъ тебѣ ее учитель, Вливая часть души своей въ твое питье». Это ярмо надлежитъ скинуть, отъ этой неволи освободиться поступательнымъ движеніемъ снизу вверхъ, отрѣшившись отъ всего. чѣмъ ты обязанъ услужливости другихъ. Надо стремиться туда, «гдѣ солнце правды востока не знаетъ ни заката, одинаково расположено ко всѣмъ племенамъ людскимъ и любовно дарить день всякой родинѣ, а потому тотъ, кто вглядывается въ святой его ликъ, должекъ оставить въ себѣ только чистое существо человѣка» (*Musi sobie zostawić czystą treść człowieka*). Такимъ образомъ Мицкевичъ, который никогда не переставалъ быть народникомъ, никогда не

сдѣлался космополитомъ и является могущественнѣйшимъ въ XIX вѣкѣ пѣвцомъ націонализма, уже представляется намъ почти съ университетской скамьи и все-человѣкомъ гуманистомъ, преисполненнымъ любви и уваженія ко всему человѣчеству. Онъ стоитъ въ серединѣ главнаго теченія XIX вѣка. Если сложить его университетскіе года (1815—1819) съ годами учительства его въ Ковнѣ (1819 до 1823), то онъ уже въ этотъ періодъ времени дѣйствуетъ во всеоружіи громаднаго по своему объему знанія и научной подготовки, чѣмъ, конечно, онъ обязанъ въ особенности своему одиночеству и досугамъ въ Ковнѣ послѣ своихъ университетскихъ лѣтъ. Онъ превосходно зналъ литературу польскую золотого Сигизмундова вѣка и эпохи короля Понятовскаго. онъ зналъ «Новую Элеизу», лирическія произведенія Шиллера, «Гёца» и «Вертера» Гёте. Былъ моментъ, когда онъ былъ чувствителенъ какъ Руссо, когда онъ страдалъ германоманією, т.-е. увлекался Шиллеромъ и Гёте, когда онъ «протискивался съ словаремъ въ рукахъ чрезъ Шекспира» и проникнулся имъ, наконецъ онъ сдѣлался байронистомъ изъ-за сочувствія героическимъ порывамъ Байрона и изъ-за желанія не только мечтать, но и жить по байроновски, т.-е. героически и поэтично. Наконецъ онъ слѣдилъ за всѣми современными иностранными эстетиками, такъ что, когда потомъ ему предложена была катедра римской литературы въ Лозаннской академіи, то онъ мгновенно приобрѣлъ большую извѣстность.

Спрашивается, чѣмъ же Мицкевичъ былъ обязанъ своему университетскому студенческому кружку? Готовившееся въ Вильнѣ литературное польское возрожденіе было внезапнымъ разряженіемъ накопившихся въ цѣломъ поколѣніи духовныхъ силъ. Произошелъ дружный подъемъ этихъ силъ, новый и сильный расцвѣтъ гуманизма, но только неразсудочнаго, а сердечнаго, съ рѣшительнымъ преобладаніемъ этического начала или такъ называемаго

альтруизма, приводившаго въ то время массы въ восторгъ. Заимствую отрывокъ изъ недавно вышедшей (Спб. 1898) книжки Н. Котляревскаго о «Міровой скорби». — «Есть моменты въ исторіи. — говоритъ Котляреескій, — отмѣченные необычайнымъ подъемомъ нравственнаго подвижничества, эпохи просвѣтленія сердець, когда оскорбленный неправдой міра человѣкъ готовъ на всѣ лишенія, жертвы и страданія лишь бы дать побѣду своему нравственному идеалу, въ осуществленіи котораго онъ видитъ единственно разумный и необходимый смыслъ жизни». Величайшій и полнѣйшій этого рода переворотъ въ душахъ былъ въ исторіи только одинъ; съ него мы и ведемъ наше лѣтосчисленіе. Внутри начатаго, но неконченнаго этимъ событіемъ періода есть и меньшіе два: реформація, какъ завоеваніе человѣкомъ на основаніи христіанской же морали свободы мысли, и французская революція конца XVIII вѣка, какъ воплощеніе того же христіанскаго гуманизма въ общественныя отношенія гражданскія. Всякій крупный подъемъ съ покушеніемъ на разрѣшеніе вдругъ существующихъ въ данное время міровыхъ задачъ ведетъ послѣ неудавшихся попытокъ къ разочарованію, выражающемуся въ пессимизмѣ, доходящемъ до человѣконенавистничества, до презрѣнія, до міровой скорби. Эпохи большихъ подъемовъ и неизбѣжныхъ затѣмъ разочарованій чередуются съ эпохами успокоенія, жизнерадостности, самодовольствія и смакованія благъ и красотъ цивилизаціи, каковыя эпохи отличаются тѣмъ, что въ нихъ мало любви и страсти, но много логики, при чемъ не слѣдуетъ забывать, что тонкіе знатоки, наслаждающіеся и самодовольные, вездѣ составляютъ только крошечное меньшинство. Всѣ мы — люди конца XIX столѣтія, дѣти того нравственнаго подъема, который произошелъ на исходѣ XVIII вѣка, но продолжается и донинѣ. Въ самомъ этомъ движеніи есть еще меньшіе и не міровые и даже не общеевропейскіе подъемы и реакціи по частямъ, по отдѣльнымъ національностямъ. Послѣдній и самый малый на видъ изъ этихъ подъемовъ приходится на долю Россіи. Онъ связанъ

съ сороковыми годами и съ жизнью Московскаго университета. Таково движеніе умовъ, запечатлѣнное высокимъ идеализмомъ, которое подготовило эпоху реформъ Александра II. Подъемъ умовъ и сердець въ Виленскомъ университетѣ въ двадцатыхъ годахъ XIX вѣка былъ весьма крупный и многосторонній. Настоящее не удовлетворяло, будущее представлялось какъ нѣчто неопредѣленное, не лишенное, впрочемъ, надеждъ. Послѣ паденія Наполеона эти надежды возлагались всецѣло на русскаго монарха, котораго любимою идеею было возстановленіе быта Польши подъ его скипетромъ. Онъ и сдѣлался на основаніи вѣнскихъ трактатовъ 1815 г. возстановителемъ Польши въ новомъ созданіи: царствѣ польскомъ, и многократно высказывалъ намѣреніе соединить въ будущемъ, болѣе или менѣе отдаленномъ, съ этимъ царствомъ губерніи бывшаго Вел. Кн. Литовскаго по Днѣпру и Двинѣ (Шильдеръ «Александръ I», т. III, стр. 67, 183, 352 и 356). То затишье, которое водворилось въ Европѣ, изнуренной наполеоновскими войнами, располагало къ думамъ о будущемъ и ставило молодому поколѣнію вопросы, что такое оно и куда ему идти? Молодое поколѣніе, весьма патріотическое, было вмѣстѣ съ тѣмъ и либеральное, т.-е. настроенное по камертону прогрессивныхъ людей западной Европы, проникнутыхъ идеями французской революціи,—идеями уже сильно видоизмѣнившимися вслѣдствіе горькихъ опытовъ и разочарованій. Оно само не сознавало, что его гуманизмъ—пришлый, заимствованный извнѣ, но въ немъ была потребность выводить свои мечты о будущемъ и свои отвлеченныя теоріи изъ своего собственного нутра, изъ глубокихъ корней, доходящихъ до отдаленнѣйшей старины, еще чисто славянской. Это ретроспективное направленіе породило Лелевеля въ Польшѣ, Палацкаго у чеховъ, теоретиковъ родового быта и славянофиловъ въ Москвѣ. Оно было необходимо, какъ толчекъ для оживленія и усиленія національнаго чувства, но оно было ошибочно по своей односторонности, такъ какъ нѣтъ апіорныхъ началъ, которыя были бы приращены націо-

нальностямъ съ самаго ихъ рожденія и которыя составляли бы ихъ призваніе.

Университетскій студенческій кружокъ, въ которомъ зарождалось новое движеніе, долженствующее произвести расколъ между старымъ и новымъ вкусомъ, носилъ сначала названіе *филоматовъ*, потомъ, когда кружокъ распространился, онъ получилъ названіе *филаретовъ*. Общество было явное, разрѣшенное начальствомъ. Руководителемъ его былъ Тома Занъ, но вдохновителемъ его былъ Мицкевичъ, котораго товарищи, такъ сказать, носили на рукахъ и продолжали съ нимъ свою связь послѣ того, какъ Мицкевичъ опредѣленъ былъ въ 1819 г. учителемъ въ Ковно. Онъ пріѣзжалъ изрѣдка въ Вильно, чтобы окупуться въ студенческую среду. Изъ Ковна онъ послалъ товарищамъ свое первое запечатлѣнное высшимъ полетомъ вдохновенія стихотвореніе: «Оду Молодость», въ которомъ если и есть нѣкоторые отголоски Шиллеровскаго *An die Freude*, но оно несравненно сильнѣе, потому что, не ограничиваясь сладкими мечтами о дружбѣ при полномъ сознаніи, что абсолютное добро неосуществимо, Мицкевичъ зоветъ товарищей на міровой бой за добро, не считаясь съ предѣлами возможнаго. Въ одной изъ застольныхъ филаретскихъ пѣсень Мицкевичъ проводитъ ту же мысль: измѣряй силу задачею, а не задачу силою (*Mierz siłę na zamiary, nie zamiar podług siły*). Въ «Одѣ Молодости» онъ предлагаетъ друзьямъ. «Лети туда, куда и взоръ не досягаетъ, ломи, чего и разумъ не сломить. О молодость! орлиная мощь твоего полета п молніеносна твоя рука. Дружно, молодые друзья, крѣпкіе единствомъ, умѣлые, потому что восторженны (*rozumni szaleń*). Опояшемъ, держась рука въ руку, земной шаръ, соединимъ мысли и силы въ одинъ фокусъ. Впередъ, впередъ, міръ-громеда, мы толкаемъ тебя на новые пути, пока, освободившись отъ заплѣснѣвшей коры, не вспомнишь ты твои зеленые годы! Лѣды мертвые сойдутъ—исчезнетъ слѣдъ предубѣжденій, тмящихъ свѣтъ! Привѣтъ тебѣ, заря освобожденія—во слѣдъ тебѣ и солнце избавленія!» Каждое слово этого

диэпиграма сдѣлалось лозунгомъ и заповѣдью для новаго поколѣнія, примѣнялось кстати и некстати. «Ода Молодость» писалась для поляковъ, но въ сущности она преслѣдуетъ общечеловѣческія, а не національныя задачи. По духу своему она того же рода, какъ и посланіе къ Мелевелю.

Уже въ 1818 году писалъ о романтизмѣ въ Варшавѣ скромный предтеча польскаго возрожденія, профессоръ университета Казиміръ Бродзинскій (въ журналѣ *Pamiętnik Warszawski: O klassycznosci i romantycznosci*). Мицкевичъ открыто призналъ себя романтикомъ въ предисловіи къ изданному въ іюнѣ 1822 первому изданію своихъ стиховъ, при чемъ онъ поднималъ перчатку, брошенную романтикамъ сухимъ раціоналистомъ и классикомъ Яномъ Снядецкимъ, представлявшимъ печатно въ 1819 г. (*O pismach romantycznych*) романтизмъ какъ бунтъ воображенія противъ разума, какъ плодъ суевѣрія и бреда. Польскій романтизмъ содержитъ въ себѣ, конечно, всѣ тѣ элементы, которые были ему свойственны и въ другихъ европейскихъ литературахъ, а именно: духъ рыцарства, христіанскія чувства, высокое уваженіе къ женщинѣ, наконецъ, предпочтеніе средневѣчія, а также пренебреженіе къ ренессансу и послѣдовавшимъ за нимъ еще болѣе бесплоднымъ эпохамъ, когда творчество художника изошрялось въ одной лишь подражательности, когда мысли и чувства заимствовались изъ книгъ, а картины писались не съ живого тѣла, а толькo съ куколъ. Понятно, что въ романтизмѣ большое значеніе получили предчувствіе, привидѣнія, безплотныя силы и вѣра въ безсмертіе души. Атрофированное въ XVIII в религіозное чувство при полномъ преобладаніи разума и рефлексіи воскресало само собою, независимо отъ всякихъ церковныхъ догмъ и проповѣдей. Къ необходимымъ послѣдствіямъ романтизма отношу я также отыскиваніе новыхъ источниковъ поэзіи, обращеніе въ погонѣ за нею къ простонародію, къ тому, что называется фолклоромъ,

къ народной пѣснѣ и сказкѣ. Но въ этомъ романтизмѣ, водворяемомъ на польской почвѣ Мицкевичемъ, въ тѣхъ балладахъ и романахъ, которые составляютъ главное содержаніе двухъ томиковъ его поэзіи, изданныхъ въ 1822 году и широко его прославившихъ, есть и рѣзко выразившіяся особенности личнаго его темперамента и склада ума, оказавшія большое вліяніе на дальнѣйшія судьбы польской поэзіи. — Шиллеръ дѣлитъ поэтовъ на наивныхъ, какъ, на примѣръ Гёте (иными словами, непосредственныхъ), и сентиментальныхъ (или рефлектирующихъ), къ числу которыхъ онъ относилъ самого себя. По этой классификаціи Мицкевичъ былъ бы поэтъ вполне непосредственный, интуитивный, создающій только когда не него налетало вдохновеніе, не владѣющій даже собою въ подобныя моменты экстаза, такъ что онъ иногда затруднялся объяснить, что имъ было написано (напр., кабалистическое число 44 въ 3-й части «Дѣдовъ»). Творчество есть и останется навсегда необъяснимымъ процессомъ, не подлежащему разгадкѣ тайною. Кто одаренъ способностью испытывать такіа наитія божества, тотъ по натурѣ своей религіозенъ и расположенъ къ мистицизму. Богатыя залежи такого мистицизма скрывались въ умственной организаціи Мицкевича. Какъ научный человѣкъ, Мицкевичъ признавалъ могущество знанія и премудрости человѣческой въ области мертвой природы, что онъ и выразилъ потомъ въ 3-й части «Дѣдовъ»: «тотъ лишь, кто вѣлся въ книги, въ металлъ, въ число, въ трупное тѣло—присвоилъ себѣ частицу твоего (т.-е. божескаго) всемогущества». Но Мицкевичъ отрицалъ всемогущество знанія въ области правды живыхъ, т.-е. въ области антропологии и психологии. Въ этой области правда открывается непосредственно чувству. Мицкевичъ мѣтитъ прямо въ Яна Снядецкаго, когда въ балладѣ «Романтичность» утверждаетъ, что чувство и вѣра сильнѣе глаза и стеклышка мудреца. «Тебѣ знакомы мертвыя правды, неизвѣстныя людямъ, ты видишь ихъ въ былинкѣ, въ каждой звѣздной искрѣ, но не знаешь правды живыхъ, не увидишь чуда; имѣй сердце и гляди

на сердце». Калленбахъ (т. I, стр. 91 въ Жизнеописаніи Мицкевича) замѣчаетъ, что на подобное обращеніе къ чувству Гёте пожалъ бы иронически плечами и былъ бы на сторонѣ мудреца, а не поэта. Въ этомъ преимуществѣ чувства предъ разумомъ сказывается и односторонность направленія, даннаго умамъ Мицкевичемъ. Конечно, необходимо было преодолѣть рутину и сухую математическую дедукцію. Онѣ и были преодолены новыми методами изслѣдованія, но новое направленіе начало съ предвосхищенія истины безъ достаточныхъ оснований, съ отрицанія рефлексіи, съ диктатуры сердца, что оказалось потомъ и рискованнымъ и опаснымъ.

Мнѣ приходится коснуться событія, которое на первыхъ порахъ какъ будто бы явилось помѣхою творчеству Мицкевича и его учительской карьерѣ, потрясло его нервную систему, разстроило здоровье и заставило друзей опасаться за будущность поэта. Это событіе была любовная страсть Мицкевича къ Марылѣ, сильнѣйшая изъ всѣхъ, какія онъ испыталъ, и притомъ безнадежная, не доведшая его до обладанія предметомъ страсти, любовь чисто платоническая.

Еще будучи студентомъ, Мицкевичъ бывалъ съ Заномъ въ 1818 и 1819 г. въ Тугановичахъ у зажиточныхъ помѣщиковъ Верещаковъ. Тутъ онъ сблизился съ дочерью домохозяевъ, Марією Верещака, дѣвицею однихъ съ нимъ лѣтъ, не особенно красивою, но миловидною и сентиментальною блондинкою. Ихъ сблизило сходство въ чувствахъ, одинаковая любовь къ поэзіи, при чемъ не было никакихъ расчетовъ на бракъ, такъ какъ не имѣющій состоянія Мицкевичъ не былъ подходящею партією для дѣвушки. Адамъ и Марья влюбились другъ въ друга, сами того не сознавая. Когда родные обратили вниманіе на эту взаимную склонность, порѣшено было выдать дѣвушку замужъ за вполне соответствующаго ей жениха Лоренца Путкаммера, старше Мицкевича четырьмя годами, краси-

ваго, болѣе зрѣлаго, побывавшаго уже въ Наполеоновыхъ войскахъ. Кажется, что и въ денежномъ отношеніи эта женитьба устраивала Верещаковъ, запутанныхъ въ дѣлахъ. Марыля, не переставшая любить Мицкевича, подчинилась семейному приговору, предваривъ будущаго мужа, что она только для виду будетъ его женою. Брачное сожительство Путкаммеровъ установилось въ дѣйствительности уже много лѣтъ послѣ того, какъ Мицкевичъ покинулъ Литву. Последнее свиданіе его съ Марылею до ея брака происходило въ саду въ Тугановичахъ въ 1820 г. Слова, ею сказанныя тогда, онъ такъ передаетъ въ 4-й части «Дѣдовъ»: «гремучія слова, ораторскіе звуки: отечество, друзья и слава и науки». Сильно огорченный словами Марыли, Мицкевичъ уѣхалъ въ Ковно, еще надѣясь на что-то, и былъ пораженъ точно громовымъ ударомъ извѣстіемъ, что свадьба состоялась 21-го февраля 1821 г. Послѣ того установились между четою Путкаммеровъ и Мицкевичемъ странныя отношенія, непохожія, впрочемъ, на отношенія Гёте къ четѣ Кестнеровъ, потому что Лотта Буффъ была въ сущности къ Гёте равнодушна, между тѣмъ, какъ Путкаммеръ зналъ о любви жены къ Мицкевичу, но предоставилъ женѣ полную свободу даже переписываться съ Мицкевичемъ, даже имѣть съ нимъ свиданія въ Вильнѣ и Тугановичахъ. Онъ рассчитывалъ только на дѣйствіе времени, въ чемъ не ошибся. Мицкевичъ перенесъ жестокія любовныя страданія, заболѣлъ; по словамъ друзей, онъ походилъ на лѣсъ, опаленный пожаромъ. Неспособный ныть слабодушно, онъ загрубѣлъ отъ страданія, сдѣлался терпкимъ, уединялся и избѣгалъ даже товарищей, которымъ писалъ 27 апрѣля 1821 (тотчасъ послѣ свадьбы) слѣдующіе стихи въ «Пловцѣ»: «Вамъ вихри чуть слышны, что рвутъ мнѣ канаты, Громъ былъ здѣсь, а къ вамъ лишь доходятъ раскаты. Пусть Богъ меня судить!... Судья долженъ быть не со мной, а во мнѣ. Пути наши разны: подите вы къ дому, я дальше на встрѣчу и вихрямъ, и грому». Мицкевичъ былъ въ своемъ страданіи точно въ своей стихіи, онъ растравлялъ свою рану, страданіе выли-

валось въ стихи, въ произведеніе никогда потомъ незаконченное, которому поэтъ далъ названіе: «Дѣды» или «Поминки». Двѣ части этихъ «Дѣдовъ» и «Гражина» вошли во второй томикъ его стихотвореній, выпущенный въ свѣтъ весною 1823 года.

Въ простонародіи существуетъ обычай поминать умершихъ «дѣдовъ» или предковъ, сходиться въ извѣстные урочные дни на кладбищѣ, вызывать заклинаніями покойниковъ, приносить духамъ ихъ овощи, питья, яствы. Обычай этотъ языческій. Ему всегда противодѣйствовала церковь. Сама канва этого обычая, съ одной стороны его простонародное происхожденіе, съ другой — вѣра въ безплотныхъ духовъ и въ загробную жизнь, сильно отзываются романтизмомъ, но помимо воли автора въ романтическое воспроизведеніе этого обычая вошли нѣкоторыя классическія воспоминанія, отъ которыхъ онъ не отдѣлался: пастухи и пастушки. Сама обработка замысла была еще недовкая, дѣтская. О замыслѣ поэмы, какъ чего-то цѣлаго, можно теперь судить только по догадкамъ. Первая часть никогда не была напечатана, отъ нея имѣются только несвязные отрывки. Третья часть совсѣмъ еще не была написана. То, что нынѣ называется 3-ю частью, написано въ Дрезденѣ въ 1832 году. Напечатаны были въ 1822 только части 2-я и 4-я. Фабула, связующая обѣ эти части, та, что во 2-й части при совершеніи обряда «Дѣдовъ» въ числѣ явившихся по заклинаніямъ привидѣній имѣется и призракъ самоубійцы, заколовшагося отъ любви, который преслѣдуетъ равнодушную къ нему пастушку; а въ 4-й части тотъ же самоубійца, именуемый Густавомъ (имя его взято изъ забытаго нынѣ романа «Valerie» г-жи Крюднеръ, лица не безызвѣстнаго русской исторіи), обреченъ въ видѣ наказанія за свои прижизненные грѣхи переживать опять ежегодно въ годовщину своего самоубійства свои предсмертныя муки. Густавъ-привидѣніе является къ бывшему своему наставнику,

а теперь ксендзу, ужинающему съ своими воспитанниками дѣтьми, на видъ странный человѣкъ, какъ бы помѣшанный. Онъ передаетъ всѣ мученія, испытанныя въ продолженіе сгубившей его страсти, наконецъ, пронзаетъ себя кинжаломъ. Мицкевичъ нисколько не подражалъ Вертеру, не вычиталъ ничего изъ книгъ. Его произведеніе одушевлено такимъ пламеннымъ чувствомъ, нѣжнымъ, глубокимъ, мужественнымъ, чуждымъ всякаго малодушнаго хныканья, что 4-я часть «Дѣдовъ» должна быть отнесена къ числу немногихъ лучшихъ эротическихъ поэмъ всемирной литературы. Есть въ ней указанія на «Новую Элоизу» Руссо, есть отрывки изъ лирики Гёте и Шиллера, есть кусочекъ «Оды Молодость», но совокупность основана цѣлкомъ на личномъ опытѣ. Изображенъ индивидуальными чертами романъ Мицкевича и Марыли, его дѣтство, первые восторги любви, прощаніе съ милою, отчаяніе при полученіи извѣстія о свадьбѣ Марыли, ненависть ко всѣмъ женщинамъ вообще, свой порывъ отправиться на свадебный пиръ и пронзить невѣрную своимъ гнѣвнымъ взглядомъ, затѣмъ недоумѣніе, зачѣмъ ее мучить. Она его не вызывала, не заманивала. Густавъ рѣшаетъ ее молить, чтобы она оставила ему въ сердцѣ своемъ хотя бы маленькій уголочекъ, наконецъ, онъ проситъ ксендза, чтобы сей послѣдній передалъ Марылѣ, что Густавъ былъ веселъ, счастливъ, что онъ совсѣмъ ее забылъ, что случайно въ танцахъ онъ расшибся и убился. Характерная особенность не только этой поэмы любви, но и всѣхъ послѣдующихъ крупныхъ произведеній Мицкевича заключается въ томъ, что онъ не перестаетъ никогда быть моралистомъ, не перестаетъ самъ себя судить, что въ пылу сильнѣйшей страсти онъ сознаетъ, что эта страсть не есть верхъ ни блаженства, ни совершенства, что она есть нѣчто болѣзненное, нарушеніе долга, отступничество отъ высшаго идеала, отъ назначенія человѣка, что она есть паденіе человѣка, хотя онъ совершенно поглощенъ страстью. Въ Густавѣ страсть убила всѣ задатки будущаго. Въ позднѣйшемъ крымскомъ сонетѣ «Аюдагъ» Мицкевичъ уже убѣжденъ, что отъ страсти есть исцѣле-

ніе въ искусствѣ, что поэтъ освобождается отъ страсти, когда претворяетъ страданія въ перлъ искусства; когда разъяренныя волны страсти отхлынуть, то онѣ оставляютъ на песчаномъ берегу цѣнныя раковины и жемчужины. Но исцѣленіе Мицкевича по написаніи 4-й части «Дѣдовъ» было медленное, оно не наступило даже и тогда, когда онъ поднесъ Марылѣ на Пасхѣ 1823 г. томикъ съ «Дѣдами», за который сердились его друзья, какъ за неприличное разоблаченіе его любовныхъ чувствъ. Посвященіе томика начиналось словами: «Марія, сестра моя», и кончалось стихомъ: «и память милаго изъ рукъ прійми ты брата». Последнею вспышкою любви къ Марылѣ были стихи, написанные уже въ 1829 въ Сплугенѣ на Альпійскихъ высотахъ:

Нѣтъ, вѣрно суждено всегда намъ быть вдвоемъ.
Я моремъ ли плыву, иду-ль сухимъ путемъ,
Ты тутъ же. Здѣсь, гдѣ льдовъ воздвигнута громада,
Обворожительный небесный голосъ твой
Я въ шумъ слышу здѣсь альпійскаго каскада,
Власы подъемятся, когда я оглянусь,
И чаю образъ твой увидѣть и боюсь.

Несомнѣннымъ признакомъ оздоровленія поэта было сильное увлеченіе его Байрономъ, наступившее уже по написаніи 4-ой части «Дѣдовъ», въ которой о Байронѣ нѣтъ еще и помину. Это увлеченіе было вызвано главнымъ образомъ тѣмъ, что Мицкевичъ усвоивалъ себѣ отъ Байрона подходящее къ его тогдашнему положенію пренебрежительное отношеніе къ людямъ, его иронію и холодный сарказмъ. Онъ писалъ въ концѣ 1822 (Когг. 1,5): «одного Байрона читаю, книжку въ иномъ духѣ писанную бросаю, потому что мнѣ противны ложь, видъ бракосочетающихся, видъ дѣтей». Это мои антипатіи. Былъ еще и другой признакъ оздоровленія. По изумительному богатству и разнообразію его поэтической натуры рядомъ съ «Дѣдами» въ томъ же томикѣ напечатана литовская повѣсть «Гражина», красивый, объективный, спокойный эпосъ, взятый изъ исторіи борьбы литовцевъ съ орденомъ тевтонскимъ и построенный на чувствѣ старолитовскаго

патріотизма. Князь Литаворъ въ Новогрудскѣ затѣялъ войну съ Витольдомъ и призвалъ себѣ въ помощь тевтонскихъ орденскихъ рыцарей. Жена его, Гражина, надѣвъ доспѣхи мужа и выдавая себя за него, увлекаетъ за собою литовцевъ, разбиваетъ орденскую рать, но и сама гибнетъ въ бою. По ея смерти Литаворъ ищетъ смерти и кидается въ пламя ея костра.

Мицкевичъ сталъ совсѣмъ неспособенъ къ преподаванію: страдалъ кровохарканіемъ, бессонницею, курилъ и пилъ кофе безъ мѣры. Друзья выхлопотали ему заграничный паспортъ, но прежде, чѣмъ онъ могъ имъ воспользоваться, надъ нимъ и надъ филаретскимъ кружкомъ его друзей стряслась бѣда, разразилась гроза въ видѣ шестимѣсячнаго заключенія въ Вильнѣ подъ слѣдствіемъ сенатора Новосильцова, повлекшимъ за собою ссылку арестантовъ на службу во внутреннюю Россію. Въ этомъ заключеніи Мицкевичъ окончательно возмужалъ, опредѣлился и вступилъ въ новый самый продолжительный періодъ своего творчества, который по имени главнаго написаннаго въ то время его произведенія я назову валленродовскимъ.

Валленродовскій періодъ продолжается цѣлый семикъ лѣтъ, во все время не совсѣмъ произвольныхъ его странствованій по Россіи, бытности въ Одессѣ, Крыму, Москвѣ, Петербургѣ и даже за границу, вплоть до польскаго мятежа 1830 г., давшего новый толчокъ его какъ будто бы ослабѣвшему творчеству. До сихъ поръ послѣ прекрасныхъ университетскихъ лѣтъ онъ испыталъ одинъ сильный кризисъ или переломъ любовный, когда онъ сдѣлался Густавомъ 4-й части «Дѣдовъ». Въ ноябрѣ 1823 г., въ тюремной кельѣ въ монастырѣ отцовъ базилианъ въ Вильнѣ съ нимъ произошло новое перерожденіе, которое онъ отмѣтилъ, когда взялся писать 3-ю часть «Дѣдовъ» въ Дрезденѣ въ 1832 г. Въ этомъ новомъ произведеніи узникъ на стѣнѣ пишетъ: obiit Gustavus calendis novembris M. D. CCCXXIII hic natus est Conradus. Густавъ былъ страст-

ный любовникъ. Мицкевичъ будетъ еще влюбляться, но ни разу не воспылаетъ такою страстью, какую онъ пережилъ въ 1822 году. Конрадъ Валленродъ—это новый его герой, котораго онъ придумалъ, изобрѣлъ и въ котораго онъ сильно влюбился, его двойникъ, который въ Вильнѣ былъ у него только въ умѣ, сталъ переходить на бумагу въ Одессѣ, завершёнъ въ Москвѣ, затѣмъ не безъ затруднений и опасеній на счетъ цензуры печатался въ С.-Петербурѣ. Все, что доголѣ было написано Мицкевичемъ, мелькаетъ передъ этимъ гигантомъ, первымъ изъ трехъ шедевровъ («Валленродъ», 3-я часть «Дѣдовъ» и «Панъ Тадеушъ»). Чтобы постичь все значеніе перемѣны, происшедшей во всемъ существѣ поэта, необходимо хотя вкратцѣ намѣтитъ, откуда пришла и какимъ образомъ подѣйствовала на него катастрофа, лишившая его свободы дѣйствій, и прослѣдить потомъ по Валленроду, какой строй и какое направленіе сообщила она его мыслямъ и его настроенію. Въ подробный разборъ «Валленрода» я не буду входить, такъ какъ это произведеніе имѣло на русскій языкъ болѣе десяти переводовъ.

Политическая погода по всей Европѣ была тогда самая пасмурная, царила полнѣйшая реакція. Одолѣвъ Наполеона, европейскія правительства возстановляли по возможности средневѣковые порядки. Капельмейстеромъ въ политическомъ оркестрѣ былъ князь Меттернихъ. Въ Россіи главнымъ по вліянію лицомъ на закатѣ царствованія Александра I былъ Аракчеевъ. Съ весны 1821 года Александръ I зналъ (Шильдеръ, А. I, т. IV, стр. 204), что въ Россіи существуютъ тайныя общества и заговоры. но выражался такъ: *ce n'est pas à moi à sévir*», и возился съ мыслью отреченія отъ престола. Высшіе разсадники просвѣщенія — университеты, были въ Германіи и въ Россіи стѣсняемы по случаю убіенія въ 1818 г. писателя Коцебу нѣмецкимъ студентомъ Зандомъ. Въ Казани по части просвѣщенія свирѣпствовалъ Магницкій, въ Петербургѣ—Руничъ. Чѣмъ они были на сѣверѣ и востокѣ, тѣмъ явился въ Вильнѣ Новосильцевъ, смѣстившій на посту

попечителя учебнаго округа князя Чарторыскаго, нѣкогда товарищъ его въ тайномъ совѣтѣ начала царствованія Александра I, а теперь злѣйшій его врагъ. Общій вопросъ просвѣщенія осложнялся въ Вильнѣ особымъ національнымъ оттѣнкомъ, который я бы назвалъ, пользуясь позднѣйшею фразеологіею, оттѣнкомъ *польскаго сепаратизма*. Вопросъ объ этомъ сепаратизмѣ еще не ставился ребромъ и не выходилъ изъ ряда внутреннихъ. Виленскіе студенты стояли за свой разсадникъ просвѣщенія, стояли за то, чтобы этотъ умственный свѣточъ польской жизни въ Россіи не погасъ. Дальше ихъ намѣренія не шли и не переступали въ область политической агитаціи. Положеніе польскаго элемента въ Россіи ухудшалось еще и по независящимъ отъ чьей бы то ни было воли обстоятельствамъ. Опытъ конституціоннаго правленія въ Варшавѣ не ладился. Только первый сеймъ 1818 г. сошелъ благополучно. Уже со второго сейма 1820 г. расположеніе государя къ затѣянному опыту конституціи было совсѣмъ потеряно. На сочувствіе русскихъ патріотовъ польскій элементъ по этому вопросу не могъ рассчитывать; либеральное направленіе въ Россіи съ его «вольнолюбивыми надеждами» было крайне поверхностное; оно почти совсѣмъ сметено катастрофою 14 декабря 1825 года. Государственные люди и патріоты, окружавшіе Александра I (Каподистрія, Карамзинъ, Ермоловъ, Паскевичъ), были полные противники полонофильской политики Александра I. Паскевичъ выразился, что «рѣчь сеймовая государя 1818 г. оскорбительна для русскаго самолюбія». Ермоловъ писалъ «я думаю судьба не доведетъ насъ до униженія имѣть поляковъ за образецъ» (Шильдеръ, А. I, т. IV, стр. 96). По естественному ходу вещей русское государство должно было ассимилировать бывшія польскими свои части, устанавливая свои порядки, подводить присоединенный край подъ одинъ знаменатель съ остальною Россіею, при чемъ, конечно, должны были отваливаться куски, уцѣлѣвшіе отъ прежняго зданія, которыми мѣстный людъ дорожилъ по привычкѣ. Замѣчу,

что въ концѣ первой четверти XIX вѣка еще не различались такъ, какъ начинаютъ нынѣ различаться, государство и культура. Ассимилированіе культурное не можетъ быть насильственное, оно происходитъ само собою, безъ всякихъ внѣшнихъ мѣръ воздѣйствія по отношенію къ восточнымъ окраинамъ Россіи. По отношенію къ болѣе культурнымъ западнымъ окраинамъ оно порою совершалось съ ломкою, безъ настоящей необходимости, многого лучшаго, чѣмъ нововводимое, и сопровождалось убылью нѣкоторой доли добра, если смотрѣть на этотъ вопросъ съ общечеловѣческой точки зрѣнія.

Во время заключенія Мицкевича въ Вильнѣ въ концѣ 1823 г. имъ овладѣло, угнетавшее его какъ поляка, предчувствіе нависшей и роковымъ почти образомъ близящейся опасности того, что позднѣйшей терминологіей называемо было располоченіемъ, съ другой — обрусеніемъ, то-есть, какъ для поляка, предчувствіе денационализаціи. Ходъ этой денационализаціи представился Мицкевичу въ образѣ, который онъ представилъ въ «Валленродѣ»; «На прибрежьяхъ Полонги видишь коверъ тотъ прибрежнаго луга. Желтый песокъ его уже засыпалъ. Ты видишь, Душистыя травы слиятся смертный покровъ пробуравить Головами стебля. Ахъ, все прекрасно! ужъ новая гидра съ пескомъ понесется Бѣлые плесы расширить, живой материкъ, уничтожить, Дикое царство пустыни все дальше кругомъ раздвигая»...

Весьма существенно знать, какой предметъ считалъ Мицкевичъ тою, гибель приносящею, гидрою? Коренною ошибкою и его лично и современниковъ его поляковъ составляло то, что они воображали, что имѣютъ дѣло съ однимъ государствомъ, а не съ русскимъ народомъ. Русскій народъ Мицкевичъ искренно увѣрялъ въ своей къ нему любви; онъ и 3-ю часть «Дѣдовъ» посвятилъ «друзьямъ-москалямъ», которые, какъ знакомыя ему лица, имѣютъ, по его словамъ, «права гражданства въ его мечтаніяхъ». Онъ полагалъ, что это — народъ, начинающій лишь жить, еще не опредѣлившійся, собою нерасполагаю-

цій, какъ будто бы ничего въ государство не внесшій и къ нему какъ будто бы безучастный. Въ отрывкѣ «Петербургъ» (приложеніе къ 3-й части «Дѣдовъ») Мицкевичъ пишетъ: «этотъ край бѣлъ и открытъ, какъ неисписанный листъ бумаги. Неизвѣстно, пишетъ ли на немъ Богъ буквами — добрыми людьми, святую правду, что родомъ человѣческимъ управляетъ любовь и что трофеи міра жертвы». «Тѣ люди сѣвера здоровые и крѣпкіе, но ничего не выражаютъ своими лицами, потому что огонь ихъ сердець кроется точно въ подземныхъ вулканахъ, не перешелъ на лица, не играетъ въ распаленныхъ устахъ, не застываетъ въ морщинахъ чела, какъ на лицахъ другихъ народностей востока и запада, по которымъ прошло столько страданій, скорбей и надеждъ, что каждое лицо стало памятникомъ своего народа».

При мысленномъ отдѣленіи государства отъ народности понятно, что Мицкевичъ счелъ своимъ противникомъ, съ которымъ приходится побороться, государство, какъ стихійную силу, какъ нѣчто безличное. Съ этимъ противникомъ не приходится откровенничать, а хитрить; по отношенію къ нему всѣ средства хороши чтó и выразилъ Мицкевичъ, поставивъ эпиграфомъ къ Валенроду изреченіе изъ *Il principe* Макиавелли, приведенное имъ не дословно, а въ передѣлкѣ «*due sono generazioni di combattere: bisogna essere volpe a leone*». Еще ярче выражено это положеніе въ повѣсти вайделота въ Валенродѣ въ стихѣ. «ты же невольникъ; одно у рабовъ есть оружіе — измѣна». Идея эга несомнѣнно безнравственная, революціонная, равносильная тому, что благой цѣли всѣ средства хороши, но она спрятана глубоко, на самомъ днѣ произведенія, такъ что возможности ея практическаго приложенія не поняли сразу ни цензура, ни русскіе люди, ни поляки. На первый взглядъ въ сюжетѣ поэмы нѣтъ ничего ни русскаго, ни польскаго; сюжетъ взятъ у нѣмецкихъ историковъ и изъ древне-литовскихъ лѣтописей. Онъ поразилъ Мицкевича, изучавшаго древне-литовскую старину и въ Щорсахъ въ книгохранилищѣ Хрептовичей.

Изъ этихъ источникахъ Мицкевичъ нашелъ великаго магистра ордена, Конрада Валенрода, крутого и неспособнаго человѣка, который своею неумѣlostью въ походахъ и своею недѣятельностью при осадѣ Вильно содѣйствовалъ послѣдовавшимъ неудачамъ ордена. Тамъ же Мицкевичъ нашелъ другое лицо—нѣмецкаго рыцаря Вальтера Стадіона, плѣнника литовцевъ, женившагося потомъ на дочери литовскаго князя Кейстута. Какъ истинный художникъ, Мицкевичъ не стѣснялся особенно правдою историческою. Литва уже была въ значительной степени христіанская, когда предпринималъ Валенродъ свои походы, между тѣмъ какъ въ поэмѣ она сплошь языческая. Мавры въ балладѣ Альпухара не похожи на мавровъ-мусульманъ и, слѣдовательно, фаталистовъ. Они болѣе похожи на испанцевъ, съ дикою страстью сопротивлявшихся Наполеону. Мицкевичъ отождествилъ Валенрода со Стадіономъ и съ третьимъ еще исторически извѣстнымъ лицомъ, литовцемъ Альфомъ, плѣненнымъ въ дѣтствѣ нѣмцами и бѣжавшимъ, какъ волчонокъ, въ лѣсъ къ своимъ родичамъ. Въ поэмѣ этотъ Альфъ женится на дочери князя Кейстута, видя близящуюся гибель Литвы, бросаетъ любимую жену, возвращается къ врагамъ, проникаетъ въ ихъ среду и достигаетъ званія великаго магистра ордена, только съ тѣмъ, чтобы подорвать и истребить въ корнѣ орденскія силы. Онъ въ концѣ гибнетъ отъ рукъ разгадавшихъ его орденскихъ братьевъ нѣмцевъ, но гибнетъ, злорадствуя и торжествуя осуществленіе цѣли, въ которую вложилъ всю душу. Личность Валенрода и сочетаніе въ немъ двухъ могучихъ страстей, страсти къ родинѣ и адской мести, задуманы въ байроновскомъ господствовавшемъ повсемѣстно тогда духѣ и стилѣ. Герой поэмы, суровый, мрачный съ множествомъ черныхъ пятенъ на душѣ, самъ предваряетъ читателя, что горе человѣку, имѣющему великое сердце, что онъ похожъ на улей, который если не будетъ наполненъ медомъ, то сдѣлается гнѣздомъ для ящерицъ. Его спасаетъ въ нашихъ глазахъ, что помимо жестокостей и даже преступленій онъ

сильно любить родину: что его толкаетъ впередъ то, что «счастія онъ не нашелъ дома, потому что его не нашлось въ отчизнѣ».

И эстетика, и мораль имѣютъ свои особыя мѣрки. Область искусства неизмѣримо шире области морали. Предметомъ искусства бываетъ вся жизнь, все въ мірѣ хорошее и дурное, уродливое и даже отвратительное, коль скоро оно изображено правдиво и коль скоро оно насъ эмоционируетъ, то-есть пробуждаетъ въ душѣ извѣстныя сильныя сочувствія. Валенродъ даетъ обильный матеріалъ обѣимъ этимъ критикамъ и вызываетъ гораздо болѣе возраженій по части этической, нежели по части своей эстетической. Въ послѣднія 30 лѣтъ послѣ разгара послѣдней польской смуты 1863 года, русскіе критики стали порицать поэзію Мицкевича за ея ядовитыя свойства, за воспѣваніе ненависти международной, за возведеніе въ идеаль и обоготвореніе измѣны. Обвиненія эти были настолько сильны, что озадачили близкаго друга Мицкевича, князя П. А. Вяземскаго, который въ своей статьѣ 1870 (Соч., т. VII, стр. 327) выразился такъ: «была ли поэма «Валенродъ» дѣйствительно написана не подъ однимъ поэтическимъ направленіемъ, но и подъ макиавеллическимъ—рѣшить не беремся. Но что въ ней многое могло быть истолковано въ такомъ смыслѣ—это несомнѣнно! По крайней мѣрѣ послѣдующія событія придали ей этотъ смыслъ». Необходимо разобраться въ этихъ обвиненіяхъ, чтобы прійти къ какому-нибудь заключенію о томъ, имѣютъ ли они какое нибудь основаніе.

Начнемъ разборъ съ эстетики. Самъ Мицкевичъ признавалъ, что его поэма, въ формѣ своей несовершенная и не цѣльная, задумана по одному плану, dokonчена по другому, что разновремененно написанныя части ея не спаяны, а мѣстами даже нарочно перепуганы. Предположена была эпическая поэма, медленно текущая, съ пышнымъ лирическимъ прологомъ, гимномъ въ честь народ-

ной были, прославленіемъ романтической поэзіи. Этотъ прологъ превращенъ потомъ во вставочную, рѣзко отдѣляющуюся отъ остального текста пѣсню литовскаго жреца вайделота.

«О, будь народная, ковчегъ завѣта ты, Давно отжившаго съ живымъ ты единенье, Въ тебя кладетъ народъ бойца вооруженье, И пряди думъ своихъ и чувствъ своихъ цвѣты.

«Ты невредимъ, ковчегъ, пока въ дни испытаній Народъ не осквернилъ того, что ты хранишь. О, пѣснь народная, на стражѣ ты стоишь У храма дорогихъ его воспоминаній. И крылья у тебя архангела и рѣчь. Порой архангела ты держишь также мечъ!..

«О, еслибъ только могъ огонь свой перелить Я въ души внемлящихъ, у смерти изъ объятій Могъ вырвать прошлое! когда-бъ сердца собратій Умѣлъ я звучными словами шевелить, Быть можетъ, что еще они бы въ то мгновенье, Когда родная пѣснь глубоко тронетъ ихъ, Сердце какъ въ старину почували бѣненіе Отцовъ великій духъ тогда-бъ проснулся въ нихъ. Итакъ возвышенно они-бъ хоть мигъ прожили Какъ предки ихъ всю жизнь когда-то проводили».

За этимъ прологомъ должна была бы слѣдовать античными гекзаметрами переданная юность Альфа до даннаго имъ обѣта спасать родину. Послѣ того вторая часть должна бы изобразить патріотическій подвигъ скрытно-литовца, сдѣлавшагося магистромъ ордена подъ фамиліей Валенрода. Этотъ планъ оказался не удобнымъ въ виду цензуры, въ виду большой ея подозрительности послѣ событія 14 декабря 1825 г. и строгостей слѣдовавшаго затѣмъ тридцатилѣтія.—Авторъ рѣшился начать поэму съ избранія Валенрода магистромъ, передавать отрывки изъ молодости его и, подстрекая въ высшей степени любопытство читателя, оставить его до конца въ неизвѣстности насчетъ намѣреній затаеннаго врага ордена. Ни какъ ни старался Мицкевичъ маскировать свою основную мысль, перенеся дѣйствіе поэмы въ языческую Литву о

къ нѣмцамъ, все таки въ рапортѣ своемъ цесаревичу Константину Павловичу отъ 10 апрѣля 1828 Новосильцевъ указывалъ на нее, какъ на плодъ ненависти подъ видомъ великодушнаго патріотизма (напечатано Третьякомъ въ V томѣ «Памятныхъ записокъ Общества Мицкевича» въ Львовѣ, стр. 248—256). Была еще другая причина, повліявшая на видоизмѣненіе самаго рода произведенія въ теченіе его писанія. По мѣрѣ того, какъ подвигалась работа, замышляемый эпосъ превращался въ драму, въ потрясающую трагедію. Чутьемъ великаго художника и притомъ художника-моралиста, какимъ онъ всегда былъ, Мицкевичъ угадалъ, что человѣкъ фанатикъ, увлекающійся односторонне одною какою либо идеею, хотя бы и благороднѣйшею, напримѣръ, любовью къ отечеству, перестаетъ вызывать въ насъ сочувствіе къ нему, когда «мщенія пламя, питаемое въ молчаніи видомъ поражений и зла, охватитъ наконецъ и сердце, всякое чувство въ немъ выжжетъ, даже сильнѣйшее, даже и чувство любви (къ женщинѣ), услажденіе дотоль его жизни». Въ этой душѣ не будетъ уже меду, въ немъ поселится одна громадная ящерица.

Если, однако, въ душѣ Конрада патріотическая рѣшимость мстить врагамъ и истреблять ихъ не выжгла и не истребила всѣхъ добрыхъ задатковъ, если его нравственное чутье не извратилось вслѣдствіе софизма, если въ немъ сохранилось еще отвращеніе къ звѣринымъ пріемамъ воеванія, къ львиному насилію и къ лисей хитрости и нарушенію довѣрія, то въ этой душѣ, уже значительно опаленной опытомъ жизни и потому искажившейся, должна происходить сильнѣйшая борьба между намѣреніемъ, которому онъ себя посвятилъ, и совѣстью. Онъ преждевременно увялъ, поспѣлъ, сталъ предаваться пьянству и хулилъ порою само чувство патріотизма. («Чудовище-змѣя понало въ садъ украдкой: гдѣ грустью скользкою оно лишь проползетъ, цвѣтъ разомъ опадаетъ И пожелтѣетъ все, какъ грудь ехидны гадкой»). Конрадъ сознаетъ, что онъ дѣлаетъ зло, что ему не будетъ отпу-

щенія («хочу заранѣе знать, что ждетъ меня въ аду»). Онъ подошелъ уже къ цѣли, но цѣль, которой онъ пожертвовалъ и жизнью, и совѣстью, настолько противна его природѣ, что онъ откладываетъ, придумываетъ отсрочки, клянетъ свою душу, что въ ней есть остатки добрыхъ чувствъ. Когда онъ вернулся изъ рокового похода, то онъ, какъ ребенокъ. тѣшится не тѣмъ, что насытилъ мечь, но что ему уже не придется мстить («но чловѣкъ я, мнѣ довольно этихъ бѣдъ, Среди лицемѣрья выросъ я съ рожденья... Измѣна мнѣ тошна, не годенъ я въ бояхъ—Довольно мщенія, вѣдь нѣмцы люди тоже!..»). Для Валенрода нѣтъ иного выхода, кромѣ трагическаго, кромѣ смерти; смерть и есть искупленіе его трагической вины. Трагедія иногда не удается, когда герой, хотя и преступникъ, но не возбуждаетъ сочувствія. Въ данномъ случаѣ мотивомъ его дѣйствій является патріотизмъ—благороднѣйшая страсть, которая только и держитъ вкупѣ народъ; когда она оскудѣетъ, то народъ невосвратно погибъ. Страсть эта выражена въ поэмѣ могуче, величаво. Сочувствіе читателя относится не къ тому, что герой сдѣлалъ, но только къ его личности.

Отъ эстетическаго разбора перейдемъ къ этическому. Перенесемъ мысленно въ древній міръ, въ Грецію или Римъ. Валенродъ долженъ бы показаться нормальнымъ и моральнымъ чловѣкомъ, даже по своей основной нравственной идеѣ, такъ какъ нѣтъ ничего святѣе земного отечества, оно—верховное божество. *In hostem omnia licita*. Но такъ ли будетъ это съ точки зрѣнія христіанской морали?

Съ минуты проявленія Валенрода, въ польской литературѣ и критикѣ поднятъ былъ неумолкающій и продолжающійся до настоящаго времени протестъ не противъ красоты произведенія, но противъ практическаго приложенія основной идеи произведенія къ современности. Въ обществѣ польскомъ конца двадцатыхъ годовъ еще были

въ силѣ довольно многочисленныя классики, большіе консерватисты и въ политикѣ, боявшіеся романтизма не только какъ декадентства въ области вкуса, но и потому, что они опасались бѣшеныхъ полетовъ поколѣнія въ темную и опасную область будущаго. Одинъ изъ видныхъ классиковъ, Казтанъ Козмянъ, утверждалъ, что никакая сила воображенія не можетъ оправдать измѣну, выдаваемую за добродѣтель. Профессоръ берлинскаго университета, Войцехъ Цибульскій, выразилъ въ 1848 году, что Валенродъ оказалъ скорѣе вредное, нежели хорошее вліяніе на характеръ поляковъ. Еще недавно (въ 1898), одинъ изъ лучшихъ знатоковъ и наибольшихъ поклонниковъ Мицкевича, краковскій профессоръ графъ Станиславъ Тарновскій («Adam Mickiewicz, zarys biograficzny» Petersburg. 1898) утверждалъ, что основная мысль Валенрода — нравственно дурная, что если бы кто осуществилъ ее практически, то и себя бы испортилъ, и повредилъ бы своему народному дѣлу.

Для опредѣленія и качества и количества той доли нравственнаго яда, которая могла содержаться въ «Валенродѣ», необходимо принять въ соображеніе время, когда произведеніе писалось (1827) и было издано (1828). Обѣ народности совмѣщались въ одномъ и томъ же государствѣ и состояли подъ державною рукою одного и того же монарха. Между націями не было еще ни тѣни спора о границахъ, не было также никакихъ предчувствій и предуказаній на близящійся мятежъ. Самъ этотъ мятежъ былъ только рефлексомъ французскаго іюльскаго переворота 1830 года. Валенродъ не могъ быть предлагаемъ какъ политическая программа. Если бы авторъ предлагалъ, какъ программу, политическую измѣну, то безуміемъ съ его стороны было бы провозглашать это намѣреніе во всеуслышаніе и тѣмъ враговъ предостерегать. Измѣна Валенрода была только фабула разсказа, а не теорія или ученіе. Поэтическій соперникъ Мицкевича среди польскаго выходства, Юлій Словацкій, съ ѣдкимъ остроуміемъ осмѣялъ валенродство (Beniowski), указавъ на то, что

если оно плодитъ измѣну, то измѣну только по отношенію къ народному польскому дѣлу, потому что располагаетъ поляковъ, дѣлающихъ карьеру па русской службѣ корчить изъ себя Валенродовъ, надувая только своихъ земляковъ. Валенродство вообще не соотвѣтствуетъ живому сангвиническому темпераменту поляковъ; реальнаго Валенрода оно не произвело ни одного.

Поэма «Валенродъ» произвела, однако, послѣдствія, которыхъ, можетъ быть, не предусматривалъ самъ Мицкевичъ. Властелинъ сердець, заражающій, по выраженію графа Л. Н. Толстого, другихъ людей своими чувствами, зажегши въ этихъ сердцахъ пламенный патріотизмъ, доведенный до бѣлаго каленія въ молодомъ поколѣніи, онъ привилъ къ нему это чувство, какъ прививаютъ коровью оспу, чтобы предупредить настоящую, чтобы спасти отъ настоящей, чтобы предохранить своихъ земляковъ отъ денационализаціи.

Гъ этомъ отношеніи Мицкевичъ явился воспитателемъ послѣдующихъ поколѣній, несмотря на то, что въ своихъ политическихъ понятіяхъ онъ не стоялъ выше своего вѣка и что вмѣстѣ со своими земляками онъ сильно и во многомъ ошибался, каковыя ошибки окупались иногда неисчислимыми жертвами. На одну изъ этихъ ошибокъ я уже указывалъ: она заключалась въ непониманіи Россіи, какъ государства, и русскаго народа. Столь же дорого, какъ ошибка, окупается иногда и отказъ отъ прежнихъ привычекъ или необходимость приспособляться къ новому, еще неизвѣданному быту, когда нація, нѣкогда первенствовавшая, должна отказаться не только отъ этого первенствованія политическаго, но и отъ сохраненія въ какомъ бы то ни было смыслѣ своего привилегированнаго положенія, когда вопросъ о дальнѣйшемъ ея существованіи перестаетъ быть международнымъ европейскимъ вопросомъ и превращается въ рядъ внутреннихъ вопросовъ, подлежащихъ вѣдѣнію cadaго изъ государствъ, которымъ достались тѣ или другія части существовавшаго нѣкогда политическаго цѣлаго.

Нынѣ, послѣ повстаній 1830 и 1863 гг., и въ особенности послѣ франко-прусской войны 1870 г., послѣ коренного измѣненія бывшей системы европейскаго равновѣсія, поэма «Валенродъ» потеряла смыслъ нравственнаго внушенія, какимъ кому слѣдуетъ быть, и осталась только какъ произведение, дышащее возвышеннѣйшими чувствами патріотизма, такими же, какія проявилъ русскій народъ въ 1612 и въ 1812 годахъ. Теперь возможно безъ всякихъ оговорокъ и колебаній восхищаться этою поэмою, какъ восхищались ею русскіе люди въ концѣ двадцатыхъ годовъ. Многочисленность переводовъ Валенрода на русскій языкъ свидѣтельствуетъ о томъ, что она внесла кое-что въ русскую литературу и оставила на русской литературѣ свой явственный слѣдъ.

II.

Поставивъ себѣ задачею изобразить эволюцію поэтическаго творчества съ подраздѣленіемъ его на фазисы, я представилъ очеркъ юныхъ университетскихъ лѣтъ Мицкевича, исполненныхъ безмѣрныхъ увлеченій гуманизмомъ, еще націоналистически неокрашеннымъ, съ начатками господствовавшаго въ Европѣ романтизма и съ обращеніемъ къ источникамъ простонародной поэзіи. Затѣмъ, слѣдовалъ любопытный кризисъ, кончившійся сильнѣйшимъ нервнымъ потрясеніемъ и расположившій Мицкевича къ воспріятію поэзіи Байрона, наконецъ наступилъ третій фазисъ, который я назвалъ валенродовскимъ и который былъ весьма продолжителенъ, такъ какъ онъ занимаетъ не только весь періодъ его недобровольныхъ странствованій по Россіи съ ноября 1824 года, когда онъ былъ привезенъ въ Петербургъ на другой день послѣ наибольшаго изъ петербургскихъ наводненій 7-го ноября 1824 г., до 29-го мая 1829, когда онъ выбылъ изъ Россіи, но распространяется и на путешествіе его по западной Европѣ и на бытность его въ Италіи, вплоть до польскаго мятежа 1830 года.

Я много времени посвятилъ объясненію, въ чемъ заключалась коренная идея этого произведенія, не дававшего Мицкевичу покоя, и недоступная еще никому, кромѣ него: предчувствуемая имъ нависшая опасность весьма возможной денаціонализаціи подъ извѣстнымъ внѣшнимъ давленіемъ со стороны государства и дерзновенная, въ виду равенства силъ, рѣшимость крошечнаго недѣлимаго, слабой физической единицы, противоудѣйствовать этому давленію всѣми мѣрами, жертвуя собою и даже не считаясь съ совѣстью. то-есть не разбивая законности или незаконности средствъ сопротивленія. Сама идея вслѣдствіе своей необычайной смѣлости возвышала Мицкевича, какъ въ умѣ его родившаяся, въ его собственныхъ глазахъ. Онъ признаетъ (письмо 5-го января 1827 изъ Москвы, Когг. I т., стр. 19), что онъ повеселѣлъ въ тюрьмѣ у базилианъ, что онъ успокоился и поуmnѣлъ въ Москвѣ. Онъ радъ былъ ссылкѣ, радъ знакомству съ Россіею; онъ чувствовалъ, уѣхавъ изъ Литвы, что если бы онъ туда вернулся, то безъ всякихъ внѣшнихъ воздѣйствій онъ самъ бы себя изобрѣлъ какую-нибудь бѣду и самъ бы себя грызъ. Товарищи Мицкевича по ссылкѣ продолжали держаться замкнутымъ кружкомъ и чуждались русскихъ знакомствъ; онъ, напротивъ того, искалъ этихъ знакомствъ; входилъ въ гостиніе салоны, дѣлался свѣтскимъ человѣкомъ, сталъ въ Россіи извѣстнѣйшимъ изъ не-русскихъ поэтовъ, когда-нибудь въ Россіи побывавшихъ. Послѣ четырехъ съ половиною лѣтъ его пребыванія въ Россіи, наблюдавшій его вблизи поэтъ Козловъ выразился о немъ такимъ образомъ передъ однимъ изъ его земляковъ: «vous nous l'avez donné fort, nous vous le rendrons puissant». Между Мицкевичемъ и русскою интеллигентною публикою того вѣка нашлись многія точки соприкосновенія, такъ что сближеніе произошло весьма естественно. Общія увлеченія романтизмомъ и байронизмомъ были въ Россіи гораздо сильнѣе, чѣмъ въ Варшавѣ и Вильнѣ, такъ что Мицкевичъ боялся, какъ бы русскіе не опередили въ этомъ отношеніи поляковъ.

И Мицкевичъ, и лучшіе русскіе передовые люди были тогда подѣ вліяніемъ французскихъ либеральныхъ преобразовательныхъ идей, посѣянныхъ руками Екатерины II и Александра I и принесшихъ свои плоды въ видѣ реформы царствованія Александра II. Реакція противъ этого направленія обозначилась въ событіи 14-го декабря 1825 г., но она установилась не сразу. Во многихъ своихъ взглядахъ на современное ему государство и на желательныя въ немъ перемѣны Мицкевичъ былъ за одно съ людьми, которыхъ онъ назвалъ въ посвященіи имъ 3-ей части своихъ «Дѣдовъ» *друзьями-москалями*. Всѣмъ русскимъ Мицкевичъ приходился по душѣ и по вкусу; достаточно назвать Николая Полевого, князя П. А. Вяземскаго, съ которыми его познакомилъ Полевой, Дмитріева, Погодина, Хомякова, Веневитинова, Баратынскаго, Аксакова, Жуковскаго, Пушкина. Онъ поражалъ русскихъ весьма рѣдкою способностью вдохновляться въ кружку знакомыхъ и импровизировать, производить, по словамъ Вяземскаго, «огнедышашія изверженія поэзіи». Онъ могъ импровизировать на заданныя темы либо польскими стихами, либо по французски поэтическою прозою, послѣ непродолжительнаго размышленія. Вяземскій отмѣтилъ (статьи 1873 г.), что русскихъ поражало полное отсутствіе въ немъ всякихъ признаковъ тѣхъ качествъ, которыя ихъ непріятно поражали въ землякахъ поэта всегда чаще встрѣчаемыхъ, а именно, заносчивости или обрядной уничижительности. Для полноты картины отношеній Мицкевича къ русскому обществу необходимо упомянуть о его сердечныхъ связяхъ съ русскими женщинами, влюблявшимися въ красиваго литвина и сохранившими потомъ къ нему чувства если не любви, то чистѣйшей дружбы и уваженія ¹⁾).

¹⁾ Упомяну о сердечныхъ отношеніяхъ Мицкевича къ Каролинѣ Енншъ, вышедшей впоследствии замужъ за Н. Павлова. Уже рѣшившійся на отъѣздъ изъ Россіи, Мицкевичъ по письму ея въ концѣ марта 1829 г. ѣздилъ въ Москву въ распутицу съ тѣмъ только, чтобы съ нею проститься. Tretiak, Szkice literackie. Kraków 1896.

Мицкевичъ искалъ сближенія съ русскими главнымъ образомъ съ цѣлью познанія русскаго духа, изученія національнаго чувства у русскихъ людей во всѣхъ его особенностяхъ. Конечно, въ этомъ отношеніи первостепенное значеніе имѣло знакомство Мицкевича съ Пушкинымъ. Оба были ровесники, оба были самыми яркими свѣтильниками двухъ національных самосознаній. Главными источниками для разрѣшенія вопроса о томъ, къ какимъ результатамъ пришли оба поэта въ своихъ бесѣдахъ о Россіи, служить, съ одной стороны, сочиненный въ 1832 году въ Дрезденѣ отрывокъ «Петербургъ» Мицкевича, образующій приложение къ 3-ей части «Дѣдовъ»,—отрывокъ, написанный уже не въ томъ спокойномъ настроеніи 1828 г., въ которомъ бесѣдовали поэты, но въ значительно возбужденномъ противъ Россіи, вслѣдствіе мятежа и борьбы 1830—31 года; и съ другой стороны «Мѣдный Всадникъ» Пушкина. Мицкевичъ отлично сознавалъ діаметральную противоположность обѣихъ національностей вслѣдствіе ихъ совсѣмъ несходныхъ формулъ развитія, зависѣвшихъ прежде всего отъ ихъ противоположной государственной выправки. На одной сторонѣ былъ индивидуализмъ свободной личности, доведенный до того, что отъ безначалія разваливалось государство, а на другой сторонѣ полное пожертвованіе свободою личности ради только того, чтобы держаться вкупѣ и выстроить крѣпкое, неодолимое государство.

Обѣ крайности неизбежно когда-нибудь уравниваются и примиряются; чтобы быть дѣйствительно крѣпкимъ, государство должно стремиться къ выработкѣ въ народѣ чувствъ законности, гражданственности и свободы, но эта свобода должна имѣть точно опредѣленные границы и течь по правильно устроенному руслу. Мицкевичъ понималъ, что онъ и Пушкинъ, это—двѣ альпійскія скалы, на вѣки отдѣленные промежуточною струею горскаго потока. Онъ полагалъ, что обѣ скалы клонятъ къ себѣ взаимно свои высокія вершины. но сильно заблуждался насчетъ степени этого наклоненія вершинъ. Въ Пушкинѣ

онъ цѣнилъ прежде всего творца стиховъ съ «вольнлюбивыми надеждами» (стихотвореніе къ Чаадаеву 1821), автора оды «Свобода», «Деревни», «Къ кинжалу», «Посланіе къ Чаадаеву», между тѣмъ какъ Пушкинъ, послѣ своего освобожденія изъ села Михайловскаго, будучи чрезвычайно чутокъ къ тому, что кругомъ его происходило, уже не раздѣлялъ прежнихъ увлеченій друзей своихъ декабристовъ, хотя и не переставалъ никогда этихъ друзей нѣжно любить. Мицкевичъ вложилъ въ уста Пушкину въ разговорѣ поэтовъ передъ бронзовымъ Петромъ Великимъ слова, мысли и чувства, которыя тогда уже не могли быть свойственны Пушкину. Онъ недосмотрѣлъ, что и въ народѣ русскомъ, и въ Пушкинѣ можетъ долгое время существовать сильный патріотизмъ въ скрытомъ состояніи, который и проявляется потомъ моментально съ неудержимою силою, когда того потребуетъ опасность.

Не могъ Пушкинъ выжидать спокойно того, что на взглядъ Мицкевича должно произойти, когда подуетъ, съ запада теплый вѣтеръ и оживятся застывшіе отъ холоду на скалѣ конь и всадникъ, то-есть, когда они полетятъ со скалы и разобьются въ дребезги. Самъ Пушкинъ исправилъ въ своемъ «Мѣдномъ Всадникѣ» эту погрѣшность и выразилъ не опасеніе, какъ бы не произошла катастрофа, а свой свободный отъ всякихъ опасеній восторгъ: «О, мощный властелинъ судьбы! Не такъ ли ты надъ самой бездною, — На высотѣ уздой желѣзной — Россію вздернулъ на дыбы!» Для большаго поясненія разницы между поэтами приведу по одному отрывку отъ каждого изъ нихъ.

На «смотре» въ «Петербургѣ» Мицкевича найденъ послѣ смотра замерзшимъ деньщикъ съ офицерскою шубою забывшаго о немъ и уѣхавшаго его начальника. Мицкевичъ оплакиваетъ его словами: «жалъ мнѣ тебя, братъ славянинъ! Бѣдный народъ, сожалѣю о твоей я долѣ — Одинъ у тебя есть только героизмъ неволи». Прямымъ отвѣтомъ на эти слова могутъ служить слѣдующіе стихи «Клеветникамъ Россіи» Пушкина, опредѣляющіе существо

домашняго спора славянъ между собою: «Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ? Кичливый ляхъ иль вѣрный Россѣ?» Борьба во всякомъ случаѣ была между неравными силами, что сознавалъ и Пушкинъ. Восторжесіеовать долженъ былъ Россѣ, потому что онъ—вѣрный и что кругомъ его встанетъ вся русская земля, «стальной щетиною сверкая».

Знакомство съ Россіей принесло громадную пользу Мицкевичу, кругозоръ его расширился, усвоена имъ масса знаній и впечатлѣній. Но вслѣдствіе свѣтскихъ развлеченій производительность его уменьшилась и стали говорить, что онъ какъ будто бы облѣнился. За всю бытность во внутренней Россіи прибыли, кромѣ «Валенрода», только бездѣлушки: «Крымскіе сонеты» и блистательная фантазія въ восточномъ вкусѣ «Фарисъ». Мицкевичъ торопился за границу довершить свое художественное образованіе. Было основаніе думать, что его отъѣздъ будетъ затрудненъ вслѣдствіе толковъ, возбужденныхъ «Валенродомъ». Русскіе пріятели ускорили отъѣздъ. — Средства на поѣздку доставлены были продажею шибко расходящихся изданій его произведеній. Ему сопутствовалъ въ путешествіи вплоть до сѣверной Италіи виленскій товарищъ Одынецъ, собиравшій тщательно всѣ путевыя наблюденія, ощущенія и разговоры. Въ теченіе всего времени отъ выѣзда за границу до конца 1830 года творчество Мицкевича почти-что пріостановилось; поэта можно бы сравнить за это время съ губкою, всасывающею въ себя богатѣйшій матеріалъ осыдавшій потомъ и наслаивавшійся въ душѣ, пока не подоспѣли внѣшнія событія, которыя сообщили новый толчекъ его творчеству, сильно его расшевеливъ. Отмѣтимъ вскользь главныя стоянки въ этой подвижной жизни любознательнаго туриста, возвращающагося въ самой интересной обстановкѣ и въ средѣ самага отборнаго, интеллигентнаго, космополитическаго общества. Въ Берлинѣ онъ бывалъ на лекціяхъ Гегеля, но получилъ такое отвращеніе къ трансцендентальной мета-

физикѣ, что скорѣе бы помирился со Снядецкимъ, то-есть предпочелъ бы матеріалистическую философію французскую. Въ Прагѣ Мицкевичъ при посредствѣ Ганки познакомился съ національнымъ чешскимъ движеніемъ. Оба путешественника ѣздили въ Веймаръ поклониться германскому Юпитеру—Гёте, отличившему ихъ особенно ласковымъ пріемомъ. Мицкевичъ пораженъ былъ сценическимъ представленіемъ «Фауста» (1-я часть); онъ оспаривалъ мнѣніе о нерелигіозности Гёте, но допускалъ въ Гёте извѣстное ослабленіе религіознаго чувства. Въ Дармштадтѣ онъ не досидѣлъ до конца представленія «Мессинской Невѣсты» Шиллера, до того показался ему противнымъ этотъ родъ подражательности классическому. Отъ береговъ Рейна Мицкевичъ проѣхалъ въ Римъ 18 ноября 1829 г.—Римъ привелъ его въ полный восторгъ. «Куполь святого Петра,—писалъ онъ,—прикрылъ собою всѣ мои итальянскія воспоминанія», но оказалось, что въ Римѣ поэтъ меньше чѣмъ гдѣ-нибудь свободенъ. Отъ Тита Ливія, Нибура, Гиббона его постоянно отвлекали знакомства старыя и новыя. У княгини Зинаиды Волконской и въ семьѣ Хлюстиныхъ онъ былъ домашній человѣкъ. Двѣ женщины привлекали къ себѣ особенно Мицкевича. Одна—бойкая, проницательная и необычайно остроумная, Настасья Хлюстина, вышла въ концѣ 1830 г. замужъ за легитимиста, дипломата графа де-Сиркура. Хлюстина по натурѣ своей притягиваема была всѣми людьми, отличавшимися умомъ и дарованіями. Другая женщина, къ которой Мицкевичъ почувствовалъ еще большую и нѣжную склонность, перешедшую въ любовь, была дочь галиційскаго помѣщика графа Анквича, Генріетта. Она повліяла на Мицкевича глубокою задушевною религіозностью, содѣйствовавшею его обращенію изъ человѣка, почти равнодушнаго къ вѣроисповѣданіямъ, въ строгій римскій католицизмъ. Сблизившись съ Анквичами, Мицкевичъ ощутилъ въ себѣ вторую любовную страсть, менѣе сильную, чѣмъ его прежняя любовь къ Марылѣ, и получившую свое поэтическое отраженіе въ поэмѣ «Панъ Тадеушъ». Какъ первый, такъ и второй романъ кончи-

лись неудачно. Высокомѣрный знатный шляхтичъ, отецъ Генріеты, счелъ поэта неподходящею для своей дочери партиєю. Уже послѣ изданія «Пана Тадеуша» онъ выражался, что можетъ быть, и далъ бы согласіе на бракъ дочери, но что дочь его заслуживала того, чтобы и ему изъ-за нея въ ноги поклонились. Поэтъ былъ также гордъ и кланяться не хотѣлъ, дочь подчинилась отцу безъ сопротивленія. Весь почти 1830 годъ проходилъ въ непрестанныхъ странствованіяхъ совмѣстно съ Хлюстиными, въ поѣздкахъ въ Неаполь, Сицилію, потомъ въ швейцарскіе Альпы и въ Женеву. Въ Швейцаріи Мицкевичу былъ представленъ юный графъ Сигизмундъ Красинскій, что не осталось безъ вліянія на судьбы польской поэзіи, въ которой Красинскій занялъ вскорѣ потомъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Въ Миланѣ послѣдовала окончательная размолвка поэта съ семейю Анквичей, послѣ чего Мицкевичъ очутился въ Римѣ одинокій и погруженный въ самое усиленное штудированіе книгъ, когда до него дошло извѣстіе о вспыхнувшемъ переворотѣ въ Варшавѣ. Мнѣ приходится опредѣлить, какое вліяніе имѣло на Мицкевича это крупное для поляковъ событіе.

Мною уже было указано характерное качество творческой организаціи Мицкевича, заключающееся въ томъ, что онъ былъ и художникъ и общественникъ, что всѣ задачи жизни, которыя его занимали, имѣли непременно общественную или, что то же, нравственную подкладку. Онъ могъ воспроизводить только то, что самъ лично пережилъ и выстрадалъ. Въ Швейцаріи, при первомъ знакомствѣ съ Красинскимъ онъ поразилъ Красинскаго, воспитаннаго въ преданіяхъ классицизма и съ нѣкоторымъ недоувѣріемъ вслушивавшагося въ слова вождя романтиковъ, своимъ реализмомъ, своимъ убѣжденіемъ, что романтизмъ есть исканіе и изученіе одной нагой правды, что шумиха вздоръ, что всѣ украшенія безъ глубокой мысли никуда не годятся. Вслѣдствіе такой умственной организаціи, когда

Мицкевича ничто не волновало, могли быть у него много-лѣтніе перерывы въ творествѣ, уходящіе на одно восприниманіе впечатлѣній, на накопленіе того громаднаго клада знанія и начитанности, которымъ онъ располагалъ: но затѣмъ, когда онъ былъ чѣмъ либо раздраженъ и взволнованъ, притомъ не лично, а съ общественной стороны, и почувствовалъ призывъ къ дѣйствию, то обнаруживалась въ полной силѣ его титаническая натура. Мицкевичъ вполне сознавалъ ту истину, которую выражаетъ наглядно графъ Л. Н. Толстой («Что такое искусство»), что художникъ заражаетъ своими чувствами другихъ людей и заставляетъ ихъ чувствовать то же, что чувствуетъ самъ. Вотъ слова Мицкевича въ 3-й части «Дѣдовъ»: «хочу управлять чувствомъ, которое во мнѣ, управлять какъ Ты (о, Боже), постоянно и тайно... Да будутъ люди для меня точно мысли и слова, изъ которыхъ, когда я захочу, выстраивается пѣсня... Я бы тогда создалъ мой народъ какъ живую пѣсню, и большее, чѣмъ Ты, сотворилъ бы диво: я пропѣлъ бы пѣсню счастія» (*zapucilbym pieśń szczęśliwą*). Въ другомъ мѣстѣ той же поэмы онъ выражается слѣдующимъ образомъ: «Человѣкъ, если бы ты зналъ, какова твоя власть, когда въ твоей головѣ, какъ искра въ тучѣ, невзначай блеснетъ и создастъ плодотворный дождь или громы и бури. Если бы ты зналъ, что раньше, чѣмъ ты зажжешь мысль, уже ждуть ее сатана и ангелы! Люди! каждый изъ васъ могъ бы, одинокій и заключенный, мыслью и вѣрою воздвигать и разрушать престолы».

Не подлежитъ сомнѣнію, что на развитіе въ Мицкевичѣ того богатства, того прометеизма, того позыва къ борьбѣ съ судьбою, съ природою, съ самимъ Богомъ повліяло въ свое время знакомство поэта съ поэзіей Байрона. Не слѣдуетъ, однако, упускать изъ виду, что этотъ бунтующійся человѣкъ во всю свою жизнь не былъ никогда ни атеистомъ, ни даже скептикомъ, что онъ всю свою жизнь оставался религіознымъ человѣкомъ, подчиняющимся безусловно только одному произвольно налетающему на него порою вдохновенію свыше, какъ

откровенію. Даже и въ припадкахъ сильнѣйшаго бунтованія, въ кризисахъ страсти, никогда не умолкала въ немъ совѣсть, чутье долга, такъ что и въ этихъ кризисахъ онъ сознавалъ раздвоеніе въ своей душѣ, судилъ себя за него и смирялся передъ тѣмъ, что еще выше, передъ Божествомъ. Послѣ этихъ объясненій легко будетъ слѣдить за нимъ въ новой, открывшейся для него эпохѣ.

Періодъ дѣятельной борьбы за національность; созданіе третьей части «Дядювъ». Извѣстіе о польскомъ мятежѣ застало Мицкевича въ Римѣ, когда послѣ безпорядочности путешествій онъ уединился и сталъ пожирать книги, когда наступила «мятель чтенія залпомъ» (zawiechuca natłokowej lektury) Данта, Винкельмана, Нибура, Ламеннэ. Съ полученіемъ извѣстія всѣ Винчи и Рафаэли были забыты. Интересовалъ только какой-нибудь мокрый неопрятный кусокъ свѣжей нѣмецкой газетки. Музеемъ стала грязная яма какой-нибудь читальни на площади Colonna. Мицкевичъ жалуется, что не можетъ связать двухъ мыслей. Всего печальнѣе было то, что въ успѣхъ движенія онъ совсѣмъ не вѣрилъ и сообщалъ тогда же Сергѣю Соболевскому, что польское движеніе будетъ имѣть ужасныя послѣдствія. Для людей смущенныхъ и колеблющихся надежнѣйшая точка опоры—религія. Послѣ цѣлаго ряда лѣтъ равнодушія къ обрядности и небыванія на исповѣди Мицкевичъ причастился 2 февраля 1831 года и сдѣлался рѣшительнымъ римскимъ католикомъ, чѣмъ не мало удивилъ своихъ русскихъ знакомыхъ, напримѣръ, Хлюстиныхъ. Семенъ Хлюстинъ, образованный гвардейскій офицеръ, упрекалъ его въ томъ, что онъ далъ себя поймать въ сѣти de la caste infernale, source de tous nos malheurs politiques. C'est dans ces opinions que Vous ai connu; dois je vous trouver changé? Мицкевичъ зналъ, что его ждутъ въ Польшѣ, что ему надо вступить въ ряды сражающихся. Сами русскіе этого отъ него ожидали. Тотъ же Хлюстинъ упрекнулъ его въ концѣ ноября 1831 года:

monvivi là bas eut été un sort digne de Vous. Мицкевичъ соби-
рался, но безъ спѣху, и направился окольнымъ путемъ на
Женеву и Парижъ, гдѣ лично познакомился съ Ламеннэ.
Когда не раньше августа 1831 г. онъ добрался чрезъ
Дрезденъ до пограничья Россіи, уже было поздно. Сдача
Варшавы послѣдовала 26 августа 1831 г. Остатки поль-
скаго войска, обѣ сеймовыя палаты, все что было самого
даровитаго въ польскомъ обществѣ, уходило на западъ и
остановилось только въ Парижѣ, на выходствѣ, съ меч-
тами о реваншѣ. Конституція 1815 г. была въ царствѣ
польскомъ отмѣнена, а въ литовскихъ губерніяхъ русское
правительство, укрѣпляя снизу устои своего господства,
упразднило значительную часть дорогихъ сердцу Мицке-
вича остатковъ былого прошлаго. Тогда послѣ полного
погрома и крушенія всѣхъ надеждъ въ настоящемъ, Миц-
кевичъ ощутилъ въ душѣ тотъ толчокъ извнѣ, въ кото-
ромъ онъ нуждался для творчества. Онъ признавался въ
1832 году Лелевелю, что рукъ своихъ онъ не сложитъ
бездѣтельно, «какъ въ гробу». Онъ почувствовалъ въ
себѣ призваніе воодушевить упавшихъ духомъ, воскресить
надежды, ободрить своихъ земляковъ, которыхъ онъ сталъ
опять духовнымъ вождемъ и путеводителемъ. Онъ ощу-
тилъ давно небывалый, громадный приливъ вдохновенія.
«Я сталъ машиною для письма, — писалъ онъ, — и напи-
салъ въ мѣсяцъ столько, что оно равно половинѣ или
трети всего когда-либо написаннаго». Онъ рѣшилъ продол-
жать войну перомъ, когда мечи опустились въ ножны. Это
лихорадочное возбужденіе продолжалось весь 1832 г. даже
и въ Парижѣ, откуда онъ писалъ къ Хлюстиной 24 ноя-
бря 1832 года: *je suis occupé de travaux littéraires, écri-
vant et imprimant avec une chaleur fiévreuse et des mou-
vements convulsifs. Cela m'empêche de devenir fou.*

Перенесемся мысленно въ весну 1832, въ небольшое
общество польское въ Дрезденѣ, въ средѣ котораго были
и старые виленскіе товарищи Мицкевича — Одынецъ и Де-
мейко. Могучій лирикъ, первостепенный эпикъ, Мицкевичъ
 всю жизнь возился съ мыслью написать великую драму,

которую онъ считалъ наивысшимъ родомъ поэтического творчества. Идея о соискательствѣ пальмы первенства въ драмѣ преслѣдовала его съ 1826 г. съ Москвы; въ началѣ 1827 г. ему понравился прослушанный по рукописи Борисъ Годуновъ Пушкина. Единственная драма, соотвѣгствующая требованіямъ эпохи, была на его взглядъ драма историческая (Korr. IV, 101—104). Онъ былъ тогда взятый шекспирианецъ (*zabity szekspirzysta*), и совѣтовалъ всякую шекспировскую пьесу изучать. Гѣте онъ уважалъ только за «Гёца». Онъ признавался въ письмахъ къ Одынцу: «я въ огонь бросилъ нѣсколько драмъ готовыхъ и нѣсколько на половину конченныхъ и до сихъ поръ не собрался написать трагедію, а между тѣмъ сѣдѣю и теряю зубы». Съ какимъ напряженіемъ слѣдилъ Мицкевичъ за драматическими новинками, то видно изъ одного его петербургскаго письма 20 мая 1823 г. (Korr. IV, 104) къ Одынцу: «Бѣги къ книгопродавцу, ищи, покупай, хватай и читай *les soirées de Neuilly*—драматическія сцены—лучшее произведеніе нашей эпохи, могущее произвести или предвозвѣщающее новый родъ драматургіи, отличный отъ драмы греческой и отъ шекспировской». Эта книжка теперь забыта, она написана въ складчину гг. Dittmer и Caré. Мицкевичу особенно понравилась въ книжкѣ *Une conspiration sous l'Empire* (1812 г.) или Mallet. Она имѣетъ многія черты, общія съ явившимися вскорѣ потомъ Кромвелемъ и Эрнани Гюго и съ Генрихомъ III Дюма. Книжка прельстила Мицкевича крайнимъ индивидуализмомъ чувства, возможностью влагать въ драму сколько угодно лирики и эпоса, не стѣсняясь требованіями единства времени, мѣста и дѣйствія старой рутинѣ. Расположеніе въ драмѣ Мицкевича измѣняется во время его заграничныхъ странствованій, переходитъ съ исторической на философскую драму, на борьбу гордой и храброй единичной личности съ міровыми силами, которымъ онъ не поддается. Въ Римѣ передъ самымъ обращеніемъ Мицкевича въ римскій католицизмъ, онъ вчитывался въ Эсхилова Прометея, съ тѣмъ, чтобы выразить ту же идею согласно съ усло-

віями и требованіями, истекающими изъ христіанства. Начиная съ освобожденія своего изъ заключенія, Мицкевичъ сдѣлался замкнутымъ въ себѣ и мало дѣлящимся съ другими человѣкомъ. Его «Валенрода» не уразумѣли вполнѣ ни поляки, ни русскіе; всѣ восторгались сюжетомъ и формою, но не постигали вполнѣ, что это исторія его собственной души. Во время странствованій по Россіи онъ былъ постоянно развлекаемъ и не могъ сосредоточиться. Изъ отрывка «Петербургъ» мы узнаемъ, что онъ отводилъ здѣсь душу бесѣдами съ живописцемъ, предсѣдателемъ масонской ложи, мистикомъ Олешкевичемъ; Олешкевичъ познакомилъ его съ писаніями Сень - Маріена, Якова Бѣмэ и Сведенборга. Мицкевичъ дѣлилъ время и съ братьями-земляками, такими же, какъ онъ, скитальцами по Россіи, но это общеніе не ободряло его, а скорѣе приводило въ угнетенное состояніе.

Мицкевичъ изображаетъ ихъ въ отрывкѣ «Петербургъ», какъ у нихъ опускаются отъ отчаянія руки среди гранитовъ Петербурга при мысли о томъ, что человѣкъ этихъ камней не опрокинетъ. Между ними онъ только одинъ вперилъ свои взоры, точно два ножа, во дворецъ, и стоялъ предъ этимъ дворцомъ злобно усмѣхающій и мрачный, точно Самсонъ въ храмѣ у филистимлянъ. Онъ утверждаетъ, что былъ откровененъ съ друзьями русскими, но предъ властями притворялся (*pełzając milczkiem jak wąż ludzkim despotę*).

Послѣ его превращенія въ усерднаго католика даже близкіе къ нему люди русскіе перестали его понимать, напримѣръ, Хлюстинъ (Korr. III, 144), который писалъ къ нему: «Il faut nécessairement un soutien en ce monde... J'avais cru, que comme moi vous trouviez cet appui dans un amour imaginaire, capricieux, emollient, apte à ne séduire que les âmes faibles ou plutôt les hommes sans âme. Послѣ крушенія всѣхъ надеждъ, возлагавшихся на мятежъ, Мицкевичъ, рѣшившійся вести уже не матеріальную, но идейную войну за родину, созналъ, что онъ попалъ на настоящую дорогу, что онъ нашелъ сюжетъ для драмы и

реалистической (такъ какъ она взята была живьемъ изъ пережитого имъ лично) и прометеевской (такъ какъ она должна была передать и страданіе его, какъ патріота, среди погрома его націи, и вѣру его, что нація не погибнетъ). Сюжетомъ для драмы онъ не хотѣлъ избрать самую катастрофу 1831 г., въ которой онъ не принималъ никакого участія, за что не переставали его попрекать; но передъ мысленными его глазами предстало въ видѣ введенія, въ видѣ прелюдіи къ этой катастрофѣ, виленское заключеніе въ монастырѣ базилианъ въ 1823 г. Онъ вспомнилъ тотъ внутренній переломъ въ своей душѣ, вълѣдствіе котораго онъ переродился, пришелъ сначала въ опьяненіе отъ титаническихъ валенродовыхъ замысловъ, а потомъ послѣ цѣлаго ряда испытанныхъ бурей въ сердцѣ отъ столкновенія самыхъ противоположныхъ чувствъ, онъ затѣмъ нашелъ окончательное успокоеніе въ пристани твердой религіозной вѣры въ свѣтлое будущее. Лучшій новѣйшій жизнеописатель Мицкевича, Калленбахъ, справедливо замѣчаетъ, что римскій Мицкевичъ 1830 года переселился въ виленскую тюрьму филаретовъ 1823 года и внесъ въ историческую драму слѣдственнаго дѣла тонкій субъективно религіозный элементъ, чуждый этому виленскому дѣлу, т.-е. окрасилъ сужденіе Мицкевича о людяхъ и событіяхъ 1823 г. свѣтомъ того міросозерцанія, которое онъ выработалъ только въ Римѣ въ 1830 году. Таковъ общій характеръ произведенія. Вникнемъ теперь въ его подробности.

Идея «Дѣдовъ» не оставляла поэта до его смерти. Тотчасъ послѣ окончанія «Пана Тадеуша» (въ февралѣ 1834 г.) онъ писалъ Одынцу, что еще вернется къ «Дѣдамъ» и намѣренъ сдѣлать изъ нихъ единственное свое сочиненіе, достойное того, чтобы его читали (Корр. I, 99), Планъ былъ весьма широкъ. Мицкевичъ задался мыслью представить страданія націи послѣ раздѣловъ Польши и потуги націи къ возрожденію, заключеніе Косцюшки и

его товарищей въ Петропавловской крѣпости, быть ссыльными на каторгѣ и на поселеніи. Изъ общаго, никогда недождавшагося своего осуществленія цѣлаго выхваченъ только одинъ виленскій эпизодъ. Подобно Пушкину, обнаружившему великое мастерство только въ отдѣльныхъ драматическихъ сценахъ, но не въ цѣльной закругленной драмѣ, Мицкевичъ написалъ только прологъ и 9 явленій, образующихъ лишь одно дѣйствіе. Прологъ происходитъ въ кельѣ узника, который отмѣчаетъ на стѣнѣ, что изъ Густава онъ переродился въ Конрада. Составъ дѣйствующихъ лицъ — чисто романтическій, какъ и у Гёте: люди, безплотные духи и олицетворенія, ангелы, потѣшныя черти какъ у Данта, залѣзающіе въ людей и изъ нихъ изгоняемые. Между дѣйствующими лицами нѣтъ прочныхъ связей, основанныхъ на ихъ взаимодействіи въ драмѣ. Дѣйствіе переносится изъ Вильна въ Галицію (IV явленіе) для передачи разговора двухъ дѣвушекъ, изъ которыхъ одна, очевидно, Генріетта Анквичъ, а другая — ея подруга Лѣмпицкая, потомъ въ Варшаву для охарактеризованія бездушія и пошлости свѣтскихъ салоновъ варшавскихъ (VII явленіе). Это такъ называемые репуссуары, искусственные способы выдвинуть впередъ и рельефнѣе представить виленскія событія, которымъ придано значеніе, какого они въ дѣйствительности не имѣли, — значеніе момента, рѣшающаго судьбы цѣлой націи, между тѣмъ какъ они были только далекою подготовкою послѣдовавшаго затѣмъ. Новому своему созданію Мицкевичъ затруднился дать особое заглавіе; онъ его приурочилъ къ нѣкогда изданнымъ въ Вильнѣ «Дѣдамъ», но сшито оно съ этими «Дѣдами» такъ сказать бѣлою ниткою. Связь его съ «Дѣдами» сводится только къ тому, что въ обоихъ произведеніяхъ дѣйствуетъ Густавъ-Конрадъ, т.-е. самъ поэтъ подъ всевдонимомъ. Названо новое произведеніе 3-ею частью «Дѣдовъ», а не 5-ою (послѣ 4-й виленской) потому только, что въ 4-й части Густавъ представленъ какъ привидѣніе человѣка, уже съ физическою жизнью своею разставшагося, между тѣмъ какъ въ новой 3-ей

части, написанной въ Дрезденѣ, онъ еще живъ и только отравляется въ ссылку изъ тюрьмы. Въ послѣднемъ, IX явленіи 3-ей части «Дѣдовъ» воспроизведена опять, какъ и въ прежней 2-й части, ночь на кладбищѣ съ народомъ и съ гусяромъ, вызывающимъ умершихъ посредствомъ заклинаній.

Пастушка изъ 2-й части «Дѣдовъ» требуетъ, чтобы гусляръ вызвалъ душу ея любовника. Вызовъ не дѣйствуетъ. Гусляръ объявляетъ: «Женщина! твой любовникъ либо измѣнилъ вѣрѣ отцовъ, либо переименовался новымъ именемъ»... Въ эту минуту по пути отъ Гедиминова града (Вильно) десятки почтовыхъ кибитокъ устремляются на сѣверъ; на одной изъ нихъ женщина узнаетъ того, кого она искала. Для возсозданія виленскихъ явленій и происшествій Мицкевичъ чертилъ ихъ живо по личнымъ воспоминаніямъ, которыя онъ хранилъ необычайно свѣжими. Какъ Байрону, такъ и Мицкевичу свойственна была удивительная память переживаемыхъ эмоцій. Онъ пользовался еще брошюрою Лелевеля: «Новосильцевъ въ Вильнѣ». Реализмъ, съ которымъ Мицкевичъ воспроизводилъ свои виленскія впечатлѣнія, приводилъ въ удивленіе его товарищей филаретовъ. Все правдиво до мелочей, хотя приподнято и идеализировано и въ положительномъ, и въ отрицательномъ смыслѣ: сенаторъ-попечитель, ректоръ университета Пеликанъ, слѣдователи, Байковъ, услужливый докторъ, въ которомъ легко было узнать профессора Бэку, такъ какъ и въ дѣйствительности онъ былъ убитъ ударомъ грома въ своемъ кабинетѣ и точно такъ же громомъ пораженъ докторъ въ драмѣ. Введеніемъ въ составъ дѣйствовавшихъ лицъ профессора Бэку Мицкевичъ самымъ чувствительнымъ образомъ уязвилъ младшаго своего товарища по выходству, великаго польскаго поэта Юлія Словацкаго, который приходился пасынкомъ профессору Бэку. — По искусству сатирическаго бичеванія, по ѣдкости сарказма и силѣ негодованія виленскія сцены должны быть отнесены къ числу самыхъ удачныхъ, самыхъ сильныхъ писаній Мицкевича. Ночныя свиданія арестантовъ

въ монастырѣ, при содѣйствіи сторожей, и бесѣды ихъ переданы съ такимъ яркимъ очертаніемъ каждаго изъ нихъ, что запечатлѣваются неизгладимо въ памяти. Но какъ ни возвышаетъ Мицкевичъ своихъ товарищей по своимъ воспоминаціямъ, они не доростають до Конрада, не поспѣвають за нимъ, такъ что съ первыхъ же явленій всѣхъ ихъ подавляетъ Конрадъ своею могучею личностью, вмѣщающею въ своемъ умѣ все, что въ послѣднія 7 лѣтъ передумалъ и до чего въ своемъ прометеизмѣ дошелъ Мицкевичъ. Между товарищами онъ импровизаторъ, вѣщій человѣкъ, прорицатель, волнуемый самыми мрачными предчувствіями. Въ день, когда происходитъ сценическое дѣйствіе, онъ особенно мраченъ, онъ поетъ пѣснь о мести врагамъ съ Богомъ или и безъ Бога, онъ падаетъ въ обморокъ въ минуту, когда передъ приходомъ рунда арестанты разбѣжались по кельямъ. Придя въ себя, онъ произноситъ такъ называемую *импровизацію*, состоящую изъ 280 стиховъ исключительнаго достоинства, такого, что по сравненію со всѣмъ остальнымъ въ 3-й части «Дѣдовъ» «импровизація» сіяетъ какъ крупный алмазъ на перстнѣ, при блескѣ котораго погасаютъ всѣ другіе меньшей величины камешки. Это вулканическое изверженіе поэзіи образуетъ нѣчто закругленное, цѣльное. Оно вылилось за-разъ изъ души поэта, въ одну ночь, послѣдовавшую, вѣроятно, послѣ того дня, когда ему показалось, что надъ головою его разбилась чаша съ поэзіею, которая на него пролилась. Сосѣдъ Мицкевича по квартирѣ Орпишевскій, слышалъ за стѣною, какъ декламировалъ Мицкевичъ стихи, какъ потомъ послѣдовало паденіе чего-то на полъ, а потомъ тишина. Зашедши къ Мицкевичу на другой день, Одынецъ нашелъ Мицкевича полуодѣтымъ, лежащимъ на полу и очень блѣднымъ. Мицкевичъ рассказывалъ, что послѣ крайняго истощенія силъ на импровизацію онъ съ величайшимъ трудомъ превозмогъ себя и написалъ ее. Вся импровизація есть не что иное какъ обвинительная рѣчь противъ судьбы, а такъ какъ Мицкевичъ—не пантеистъ, подобно Гёте, и

не сомнѣвающійся скептикъ, подобно Байрону, а лично вѣрующій въ личнаго же Бога человѣкъ, то рѣчь Конрада есть обвиненіе самого Бога, есть отрицаніе его справедливости и доброты. Импровизацію сопоставляли съ «Фаустомъ» Гёте, съ «Манфредомъ» и «Каиномъ» Байрона, но ничего общаго между нею и этими произведеніями нѣтъ, кромѣ только одной формы философской драмы. Разбирая импровизацію по всему ея складу, можно въ ней доискаться нѣкоторыхъ не то заимствованій, не то простыхъ совпаденій съ одною, гораздо, слабѣйшею, *Meditation poétique* Ламартина подъ заглавіемъ «*Dieu*» или съ «*Моисеемъ*» де-Виньи. Единственное созданіе, съ которымъ слѣдовало бы сравнивать «импровизацію» Конрада по всему ея замыслу, по основной идеѣ—это гётевскій фрагментъ «Прометей», опубликованный впервые въ 1830 г.: слѣдовательно возможно, что онъ попалъ въ руки Мицкевичу въ Дрезденѣ въ 1832 году. Въ обоихъ произведеніяхъ дышетъ гордое сознаніе всемогущества мысли, творчества и умственной власти надъ людьми, но разница между поэтами та, что гётевскій «Прометей»—только художникъ, отстаивающій свое творчество и прямо отказывающій Богу въ своемъ повиновеніи и послушаніи: *Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ...Ein Geschlecht, das mir gleich sei zu leiden, zu weinen, zu geniessen und zu freuen sich Und dein nicht zu achten—Wie ich!*—Прометей удовлетворяетъ вполне его творчество. Ему все равно, господствуетъ ли добро въ мірѣ внѣшнемъ, подчиненномъ богамъ. Онъ пренебрегаетъ Зевсомъ и не хочетъ ему поклоняться возражая: *Hast du die Schmerzen gelindert jedes Beladenen? Hast du die Thränen gestillt jedes Geäntigten?..*

Конрадъ обращается къ Богу тоже во всеоружіи мысли, которая раскрыла тайны вселенной, но онъ обладаетъ еще несравненно болѣе дѣйствительнымъ орудіемъ—властью чувства, самопитающагося какъ вулканъ и дымящагося только словами. «Ту власть я не взялъ,—говоритъ Конрадъ,—съ райскаго дерева, изъ книгъ или отъ разрѣ-

шенія задачъ. Я родился творцомъ». Рѣзкая особенность Конрада, совсѣмъ отдѣляющая его отъ Прометея, та, что онъ не представитель какого-то неопредѣленнаго, отвлеченнаго полу-миѳическаго человѣчества, а живое олицетвореніе извѣстной значительной страдающей группы людей: «Я воплощенъ въ отечество, я поглотилъ его душу. Мое имя—милліонъ, потому что за милліоны люблю я и выношу мученія. Я и отечество, — все одно». Затѣмъ идутъ постепенно усиливающіяся моленія: «Если правда, что ты любишь, если чувствующее сердце было въ числѣ звѣрей, спасенныхъ тобою въ ковчегѣ отъ потопа, если на милліонъ людей вопіющихъ: спаси насъ!—ты не глядишь, какъ на выводъ уравненія, если любовь на что-нибудь годится и не есть твоя погрѣшность при расчетѣ»... За моленіями наступаютъ угрозы: «Чувство сожжетъ, чего мысль не сломить. То чувство я сожму, начину имъ желѣзное орудіе моей воли и выстрѣлю въ Твою природу. Если не сокрушу ее въ дребезги, то потрясу все твое царство, потому что провозглашу по всѣмъ областямъ созданія то, что изъ поколѣній перейдетъ потомъ въ поколѣнія, что ты не отецъ міровъ, а только деспотъ». Последняго слова не договорилъ узникъ, павшій замертво на земь. Слово это досказано за него увивающимися кругомъ его чертами. Въ этомъ бунтованіи, доведенномъ до богохуленія Конрада слышится такое страшное голоданіе, такое алканіе добра, такая потребность вѣрить въ Божию доброту, въ царствіе Божіе на землѣ, что предвидится немянуемое прощеніе хулителя за припадокъ бѣшенства отъ невыносимой боли, отъ избытка любви къ братьямъ. На физическомъ изнеможеніи главнаго дѣйствующаго лица въ моментъ наисильнѣйшаго разгара его страсти драма не можетъ обрываться. Она по необходимости требуетъ развязки, которая, по намѣченному еще Аристотелемъ (въ его поэтикѣ), не превзойденному до сихъ поръ правилу, должна состоять въ *katharsis*, въ очищеніи и успокоеніи чувствъ ужаса и соболѣзнованія, вызванныхъ дѣйствіемъ разыгравшихся страстей. Неиз-

вѣстно, имѣлъ ли Мицкевичъ въ виду развязку, когда въ полусознательномъ вдохновенномъ состояніи однимъ залпомъ въ одну ночь сочинилъ импровизацію, но развязка эта имѣется въ третьей части «Дѣдовъ»: она—чисто мистическая. Она дана посредствомъ введенія въ произведеніе новаго дѣйствующаго лица, не реальнаго, а вымышленнаго, а именно, монаха ксендза Петра, который изгоняетъ изъ Конрада овладѣвшаго имъ бѣса и успокоиваетъ его. Остановимся на этой, весьма мало удовлетворительной для насъ развязкѣ.

Мицкевичъ передавалъ потомъ Одынцу, что импровизація Конрада была послѣднимъ поворотнымъ его пунктомъ въ байроновскомъ направленіи. То этическое чутье, которое никогда не покидало Мицкевича, заставляло его, когда онъ увлекался, осуждать себя за увлеченіе и въ 4-ой части «Дѣдовъ» въ лицѣ Густава и въ «Валенродѣ». Оно же понудило его противопоставить доходящему до богохуленія безумцу его же двойника — монаха Петра, то-есть того же Мицкевича, но уже вѣрующаго, какимъ онъ сталъ только въ Римѣ и который удивилъ тѣмъ своихъ русскихъ друзей въ родѣ Семена Хлюстина. Введеніе ксендза Петра изображаетъ состояніе души поэта, когда возстановилось въ ней равновѣсіе ея силъ, посредствомъ поверженія себя и всего олицетворяемаго ею народа передъ божествомъ не отвлеченнымъ, не предугадываемымъ только, то-есть метафизическимъ, но живымъ, личнымъ, какимъ его изображаетъ церковь, въ которую вошелъ Мицкевичъ въ этомъ періодѣ жизни и въ общеніи съ которою онъ чувствовалъ, что силы его и вліяніе удвоились. Но и послѣ того, какъ Мицкевичъ смирилъ свою гордыню и сдѣлался страстно вѣрующимъ въ личнаго Бога и въ безсмертіе души, онъ все-таки остался самъ собою, въ немъ сохранилось еще много той могучей самостоятельности, которая воодушевляла нѣкогда пророковъ, а порою и ересіарховъ, которая заставляла ихъ доискиваться пря-

мого общенія съ Богомъ помимо синагоги или церкви. Всю жизнь свою онъ сознавалъ то, о чемъ писалъ потомъ въ 1843 г. къ поэту Гоштинскому (Korresp. I, 200): «Мы не вѣтвь церкви, мы вырастаемъ изъ пня ея верхъ тѣмъ же ея древеснымъ мозгомъ; мы не рукавъ и не заливъ, а самое среднее русло жизни церкви». Никогда Мицкевичъ не могъ бы ограничиться простымъ фаталистическимъ преклоненіемъ передъ волею божества. Требовалось ободрить и укрѣпить себя и другихъ послѣ исчезновенія всѣхъ, повидимому, раціональныхъ поводовъ къ надеждамъ; требовалось заставить себя и другихъ *sperare contra spem*. Единственнымъ пристанищемъ для людей, надѣющихся во что бы то ни стало, бываетъ не предвидѣніе, а прорицательство, вѣра въ чудесное, мистицизмъ. Мицкевичъ чувствовалъ въ себѣ призваніе къ такому предвосхищенію будущаго; не даромъ онъ еще въ 1829 г. предсказывалъ паденіе Бурбоновъ и возвращеніе Наполеоновской династіи во Франціи. Теперь это расположеніе къ пророчеству выразилось въ формѣ польскаго *мессіанизма*, теоріи, составляющей слабѣйшую и уже вполнѣ отжившую часть его міросозерцанія, но которая увлекала всѣхъ его современниковъ, пришедшихъ къ этому же мессіанизму помимо всякаго его внушенія, напримѣръ Сигизмунда Красинскаго, Юлія Словацкаго и большей части интеллигенціи польскаго выходства. Чтобы постигнуть успѣхъ этой идеи, теперь безповоротно покинутой, слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ то время была въ полномъ цвѣтѣ односторонняя теорія національностей, претендовавшая на подчиненіе націонализму идеи государственности; предполагалось было, что всякая національность имѣетъ безусловное право на политическую самобытность; разсуждалось было пресерьезнѣйшимъ образомъ не о способности той или другой націи разрѣшать извѣстныя задачи, но о призваніяхъ націй, исходящихъ свыше отъ Провидѣнія, объ идеалахъ націй, для нея предначертанныхъ, о возможности паденія націй не по ихъ собственной винѣ, а только вслѣдствіе того, что эти предначертанные идеалы оказались неосуществимыми

въ единственно мыслимой по тогдашнимъ представленіямъ формѣ самостоятельнаго политическаго бытія, хотя бы то для разума казалось невозможнымъ. Въ видѣніи ксендза Петра есть много загадочнаго, чего и самъ Мицкевичъ не могъ объяснить, напримѣръ, кто будущій спаситель обозначаемый кабалистически числомъ 44. Сама идея мессіанизма не есть изобрѣтеніе Мицкевича. Онъ ее заимствовалъ отъ упомянутаго въ настоящихъ чтеніяхъ варшавскаго профессора Казимира Бродзинскаго, который 3-го мая 1831 г. въ послѣднемъ засѣданіи общества любителей наукъ въ Варшавѣ въ домѣ Сташица (гдѣ нынѣ 1-я гимназія), читая «о народности поляковъ», уподоблялъ самому Христу польскій народъ, если бы ему пришлось пострадать ради свободы Европы и быть увѣнчану терновымъ вѣнцомъ. Увлекаемый идеею польскаго мессіанизма, Мицкевичъ сдѣлался сначала публицистомъ и издалъ написанныя имъ уже въ Парижѣ «Книги польскаго народа и паломничества» (1832 г. декабрь), вдохновившія Ламеннэ и заставившія его написать «Paroles d'un croyant». Обѣ книги осуждены были Ватиканомъ и запрещены. Какъ публицистъ, Мицкевичъ оказался ненадежнымъ наставникомъ. Начертанный имъ трактатъ морали для выходца проникнуть фальшивымъ самомнѣніемъ, что поляки народъ избранный, что этотъ народъ—носитель единственно христіанской морали, между тѣмъ какъ другіе народы пребываютъ въ морали языческой. Не довольствуясь ролью наставника, Мицкевичъ размѣнялъ себя, такъ сказать, на мѣдные деньги и сталъ писать передовыя газетныя статьи для того шумнаго политическаго муравейника, который представляло собою польское выходство въ Парижѣ послѣ 1831 года. Въ составъ этой смѣшанной толпы входили остатки сейма, государственные люди, даровитѣйшіе поэты, болѣе блистательные, нежели всѣ, какихъ когда бы то не было имѣлъ польскій народъ, но также и большое количество самой негодной сволочи, съ которою нельзя было, не роняя себя, даже и состязаться на почвѣ повременной прессы. Польское выходство во Франціи представляло со-

бою всю націю въ мініатюрѣ. Въ немъ имѣлось столько же крошечныхъ партій, сколько въ націи большихъ; выходцы разныхъ партій отъ нечего дѣлать поѣдали другъ друга, закидывали себя грязью, а кто былъ нахальнѣе и громче кричалъ, тотъ получалъ перевѣсъ. Всякая партія выдавала себя за представительство родины и пыталась, извнѣ дѣйствуя, родину эту возмущать, присылая ей своихъ эмиссаровъ. Наиболѣе сторонниковъ имѣла крайняя демократическая партія, ставящая себѣ программу поднятъ крестьянъ и истребить помѣщиковъ, то-есть вырѣзать прежнюю шляхту. Выходцы-поляки принимали участіе во всякой европейской суматохѣ, когда она могла, по ихъ мнѣнію, повести къ обще-европейскому перевороту, и снискали для польской націи репутацію народа безпкойнаго, склоннаго къ бунтованію и революціямъ. Я обхожу молчаніемъ публицистическую дѣятельность Мицкевича, по которой можетъ производить раскопки историкъ, но которая ничего не прибавляетъ къ ходу эволюціи его художественнаго творчества, то-есть къ вопросу о томъ, что отъ Мицкевича осталось вѣковѣчно безсмертнаго въ области поэзіи. Публицистическая дѣятельность Мицкевича имѣетъ только ту связь съ задачею, которую я себѣ поставилъ, что завязшій въ эмиграціонной суетлохѣ Мицкевичъ, признававшійся, что онъ похожъ теперь на французскаго солдата, вернушагося изъ Россіи изъ похода 1812 года деморализованнымъ, оборваннымъ, почти безъ сапогъ, Мицкевичъ, нѣсколько опустившійся и сдѣлавшійся изъ свѣтскаго даже неряшливымъ человѣкомъ, лишившійся средствъ, обезпечивающихъ его матеріальное существованіе, такъ какъ по разорваніи связей его съ Россіею произведенія его сдѣлались запретными и не расходились въ продажѣ на родинѣ, почувствовалъ необходимость бѣжать отъ толкотни, отъ проклятій, перебранокъ и лжи, уединялся, удалялся мысленно въ край, «гдѣ легче забыть свою тоску, гдѣ есть хотя бы малая отрада поляку...»—въ край юныхъ лѣтъ, гдѣ «рѣдко плакалъ я,—писалъ онъ,—и никогда не скрежеталъ зубами»..

Плодомъ этого погруженія своего въ юношескія воспоминанія былъ „Панъ Тадеушъ“, капитальнѣйшее и наиболѣе нынѣ популярное изъ всѣхъ произведеній Мицкевича, на которомъ и кончается собственно его поэтическое творчество, продолжавшееся съ небольшимъ 15 лѣтъ (1819—1834) и прекратившееся на 35-мъ году его возраста. Оно короче пушкинскаго, такъ какъ Пушкинъ, который былъ на 5 мѣсяцевъ моложе Мицкевича, пораженъ былъ въ 1837 году пулею Дантеса при полномъ еще дѣйствиіи своего творческаго дарованія.

Поэма „Панъ Тадеушъ“ есть возвратъ поэта къ первому его началу, къ воспоминаніямъ самой ранней молодости. Хотя она занята рассказомъ о обыденнѣйшихъ предметахъ и событіяхъ, но писана стихами. При появленіи своемъ она произвела престранное впечатлѣніе. Она не понравилась; она отвлекала поляковъ - выходцевъ отъ работъ, которыя они считали насущнѣйшею своею задачею, отъ политики, отъ животрепещущихъ вопросовъ настоящаго. Чрезвычайно простая, лишенная всякой напыщенности, она еще менѣе сооувѣтствовала ожиданіямъ польской публики, нежели однородная съ нею повѣсть въ стихахъ „Евгеній Онѣгинъ“, — ожиданіямъ русской публики отъ Пушкина. Постигли высокую цѣнность произведенія только отборныя натуры. „Панъ Тадеушъ“ обезоружилъ Юлія Словацкаго, лично оскорбленнаго Мицкевичемъ помѣщеніемъ вотчина его Бэку въ 3-ей части „Дѣдовъ“ въ весьма некрасивомъ видѣ. Словацкій въ письмѣ къ матери выражаетъ слѣдующее: „Природа вся въ поэмѣ живетъ и чувствуетъ, тонъ какъ будто бы шутливый, но въ самыхъ веселыхъ мѣстахъ за сердце хватаетъ грусть“. Сигизмундъ Красинскій сначала отнесся къ поэмѣ слегка, но въ письмѣ 1840 г. онъ восторгается безъ оговорокъ поэмою, выражается, что она безподобна, и это убѣжденіе раздѣляетъ безъ изъятія вся современная польская критика, считающая „Пана Тадеуша“ совершеннѣйшимъ произведеніемъ

Мицкевича. Приведу нѣсколько строкъ изъ отзыва Кра-
синскаго: „Ни одинъ европейскій народъ не имѣетъ нынѣ
такой эпопеи. Донъ-Кихоть слился какъ будто бы съ
Илиадою. Поэтъ стоитъ на перешейкѣ между исчезающимъ
поколѣніемъ людей и нами. Это и есть точка зрѣнія эпо-
пеическая. Мертвыхъ онъ увѣковѣчилъ, они не умрутъ.
Шесть лѣтъ тому назадъ я не постигъ значенія поэмы,
сегодня бью челомъ и говорю: это эпопея. Больше сказать
нельзя и не надо“. „Панъ Тадеушъ“ можетъ служить
неопровержимымъ доказательствомъ многосторонности и
богатства дарованія Мицкевича, способности его послѣ
сильнѣйшихъ порывовъ страсти вернуть себѣ самооблада-
ніе, возстановить потерянное равновѣсіе и полное психи-
ческое здоровье, и пропѣть пѣсню не печальную, а такую,
въ которой его самого какъ будто бы и совсѣмъ нѣтъ,
а есть только природа и люди, написанные такъ живо,
что читатель испытываетъ полную иллюзію реальности,
хотя это реальное безъ всякаго намѣренія его творца
вышло красивѣе бывшаго въ дѣйствительности, потому
что таково уже свойство поэтического дарованія, что оно
идеализируетъ и облагораживаетъ все, къ чему только
прикоснется

Интересно знать, какъ слагалось и выработывалось
произведение ¹⁾. Оно писалось весьма быстро, несмотря на
постоянныя отвлеченія отъ этого занятія и большіе пере-
рывы въ работѣ, И начать былъ и конченъ „Панъ Та-
деушъ“ въ Парижѣ. Въ декабрѣ 1832 г. Мицкевичъ со-
общаетъ Одынцу: «пишу шляхетскую поэму въ родѣ Гер-
мана и Доротеи, написалъ уже тысячу стиховъ». Одно-
временно приходилось автору писать журнальныя статьи,
совершить по заказу ради денегъ переводъ „Гяура“ лорда
Байрона. Въ апрѣлѣ 1833 г. Мицкевичъ вернулся къ

¹⁾ Хорошая оцѣнка «Пана Тадеуша» сдѣлана Гостомскимъ въ книгѣ
«Arcydzieło poezyi polskiej. Pan Tadeusz». Kraków, 1894. 286 стр.

своему любимому дѣтищу — сельской поэмѣ. „Когда я ее пишу, — отмѣтилъ поэтъ, — мнѣ кажется, что я сижу въ Литвѣ. Какъ только имѣю свободную минуту — поэтизирую“. Въ началѣ мая 1833 г. уже были готовы четыре книги, но пришлось все бросить и отправиться спасать сильно больного чахоткою друга Мицкевича, даровитаго поэта и философа гегеліанской школы, Гарчинскаго. Мицкевичъ, обѣщавшій Гарчинскому издать его поэму „Wacław“, ѣдетъ къ нему въ Бэ (Вех) близъ Женевы, исполняетъ всѣ обязанности сидѣлки при больномъ и перевозить его въ Авиньонъ, гдѣ Гарчинскій скончался въ сентябрѣ 1833 г. Послѣ этой утраты Мицкевичъ чувствуетъ себя совѣмъ истощеннымъ, хвораеть, но съ октября возвращается въ Парижъ. опять къ начатой работѣ, при чемъ все уже написанное подверглось дополненію и измѣненію съ существенною передѣлкою самаго плана произведенія. Первоначально поэма была исключительно сельская, съ двумя главными элементами, которыхъ сочетаніе составляло весь сюжетъ: любовь и женитьбу молодца не особенно умнаго, но весьма добраго и честнаго «Тадеуша» Соплицы на деревенской паненкѣ Зосѣ. Онъ — Соплица, она — Горешко, между ихъ родами была старинная непріязнь, споръ давнишній о землѣ и ея владѣніи, въ которомъ принимаетъ дѣятельное участіе мелкопомѣстная и безпомѣстная шляхта, гнѣздящаяся въ такъ-называемыхъ шляхетскихъ поселкахъ или *застѣнкахъ*. Слабымъ мѣстомъ и капитальнымъ недостаткомъ государственнаго быта Польши было безсиліе власти и суда, трудность добиться приговора, а затѣмъ еще большая трудность исполнить приговоръ, осуществить признанное судомъ право. Истецъ, желающій исполнить приговоръ, прибѣгалъ иногда къ содѣйствію братьи-шляхты, они ополчались и помогали осуществить право силою, то-есть дѣлали такъ-называемые нашествія или *затѣды*. Вслѣдствіе такого выведеннаго въ поэмѣ обычнаго самоуправства, представляющагося вполне незаконнымъ при господствѣ русскихъ государственныхъ порядковъ, сама поэма имѣетъ двойное наименованіе:

«Панъ Тадеушъ или послѣдній заѣздъ въ Литвѣ». Тяжба двухъ спорящихъ сторонъ, осложненная заѣздомъ, должна была кончиться бракосочетаніемъ Тадеуша и Зоси, то-есть мировою сдѣлкою. Предполагалось всего 6 пѣсень, потомъ много-много 9.

Что касается до времени дѣйствія, то сначала предположено отнести дѣйствіе къ годамъ нѣсколько позднѣйшимъ, нежели нашествіе французовъ. По черновымъ первоначальнымъ наброскамъ, Тадеушъ въ 1 книгѣ, являясь впервые въ домъ своего дяди-судьи, увидѣлъ на стѣнѣ рисунокъ, изображающій смерть князя Іосифа Понятовскаго, утонувшаго, какъ извѣстно, въ рѣкѣ Эльстерѣ въ сраженіи подъ Лейпцигомъ въ 1813 году. Во время 4-мѣсячнаго перерыва работы при ухаживаніи за Гарчинскимъ, у Мицкевича появилась мысль связать свой сельскій разсказъ съ міровыми событіями наполеоновскаго похода на Россію, разумѣется, пристегнувъ его къ красивому началу этого похода, а не къ концу его, то-есть со всѣми ужасами погрома и отступленія. Веселый, исполненный самыхъ свѣтлыхъ ожиданій походъ долженъ былъ составлять развязку дѣйствія. Ему предшествуетъ появленіе, въ первой книгѣ или пѣснѣ эпоса, главнаго, по измѣненному замыслу, дѣйствующаго въ немъ лица—французскаго политическаго агента или эмиссара, бернардинскаго монаха Робака. Подъ именемъ Робака скрывается нѣкто другой—преступникъ, совершившій смертоубійство и затѣмъ исчезнувшій, родной отецъ Тадеуша и братъ судьи, владѣльца имѣнія Сопицова, воспитывавшаго Тадеуша. Романтизму вообще свойственъ былъ пріемъ выводить дѣйствующихъ лицъ подъ масками, и потомъ ихъ разоблачать. Этимъ пріемомъ охотно пользовался Мицкевичъ. Его Гражина наряжалась въ доспѣхи Литавора, Альфъ у него превращается въ Валенрода; подъ облаченіемъ монаха Робака дѣйствуетъ Яцекъ (или Акиноій) Сопица, нѣкогда важное лицо, вождь и заправила мелкой шляхты, правая рука стольника Горешки, бойкій, ловкій, красивый, влюбившійся въ дочь стольника Еву.

Гордый стольникъ ласкалъ Яцка, угощаль его, пользуясь при его посредствѣ услугами мелкошляхетской партіи, но далъ ему язвительнымъ образомъ почувствовать, что онъ неподходящій женихъ для дочери; онъ выдалъ на глазахъ Яцка дочь за воеводу и не показалъ виду, что онъ знаетъ о взаимной склонности ея и Соплицы.

Яцекъ Соплица былъ тоже гордъ и не унижился до того, чтобы просить стольника. Въ пику стольнику, махнувъ рукою, онъ тоже женился на первой встрѣчной убогой дѣвушкѣ. Съ горя онъ запилъ, опустился, разстроился въ своихъ дѣлахъ, утратилъ популярность. Въ минуту, когда при послѣднемъ раздѣлѣ Польши русскія войска осадили замокъ стольника, Яцекъ, случайно бывшій тутъ, но безъ всякаго сговора съ русскими, въ бѣшеную вспышку злобы повалилъ замертво стольника выстрѣломъ изъ ружья. Жена Яцка умерла, оставивъ одного сына Тадеуша. Каясь за грѣхи, Яцекъ ушелъ въ монахи и обрекъ себя на службу отечеству въ званіи тайнаго политическаго агента. Воевода съ женою увезены въ Сибирь. Послѣ нихъ осталась только дочь, воспитанная въ домѣ судьи Соплицы. Такова новая видоизмѣненная канва повѣствованія. Новыя части приведены въ связь съ прежними и объединены посредствомъ широкихъ вставокъ, вклеенныхъ въ первыя книги поэмы. Расширеніе плана увеличило значительно объемъ произведенія. Вышло цѣлыхъ 12 книгъ или пѣсней, всего въ поэмѣ 10.866 стиховъ. Мицкевичъ сообщалъ, что если бы онъ приступалъ къ писанію поэмы съ полнымъ позднѣйшимъ ея содержаніемъ и съ подкладкою подъ нее міровыхъ событій наполеоновскихъ войнъ, то онъ бы повысилъ ея слогъ на полъ-тона или на цѣлый тонъ и сдѣлалъ бы произведеніе болѣе важнымъ и патетическимъ, какъ того и требовали нѣкоторые друзья, напримѣръ, Выбицкій. Я полагаю, что поэма не выиграла бы отъ того, а потеряла бы. Она подкупаетъ читателя прежде всего своею гомеровскою простотою. Введеніе Робака нарушило строгую объективность разсказа и ввело въ эпосъ значительную долю бурнаго, субъективнаго, чисто

личнаго элемента. Яцекъ Соплица есть собственно олицетвореніе самого Адама Мицкевича. Въ стольникѣ онъ изобразилъ графа Анквича, который самъ себя въ этомъ портретѣ узналъ. Мицкевичъ послалъ Генріеттѣ Анквичъ экземпляръ «Пана Тадеуша» съ очерченными карандашемъ относящимися къ ней стихами. Робакъ увлекся и напуталъ, подстрекая сермяжныхъ околичныхъ шляхтичей готовиться къ приему и чествованію французовъ, къ народному ополченію, къ выметанію сора изъ избы. Онъ преждевременно расшевелилъ эту толпу, унаслѣдовавшую отъ предковъ анархическіе инстинкты, наклонности къ домашнимъ междоусобіямъ, преданія такъ-называемыхъ *zawodz*, то-есть самоуправнаго вмѣшательства въ чужія тяжбы. По смерти стольника Горешки и ссылки воеводы и его жены, замокъ стольника опустѣлъ, частью его владѣній воспользовались Соплицы, въ числѣ которыхъ дядя Тадеуша, судья, сдѣлался знатнымъ лицомъ въ цѣлой мѣстности. Остальную часть Горешковскихъ владѣній унаслѣдовалъ потомокъ Горешковъ по женскому колѣну, молодой графъ, большой чудакъ, англоманъ и дилеттантъ, художникъ романтическаго пошиба. Графъ и судья ладили другъ съ другомъ и уживались, но ихъ окружали меньшіе люди, ихъ домашніе слуги, ревнители чести своихъ господъ и ихъ распрей, науськивающіе ихъ на безпощадную взаимную вражду. Съ одной стороны, преданъ судѣй возный, то-есть, по-нашему, судебный приставъ, Протазій, олицетворяющій старопольскую ябеду, съ другой— такой же ревнитель интересовъ Горешковъ, ключникъ Гервазій, отчаянный рубака. Графъ повздорилъ съ судьей изъ-за пользованія остатками нежилого замка Горешковъ. Гервазій подстрекнулъ его къ заѣзду на Соплицово при содѣйствіи околичной шляхты для возстановленія владѣнія замкомъ. Заѣздъ совершается безъ кровопролитія, но съ опустошеніемъ кухни, скотнаго двора и виннаго погреба судьи. Наѣвшаяся и напившаяся шляхта расположилась ночевать на мѣстѣ побѣды въ Соплицовѣ, когда туда же подоспѣло охраняющее законный порядокъ русское войско,

которое перевязало сонных побѣдителей, безъ всякаго съ ихъ стороны сопротивленія. Пойманнымъ обезоруженнымъ шляхтичамъ грозили суровыя уголовныя наказанія. На выручку имъ появляется Робакъ, какъ квесторъ, собирающій подаянія на монастырь съ возами, въ которыхъ скрыто оружіе и съ сопровождающею возы дружиною завербованныхъ въ другихъ застѣнкахъ сѣряковъ-шляхтичей. И сторонники Соплицовъ, и освобожденные отъ узъ сторонники графа дружными силами устремляются на баталіонъ русскихъ егерей, пришедшій умирять заѣздъ. Происходитъ сраженіе, кончающееся разбитіемъ русскихъ солдатъ, при чемъ, однако, Робакъ смертельно раненъ русскою пулею въ грудь. Исповѣдь его и примиреніе передъ смертью съ ключникомъ Гервасіемъ составляютъ эпизодъ, имѣющій среди эпоса сильно драматическій характеръ. Провинившіеся въ стычкѣ съ русскими утекаютъ за Нѣманъ, къ Наполеону. Въ двухъ послѣднихъ книгахъ поэмы они уже опять въ Соплицовѣ, какъ польскіе легіонисты. Произведенный въ офицеры Тадеушъ женится на Зосѣ. Графъ своимъ иждивеніемъ поставилъ цѣлый полкъ. На радостяхъ молодая чета, Тадеушъ и Зося, освобождаютъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ. Конечъ поэмы такой: въ Соплицовѣ пиръ горою, пируютъ польскіе богатыри. На могилу Яцка возложенъ пожалованный ему Наполеономъ знакъ почетнаго легіона. Корчмарь еврей Янкель, онъ же искусный музыкантъ, улаживаетъ присутствующихъ дивнымъ концертомъ на національные мотивы послѣднихъ событій польской исторіи. За музыкаю слѣдуютъ танцы. Изображенъ польскій танецъ или полонезъ, какимъ онъ бывалъ въ старину. На небесахъ безоблачно, кругомъ теплый лѣтній вечеръ, полная иллюзія казавшагося невозмутимымъ блаженства, за которою должно было послѣдовать жестокое пробужденіе, неприглядная дѣйствительность, продолжительная полярная зима.

Въ сентябрѣ 1833 г. Мицкевичъ вернулся въ Парижъ усталый и больной. Въ сентябрѣ онъ принялся

опять за «Пана Тадеуша», заперся на дому, видался съ одними только самыми близкими людьми, которымъ читалъ стихи по мѣрѣ того, какъ они отливались имъ на бумагѣ, а писались они съ необычайною быстротою. По словамъ Богдана Залѣскаго, въ половинѣ февраля 1834 года когда эти друзья были въ сборѣ и тихо бесѣдовали въ сумеркахъ, въ другой комнатѣ при горящемъ каминѣ Мицкевичъ шибко махалъ перомъ по бумагѣ, затѣмъ онъ всталъ весь сіяющій и сказалъ: «слава Богу, я подписалъ подъ Тадеушемъ великое слово *finis*». Мы воскликнули: *vivat* и бросились его цѣловать; на другой день мы отпраздновали это происшествіе скромнымъ обѣдомъ въ Пале-Роялѣ. Самъ Мицкевичъ давалъ такую оцѣнку своему труду: «кончилъ вчера, вышло 12 большихъ пѣсней; много посредственнаго, много также и хорошаго. Наилучшее чтó есть—это картинки съ природы края и изъ нашихъ домашнихъ обычаевъ».

Мнѣ приходится разобрать, какимъ образомъ случилось, что поэма, написанная на канвѣ не общечеловѣческой, а исключительно національной, мало доступной иностранцамъ и совсѣмъ не похожей на всѣ прежнія великія произведенія поэта, кромѣ одной только второразрядной повѣсти «Гражины», стала теперь такою популярною, что она переводится на иностранные языки и приходится по вкусу даже русской публикѣ, которая начинаетъ ставить ее выше всѣхъ другихъ произведеній поэта, выше даже столь распространеннаго въ Россіи «Валенрода».

Эпосъ въ наше время сдѣлался величайшею рѣдкостью. Онъ всегда располагаетъ такое живое и наглядное воспроизведеніе исчезающей или исчезнувшей своеобразно-культурной старины, которая была поэтичнѣе и ближе къ сердцу, нежели одолѣвшая ее и водворившая ее потомъ болѣе послѣдовательная дѣйствительность. Трудно себѣ представить болѣе подвижное и живописное зрѣлище, нежели то, какое представляла кончающаяся Рѣчь Посполитая, павшая отъ того, что она сильно отстала отъ слагавшихся нововременныхъ государствъ и не выработала

ни власти, ни порядка, какъ основъ государственнаго быта. Послѣ установленія единоначалія и дисциплины, которыми мы обязаны нововременному бюрократическо-полицейскому государственному устройству, поэтическимъ сюжетомъ становится борьба съ государствомъ человѣческой личности, добивающейся большаго простора, большей свободы; но эта борьба располагаетъ только средствами лирики, сатиры, драмы, а не эпоса. Эпосъ обуславливается своеобразиемъ жизни общественной, въ которой движутся свободно личности, не выдѣляясь особенно изъ массъ, дѣйствуя и поступая не по личному произволу недѣлимыхъ, а по старинѣ, по царящему надъ массами преданію. Мицкевичъ по своему происхожденію принадлежалъ весь дворянской польской культурѣ, но уже находящейся въ той эпохѣ, когда въ нѣдрахъ этой культуры произошло раздвоеніе началъ, когда общество приступило къ обузданію анархическихъ привычекъ, въ ломкѣ кастовыхъ перегородокъ, къ уравниенію состояній и ко взятію крестьянъ подъ охрану закона. Драматическіе элементы внутренней борьбы въ быту послѣднихъ лѣтъ Польши Мицкевичъ внесъ въ свой эпосъ. Онъ былъ въ одно и то же время и народникъ, и современный государственникъ, но онъ воображалъ (въ чемъ и ошибался), что самъ народъ сладитъ съ поставленною ему задачею преобразиться по собственному почину изъ средневѣковой безурядицы въ нововременное государство. Это сочетаніе въ Мицкевичѣ націонализма и гуманизма, любви къ старинѣ и нововременныхъ потребностей и стремленій сообщаетъ «Пану Тадеушу» такую національно-польскую окраску, какой мы не встрѣчаемъ ни у одного изъ эпиковъ XIX вѣка. Гёте былъ эпикъ, но отличался почти полною атрофіею національнаго чувства. Этой національной струны не слышать совсѣмъ въ «Германѣ и Доротѣ», въ картинкѣ чисто-филистерскаго буржуазнаго быта и счастья. Ея нѣтъ и у Байрона, который весь свой вѣкъ боролся съ преизбыточнымъ великобританскимъ націонализмомъ. Никому изъ европейскихъ поэтовъ, за исключеніемъ од-

нихъ итальянцевъ, не приходилось въ XIX вѣкѣ страдать и бороться за свою націю, обрѣтающуюся въ смертной опасности. Мицкевичъ не имѣлъ вовсе философскаго ума, онъ былъ плохой теоретикъ, даже плохой судья общественныхъ учрежденій бывшей Польши. Въ своей «Книгѣ польскаго народа и паломничества» и въ своихъ парижскихъ лекціяхъ онъ идеализировалъ не въ мѣру древнепольскія учрежденія; онъ находитъ достоинства даже въ избраніи королей и въ *liberum veto*. Мы не можемъ раздѣлять съ нимъ даже и тѣхъ воззрѣній, которыя онъ влагаетъ въ уста войскому въ послѣдней книгѣ поэмы и которыя для большей точности я перевожу прозою: «вы помните, господа молодежь, что среди нашей бурной и полновластной, вооруженной шляхты не надо было полиціи, ибо люди вѣровали и уважали законы. Свобода была при порядкѣ, а слава при достаткѣ. Въ иныхъ краяхъ власть держитъ разныхъ полиціантовъ, драбантовъ, жандармовъ, констаблей, но если одинъ лишь мечъ охраняетъ безопасность, то не вѣрю я, чтобы въ этихъ краяхъ была свобода!» Это—сужденіе теоретика. Но въ Мицкевичѣ художникъ не всегда ладилъ съ теоретикомъ и съ нравоучителемъ. Въ душѣ его происходили такія же столкновенія между требованіями этики и эстетики, какія и въ Гоголѣ или въ графѣ Львѣ Толстомъ. Какъ ни былъ крѣпко убѣжденъ Мицкевичъ, что вся сила общества не въ учрежденіяхъ и порядкахъ, а въ нравахъ, но картины, которыя писалъ онъ, какъ художникъ, вели къ противоположному заключенію. Какъ художникъ, онъ необычайно правдивъ и изумительно безпристрастенъ. Подъ его кистью выступаютъ рельефно наружу всѣ пороки и изъяны устройства своеобразной польской націи. Шляхетское равенство оказывается завѣдомою фикціею. Шляхетскій съѣздъ является карикатурою судебного производства. Свободолюбивыя толпы, яко бы увлекающіяся идеею общаго блага, становятся мгновенно податливыми орудіями всякому ловкачу, умѣющему ихъ эксплуатировать въ своихъ частныхъ интересахъ. Въ такихъ усло-

віяхъ никому изъ насъ нежелательно было бы жить. Вспыльчивый, какъ порохъ, польскій темпераментъ, одаренный быстрою виѣшнею впечатлительностью, чуждый трезвости, рефлексіи, не слушаетъ разума; имъ руководить пылкая безпредѣльная фантазія. Баталіонъ егерей былъ одинъ, а шляхетскихъ громадъ множество; только случайно баталіонъ этотъ одолѣла нестройная толпа сѣряковъ-шляхтичей. Чувствуешь, что на другой день восторжествовала бы съ прибытіемъ подкрѣпленій военная выправка и что наѣзники были бы усмирены и перевязаны. Съ примѣрнымъ безпристрастіемъ очернены у Мицкевича русскіе солдаты и офицеры. Пресимпатичнымъ существомъ является, суворовскихъ временъ храбрець-служака, капитанъ Рыковъ. Вся поэма отъ начала до конца—вымыселъ, но она даетъ болѣе близкое къ дѣйствительности и болѣе живое изображеніе польскаго быта въ началѣ XIX вѣка, а также, польско-русскихъ отношеній, нежели многіе томы ученыхъ трудовъ. Она—настоящій документъ, страница изъ исторіи, и съ этой стороны заслуживаетъ самаго тщательнаго изученія.

Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ сопоставлялъ «Пана Тадеуша», какъ романъ въ стихахъ изъ помѣщичьяго сельскаго быта, съ «Евгеніемъ Онѣгинымъ»; онъ ихъ сравнивалъ, какъ богатые содержаніемъ жанровыя картины. Но «Панъ Тадеушъ», очевидно, богаче и сложнѣе «Онѣгина»; въ немъ есть и широкая историческая подкладка наполеоновскихъ войнъ. Я бы полагалъ, что его бы слѣдовало сравнить не только съ «Онѣгинымъ», но съ «Войною и Миромъ» графа Льва Толстого. Сравненіе доставило бы несомнѣнно интересные результаты. О великихъ художественныхъ достоинствахъ литовскаго дворянскаго эпоса мнѣ неудобно распространяться; начавъ разборъ, я могъ бы его и не кончить, такъ многого пришлось бы мнѣ коснуться. Укажу мелькомъ только на важнѣйшія стороны предмета. Настроеніе, въ которомъ писался «Панъ

Тадеушъ», можно опредѣлить такимъ образомъ: тоскованіе по родинѣ. Окружающая поэта среда ему опротивѣла. Онъ переносился своимъ воображеніемъ въ свою молодость и пытался воскресить родину свою въ живыхъ реальныхъ образахъ и пластично ее воспроизвести. Онъ не плакалъ по ней но созерцалъ ее, забывая о настоящемъ, какъ, нѣчто ясное, солнечнымъ свѣтомъ залитое. Онъ любовался картинами природы. Его поэма есть прямое опроверженіе теоріи Лессинга («Laocoön»), по которой поэзія не можетъ быть описательная. Озера, пруды, пашни, сады и дремучіе лѣса живутъ здѣсь и дышутъ, чувствуютъ, какъ живыя существа. Среди этой необычайно реально представленной природы, живутъ люди простые, обыкновенные, средніе, ничѣмъ особенно не выдающіеся. Поэтъ не чувствуетъ никакого позыва къ высокому паренію, онъ и не мечтаетъ вовсе объ общечеловѣческихъ идеалахъ. По словамъ критика Гостомскаго (стр. 205), онъ снялъ съ себя облаченіе жреца человѣчества и надѣлъ на себя простую шляхетскую тарататку или чемарку. Не возвышаясь надъ домашнею средою, онъ старается облагородить обыденную дѣйствительность деревенскаго, помѣщичьяго быта. Добродушное, сочувственное ко всему расположеніе приправлено весьма часто юморомъ или комизмомъ, но нигдѣ не доходитъ до озлобленія или сатиры. Свои пожеланія и надежды на счетъ успѣха поэмы Мицкевичъ выразилъ въ введеніи къ «Пану Тадеушу»:

До радости такой дожить ли мнѣ на свѣтѣ.
Когда подъ крыши избѣ проникнуть книги эти,
Когда, крутя кудель и пѣсенку пропѣвъ,
Вечернею порою одна изъ молодежи
Захочетъ иногда мои простыя книжки
Взять въ руки, зная ихъ, быть можетъ, по наслышкѣ.

Желанія Мицкевича осуществились вполнѣ. Его шляхетская исторія, написанная, однако, въ духѣ демократическомъ, свойственномъ нашей современности, достигла общепароднаго распространенія; ее найдешь въ царствѣ польскомъ и въ крестьянской избѣ. Какъ хранительница народнаго преданія, книжка прочтѣ металла и гранита, по-

лотна или кирпича. Народъ, который имѣетъ литературу, подобную той, какую создали Мицкевичъ и писатели его либо школы или плеяды въ срединѣ XIX вѣка, не опасается денационализаціи. Онъ вынесетъ и переживетъ самыя тяжелыя испытанія.

Я кончилъ мое повѣствованіе. Эволюція поэтического творчества Мицкевича кончилась въ февралѣ 1834 года. Онъ прожилъ еще 21 годъ съ небольшимъ. Женился на дѣвушкѣ, которую зналъ еще въ Петербургѣ, Целинѣ Шимановской. Онъ профессорствовалъ въ Лозаннѣ, потомъ въ Парижѣ. Онъ сдѣлался главнымъ членомъ образовавшейся въ Парижѣ религіозной секты Товянскаго, принялъ участіе въ революціонномъ итальянскомъ движеніи во Франціи, которое онъ предсказывалъ еще до 1830 года, получилъ отъ французскаго правительства во время севастопольской войны предложеніе содѣйствовать образованію польскаго легіона въ Турціи и отправился въ Константинополь. Здѣсь онъ скончался отъ холеры 26-го ноября 1855 года. Похороненъ онъ былъ сначала на кладбищѣ Монморанси въ Парижѣ, затѣмъ останки его взяты были отсюда и торжественно перезены въ Краковъ, гдѣ и помѣщены 4-го іюля 1890 г. на Вавелѣ, въ усыпальницѣ польскихъ королей въ краковскомъ соборѣ, гдѣ почитается и прахъ Косцюшки.

Мицкевичъ былъ рѣдкій человѣкъ: геніальный поэтъ и великій общественникъ, которому пришлось сдѣлаться воплощеніемъ и символомъ возродившейся, послѣ раздѣловъ Польши, національности польскаго народа въ новомъ ея видѣ. Мощный, вдохновенный, онъ располагалъ сердца людей своей націи, въ большей степени, нежели кто бы то ни было изъ польскихъ поэтовъ, бывшихъ донынѣ, а, можетъ быть, и будущихъ; онъ считалъ это руководительство главнымъ своимъ трудомъ и назначеніемъ; онъ былъ похожъ въ сущности, какъ вы могли заключить изъ моихъ чтеній, на золоту арфу, на которой ра-

зыгрываль свои симфоніи духъ вѣка, то-есть которую потрясала совокупность великихъ общественныхъ теченій его времени. Для того, чтобы прійти въ состояніе творческаго вдохновенія, онъ нуждался въ какомъ-нибудь духовеніи извнѣ, въ какомъ-нибудь внѣшнемъ толчокѣ отъ міровыхъ событій, касающихся такъ или иначе его націи. Этотъ толчокъ онъ воспринималъ, но откликался на него своеобразно и каждый откликъ становился національнымъ событіемъ. Одинъ такой толчокъ получилъ онъ отъ Наполеонова похода въ 1812 г.; онъ помнилъ его всю жизнь. Другой толчокъ получилъ онъ отъ наставниковъ и товарищей, вслѣдствіе котораго онъ окунулся въ гуманизмъ. Потрясая его любовь прошла въ его жизни короткимъ эпизодомъ. Возбудившіяся въ немъ опасенія за существованіе націи сообщили ему на цѣлый рядъ лѣтъ валенродовское настроеніе. Затѣмъ болѣзненный кризисъ въ жизни націи—мятежь 1831—вызвалъ въ немъ энергическую, тоже болѣзненную вспышку, отпечатлѣвшуюся въ 3-й части «Дѣдовъ». Послѣ этого потрясенія наступило успокоеніе чувствъ, возстановленіе равновѣсія душевныхъ силъ, выразившееся въ возвратѣ къ самымъ красивымъ и очищеннымъ отъ всякой скверны національнымъ преданіямъ родины, въ написаніи «Пана Тадеуша», составляющаго заключеніе и вѣнецъ его поэтическаго творчества.

По своимъ размѣрамъ Мицкевичъ выходитъ за предѣлы своей національности, какъ переступаютъ такіе же рамки своихъ національностей другіе славянскіе гении, каковы Пушкинъ, Лермонтовъ, и нѣкоторые русскіе романисты послѣдняго времени, или изъ поляковъ Сенкевичъ. Всемирно-историческое значеніе этихъ гениевъ трудно еще нынѣ опредѣлить. Опредѣленіе можетъ состояться только тогда, когда съ постановкою славянскаго вопроса наступитъ дружный подъемъ славянскаго племени въ Европѣ, котораго мы ожидаемъ и которому мы считаемъ себя обязанными по мѣрѣ силъ содѣйствовать.

Нѣсколько несудебныхъ рѣчей.

I.

**Рѣчь въ общемъ собраніи С.-Петербургскихъ присяжныхъ
повѣренныхъ 17 апрѣля 1891 г. по случаю 25-лѣтія со дня
введенія въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ.**

Господа товарищи!

Въ рѣчи, которую мы выслушали, Константинъ Константиновичъ Арсеньевъ относился къ нашей корпоративной и профессиональной дѣятельности съ строгостью судьи, и если его приговоръ былъ для насъ благопріятенъ, то этимъ, конечно, мы вправѣ гордиться, такъ какъ это отзывъ знающаго человѣка, и, притомъ, безпристрастнаго, виѣ нашей корпорации стоящаго. Слѣдовать за нимъ мнѣ не подобаетъ, никто изъ насъ въ нашемъ собственномъ дѣлѣ не судья; судить я не буду, а буду только поминать.

Вы знаете, что былъ въ Римѣ весьма высокочтимый національный богъ Янусъ, съ двумя лицами на одной шеѣ, обращенными въ разныя стороны. Одно лицо у него морщинистое, старое, угрюмое, — оно обращено въ прошедшее; другое — бойкое, моложавое, вперяетъ взоръ въ темное будущее и пытается его разгадать. Это на видъ чудовищное представленіе имѣетъ свою подкладку и основано на наблюденіи психологическомъ. Всѣ мы, сколько насъ есть, въ извѣстномъ отношеніи боги Янусы. Вся наша умственная жизнь сводится къ двумъ только элементамъ: либо къ воспоминаніямъ, либо къ пожеланіямъ; мы либо роемся въ нашихъ воспоминаніяхъ и скорбимъ

о понесенныхъ утратахъ, или возобновляемъ свѣжія еще страданія, тогда мы изображаемъ старый ликъ Януса; или мы неудержимо несемъ въ будущее въ свѣтлыхъ упованіяхъ. Оба чувства присущи всякимъ поминкамъ, всякому ретроспективному чествованію прошедшихъ событій. Всякое подобное празднество есть побѣда эфемеридъ-людей, маленькихъ мошекъ надъ другимъ богомъ, надъ побѣдающимъ своихъ собственныхъ дѣтенышей Сатурномъ, надъ костлявою смертью съ ея классическою косою. Нечетъ тьма тьмущая такихъ мошекъ, ежеминутно сотни ихъ гибнутъ, другія нарождаются, но въ сложности ихъ цѣлые миллионы. Въ концѣ-концевъ, ихъ дружнымъ дѣйствіемъ всплываетъ нѣчто не умирающее, которое «пройдетъ временъ завистливую даль», нѣчто объективное, но переживаемое и пережитое людьми субъективно. Вся прелесть торжества заключается во взаимномъ проникновеніи другъ другомъ этихъ элементовъ субъективнаго и объективнаго, личнаго съ безличнымъ. Настоящая минута есть необычайно счастливое и своеобразное сочетаніе обоихъ этихъ элементовъ, — сочетаніе въ своемъ родѣ единственное и которое никогда болѣе не повторится. Наше празднество насыщено въ наивысшей степени личными элементами. Что такое двадцать пять лѣтъ съ точки зрѣнія вѣчности?—одинъ почти неуловимый мигъ. Многіе изъ насъ захватываютъ своими воспоминаніями оба его конца; онъ малый камешекъ въ сравненіи съ такими Монбланами, какъ, напримѣръ, тысячелѣтіе государства, которое было отпраздновано въ тотъ самый годъ — 1862, въ которомъ опубликованы 29 октября основныя положенія преобразования по судебной части, или тысячелѣтіе крещенія Руси въ 988 г. въ христіанскую вѣру, которая сама уже считала много вѣковъ существованія. Ни патріотизмъ, ни самое пламенное христіанство не могли заставить насъ особенно волноваться въ эти два чествованія, отпразднованы они были чинно, казенно, официально, безъ сердечнаго увлеченія, потому что, несмотря ни на какія натуры воображенія, нельзя было отождествиться

мыслью съ тѣми тремя братьями варягами, которые пришли изъ-за моря княжить, или съ тѣми, если не звѣроподобными, то весьма примитивными братьями славянами, которые погружались въ Днѣпръ, между тѣмъ какъ надъ ними греческіе священники читали свои молитвы. Скажу больше: мы оставались хладнокровно равнодушны даже и къ такимъ моментамъ, какъ 29 сентября 1862 г.—число изданія основныхъ положеній по судебной части, или 20 ноября 1864 г.—число изданія судебныхъ уставовъ, потому что оба момента имѣли видъ бездушно-отвлеченный, они не изображаютъ еще жизни самой, въ нихъ нѣтъ еще крови ни одной крапинки, они похожи на два первые свистка на собирающемся отчалить пароходѣ, на которомъ экипажъ и пассажиры только тогда пришли въ движеніе, когда по третьему свистку пароходъ снялся съ мѣста, а этотъ третій свистокъ раздался для насъ только 17 апрѣля 1866 года. Въ этотъ памятный день собраны были чины будущаго судебного вѣдомства, еще не присягавшіе, присяжные повѣренные, тоже не присягавшіе и не имѣющіе своего совѣта,—вся, такъ сказать, завербованная, но еще на дѣйствительной службѣ не состоящая прислуга судебныхъ уставовъ. И дана была имъ въ руки грамота съ приказаніемъ: по сей грамотѣ ходите. И даны имъ были книжки уставовъ и внушено: храните, блюдите и исполняйте, старайтесь, чтобы они были чистыя, цѣлыя, незамазанныя,—за нихъ вы душою своей отвѣчаете. И всѣ мы, дружно дѣйствуя, взяли этого ребенка на руки, мы были его няньками и пестунами, мы носили эти уставы подъ мышкою днемъ, клали ихъ подъ подушку ночью, жалѣли, когда вѣтеръ уносилъ нѣкоторые листья или когда вшиваемы были новые,—однимъ словомъ, мы къ нимъ относились какъ къ живому существу, съ которымъ мы срослись и породнились.

Ребенокъ уже не грудной, онъ выросъ и ходить началъ безъ помочей, а намъ непрестанно вспоминается, какъ онъ лежалъ въ пеленкахъ въ кроваткѣ, какъ мы на цыпочкахъ вокругъ него ходили, его ко сну убаюки-

вали, какъ мы его воспитывали. И вспоминается каждому изъ насъ каждое слово, произнесенное на судѣ и затѣмъ съ точностью печатаемое въ отчетахъ о засѣданіяхъ до словъ пристава включительно: «потрудитесь встать, — судъ идетъ!» И вспоминается и каждая напутственная рѣчь председателя присяжнымъ, и гробовое молчаніе, исполненное трепетнаго ожиданія, когда присяжные выносили вердиктъ, и та сила великая, которую ощущалъ каждый, когда, произнося обвинительную и защитительную рѣчь, зналъ, что какъ музыкантъ на струнахъ, такъ онъ играетъ на сердцахъ слушателей. И вдругъ этотъ замечтавшійся о быломъ, — разумѣется, одинъ изъ старыхъ, вамъ все равно кто онъ, положимъ я или другой, — поднесъ руки къ головѣ и ощутилъ плѣшь на этой головѣ или жесткіе, полинявшіе остатки сѣдыхъ волосъ, взглянулъ на себя въ зеркало и увидѣлъ, что все лицо его въ морщинахъ, оглянулся кругомъ, и тѣхъ, съ которыми онъ жилъ, уже нѣтъ, а все люди новые, точно онъ проспалъ цѣлый вѣкъ. Мало того, онъ озирается и видитъ, что стоитъ среди обширнаго кладбища, вездѣ могилы, между которыми прохаживаются призраки и тѣни усопшихъ незабвенныхъ товарищей. Дорогой Александръ Ивановичъ Языковъ, душа человѣкъ, который когда бывалъ въ ударѣ, до глубины души трогалъ cadaго своимъ огненнымъ словомъ! Вотъ и другой Александръ Ивановичъ, глубокомысленный философъ, позитивистъ Стронинъ, котораго малочитаемыя книги настоящій богатый кладъ оригинальнѣйшихъ мыслей для будущихъ поколѣній! Викторъ Павловичъ Гаевскій, на которомъ лежитъ отпечатокъ еще пушкинской эпохи, Филиппъ Ординъ, Степапъ Бѣлецкій и вы, мой ближайшіе, которые были для меня точно родные братья, Юлій Рехневскій и Францъ Дыновскій! Изъ 615 именъ, занесенныхъ въ нашъ адвокатскій списокъ, одна четверть уже не находится въ живыхъ, изъ другой четверти, къ которой отношу тѣхъ, которые насъ учили, не всѣ насъ совсѣмъ оставили. Спасибо вамъ, что вы о насъ помните, дорогой Константинъ Константиновичъ Арсеньевъ! Изъ

книжки, нарочито и кстаги оттиснутой къ настоящему дню однимъ изъ нашихъ ветерановъ по адвокатурѣ, Константиномъ Ѳедоровичемъ Хартулари: *Итоги прошлаго*, я беру списокъ нашъ 1866 г. на немъ 27 человекъ, изъ которыхъ остались въ живыхъ только 7 человекъ. Нѣкоторыхъ, кажется, совсѣмъ здѣсь нѣтъ (П. А. Андреевъ, П. П. Лыжинъ, Вл. В. Самарскій-Быховецъ), одинъ — Густавъ Густавовичъ Пранцъ намъ предсѣдательствуетъ. Я васъ и не окликаю, постоянные и безцѣнные наши представители, столбы нашего адвокатскаго сословія, Дмитрій Васильевичъ Стасовъ и Александръ Николаевичъ Турчаниновъ, бывшіе моими иниціаторами, такъ какъ вы меня приняли въ эту среду въ первомъ же засѣданіи вновь возникшаго совѣта. Подадимъ себѣ руки, вспомнимъ о славныхъ прошлыхъ годахъ и поплачемъ такъ, какъ плакать не будутъ наши преемники, которые доживутъ до другого 25-тилѣтія, до 1916 года. Я не имѣю въ виду качественного различія временъ: прошлаго и настоящаго; я думаю, что мы живемъ въ плохое время и что въ 1916 г. оно будетъ лучше, но я скорблю о томъ, что никогда не можетъ возвратиться, не возвратится поэзія прошлаго, свѣжесть ощущеній, восторгъ, который мы испытывали, когда къ намъ явилась, точно Афродита изъ пѣны морской, другая богиня, нагая, бѣлораморная и не стыдящаяся своей наготы, — гласность, когда судъ стали творить почти что на площади и когда мы стали произносить свободныя, смѣлыя рѣчи, смѣлѣе тѣхъ, которыя печатались въ сдѣлавшейся между тѣмъ безцензурною печати.

Но, господа товарищи, я сказалъ, что у Януса два лица, а мы до сихъ поръ изображали одно, то морщинистое и старое, которое обращено въ пустоту. Если бы мы ограничились только тѣмъ, что поминать да плакать, то не зачѣмъ и сходиться и засѣдать соборне. Конечно, многіе изъ насъ готовы были сказать о себѣ вмѣстѣ съ Пушкинымъ: «Мой путь уныль. Сулить мнѣ трудъ и горе — грядущаго волнуемое море», но не забудьте, что

у самого Пушкина вслѣдъ за этими стихами идутъ два другіе, вполне соответствующіе его упругой и бойкой натурѣ: «Но не хочу я, други, умирать,—я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать». Сама борьба со своими страданіями есть удовольствіе, есть своего рода счастье, иногда единственное достижимое счастье, которое приходится на долю человѣку. Спѣшу оговориться, чтобы меня не заподозрили въ парадоксальности, въ отождествленіи страданія съ счастьемъ. Культура есть та спокойная пристань, къ которой всѣ общества стремятся. Она есть состояніе наиболѣе упроченныхъ порядковъ и убѣжденій и наиболѣе умѣрившихся и охлажденныхъ страстей, *des convictions fortes et des passions mortes*, какъ ее охарактеризовалъ недавно одинъ изъ талантливыхъ современныхъ публицистовъ (Тардъ).

Когда бы мы до этой пристани дошли, то, можетъ быть, намъ было бы не по насъ,—до того тамъ все однообразно и спокойно. Культура есть состояніе, при которомъ съ наименьшимъ волевымъ усиліемъ производится наибольшее количество положительнаго добра. Разъ мы знаемъ, что нашъ корабль идетъ, хотя и медленно, по этому направленію, намъ больше ничего не нужно, мы довольны и счастливы,—все обстоитъ благополучно. Но бываютъ эпохи, когда мы теряемъ компасъ и идемъ наугадъ, не зная, куда, когда работаемъ не на прибыль, а на убыль, тогда и есть заслуга стоять при знамени, крѣпиться и дѣйствовать, какъ подобаетъ дѣйствовать экипажу во время шторма, пока не грянулъ громъ, не расстрескалъ мачту, пока корабль не наскочилъ на рифъ и отъ течи не погружается въ волны. Нѣтъ повода малодушно при всякой неудачѣ унывать. Оглянемся кругомъ и посмотримъ, есть ли основаніе поддаваться такому унынію?

Прежде всего, если обратимъ вниманіе на мѣсто, которое мы занимаемъ въ міровомъ пространствѣ, то оно не уменьшилось въ эти 25 лѣтъ, а его прибыло,—мы имѣемъ двѣ комнаты, вмѣсто одной, и этотъ корридоръ,

и разныя помѣщенія для консультацій въ разныхъ установленіяхъ Петербурга, — однимъ словомъ, мы, хотя медленно, распространяемся. Есть у насъ совѣтъ, состоявшій первоначально изъ 7, теперь изъ 12 человѣкъ, простиравшій свою дѣятельность на три сначала, а потомъ на семь губерній, — совѣтъ, къ сожалѣнію, слишкомъ рѣдко обновляющійся въ своемъ составѣ, но не обновляется онъ только потому, что вы все однихъ и тѣхъ же людей переизбираете, что вы дѣлаете, вѣроятно, по пословицѣ: «отъ добра добра не ищутъ». Наша корпорація всегда была пестрая, была похожа на казацкую вольницу или коштъ изъ людей всякихъ вѣроисповѣданій и національностей; несмотря на эту пестроту, междоусобной розни у насъ никогда не было и, дастъ Богъ, не будетъ. Мы, корпорація, довольно усердны по отношенію къ нашему общему долгу, и не было примѣра, чтобы выборы у насъ могли не состояться за недостаткомъ комплекта въ собраніи. Систематическое преслѣдованіе, которому мы нѣкогда въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ подвергались со стороны печати, прекратилось. Наши отношенія къ магистратурѣ стали нѣсколько холоднѣе, нежели въ былыя времена, но, съ одной стороны, слѣдуетъ признать, что члены судебного вѣдомства значительно обособились, причемъ цѣлая организація немного распарывается по швамъ, особо судьи, особо прокуроры и адвокаты, съ другой стороны, что лучшіе представители судебного вѣдомства намъ благопріятствуютъ и сочувствуютъ. Наши сомнѣнія и печали не корпоративныя, а обще-гражданскія; они проистекаютъ изъ иного источника. Мы скорбимъ о томъ, что насталъ иной вѣкъ, который Пушкинъ называлъ бы «жестокимъ», что зачерствѣли сердца, что поубавилось чувства любви между людьми, что меньше стало христіанскаго духа и гуманности, а на первый планъ выдвинулась безсердечная и неумолимая борьба за существованіе. Пока мы страдаемъ отъ общественной болѣзни, бѣда не велика; общество съ болѣзнью справится, мы ему поможемъ, оно намъ поможетъ. Пока мы не извѣрились въ вѣковѣчные идеалы,

въ добро, красоту и человѣчность, пока мы соединены въ одно, этимъ цементомъ держимся въ кускѣ, пока живемъ по-братски, — будущность еще наша и мы передадимъ нашъ свѣточъ нашимъ преемникамъ. Посреди насъ есть, навѣрное, и такіе, которые доживутъ до 1916 г., до 50-тилѣтія судебныхъ уставовъ. Надѣюсь, что они тогда насъ помянутъ добрымъ словомъ и закрѣпятъ непрерывающійся союзъ убѣжденій и сердець, безъ котораго никакое полезное общеніе людей невысказуемо.

II.

Моя юбилейная рѣчь на товарищескомъ обѣдѣ 31-го мая
1891 года.

Дорогіе и уважаемые товарищи! Ей Богу я не желалъ настоящаго торжества, я всячески бѣжалъ отъ этого чествованія, я хотѣлъ-бы отъ него откупиться и сквозь землю провалиться, потому что я вообще не люблю мозолить глаза міру моею особою и хотя знаю что и у меня есть самолюбіе, какъ у всякаго, но по принципу допускаю его только въ минимальной дозѣ. Но вы иначе рѣшили, вы приказали и, вамъ послушный, я явился озаченный только тѣмъ, чтобы не ударить въ грязь лицомъ.

Я знаю цѣну настоящей минуты, я прошелъ чрезъ мой апогей, далъ обществу, что могъ дать, дальнѣйшая жизнь моя пойдетъ по уклону постепеннаго паденія. Никто не можетъ избѣгнуть зубовъ времени, *des ans l'irréparable outrage*. Минута эта дорога и я ею воспользуюсь, буду ее испивать, такъ сказать, не залпомъ, а глотками.

Я не намѣренъ васъ подчивать звонкими словами, скажу вамъ какъ романтикъ (я юношескими воспоминаніями захватилъ еще и часть періода романтизма), я отвѣчу вамъ на ваши привѣтствія не виномъ, а кровію моего сердца, моими задушевнѣйшими чувствами и убѣжденіями, моею въ нихъ исповѣдью. Я человѣкъ не семейный, всегда былъ одинокій, никакими лично достопамятными событіями жизнь моя не ознаменована; я жилъ только общественными событіями моей эпохи, интересовался ими и откликался на нихъ.

Я всю почти жизнь мою былъ человѣкъ частный. Служба моя была недолгая и весьма неудачная.

Служилъ въ судѣ секретаремъ, — меня отставили: профессорствовалъ, — меня и отъ этихъ занятій уволили. Вѣроятно таковъ ужъ мой темпераментъ, къ государственнымъ дѣламъ не подходящій.

Я былъ частный писатель, частный носитель нашего адвокатскаго значка, который, какъ вамъ извѣстно, не совмѣстимъ съ государственною службою, частный сознательный ненавистникъ всѣхъ тѣхъ клѣтокъ, средостѣний и перегородокъ, которыми отдѣлившись и чуждаясь другъ друга, люди преслѣдуютъ себя и мучать. Такъ будучи съ юности настроенъ, я въ моей жизни, пришелъ къ однимъ, можно сказать, отрицательнымъ результатамъ.

Я антицерковникъ, антинаціоналистъ и антигосударственникъ.

Мою противоцерковность я вынесъ почти изъ колыбели. Я происхожу изъ смѣшаннаго брака, заключеннаго при условіяхъ, еще не требовавшихъ, чтобы всѣ дѣти были православныя, когда одинъ изъ родителей православнаго исповѣданія. Отецъ мой и мы, сыновья, были православные, сестры мои — римскія католички по матери. Эти прежнія условія были прекрасною подкладкою для примиренія національностей; при этой двойственности религій обрядныя и догматическія различія получали второстепенное значеніе, официальность съ одной, нетерпимость съ другой стороны исчезали, мораль христіанская выдвигалась впередъ, какъ главное содержаніе религій; терпимость распространялась и на всѣ, даже не христіанскія исповѣданія. Мой отецъ былъ лекаремъ въ еврейскомъ городѣ, главная его практика была между евреями и между ними пользовался онъ большимъ авторитетомъ, онъ ихъ лечилъ и часто судилъ. Я помню, какъ мнѣ отъ отца досталось, когда я будучи мальчикомъ, насмѣхался надъ евреями, молящимися въ сосѣдней съ нами синагогѣ.

Въ одномъ изъ предмѣстій Минска жили, со временъ

еще Витовта татары; я съ татарами учился въ школѣ и посѣщалъ нѣсколько разъ ихъ мечеть.

Когда при этой широкой терпимости, во время бытности моею въ высшихъ классахъ гимназіи, во мнѣ заговорило религіозное чувство, то я вдругъ сдѣлался восторженнымъ пантеистомъ, я опьянѣлъ отъ божества, все было божеское и во мнѣ и въ природѣ и откровеніемъ была вся исторія.

Этотъ пантеизмъ былъ прямою подготовкою къ гегелевской школѣ, чрезъ которую я прошелъ; потомъ уже чрезъ К. Д. Кавелина я познакомился и съ ученіемъ Людвига Фейербаха и уразумѣлъ, что божественное есть проекція нашего-же собственнаго духа. Нѣтъ положительной религіи, которая-бы уцѣлѣла вполнѣ при анализѣ и критикѣ, но чувство религіозности не истребимо и духъ религіозности вѣченъ.

Въ этомъ смыслѣ я антицерковникъ, но я полагаю, что и въ этомъ обществѣ найдется много моихъ единовѣрцевъ.

Въ порывѣ религіознаго чувства я былъ на небесахъ, но я окунулся въ дѣтствѣ и въ другую среду, точно въ глубокое озеро, въ волнахъ котораго я поздоровѣлъ и окрѣпъ.

Это озеро была моя родина, моя Литва, или Бѣлая, или Черная Русь,—разные разное её называли. Эта родина преподана мнѣ была въ готовой формѣ, культурной, исторической, въ формѣ польской культуры.

Отецъ мой получилъ образованіе въ Виленскомъ университетѣ, мать моя счумѣла заставить меня полюбить классиковъ XVIII вѣка и романтика Мицкевича. Мы и въ университетѣ держались земляческими кружками съ польскимъ языкомъ, но мы были подготовлены къ общенію съ русскими въ той самой школѣ, которую мы проходили и которая была въ мое время смѣшанная, съ такими же хорошими, какъ отъ смѣшенія вѣры и въ семейными результатами. Наши учителя, большею частью воспитанники Виленскаго университета, учили обязательно по русски но

давали намъ польскія объясненія по предметамъ преподаванія; читалась русская литература, мы хорошо были знакомы съ Пушкинымъ, Гоголемъ и Лермонтовымъ. Кончивъ ученье я устроился и обзавелся въ Петербургѣ.

Тутъ-то меня и ждутъ экзаменаторы, которые еще недавно приставали ко мнѣ въ печати съ вопросомъ: скажите пожалуйста, когда вы пишете или рѣчь ведете, то на какомъ языкѣ вы думаете?

При этомъ вопросѣ имѣется обыкновенно въ умѣ вопрошающаго предубѣжденіе, что думать можно только на одномъ языкѣ, обыкновенно на родномъ, и другое, что думающій по польски есть прирожденный врагъ Россіи.

Вопросъ такимъ образомъ, какъ я его представилъ, формулированный, ставилъ меня въ величайшее затрудненіе. Я и теперь не знаю какъ на него отвѣчать.

Я очутился на кафедрѣ и преподавалъ русское право по русскому кодексу; разумѣется что я думалъ русскими научными терминами. Изъ того что я напечаталъ, по количеству, двѣ трети были на русскомъ и одна на польскомъ языкѣ. Ни одной защитительной рѣчи на польскомъ языкѣ я не произносилъ и произнести не могъ, мало того:—самое задушевнѣйшее изъ моихъ произведеній—исторія польской литературы писана была на русскомъ языкѣ и для русскихъ. Мои недоброжелатели могутъ сказать, что я этимъ произведеніемъ русскихъ ополячивалъ.—Отвѣчу: и мы-бы рады были если-бы нашлись обрусители, предлагающіе намъ на польскомъ языкѣ сокровища русской литературы и культуры. Прибавлю что книга моя, о которой говорю, переведена дважды на польскій языкъ и вышла недавно во 2-мъ переводѣ третьимъ изданіемъ.

Я утверждаю что самъ національный вопросъ плохо поставленъ.

Видали-ли вы сліяніе двухъ большихъ рѣкъ; какъ я ихъ наблюдалъ: Сены и Роны въ Ліонѣ, Мозеля и Рейна въ Кобленцѣ, Волги и Камы, Савы и Дуная въ Бѣлградѣ. Двѣ струи воды сходятся въ одномъ ложѣ, одна коричневая, другая зеленоватая, и текутъ, параллельно, не сли-

ваясь въ одно, многіе десятки верстъ, не смѣшиваясь даже подъ колесами и винтами снующихъ по нимъ пароводовъ. Когда нибудь онѣ сольются, но есть такіе, которыми ждать не хочется, которымъ претить, что есть двѣ струи, двѣ рѣки, а не одна и, которые предлагаютъ поставить у сліянія большую машину и обѣ струи сболтать, или съ берега, омываемаго зеленоватою водою, подливать коричневую краску, чтобы вся рѣка была одного-коричневаго цвѣта.

Я полагаю, что тотъ, въ душѣ котораго протекають нѣсколько струи не сливаясь, психически больше одаренъ и побогаче, коль скоро онъ способенъ мыслить на нѣсколько ладовъ. Вспомните про талантливаго человѣка, который повліялъ во многомъ на господствующее нынѣ настроеніе, но самъ былъ съ собою иногда не послѣдователенъ что и случилось, когда на пушкинскомъ обѣдѣ въ Москвѣ онъ провозгласилъ тостъ за русскаго, какъ за всечеловѣка способнаго перевоплощаться въ другія національности,—способность, которая теперь теряется при господствѣ уединяющагося въ себя свирѣпаго націонализма, заставляющаго общество регрессировать по атавизму, возвращаясь къ предкамъ.

Достоевскій былъ правъ, многонаціоналистомъ были и Ленскій въ «Онѣгинѣ», съ душою чисто Геттингенской и люди 1812 года и самъ Пушкинъ — французъ по уму и образованію. Я до конца жизни буду противникомъ исключительнаго націонализма и буду стоять за многонаціонализмъ, за совмѣщеніе нѣсколькихъ національныхъ душъ въ одномъ самосознаніи.

Мнѣ остается теперь сказать не многое, но самое трудное и повидимому самое опасное, почему считаю я себя противогосударственникомъ. Не смущайтесь господа, я не буду говорить о какомъ-бы то ни было конкретномъ государствѣ, я коснусь только государственности вообще въ XIX столѣтіи и тѣхъ ея превышеній власти и злоупотребленій, которыя въ особенности въ ходу въ переживаемую нами эпоху.

Государство, какъ я его понимаю, есть такая перевозмогающая на извѣстномъ пространствѣ поверхности земнаго шара моральная и матеріальная сила, которая людей на этомъ пространствѣ объединила, оградилась отъ всякаго внѣшняго врага и освободила отъ всякаго внутреннего супостата, провела надъ всѣми одинаковый законъ мирнаго а безвреднаго сожителства и затѣмъ наблюдаетъ, чтобы люди жили по этому закону, подчинялись ему, свободно развивались, группировались и успѣвали, другъ друга не насилюя и не угнетая.

Ниибольшее, что государству можетъ быть сверхъ того предоставлено, заключается въ томъ, чтобы оно способствовало тому, чтобы могли подыматься и прозябать самыя мелкія травки, самыя слабыя жизнеспособныя ростки, чтобы могло, такимъ образомъ развертываться во всемъ своемъ великолѣпнѣе все богатство жизни общественной, согласной, жизни вполне человѣческой. Въ этихъ функціяхъ, государство ничего не смыслить, оно ничего не изобрѣтаетъ, не творить, а если думаетъ, что оно что-нибудь созидаетъ въ области неподвѣдомственныхъ ему задачъ, то дѣлаетъ это по простому подсказыванію извнѣ, по гипнотической суггестіи, причемъ оно можетъ, само того не замѣчая, поступать во многомъ совсѣмъ противно настоящему государственному интересу. Таковы были ходячія идеи о государствѣ, одушевлявшія меня и многихъ изъ моего поколѣнія, то есть изъ людей, ставившихъ первые шаги на поприщѣ общественной жизни и дѣйствовавшихъ по такъ называемой либеральной программѣ въ великое десятилѣтіе 1856—1866 года, или лучше сказать въ пятилѣтіе 1856—1861 года, потому что уже тотчасъ послѣ разрѣшенія главной задачи момента—освобожденія крестьянъ, начались колебанія, которыя послѣ внезапнаго, мощнаго и, можно сказать, волшебнаго подъема духа, повели по отлогому скату, къ продолжающемуся уже много лѣтъ безъ просыпа сну. Сонъ можетъ коллективный, не только что индивидуальный, во снѣ и чело-вѣкъ и общество не мыслить, а грезить, находясь подъ

вліяніемъ тѣхъ неясныхъ представленій, появляющихся по закону ассоціаціи идей. Эти представленія вызываются въ насъ поднимающимися изъ темной, безсознательной глубины нашей личности, различными общественными теченіями, имѣющими свойства стихійныхъ силъ.

Такихъ теченій по своей безпредѣльности особенно опасныхъ я знаю два: такъ называемой *штатсъ-соціализмъ* и *націонализмъ*. Штатсъ соціализмъ опасенъ тѣмъ, что ставя ни во что единицы, онъ изъ нихъ, какъ изъ глины, лѣпитъ разныя формы, не считаясь съ тѣмъ, что этотъ матеріалъ чувствуетъ и страдаетъ. Объ исключительномъ націонализмѣ я ничего не скажу, потому что, вы господа, какъ я думаю убѣждены, что можно и по извѣстному направленію идя, донаціональничаться до самаго каннибализма. Оба теченія на мой взглядъ одинаково вредны, потому что появляясь въ эпохи дремоты личности, онѣ ее безжалостно приносятъ въ жертву извѣстному коллиktivизму, вслѣдствіе чего въ любой бытовой или предсудебной коллизіи, государство или казна одолѣваютъ всякую, низшаго порядка, единицу: земство, городъ, компанію, и всѣ коллективизмы въ совокупности превозмогутъ всякую единицу. Въ накладѣ остается всегда и пропадаетъ та единица, изъ за которой хлопотали люди сороковыхъ годовъ, человѣческая личность погибаетъ въ этомъ коллективизмѣ, какъ въ гробницѣ. Теперь вы поймете, господа, мою точку зрѣнія.

Я провозглашаю тостъ за эту человѣческую личность, за неодоленіе ея государствомъ, за ея самобытность и своеобразіе, служащее источникомъ всякому творчеству, за естественную кривую линію вмѣсто прямой геометрической, за оригинальность функціи государства, но и за полную самостоятельность государственности въ предѣлахъ ея исключительному вѣденію подлежащихъ задачъ.

Я вмѣстѣ съ тѣмъ, провозглашаю тостъ за всѣхъ нашихъ единомышленниковъ, до сихъ поръ остающихся вѣрными старой программѣ; есть они и въ официальныхъ сферахъ, есть они и въ гражданскомъ обществѣ, въ зем-

ствѣ и городскомъ управленіи и на кафедрахъ и въ литературѣ и во всѣхъ тѣхъ резервуарахъ умственной жизни общественной, изъ которыхъ могутъ они появиться по первому зову, когда того потребуетъ измѣнившееся общественное настроеніе—ихъ въ особенности много и въ корпораціи, къ которой я имѣю честь принадлежать.

Я пью здоровье старшей брати, то есть господъ присяжныхъ повѣренныхъ и младшей брати, то есть ихъ помощниковъ, за которыхъ всегда и вездѣ я стоялъ и ихъ защищалъ. Наконецъ мой тостъ не выразиль-бы всей моей мысли, если-бы я его не дополнилъ слѣдующимъ заявленіемъ, въ искренности котораго, я думаю, никто не будетъ сомнѣваться. Пушкинъ великій поэтъ, но и ему приходилось ошибаться. Ему приписываютъ слѣдующую эпиграмму:

«Не вѣрю въ честность игрока,
Въ любовь къ Россіи поляка,
Не вѣрю я француза дружбѣ.
И безкорыстною нѣмца въ службѣ.»

О первомъ изъ этихъ стиховъ я не берусь судить, такъ какъ я не игрокъ, вторую я практически всю жизнь мою опровергалъ; я сильно сомнѣваюсь въ правдивости двухъ послѣднихъ стиховъ.

Я превозглашаю тостъ за гражданскую, за хорошую Россію, въ которой никогда не пропадутъ добрыя чувства человѣчности!

III.

Рѣчь въ уголовномъ отдѣленіи Юридическаго Общества
19 октября 1896 г. посвященная памяти Н. А. Неклюдова.

Бывъ приглашенъ нашимъ почтеннымъ предсѣдателемъ Иваномъ Яковлевичемъ Фойницкимъ за четыре дня до настоящаго засѣданія сказать нѣчто про понесенную нами утрату въ лицѣ товарища нашего преждевременно умершаго, Николая Андріановича Неклюдова, я сначала колебался, сочтя себя неспособнымъ, сочинить въ столь краткій срокъ похвальное слово умершему, которое бы заключило въ себѣ хотя бы краткій, но полный обзоръ громаднѣхъ работъ его на поприщѣ государственной дѣятельности и на поприщѣ науки уголовного права. По натурѣ моей, притомъ, я неспособенъ произносить похвальные слова кому бы то ни было, не потому чтобы я имѣлъ предвзятую мысль что всякое похвальное слово есть непременно продуктъ условной лжи и лести; я полагаю что и похвальное слово можетъ быть правдиво, но оно во всякомъ случаѣ содержитъ въ себѣ только половину истины, только то, что можетъ быть занесено въ активъ, а не въ пассивъ хвалимаго лица. Оно есть частичное только исполненіе той французской формулы свидѣтельской присяги на судѣ сказать *la vérité, rien que la vérité*, но не *toute la vérité*. Оно не воспроизводитъ настоящаго человѣка какимъ онъ былъ и какимъ отпечатлѣлся въ воспоминаніяхъ. Я предупредилъ Ивана Яковлевича, что я готовъ подѣлиться только съ слушателями моими вос-

поминаніями и получивъ одобрительный отъ него отвѣтъ, я и подношу вамъ мои личныя впечатлѣнія о человѣкѣ со всѣми его достоинствами и недостатками. Я полагаю, что я сообщу вамъ о покойникѣ, который былъ во всякомъ случаѣ необыкновенный человѣкъ, кое что новое и вамъ неизвѣстное, чѣмъ будетъ память о немъ не омрачена, а почтена.

Переношусь мысленно въ годы самаго кипучаго движенія жизни, мысли, дѣла, какое разъ только и было испытано Россіею въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, когда вслѣдъ за крестьянскою реформою обрисовывались и всякія другія коренныя и великія преобразованія. Представляю себѣ тогдашній С.-Петербургскій университетъ. На всѣхъ курсовыхъ и публичныхъ лекціяхъ и чтеніяхъ, и на всѣхъ сходкахъ видна впереди другихъ и сразу бросается въ глаза и врѣзывается въ память фигура молодого человѣка высокаго, сухощаваго, съ весьма смуглымъ почти оливковаго цвѣта лицомъ, съ черными какъ смоль откинутыми назадъ волосами, съ горящими какъ двѣ свѣчки глазами и съ руками обыкновенно скрещенными на груди. Типъ лица въ особенности разсматриваемый въ профилѣ напоминалъ мнѣ изображенія начерченныя на египетскихъ обелискахъ и памятникахъ, типъ молодого красиваго египтянина. Въ выраженіи лица не замѣчалось никакой нѣжности, никакой мечтательности, оно поражало бойкостью, энергіей и напряженностью вниманія. Этотъ молодой человѣкъ и былъ Неклюдовъ, саратовецъ или симбирецъ не знаю, родившійся въ 1840 г. и поступившій сначала на физико-математическій факультетъ, а уже потомъ перешедшій на юридическій. Онъ учился и экзаменовался прекрасно, онъ принималъ живое участіе въ разбирательствѣ студентами подъ моимъ руководствомъ интереснѣйшихъ уголовныхъ процессовъ. Довѣріе и уваженіе къ нему общества товарищей студентовъ доказываются тѣмъ, что онъ былъ избранъ ими въ судьи по дѣлу о растратѣ въ началѣ 1861 г. 1051 р. 84 коп. принадлежавшихъ студентской кассѣ, въ каковой растратѣ обви-

нялся казначей студентъ Бутчикъ. По просьбѣ студентовъ я исходатайствовалъ у бывшаго попечителя учебнаго округа нынѣ графа Ивана Давыдовича Делянова разрѣшеніе разобрать дѣло о Бутчикѣ подѣ моимъ руководствомъ, судомъ изъ выборныхъ отъ студентовъ. Судъ происходилъ по всѣмъ правиламъ состязательнаго судопроизводства, устно и гласно въ расположенной амфитеатромъ XI аудиторіи. Арестованный въ университетскомъ карцерѣ Бутчикъ обвинялся по обвинительному акту. Одинъ изъ студентовъ исправлялъ обязанности прокурора. Былъ у Бутчика и защитникъ студентъ Нефловъ. Судьями избраны были пятеро: Николай Утинъ, Павелъ Чубинскій, Николай Неклюдовъ, Городецкій I и Праховъ. По постановленнымъ мною вопросамъ 6 марта 1861 года поздно вечеромъ судьи дали обвинительный отвѣтъ, клонившійся къ исключенію Бутчика изъ числа студентовъ, чѣмъ и ограничилось взысканіе. Я объяснилъ студентскому обществу результатъ суда на ихъ сходкѣ, а затѣмъ представилъ приговоръ съ дѣломъ г. попечителю, который его утвердилъ. Осенью того же 1861 г. по назначенію министромъ народнаго просвѣщенія адмирала Путятина, а попечителемъ генерала Филипсона въ концѣ сентября и началѣ октября произошли волненія между студентами университета вслѣдствіе закрытія ихъ общественныхъ учрежденій: кассы, сборника, сходокъ. 13 и 14 октября арестованы въ университетѣ сотни двѣ студентовъ, которые раздѣлены на двѣ партіи, одна изъ нихъ содержалась въ Петропавловской крѣпости, другая въ Кронштадтѣ. Неклюдовъ былъ въ числѣ арестованныхъ первой партіи; я получилъ разрѣшеніе поведаться съ нимъ и посѣтилъ его въ крѣпостной больницѣ.

За арестованныхъ студентовъ мы не боялись, университетская катастрофа касалась слишкомъ большаго числа лицъ, она не обнаружила въ юношествѣ никакихъ затѣй или идей политическаго характера и вытекала только изъ отношеній студентовъ къ ихъ начальству. Самый личный составъ министерства народнаго просвѣщенія былъ

вскорѣ измѣненъ, арестованные были безъ суда освобождены, исключены изъ университета только 5 человѣкъ. Неклюдовъ держалъ испытаніе на степень кандидата правъ въ 1862 г., послѣ чего получилъ заграничный паспортъ, въ чемъ ему помогъ тогдашній петербургскій военный генераль-губернаторъ Князь Суворовъ; онъ отправился за границу со спеціальною цѣлью изучать уголовное право.

Тутъ начинается новый періодъ въ его жизни весьма важный, положившій основаніе его ученой дѣятельности и подготовившій его къ преподаванію излюбленнаго предмета. Періодъ этотъ заканчивается въ 1865 г. защитой въ с.-петербургскомъ университетѣ магистерской диссертации подъ заглавіемъ «уголовно-статистическіе этюды». У меня теперь въ рукахъ его пространное письмо на двухъ большихъ листахъ, писанное изъ Гейдельберга въ самомъ концѣ 1862 г., въ которомъ онъ сообщаетъ мнѣ результаты своихъ наблюденій. Вотъ вкратцѣ содержаніе письма. Три мѣсяца онъ лечился на водахъ, отправился затѣмъ въ Парижъ на полгода, но не выжилъ и двухъ мѣсяцевъ, до того ему опротивѣло здѣсь все отъ мала до велика, то есть начиная съ поставленныхъ въ судѣ жандармовъ и чуть ли не цѣлаго взвода солдатъ, до прокурора, президента и наконецъ до адвокатовъ. Вторая имперія была ему противна, ему казалось что она противна и всей Франціи тогдашней. Изъ Парижа Неклюдовъ уѣхалъ въ Гейдельбергъ, но и здѣсь его не удовлетворяютъ профессора («прости имъ Господь Богъ ихъ чтенія»), одного только Миттермайера онъ хвалитъ за страшную «пояснительность» его изложенія, за иллюстрированіе каждой статьи закона и каждого вопроса безчисленнымъ количествомъ примѣровъ, заимствованныхъ изъ уголовныхъ процессовъ всего міра. Эта «примѣрность» хороша для начинающаго, но она въ концѣ концовъ и обременительна. При разборѣ процессовъ Миттермайеръ обращаетъ вниманіе не столько на психологическую сторону, сколько на различія и недостатки судопроизводства англійскаго, французскаго и нѣмецкаго. Что касается до присяжныхъ то

онъ того мнѣнія, что настоящіе присяжные только въ Англіи и существуютъ, «на русскихъ же присяжныхъ» (еще въ 1862 несуществовавшихъ) онъ съ перваго разу махнулъ рукой».

Неклюдовъ намѣревался уѣхать въ Берлинъ, слушать Гольцендорфа. Онъ готовилъ диссертацию «о малолѣтствѣ» въ обширномъ смыслѣ этого слова. Передавъ мнѣ подробную схему своего труда раздѣленнаго на двѣ части, Неклюдовъ присовокуплялъ: «таковъ фундаментъ моей будущей диссертациі. Первая часть ея готова... Единственнымъ руководителемъ моимъ во всемъ этомъ будетъ статистика... я держусь чисто статистическихъ основаній».

Вамъ извѣстно, м.м. г.г., что магистерская диссертациія Неклюдова вышла не такая, какою она предполагалась въ его письмѣ. Изъ ученія о малолѣтствѣ вышло ученіе о вліяніи возраста на преступленіе, доказываемомъ посредствомъ данныхъ и приемовъ статистическихъ. Когда его уголовно-статистическіе этюды были изданы я писалъ о нихъ въ газетѣ; то что я написалъ, я готовъ повторить и нынѣ не убавляя ни слова: «литература обогатилась трудомъ замѣчательнымъ. Явился не юноша, а зрѣлый мужъ во всеоружіи таланта, въ совершенствѣ владѣющій новымъ методомъ изслѣдованія и не лишенный нѣкоторой самоувѣренности и беззащѣтливости, которыя могутъ и не понравиться ученому ареопагу, но украшаютъ молсдаго бойца, когда опираются на обширную память и твердоопредѣлившіяся убѣжденія и служатъ признаками силы и рѣшимости идти впередъ не дѣлая уступокъ... Среди теперешняго безплодія сочиненіе Неклюдова поражаетъ не столько объемомъ, сколько глубиною и плотностью мысли, которой такъ много, что ея бы достало на четыре докторскія диссертациі, да крохами могли бы еще поживиться и «магистранты» (В. Спасовичъ, За Много Лѣтъ 1872 г. стр. 113).

Таже рецензія, изъ которой я заимствовалъ отрывокъ, указывала и на недоимки сочиненія и на односторонность его статистическаго метода, въ который онъ безусловно

вѣрилъ и на который онъ возлагалъ надежды, оказавшіяся несбыточными, а потому и напрасными. Преступленіе, какъ фактъ общественный, изучается посредствомъ наблюденій либо надъ преступникомъ самимъ (анализъ психологическій) либо надъ такъ называемымъ среднимъ чело-вѣкомъ (способъ изслѣдованія статистическій). Оба метода одинаково необходимы, но Неклюдовъ довольствуется только вторымъ, въ которомъ онъ усматриваетъ всю будущность уголовного права. Онъ считаетъ возможнымъ выкинуть за бортъ метафизическій вопросъ о волѣ и о свободѣ, упразднить какъ нѣчто не научное волю добрую или злую, а изучать исключительно одно влеченіе къ преступности, котораго возрастаніе или уменьшеніе удосто-вѣряется колебаніями статистическихъ цифръ. Влеченіе къ преступности становится то больше то меньше, потому что мѣняются постоянно вызывающія и обуславливающія преступность внѣшнія условія. Если преступность зави-ситъ отъ *внѣшнихъ* условій, то можно дѣйствовать на ослабленіе ея, измѣняя эти внѣшнія условія и принимая цѣлесообразныя къ тому мѣры, въ числѣ которыхъ и имѣется главная изъ нихъ—наказаніе.

Въ моей рецензіи книги Неклюдова я указывалъ между прочимъ и на то что онъ проводитъ посредствомъ выкладокъ статистическихъ нѣкоторыя предвзятые идеи. Я утверждалъ также, да и теперь утверждаю, что исклю-чая злую волю какъ условіе преступленія и дѣлаясь яко бы детерминистомъ, а вмѣсто нея ставя *внѣшнія условія*, Неклюдовъ вводитъ самъ этотъ субъективный волевой элементъ подъ инымъ только флагомъ, такъ какъ въ категорію внѣшнихъ условій онъ включаетъ и такіе пред-меты напримѣръ, какъ силы физическія лица, имуще-ственные отношенія, порядокъ управленія государствомъ, а съ ними на ряду и характеръ чело-вѣка. Къ внѣшнимъ условіямъ онъ прямо причисляетъ весь организмъ чело-вѣка и физическій и нравственный, со всѣми его стра-стями и наклонностями. Такимъ образомъ книга Неклю-дова превосходная по основному замыслу, деталямъ и

главное по методу, слаба по части основныхъ философскихъ началъ.

Замѣчательно, что у Неклюдова эти философскія первоначала составляли уязвимую часть его трудовъ, походили на ахиллову пятю. Мнѣ кажется, что для изученія постепенной выработки этихъ основныхъ идей было бы весьма полезно сопоставить письмо Неклюдова ко мнѣ съ конца 1862 года, въ которомъ онъ изложилъ свой взглядъ на право государства наказывать, съ теоріею проводимою имъ въ уголовно-статистическихъ этюдахъ и затѣмъ съ его конспектомъ общей части уголовного права 1875 г., во главѣ котораго онъ ставитъ въ 24-хъ сжатыхъ положеніяхъ свою довольно туманную, довольно спорную философію уголовного права. Я бы указалъ изъ этихъ положеній на тезисы 3—6. Если по 5 тезису *потребности* человѣка вызываются положеніемъ его во внѣшнемъ мірѣ, если по 6 тезису эти потребности суть ничто иное какъ общій продуктъ его я, то есть его сознанія и внѣшнихъ доходящихъ до него впечатлѣній и ощущеній, если эти потребности относятся къ этимъ впечатлѣніямъ и ощущеніямъ какъ слѣдствіе къ своей причинѣ, если, наконецъ, по 3 тезису эти ощущенія не произвольны, дѣйствуютъ *машинально* пока не превратятся въ сознательныя понятія, то непонятно потому что совсѣмъ необъяснено, какъ могутъ они образовать составную часть *духовной жизни* нашего я по 4 тезису. Вообще эта духовная жизнь у Неклюдова лишена всякаго средоточія и всякой самостоятельности. Слабость философскихъ первоосновъ у Неклюдова я объясняю себѣ слѣдующимъ образомъ. У Неклюдова былъ первоклассный умъ аналитическій, орудіе разрушенія безподобное, разлагающее все къ чему онъ прикоснулся, діалектикъ онъ былъ могучій и противникъ чрезвычайно опасный, но именно преобладаніе этихъ способностей имѣло послѣдствіемъ, что онъ несравненно слабѣе въ сложеніи, въ созиданіи. Его эстетическая способность и творчество были несравненно слабѣе его критики. До мозга костей политикъ онъ вовсе не былъ психологъ

и меньше всего годился въ интеллектуальные созерцатели. Его неудержимо влекло живое дѣло и практика, такъ что, ученіе, преподаваніе служили ему только развлеченіемъ и отдыхомъ. Когда онъ вернулся въ С.-Петербургъ, то и не думалъ о служебной карьерѣ, а занялся переводами книгъ и ихъ издательствомъ. Его друзья внушили ему баллотироваться въ столичные мировые судьи, изъ судей онъ поступилъ въ председатели сѣзда, сдѣлался высокимъ чиновникомъ по министерству юстиціи. Если и послѣ того онъ издавалъ еще книги отъ времени до времени, то эти книги имѣютъ, главнымъ образомъ, практическій характеръ, они представляютъ громадныя груды историческаго и юридическаго сырца и содержатъ въ себѣ великолѣпную, порою весьма рѣзкую, критику нашихъ законовъ и порядковъ.

Я довелъ мои воспоминанія о Неклюдовѣ до того момента, когда мои съ нимъ сношенія стали рѣже и рѣже, не вслѣдствіе того, чтобы мы столкнулись, поссорились или по какой-нибудь причинѣ другъ къ другу охладѣли, но потому что у насъ были разные жизненные пути. Я всю жизнь остался человѣкомъ средняго состоянія, профессорствовать я не могъ, въ свободныя минуты занимался литературою, а главнымъ моимъ призваніемъ сдѣлалась адвокатура. Между тѣмъ Неклюдовъ, благодаря своимъ изъ ряда выдающимся способностямъ и усидчивости, шелъ по ступенямъ лѣстницы, ведущей къ вершинамъ власти и государственнаго управленія. Оставался одинъ кружокъ, въ которомъ мы въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ сходились и о которомъ я вспоминаю съ наслажденіемъ. То были у меня, какъ у председателя, происходившія приготовительныя совѣщанія редакціоннаго комитета уголовного отдѣленія юридическаго общества при С.-Петербургскомъ университетѣ. Мы потомъ поочередно докладывали или оппонировали въ публичныхъ засѣданіяхъ уголовного отдѣленія по вопросамъ, намѣченными нами въ редакціонныхъ совѣщаніяхъ. Неклюдовъ брался охотно за доклады и дѣлалъ ихъ блистательно. Нашъ редакціон-

ный кружокъ современемъ распался, мы вышли изъ него одинъ за другимъ за недосугомъ, за накопленіемъ иныхъ болѣе важныхъ трудовъ и занятій. Неклюдовъ затягивался больше и больше въ дѣятельность служебную, офиціальную. Что касается до офиціальной его дѣятельности, то она превосходитъ всякое описаніе; она просто гигантская, такъ что когда я о немъ, какъ о государственномъ труженикѣ вспоминаю, то онъ представляется мнѣ въ видѣ одной изъ каменныхъ каріатидъ, поддерживающихъ балконъ Эрмитажа или въ видѣ Атланта, несущаго на своихъ плечахъ шаръ земной. Количество совершаемой имъ работы было неимовѣрное, какъ будто бы у него были двадцать рукъ и нѣсколько головъ. Я прямо скажу, что онъ злоупотреблялъ своею силою, онъ ее расточалъ, онъ испортилъ свою нервную систему и преждевременно сошелъ въ могилу отъ переутомленія въ тотъ самый моментъ, когда онъ становился на такой высотѣ, что могъ уже лѣпить и создавать порядки и учрежденія по своимъ идеямъ а не по преподаннымъ ему указаніямъ и инструкціямъ. Узнавъ о внезапной его смерти я вспомнилъ слова Шекспира въ 5 дѣйствіи Макбета: «слѣдовало бы умереть потомъ, нашлось бы потомъ подходящее къ тому время» (She should have died hereafter, There would have been a time for such a work).

Заговоривъ о служебной дѣятельности Неклюдова, не могу обойти молчаніемъ одинъ и единственный случай, когда мнѣ какъ адвокату пришлось скрестить, какъ говорятъ, шпаги съ нимъ, какъ съ оберъ-прокуроромъ уголовного кассационнаго департамента сената и препираться объ одномъ изъ самыхъ дорогихъ для сердца моего предметовъ—объ институтѣ присяжныхъ засѣдателей. Разбились 13 марта 1884 г. два почти тождественныя по содержанію дѣла Свиридова и Мельницкихъ, давшія начало двумъ классическимъ до сихъ поръ строго примѣняемымъ рѣшеніямъ правительствующаго сената, установившимъ на прочныхъ основаніяхъ практику судовъ при разрѣшеніи дѣлъ судимыхъ съ присяжными засѣдателями.

По обоимъ дѣламъ произнесены были присяжными засѣдателями вердикты скандальные; признавъ фактъ событія преступленія и совершеніе его подсудимыми, присяжные становясь сами съ собою въ противорѣчіе, отвергли вмѣненіе подсудимымъ содѣяннаго въ вину. Обѣ состязающіяся стороны убѣждены были въ неминувости отѣны приговоровъ, такъ что въ сущности судились въ сенатѣ не Свиридовъ и не Мельниціе, а самъ институтъ присяжныхъ. Ясно было, что онъ плохо дѣйствуетъ, что его надобно починить, но требовалось узнать какъ его наладить? Съ молоду Неклюдовъ былъ горячій поклонникъ института присяжныхъ, онъ ставилъ этотъ институтъ во главу угла судебной реформы. Въ своемъ письмѣ ко мнѣ въ концѣ 1862 г. въ тезисѣ 9 онъ выражается такимъ образомъ: «признаніе обществомъ извѣстнаго дѣянія своего члена преступнымъ выражается въ приговорѣ присяжныхъ». Я думаю что и въ 1384 г. Неклюдовъ былъ одинаково приверженъ къ институту, но во взглядахъ нашихъ на болѣзнь института, на ея причины и на средства лѣченія мы радикальнѣйшимъ образомъ разошлись. По моему высказанному передъ сенатомъ убѣжденію, причины болѣзни заключались въ томъ, что нашъ уголовный кодексъ слишкомъ устарѣлый не годится для присяжныхъ, что вслѣдствіе неправильнаго отношенія присяжныхъ къ суду имъ ставятся и предлагаются вопросы неизбѣжно ведущіе къ противорѣчивымъ отвѣтамъ, что бессмысленно дѣленіе по 754 ст. уст. угол. суд. главнаго вопроса о виновности на три элементарные: о событіи преступленія, содѣяннѣ его подсудимымъ и вмѣненіи содѣяннаго въ вину. Существеннѣйшею же причиною скандальныхъ оправданій я считалъ и считаю то, что передъ новымъ институтомъ всѣ у насъ раболѣпствовали, всѣ ему внушали, что присяжные призваны и судить и миловать, что необходимо и въ законъ внести и поучать присяжныхъ, напутствуя ихъ въ комнату совѣщаній, что они нравственно обязаны судить не только по правдѣ и совѣсти, но и по существующему закону. Правильно или неправильно заключать

я по вопросу о присяжныхъ, о томъ не мнѣ самому судить, но я по совѣсти и теперь скажу, что Неклюдовъ сильно заблуждался относительно отыскиваемыхъ причинъ несомнѣннаго зла. Скандальные вердикты присяжныхъ онъ относилъ, главнымъ образомъ, на счетъ излишества и злоупотребленій словомъ защитниковъ подсудимыхъ. Онъ требовалъ ограниченій, онъ просилъ сенатъ поставить защиту въ такія рамки, чтобы она не смѣла представлять явно виновнаго правымъ, черное бѣлымъ, преступное по закону дозволеннымъ, попирая такимъ образомъ и законы религіи, и законы морали, и законы общественнаго строя. Словами, заимствованными изъ библейской Книги Бытія, онъ призывалъ грома небесныя на главныхъ виновниковъ «судебнаго потопа». Онъ просилъ чтобы воспрещено было защитѣ требовать, чтобы ей отпущенъ былъ ея Варавва и распинать и потерпѣвшаго и свидѣтелей и обвиняющую власть и самъ законъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что могутъ быть и бываютъ словесныя излишества и со стороны защиты и со стороны прокуратуры, а иногда и со стороны предсѣдателя суда. Противъ злоупотребленій словомъ защитниковъ имѣются достаточныя средства и во власти предсѣдателя и въ дисциплинарномъ производствѣ въ совѣтахъ присяжныхъ повѣренныхъ. Но требованіе чтобы защитѣ запрещено было относиться критически къ закону, чтобы защитѣ запрещено было представлять по ея усмотрѣнію подсудимаго невиновнымъ, чтобы ей запрещено было просить о полномъ его оправданіи—равносильно превращенію защиты изъ дѣйствительной въ мнимую. Уничтожится въ самомъ корнѣ равноправность состояющихъ сторонъ, подорвано будетъ одно изъ существеннѣйшихъ основаній суда. При томъ предложеніе Неклюдова обнаруживало какъ мало онъ цѣнилъ самъ институтъ, коль скоро онъ предполагалъ, что нѣсколько лишнихъ словъ, сказанныхъ защитникомъ, что прочтеніе на судѣ нѣсколькихъ неподлежащихъ оглашенію бумагъ могутъ заставить ихъ признать черное бѣлымъ и виноватаго правымъ. При такой слабости института едва ли возможно его отстаивать.

Рѣчь Н. А. Неклюдова по дѣламъ Свиридова и Мельницкихъ столь прямо клонилась къ подорванію одного изъ главныхъ устоевъ правосудія, что предсѣдатель совѣта С.-Петербургскихъ присяжныхъ повѣренныхъ и четверо бывшихъ предсѣдателей того же совѣта, въ числѣ которыхъ былъ и я, рѣшили опубликовать въ газетахъ свой протестующій отвѣтъ на эту рѣчь. Приведу одну фразу изъ этого протеста, которая хотя и направлена нами противъ оберъ-прокурора уголовного кассационнаго департамента, но содержитъ величайшую похвалу для него же, какъ для ученаго и писателя. Мы усомнились въ смыслѣ словъ: «распирать законъ». «Если эти слова означаютъ, писали мы, критическое отношеніе къ закону, то оно желательно. Намъ памятенъ одинъ писатель, который, можно сказать, живой нитки не оставилъ въ цѣлыхъ раздѣлахъ нашего уголовного кодекса и вгонялъ гвоздь за гвоздемъ, распиная одну статью за другою. Это авторъ четырехъ томовъ руководства къ особенной части русскаго уголовного права Николай Андріановичъ Неклюдовъ. Неужели защитѣ будетъ запрещено приводить просто на просто выдержки изъ руководства Н. А. Неклюдова?»

Какъ водится между порядочными и образованными людьми споръ нашъ не повліялъ на перемѣну нашихъ частныхъ отношеній, которыя остались неизмѣнно хороши. Я не былъ на столько близокъ къ Неклюдову, чтобы заговорить съ нимъ по раздѣлявшему меня съ нимъ вопросу, онъ также не затронулъ этого предмета. Я думаю что въ послѣднее время онъ и самъ не отстаивалъ бы своихъ прежнихъ взглядовъ, такъ какъ многое съ тѣхъ поръ измѣнилось. 8 февраля сего года я сидѣлъ возлѣ него на университетскомъ обѣдѣ. Затѣмъ въ маѣ мы посѣтили его съ К. К. Арсеньевымъ, прося его заступничества за одного литератора. Мы въ немъ нашли самое ласковое, самое благожелательное отношеніе къ нашей просьбѣ, величайшую простоту въ приѣмѣ и ни малѣйшихъ слѣдовъ сановитости. Мы бесѣдовали съ нимъ точно товарищи, точно мы находились въ атмосферѣ той университетской жизни, которою мы жили тридцать пять лѣтъ тому назадъ.

Мои воспоминанія о Неклюдовѣ исчерпаны. Мнѣ кажется, что я не оскорблю памяти умершаго, когда въ виду его рѣдкихъ способностей и необычайной талантливости, скажу что онъ не осуществилъ всѣхъ надеждъ, которые на него могла возлагать интеллигентная Россія; что онъ не провелъ по обществу такой глубокой борозды, которую бы провелъ, если бы болѣе себя сосредоточилъ, если бы не издержалъ себя на тысячи трудовъ мало замѣтныхъ и мало содержательныхъ, исполненныхъ по даннымъ ему указаніямъ и по обязательнымъ для него направленіямъ. Я слышалъ много разъ сужденія о немъ такого рода, что онъ размѣнялъ себя на мѣдные деньги. Въ оправданіе его можетъ быть приведено то, что восьмидесятые года были вообще мало благопріятны для широкой дѣятельности. Я увѣренъ что въ существѣ своемъ онъ оставался прогрессивнымъ человѣкомъ, я увѣренъ что не смотря на свой властный порывистый темпераментъ (*temperament autoritaire*) въ немъ была еще закваска того либерализма, которымъ мы нѣкогда гордились, пока само наименованіе не превратилось чуть ли не въ бранное слово. По странной ироніи судьбы онъ умеръ именно тогда, когда, повидимому, есть нѣкоторые порывы къ иному и къ лучшему. Я глубоко убѣжденъ, что Н. А. Неклюдовъ заслуживаетъ почета за то, что онъ совершилъ и что мы должны помянуть его добромъ.

IV.

**Рѣчь о прошедшемъ и будущемъ судебныхъ уставовъ
въ общемъ собраніи юридическаго Общества при С.-Петер-
бургскомъ Университетѣ 20 ноября 1899 г.**

Одинъ изъ любимыхъ мною поэтовъ написалъ стихи, которые я могу привести только въ переводѣ, далеко уступающемъ подлиннику:

...Пусть камнемъ тѣшится дитя
И пусть растетъ, не покидая
Того же камня; въ край изъ края
Съ нимъ переходитъ цѣлый вѣкъ;
Ужъ старецъ пусть въ послѣдній часъ
Падетъ онъ головой склонясь
На тотъ же камень свой завѣтный.
Послушай! Ежели тогда
Слезъ не прольетъ и самый камень,
Возьми его и безъ суда
Повергни прямо въ адскій пламень!

(Мицкевичъ, Дѣды, ч. IV).

Меня могутъ спросить, сказка ли это? выдумка ли поэта? Нѣтъ, это правда или, по крайней мѣрѣ, символическое воспроизведеніе дѣйствительности. Это часть жизнеописанія если не всѣхъ здѣсь присутствующихъ, то нѣкоторыхъ изъ нихъ, людей постарше, такъ называемыхъ людей пятидесятихъ годовъ... Перемѣните предметъ, вмѣсто камня булыжника поставьте книжку небольшую, печатную, съ малоинтереснымъ для профановъ заглавіемъ: су-

дебные уставы 20 ноября 1864 г. Сдѣлайте еще другое измѣненіе: предположите, что имѣющіеся въ вашей средѣ старики стали тѣшиться своею игрушкою не тогда, когда они были дѣти, но когда они были подростающіе или взрослые, возрастомъ за 30 лѣтъ, что они помогали сочинять эту книжку, что они затѣмъ 35 лѣтъ возятся съ нею, проповѣдуя, толкуя и примѣняя то, что въ ней написано. Вообразите, что они носили эту книжку, такъ сказать, за пазухой, ухаживали за нею, какъ кормилица за ребенкомъ, что на глазахъ ихъ она толстѣла, разбухла, что на ней показывались тунеядныя растенія въ видѣ плесени или грибовъ, которые приходилось срѣзывать, что порою, въ ненастье, вихорь вырывалъ изъ книжки страницы или цѣлыя листы, которые сыпались точно мертвыя листья и разносились, что приходилось чинить попорченное, ставить заплаты, передѣлывать многое по новымъ замысламъ, по новымъ идеаламъ. Значительная такого рода, сплошная передѣлка имѣется уже на верстахъ, поставлена на череду. Говорять, что все въ мірѣ совершенствуется, идетъ къ лучшему. Хотѣлось бы вѣрить, что оно бываетъ точно такъ. Но то будутъ новыя судебныя уставы, новыя скрижали завѣта, мы же возились только съ старою подержанною и растреланною книжкою, которая тѣмъ именно дорога, что пропитана нашимъ прошлымъ, что изъ нея каплютъ наши собственныя слезы. Эту-то загасканную книжку мы ни въ какомъ случаѣ не ввергнемъ въ адскій пламень. Позвольте мнѣ выразить, господа, почему мы любимъ это отходящее, и при какихъ условіяхъ мы могли бы эту любовь перенести на несуществующее, еще грядущее и служить ему съ такимъ безкорыстіемъ, съ такою же преданностью, съ какими мы служили отходящему старому.

Когда я мысленно переносусь въ первые дни истекающаго 35 лѣтія, то мнѣ невольно вспоминается первая глава книги Бытія: «и рече Богъ: да будетъ свѣтъ, и бысть свѣтъ». Эти слова изображаютъ не сотвореніе міра, они позднѣе. Уже существовали небо и земля, но земля

была невидима. Такъ точно и до уставовъ 20 ноября существовали неисчислимыя законы, ходила также весьма распространенная бессмысленная поговорка: законы святы, но исполнители лихіе супостаты. Судебныя уставы сдѣлали только то, что введенъ независимый отъ администраціи, самостоятельный судъ, не распоряжающійся ничѣмъ, но только изрекающій, что въ правоотношеніяхъ законно и что незаконно. Въ такой громадинѣ, какъ государство, ничто не дѣлается вмигъ. Нельзя сказать, чтобы оно вдругъ сдѣлалось *правовымъ*, но рѣшено, что оно должно сдѣлаться правовымъ. Подъ него по частямъ, съ большими натугами и дѣйствуя сообща, стали подводить гранитный фундаментъ, именуемый *законностью*. Этотъ фундаментъ еще не нынѣ, а со временемъ сдѣлается сплошнымъ, тогда и государственное зданіе сдѣлается гостепріимнымъ пристанищемъ для гражданственности и культуры. Законы никогда не бываютъ святы, но заведется такой порядокъ, что, несмотря на свои недостатки, они будутъ соблюдаемы. Прежніе исполнители никакъ не были супостаты, то есть злоумышленники; подобно людямъ вообще, они грѣшили чаще неразуміемъ, нежели умысломъ. При безграничномъ господствѣ личнаго произвола не было прежде на нихъ никакой управы, теперь эта управа нашлась. Сталъ водворяться никогда прежде небывалый порядокъ вещей, въ которомъ никто, кто бы онъ не былъ, не вправе требовать отъ другихъ: моему ты праву не препятствуй. Всякому отмежевана его область дѣйствія, но за то въ этой, можетъ быть и тѣсной, области онъ полный хозяинъ и владыка.

По своей задачѣ судебныя уставы шире и общѣ крестьянской реформы, которая освободила часть населенія отъ состоянія, похожаго на рабство, но не сдѣлала еще изъ крестьянъ гражданъ, похожихъ на людей другихъ состояній. Они не сдѣлались самостоятельными, остались подопечными. Не могу не признать, что въ самомъ планѣ новаго судоустройства были крупныя промахи. Главный изъ нихъ состоялъ въ томъ, что сооружены два

отдѣльныя несообщающіяся зданія, вмѣсто одного цѣльнаго многоэтажнаго: одно—мировое, другое—обыкновенная юстиція. Никто на первыхъ порахъ этихъ недостатковъ не подмѣтилъ. Судебные уставы поразили сразу всѣхъ двумя необычайно смѣлыми идеями, двумя рискованными нововведеніями, которыя не только удались, но и превзошли всѣ ожиданія. Одна изъ этихъ идей была судъ съ присяжными, а другая — кассационные департаменты Правительствующаго Сената.

Присяжные засѣдатели входятъ въ область одного уголовного судопроизводства и притомъ не по всѣмъ дѣламъ, а только по самоважнѣйшимъ. Но несмотря на эту ограниченность, судъ съ присяжными сталъ сразу краеугольнымъ камнемъ, первообразомъ и нормальнымъ типомъ всякаго уголовного судопроизводства; косвенно же онъ повліялъ и на гражданское. Вслѣдствіе введенія его точно можемъ быть вырѣзанъ злокачественный пережитокъ старины: теорія предустановленныхъ закономъ доказательствъ правды или вины. Насталъ судъ по совѣсти и убѣжденію, водворились устность и гласность, за живыми рѣчами сторонъ на судѣ силою вещей признана была такая свобода слова на судѣ, какою еще не пользовалась печать, передававшая ихъ безъ опасенія за себя, какъ совершающіяся всенародно общественныя событія.

Другой институтъ -- кассація — оказался на высотѣ своей задачи. Можно было опасаться страшнѣйшей судебной волокиты, которая, однако, не была допущена. Дѣйствіемъ кассационныхъ инстанцій установилось безпримѣрное по району дѣйствія единство судебной практики. Послѣдовало притомъ, такъ сказать, одухотвореніе закона, который изъ сухого и мертваго предмета, какимъ онъ казался, сдѣлался упругимъ, гибкимъ, дающимъ новые ростики. Судебныя рѣшенія сдѣлались авторитетнымъ подспорьемъ законодательства, пополняющимъ пробѣлы и развивающимъ его. Только опытный глазъ знатока различить, по ихъ относительному вѣсу, законъ и кассационное рѣшеніе, уваженіе народа къ обоимъ одинаково. Всѣ

судилища, начиная снизу и до верху, то есть до Правительствующаго Сената, состоятъ сотрудниками въ великомъ дѣлѣ осмысливанія закона. Положено начало той драгоценнѣйшей капитализаціи судейскаго анализа и опыта, при существованіи которой сочныя плоды практики не пропадаютъ, работа становится легка и привлекательна, какъ своего рода художество. Да будетъ за то честь и слава нашей весьма молодой еще магистратурѣ.

Я передъ вами, господа, развѣтывалъ только одинъ красивый, казовый конецъ предмета. Я бы погрѣшилъ противъ истины, если бы умолчалъ о слабой его сторонѣ, объ изнанкѣ, такъ сказать, судебной реформы. Нѣтъ побѣды безъ борьбы. Изъ борьбы выходитъ побѣдитель, хотя и уцѣлѣвшій, раненымъ и искалѣченнымъ. Судебные уставы произвели громадную ломку въ общественномъ быту. Они сочинялись собственно сначала только для одного центра государства, для его сплошнаго недифференцирующагося ядра. Въ самомъ этомъ ядрѣ они встрѣтили противодѣйствіе. Затрудненія неимоვნно осложнялись при примѣненіи ихъ къ окраинамъ, пестрѣющимъ національными и инородческими примѣсами и разновидностями. Даже въ самомъ центрѣ государства имѣются нѣкоторые отдѣлы судопроизводственные, которые послѣ 35-лѣтія не вышли изъ зачаточнаго состоянія, имѣютъ видъ неразвернувшихся почекъ. Я разумѣю адвокатуру, которая немыслима безъ корпоративнаго устройства, а таковое она получила только въ трехъ пунктахъ (С.-Петербургѣ, Москвѣ и Харьковѣ). Въ остальныхъ пунктахъ она не адвокатура, а только ея подобіе.

Въ самой сердцевинѣ государства пробнымъ камнемъ по вопросу объ удачѣ реформы былъ институтъ присяжныхъ засѣдателей. Онъ уцѣлѣлъ, несмотря на усиленный прибой волнъ той неизбежной реакціи, которая роковымъ образомъ слѣдуетъ за всякою глубокою реформою, но вышелъ сокращенный, умаленный вслѣдствіе изъятія изъ его вѣдѣнія множества крупныхъ уголовныхъ дѣлъ. Его замѣщеніе судомъ съ сословными представителями ока-

залось не вполне удачнымъ и неокончательнымъ опытомъ, такъ что вопросъ остается открытымъ. Во всякомъ случаѣ будущее института присяжныхъ засѣдателей въ Россіи можно считать обезпеченнымъ.

Въ той же сердцевинѣ государства произошло то, что я бы назвалъ скрещеніемъ двухъ реформъ, не совпадающихъ, не вполне укладываемыхъ одна съ другою. Я уже сказалъ, что судебная была шире по замыслу, она шла позднѣе, за то крестьянская была глубже и труднѣе. Въ виду особенностей крестьянскаго дѣла, закономъ 12 іюня 1889 года объ участковыхъ земскихъ начальникахъ произведено крупное отступленіе не только отъ судебныхъ уставовъ, но—что важнѣе—и отъ основныхъ положеній преобразованія по судебной части 29 сентября 1862 года, установившихъ, что исполнительная власть отдѣляется отъ судебной, что не можетъ быть смѣшенія полицейской и судебной властей. Существенная часть судопроизводства по судебнымъ уставамъ—выборная мировая юстиція превратилась изъ общаго правила въ изъятіе, въ доживающій свой вѣкъ пережитокъ. Возникли новыя, смѣшаннаго характера установленія, уже не находящіяся подъ навѣсомъ кассаціонной власти Правительствующаго Сената. Будущность судебныхъ уставовъ въ значительной степени зависитъ отъ того, будутъ ли задѣланы тѣ трещины, которыя образовались въ куполѣ судебного зданія? будетъ ли опять вся судебная власть объединена?

Окраины государства совсѣмъ не принимались въ расчетъ при сочиненіи судебныхъ уставовъ. Предполагалось, что судебные уставы 20 ноября будутъ со временемъ приспособляемы по мѣрѣ возможности къ окраинамъ, съ большими или меньшими измѣненіями по существу при посредствѣ политическихъ соображеній, сообразно съ меньшимъ довѣріемъ правительства къ мѣстному населенію, что необходимо будетъ произвести нѣкоторыя ограниченія либеральныхъ началъ въ уставахъ, нѣкоторыя отмѣны тѣхъ гарантій для личности, которыми мы вообще наиболѣе дорожимъ. Можно было либо рѣшиться подождать,

пока окраинныя мѣстности подготовятся къ воспріятію цѣльныхъ уставовъ 20 ноября, либо вводить немедленно особые украинныя уставы, уступающіе кореннымъ уставамъ 20 ноября по своему качеству и содержанію, по своей относительной добротѣ. Избранъ былъ второй способъ. Особые окраинныя судебныя уставы вводились, какъ окончательные и нормальные, подъ общимъ, не совсѣмъ подходящимъ флагомъ уставовъ 20 ноября, о чемъ собственно не слѣдуетъ сожалѣть, потому что, какъ извѣстно всякому многоопытному человѣку, самыми вѣковыми оказываются на дѣлѣ тѣ мѣропріятія, которыя вводятся въ видѣ опыта, какъ временныя мѣры.

Введеніе судебныхъ уставовъ на окраинахъ сопровождалось обыкновенно тѣмъ, что мѣстные суды, дѣйствующіе на мѣстныхъ языкахъ, упразднялись и вмѣсто нихъ вводился судъ, употребляющій одинъ только русскій языкъ, не только въ своихъ постановленіяхъ и приговорахъ, гдѣ онъ неизбеженъ, но и во всякихъ сношеніяхъ суда съ судящимися и судимыми. Со введеніемъ въ судоговореніе исключительно русскаго языка судебный вопросъ неизбежно получалъ мало свойственную ему національно-политическую окраску. Для русскаго дѣятеля, призываемаго изъ центра государства водворять правосудіе на окраинахъ, велико было искушеніе осуществлять одними и тѣми же приемами двѣ цѣли вдругъ: и юридическую, и филологическую. Я рискую можетъ быть остаться съ моимъ мнѣніемъ почти въ одиночествѣ, но я это мнѣніе высказывалъ уже въ юридическомъ обществѣ и боюсь, какъ бы изъ моего молчанія не заключили, что я отъ него отказался, а потому и прошу меня терпѣливо выслушать. По моему крайнему разумѣнію двѣ цѣли, юридическая и филологическая, не совпадаютъ и могутъ одна другой противодѣйствовать. Указываю для примѣра на одно изъ цѣннѣйшихъ пріобрѣтеній по судебнымъ уставамъ— на институтъ присяжныхъ, и спрашиваю, возможенъ ли этотъ институтъ безъ того, чтобы въ судоговореніи, кромѣ русскаго, не былъ употребляемъ безъ по-

средства переводчиковъ мѣстный языкъ населенія. Значить, въ окраинѣ не будетъ никогда введенъ судъ присяжныхъ.

Есть два различные способа, которыми государство можетъ ассимилировать себѣ иноплеменниковъ, внутри его находящихся: своими учрежденіями и своимъ государственнымъ языкомъ. Учрежденія прививаются на новой для нея почвѣ тѣмъ скорѣе, чѣмъ они понятнѣе. Мѣстное населеніе не можетъ не принимать перемѣну, какъ тягость, когда съ органами власти оно не можетъ по своему объясниться. Отъ государства вполне зависитъ облегчить перемѣну и устранить самый поводъ къ сѣтованіямъ. Контингентъ людей, ищущихъ почетнаго званія судей, весьма великъ, между ними возможенъ выборъ, и можно назначать только такихъ, которые бы могли объясняться и безъ переводчиковъ, т. е. людей знающихъ мѣстный языкъ, а слѣдовательно до извѣстной степени знакомыхъ съ нуждами и бытомъ мѣстнаго населенія, среди котораго они будутъ судействовать. Судоговореніе посредствомъ переводчиковъ есть главная причина крайней неудовлетворительности и отсталости судопроизводства въ Закавказскомъ краѣ. Я бывалъ въ Туркестанѣ и не могу себѣ представить, какъ можно будетъ въ этомъ громадномъ краѣ, населенномъ сартами, узбеками и персами, справиться со своею задачею по уставамъ 20 ноября, хотя бы и при посредствѣ наилучшихъ переводчиковъ.

Мнѣ могутъ возразить, что я поднимаю несвоевременный вопросъ. Отвѣчаю: вопросъ можетъ быть несвоевремененъ, но онъ открытъ, онъ вопросъ будущаго, съ нимъ необходимо считаться и его правильное разрѣшеніе сразу повело бы къ возстановленію временно утраченнаго единства судоустройства и судопроизводства. Оно бы поставило прямо и ясно ту идеальную цѣль, которую не должны, какъ мнѣ кажется, терять изъ виду и законодатель и судья: скрѣплять между собою части государства единственнымъ пригоднымъ къ тому цементомъ: хорошими однообразными учрежденіями.

Моя задача кончена. Знамя, подъ которымъ мы подвизаемся, славное уже и почтенное. Мѣстами оно обгорѣло или закопчено боевымъ дымомъ, мѣстами оно прострѣлено. Само древко, къ которому оно прикрѣплено, пострадало. И древко, и знамя придется обновить. Намъ, труженикамъ въ этой арміи судебныхъ дѣятелей, незначѣмъ унывать, но не приходится ни ложиться на лавры, ни отдыхать, ни трубить побѣду. Желаемая побѣда можетъ послѣдовать только подъ условіемъ, если подъ новымъ знаменемъ, по надписи только тождественнымъ съ старыми уставами 20 ноября, но сооруженнымъ изъ иного вещества, мы будемъ одушевлены тѣми же человѣческими убѣжденіями, какія лежали въ основаніи старыхъ уставовъ, если насъ будетъ вдохновлять не буква, а духъ этихъ уставовъ, сквозящіе въ этихъ уставахъ идеалы, если мы не будемъ держаться слѣпо за уставы, какъ за конечный предѣлъ добра, но будемъ ихъ непрестанно развивать, починавъ и совершенствовать.

V.

Рѣчь на польскомъ обѣдѣ наканунѣ Рождества 12—24 декабря 1896 г.

Если бы кто меня спросилъ, что считаю я вершиною и апогеемъ умственной силы человѣка, не въ его творчествѣ, научной или художественной дѣятельности, но во всей сферѣ нравственной и общественной, въ которой единятся другъ съ другомъ и простые смертные и гении, я бы сказалъ что эта умственная мощь всего ярче и выпуклѣе проявляется въ способности человѣка господствовать не только надъ своимъ вниманіемъ, напрягая его по произволу, но и надъ своими мыслями, воспоминаніями и эмоціями.

Каждый изъ насъ способенъ воспроизводить состоянія души уже миновавшія и пережитыя, онъ можетъ ихъ воскрешать и повышать, можетъ вызывать тоже состояніе и настроеніе въ родственныхъ ему душахъ, такъ что эти раздуваемые и взаимно поддерживающія себя расположенія могутъ разрѣшаться или проливнымъ дождемъ слезныхъ скорбей или радугами взаимныхъ надеждъ или яркимъ пламенемъ взаимной любви, очищающимъ всякую сквернь или тѣмъ, что образуется общая цѣпь держащихся одна за другія рукъ, опоясывающихъ шаръ земной и толкающихъ его на новые пути.

Подобные восторги и эмоціи могутъ быть проявляемы и періодически въ извѣстные дни, въ извѣстныя годовщины. Одну такую годовщину справляемъ мы сегодня, годовщину величайшую самоважнѣйшую и наиболѣе рас-

пространенную. Для каждого изъ насъ это несомнѣнно и семейный и народный праздникъ, торжествуемый по искони установившемуся обряду. — Памятенъ мнѣ, какъ будто бы онъ былъ справляемъ вчера, канунъ Рождества 1846 г., ровно полвѣка тому назадъ. — Созвалъ на такую вечерню насъ студентовъ университета и воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній одинъ увлекательный энтузіастъ (С. Сѣраковскій). Ужинали мы въ Галерной въ кухмистерской госпожи Богдановичъ. Было насъ больше сотни. Происходило нѣчто похожее на таинство крещенія или причащенія въ духѣ конечно не библейскомъ, но все таки въ духѣ самой возвышенной поэзіи «Разсвѣта» (С. Красинскаго). Къ нашему празднеству кануна Рождества совокуплялись литературныя воспоминанія. Въ самый день кануна родился 58 лѣтъ тому назадъ Адамъ Мицкевичъ, то былъ день его рожденія и именинъ. Эти воспоминанія конечно мельчаютъ передъ иными болѣе важными имѣющими всечеловѣческій характеръ. Ко всему роду человѣческому относилось предсказаніе ангела: «Не бойтесь, благовѣствую вамъ радость великую, которая будетъ всѣмъ людямъ: родился вамъ сегодня Спаситель». — И появились воинства небесныя, возвѣщающія ради чего пришелъ Спаситель, онъ пришелъ спасать людей благой воли: «слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ и въ людяхъ благоволеніе» (Ев. отъ Луки гл. 2). — ... Кто собственно эти люди благой воли? Проходятъ года, десятки лѣтъ и цѣлыя эпохи, когда эти слова произносятся какъ красивыя голосовые звуки, когда они точно мелодія, не имѣющая болѣе глубокаго значенія. Бываютъ однако минуты и къ нимъ я присовокупляю настоящую, когда слова эти становятся трудно рѣшимою загадкою, когда они могутъ слагаться въ драму, въ нѣчто трагическое, потому что отъ надлежащаго или ошибочнаго рѣшенія ихъ можетъ зависѣть счастье или бѣдствіе, жизнь или смерть.

Извѣстно вамъ что мы дѣти родившіеся по смерти родителей, что мы родомъ изъ могилы. Никогда мы не видали по словамъ поэта (С. Красинскаго) «какъ свѣтятся

глаза матери и какъ она любитъ дѣтьми».— Съ конца XVII столѣтія, со смертію Собѣскаго, со временъ Карла XII и Петра Великаго Польша уже перестала быть самостоятельной державою. — Стало пословицею, что Польша держится безначаліемъ (*nierzadem stoi*). Она существовала благодаря распрямъ и недоразумѣніямъ междоусобныхъ ближайшихъ ея сосѣдей. Послѣ раздѣловъ Польши патріотическій долгъ ея дѣтей — людей благой воли опредѣлялся просто и ясно: они обязаны были возсоздать ее матеріально, государственно, матеріальными средствами, а такъ какъ таковыхъ средствъ имъ принадлежащихъ у нихъ не было, то съ помощью извнѣ, посредствомъ разныхъ политическихъ комбинацій. Отсюда происходила наша вассальная зависимость отъ западной Европы. «Рожденный въ рабствѣ, въ цѣпи закованный въ пеленкахъ», писалъ Мицкевичъ, «я только одну весну такую имѣлъ во всю мою жизнь», весну кровавую и роковую 1812 года, весну съ одной стороны ошибочнѣйшихъ надеждъ, а съ другой весну несправедливѣйшей наѣзднической войны.

Мы болѣзненно возчувствовали разгромъ Франціи въ 1870, но событія 1870 г. имѣли и тотъ благой для насъ результатъ, что освободили насъ сразу отъ закрѣпощенія Наполеоновской идеѣ. Пока существовало это ослѣпленіе, нашъ патріотическій долгъ представлялся намъ въ слѣдующемъ видѣ: жить точно на стоянкѣ на пути во время переѣзда, перебиваться кое какъ изо дня въ день, лишь бы явиться только въ рѣшительную минуту на общій смотръ, когда позоветъ насъ къ дѣйствию невѣдомая сила и все отдать тогда отечеству: имущество, жизнь, даже спасеніе души. — «Я принесу въ жертву весь мой животъ будущій и теперешній» — восклицаетъ у Гарчинскаго герой его поэмы Вацлавъ. Онъ идетъ по стопамъ Валенрода, котораго любовь къ отечеству столь велика, столь ослѣпительна, что походить на языческую, не отступающую даже отъ измѣны.

Вопросъ о томъ какая должна быть благая воля сильно загудался въ срединѣ XIX вѣка. Въ 1846 сверкнули

разбойническіе ножи галиційской рѣзни. Мы испытали на себѣ что мы скованы, что мы тащимъ за собою точно каторжники прикрѣпленное къ ногѣ пушечное ядро крѣпостничества, неразрѣшенный крестьянскій вопросъ, нашъ первородный и неискупленный еще грѣхъ. Явился вождь болѣе проникательный нежели Мицкевичъ, поэтъ безнадежнѣйшій, *sperans contra spem*, откладывающій срокъ спасенія на какую нибудь тысячу лѣтъ. Этотъ тысячелѣтокъ (*millenarius*) возвысилъ и облагородилъ цѣль нашихъ пожеланій и превратилъ нашъ патріотизмъ въ нѣкотораго рода религію ¹⁾. «Ты мнѣ уже не край—не мѣсто, не долгъ, не обычай—не кончина государства или его явленіе, но сама вѣра, само право». Эту далекую мишень всѣхъ пожеланій поэтъ нашъ обливалъ потоками струящагося изъ него электрическаго свѣта.

Замѣтимъ притомъ что этотъ поэтъ пророкъ и творецъ особой религіи специально полякамъ предназначенный, имѣлъ міросозерцаніе мутное и былъ самъ въ себѣ, въ сознаніи своемъ раздвоенъ. До конца жизни Красинскій былъ аристократъ, онъ признавалъ себя членомъ аристократическаго народа-избранника, обреченнаго на то чтобы владѣть и не могъ совладать съ непреодолимымъ отвращеніемъ въ себѣ къ другимъ народамъ, напримѣръ къ русскому. «Съ молокомъ матери воспріялъ я, что нетерпѣніе васъ, есть прямота и святое дѣло. Что эта ненависть все мое добро... что я ее не отдалъ бы, развѣ за польскую корону»...

Поэтъ не могъ выдѣлить изъ себя старую языческую закваску, потому что въ умѣ его было однако иное сознаніе, совсѣмъ инныя нравственныя требованія. Онъ самъ толкуетъ въ «псалмѣ благой воли» почему теперешняя Польша развѣнчана и почему она вдовствуетъ. «Ей только грезились одни кончины, она не имѣла внутри себя достаточнаго количества тѣхъ Божіихъ искръ, чтобы опять воспрянуть и воскреснуть».

¹⁾ Сигизмундъ Красинскій.

Само представленіе о Польшѣ у Красинскаго не смотря на свою возвышенность сильно матеріалистическое. Неизвѣстно что болѣе цѣнилъ онъ и чѣмъ больше дорожилъ, самъ ли ликъ Польши съ ея страданіями и ранами или тотъ кусокъ короны, который приросъ къ ея челу и тотъ лоскутъ багряницы, которую накинута на нее поэтъ. Мы остаемся въ неизвѣстности пошелъ ли бы онъ за этою Польшею если бы онъ узрѣлъ ее развѣнчанною и безъ всякаго скипетра въ рукахъ. Красинскій только поднималъ слегка нравственный вопросъ, но онъ даже и не пытался его разрѣшить и отступилъ назадъ спросивъ только предковъ: «Зачѣмъ при жизни вы эту жизнь такъ надменно расточили, что потомкамъ недосталось ни могущества ни наслѣдства, а вмѣсто ихъ отечества, одно лишь посѣщенное въ куски тѣло страны» (Przedswit). Вслѣдствіе этого уклоненія вспять отъ разрѣшенія нравственнаго вопроса, поэтъ не объяснилъ намъ вовсе что мы должны дѣлать въ эту тысячу лѣтъ, пока придетъ предсказываемое имъ царствіе. Спрашивается должны ли мы только держаться и эту неизмѣняемость нашу ставить себѣ въ единственную нашу заслугу? Но этой Польши убываетъ изо дня въ день какой-нибудь кусочекъ. Пока пройдутъ года выжиданія выкрошится она по кусочкамъ, до послѣдняго остатка, такъ что затѣмъ отъ насъ будетъ лишь куча мусору—и только.

Пришла пора положить конецъ этому недоразумѣнію, этой путаницѣ понятій, этому обусловливанію счастья народа одними только политическими формами быта, этому отождествленію свободы народа съ его господствующимъ положеніемъ.

Народы не должны быть дѣлимы на господствующіе и зависимые. Всѣ народы, какіе только есть настоящіе и будущіе должны быть свободны по языку и нравамъ, никому изъ нихъ не слѣдуетъ препятствовать въ разработкѣ его собственной особенной культуры. Но не слѣдуетъ отождествлять народъ и государство. Государство не состоитъ никогда изъ одной сплошной національности.

Народы въ государствѣ бываютъ политически объединены, а гдѣ есть объединеніе многихъ, тамъ должно быть какое нибудь начало преобладающее и первенствующее по сравненію съ другими какъ *primus in her peres*. О томъ чѣмъ бываетъ федерація политически объединенныхъ народовъ мы кое что знаемъ, мы сами были вѣдѣ ничто то иное какъ федерація, разрастающаяся чрезъ добровольное присоединеніе къ ней равноправныхъ національностей. Когда наша федерація была разбита на свои составныя части и раздѣлена, тогда только въ прежнихъ ея границахъ обособился тотъ польскій элементъ, который былъ въ прежней федераціи ея связъ и элементъ, но уже не годится на то, чтобы прежнее цѣлое воздвигнуть и установить.

Кто добивается того, чтобы его понизившійся народъ былъ не только свободнымъ но и политически первенствующимъ, не имѣя на то никакихъ другихъ основаній кромѣ старыхъ, спорныхъ документовъ, подвергшихся можетъ быть и дѣйствию давности, тотъ становится въ положеніи наслѣдниковъ разорившагося вельможи, которые нищенствуютъ, питаются можетъ быть, только слезами, живутъ подачками, одѣваются въ лохмотья своего давнишняго княженія и вѣрують, что безъ всякаго къ тому ихъ личнаго содѣйствія пережитое прошлое вернется къ нимъ какимъ то чудомъ, что они будутъ введены кѣмъ то опять во владѣніе утраченными праотцовскими помѣстіями. Свойственная намъ гордость должна насъ воздерживать отъ такого сорта честолубія. Мы не вправѣ позировать какъ низведенные съ престола претенденты. Мы не будемъ искать какія были вины по отношенію къ намъ праотцевъ нашихъ; мы готовы приписать исторической необходимости печальную нашу участь, но мы не должны никогда забывать, что мы люди знатнаго и богатырскаго племени и рода и что эти воспоминанія, хотя не даютъ намъ никакихъ правъ, но возлагаютъ на насъ не легкія обязанности. Стоя на одномъ уровнѣ со всѣми народами и не чванясь ни сколько, мы должны

сильно работать, а такъ какъ мы не обдѣлены умственными способностями, то мы несомнѣнно дождемся что и насъ причислятъ къ народамъ передовымъ по еulturѣ и цивилизаціи.

Всѣ знаютъ какъ ненавидѣлъ С. Красинскій биржу, весь міръ современный общественный представлялъ онъ себѣ какъ арену цирка, на которой борются съ перевѣсомъ поочередно то по той то по другой сторонѣ алчность наживы или страхъ войны, такъ что вся земля есть ничто иное какъ биржа безъ всякаго Бога. Мнѣ кажется, что поступая при благой волѣ по указанному мною направленію, мы сдѣлаемъ все возможное чтобы земля не превратилась въ биржу и не была бы безъ Бога.

Не нахожу для заключенія моей рѣчи инаго болѣе подходящаго выраженія, какъ слѣдующіе послѣдніе стихи изъ «Псалма благой воли» (Psalm dobrej woli) Красинскаго начинающагося такъ: «ты все намъ далъ что могъ дать, о Господи» и содержащаго въ себѣ одну великую правду: «безъ насъ самихъ ты спасти насъ не можешь». Конецъ этого псалма слѣдующій:

«Молимъ тебя сотвори въ насъ чистыя сердца,—Обнови въ насъ чувства, искорени изъ души плевелы святотатственныхъ обмановъ и дай намъ вѣковѣчное благо выше всѣхъ благъ—дай намъ благую волю».

VI.

Застольная рѣчь въ Краковѣ по случаю открытія памятника Мицкевичу 4—16 іюля 1898 г.

Когда проходитъ сто лѣтъ отъ рожденія великаго человека, не дожившаго до преклоннаго возраста, нельзя рассчитывать чтобы можно было собрать много новыхъ свѣдѣній о немъ изъ живаго источника, изъ устныхъ преданій отъ лицъ которые его лично знали и съ нимъ общались.—Я самъ имѣлъ на моемъ вѣку знакомство съ такими живыми свидѣтелями. Никогда я не забуду священника Каласантія Львовича, изображеннаго въ 3 части «Дѣдовъ»—высокую, тощую евангельскую фигуру, съ аскетическимъ выраженіемъ въ лицѣ, дышащемъ несказаннымъ благородствомъ и добротою.—Зналъ я еще и другаго товарища Мицкевича по заключенію у отцовъ василіанъ, поэта Яна Вѣрниковскаго, переводчика Пиндара. Я разпрашивалъ о Мицкевичѣ Одынца, вернушагося изъ южной Америки Домейку, Богдана Залѣскаго. Я воспитывался вмѣстѣ съ дѣтьми живописца Валентія Ваньковича, который написалъ съ Мицкевича извѣстный портретъ въ 1828 г. въ Петербургѣ и потомъ былъ въ Парижѣ сподвижникомъ Мицкевича въ сектѣ Тсванскаго. Я наконецъ зналъ лично Пеликана и полагаю что Мицкевичъ не черезъ чуръ его обидѣлъ. Устные преданія имѣютъ ту невыгодную сторону, что они скрепляются и путаются, что разрастаются до неузнаваемости переходя изъ устъ въ уста, въ особенности когда рассказчикъ передавая нѣчто про любимаго имъ героя, понимаетъ его по

своему и влагаетъ въ него нѣчто отъ себя. — Изъ преданій образуется еще при жизни героя былина, которая покрывая со всѣхъ сторонъ, точно мохъ, великое историческое лицо, нортитъ его и искажаетъ, такъ что исторической критикѣ приходится много труда и времени употреблять на то, чтобы очистить это лицо отъ всѣхъ наростовъ, что не всегда удается. Иногда нельзя вполне возстановить лицо какимъ оно было въ дѣйствительности непопорченное и цѣльное. — Наша польская исторія давно уже взялась на это дѣло и вела свои работы и толково и научно. Положено начало, поставлено нѣсколько литературныхъ изваяній, есть между ними и такія которыя важнѣе даже той статуи, которая была открыта вчерашняго числа на рынкѣ въ Краковѣ. — Мы уже славили за настоящимъ обѣдомъ за его трудъ сына поэта, сочинившаго замѣчательное жизнеописаніе своего отца (Владиславъ Мицкевичъ). Въ нашей средѣ обрѣтается другой его біографъ Петръ Хмѣлёвскій. Имѣется еще прекрасная работа Іосифа Калленбаха. — Историкъ имѣетъ то превосходство по сравненію съ художникомъ пластикомъ, что геніальнѣйшій живописецъ или ваятель распоряжается только однимъ моментомъ во всей жизни героя, но не можетъ изобразить всю его эволюцію, что онъ обязанъ выбирать, что можетъ намъ представить напимѣръ тощаго юношу кудряваго брюнета съ огненнымъ взоромъ и легкимъ румянцемъ на щекахъ, словомъ такого къ которому мы не привыкли. Мы наладились представлять его себѣ въ иномъ видѣ, уже составившагося, съ громадною сильно сдѣвующею прическою, ширококостнаго, съ орлинымъ профилемъ, съ лицомъ густо-покрытыми морщинами.

Еслибъ пришлось дѣлать выборъ между этими двумя изображеніями, то я можетъ быть предпочелъ молодаго орленка старому орлу, потому что я то впервые и познакомился и влюбился въ такого именно юношу. Когда я былъ мальчикомъ я зналъ только автора «Оды Молодость». Мы будучи школьниками на колѣняхъ молились и присягали, что мы будемъ любить отечество какъ Валенродъ.

Изъ заграницы до насъ долетали только отрывочные кусочки импровизаціи; «Пана Тадеуша»; я прочелъ поэму впервые когда имѣлъ 18 лѣтъ и былъ въ университетѣ.

Что начато исторіею, то будетъ ею продолжено и никогда вѣроятно не завершится этотъ трудъ, потому что гениальныя произведенія имѣютъ то свойство, что они неисчерпаемы, что они бездонны, что они всегда свѣжи и современны, что они какъ будто бы вчера написаны. Каждое новое поколѣніе узрѣть въ нихъ само себя съ иной стороны, пойметъ ихъ полнѣе и лучше чѣмъ мы и прольетъ на нихъ свой собственный свѣтъ. Никогда они сами себя не переживутъ, они безсмертны, потому что индивидуально прекрасны, характерны и носятъ на себѣ неизгладимое клеймо состоящее изъ чертъ положительныхъ и изъ неразрывно связанныхъ съ этими положительными чертами другихъ чертъ отрицательныхъ. На своемъ вѣку въ свое время Мицкевичъ былъ совершеннѣйшее воплощеніе своего народа, потому то онъ и былъ полный владыка нашихъ сердецъ; владычество его было несравненно сильнѣе нежели владычество надъ людьми правителей и династовъ. Мы любимъ этого пѣснопѣвца, почивающаго среди нашихъ королей на Вавелѣ, со всѣми его недостатками и слабостями, со всѣми его увлеченіями и иллюзіями. Мы любимъ его за то, что онъ былъ именно таковъ, каковъ онъ былъ, за то даже что онъ заблуждался (не заблуждается одинъ только Господь Богъ). Безъ него и безъ скитанія по распутіямъ по которымъ онъ насъ повелъ, мы не могли бы испытать бы менѣе страданій, мы не могли бы быть злыбали бы благополучнѣе, но мы были вообще мельче, низше, добротнѣе и хуже.

Допустимъ, что въ настоящее время мы не въ состояніи повторять, а если повторяемъ то въ переносномъ только смыслѣ тѣ лозунги которымъ онъ насъ научилъ «измѣрай силу намѣреніями» (*mierz siłę na zamiary*) или «умны потому что восторжены» (*rozumni szatem!*) Онъ вѣдь насъ научилъ что чувство дальше метитъ чѣмъ разумъ, онъ закалилъ въ насъ это чувство; что сдѣлать

что мы приноровились, какъ то учинилъ С. Красинскій *sperare contra spem*, что мы при жизни прошли невредимо чрезъ адъ, какъ Дантъ, что мы духовно независимы, что по словамъ Шуйскаго сквозь наши лохмотья просвѣчиваютъ прежняя наша гордость и царственность.

Допустимъ что Мицкевичъ представлялъ себѣ будущность нашу слишкомъ матеріально, что онъ брался вести насъ въ эту будущность точно въ обѣтованную землю, между тѣмъ въ эту землю онъ насъ не привелъ, да никто изъ насъ не попадетъ въ такую Польшу, какою онъ ее себѣ воображалъ. — Вѣдь и ученики Христовы чаяли скорого его пришествія, вѣдь ожидали же такого пришествія христіане въ исходѣ перваго тысячелѣтія, но всѣмъ уже перестанутъ его ожидать къ концу втораго тысячелѣтія. — Развѣ эти не оправдавшіяся ожиданія принесли какой-нибудь ущербъ христіанству? — Ожиданія эти были заблужденіями многихъ слѣдующихъ одно за другимъ поколѣній. — Пришлось перенести и это тяжелое испытаніе.

Допустимъ, что Мицкевичъ, какъ истый славянинъ, не постигалъ раздѣльности добра и красоты, искусства и жизни, что онъ не постигалъ возможности скверно жить, но божественно грезить, что онъ чувствовалъ въ себѣ призваніе не только писать, но и «дѣлать поэзію», что въ концѣ концовъ онъ разломалъ свой инструментъ своими же руками и сталъ политическимъ и общественнымъ вождемъ своего народа и его пророкомъ, то есть что онъ совершилъ то, что совершаетъ теперь графъ Левъ Толстой въ Россіи. — Скажу на прямикъ, что такое пониманіе искусства есть ничто иное, какъ поэтическая ересь, оно большая и вознаградимая потеря для искусства, но будемте же справедливы и признаемте что это въ тысячу разъ лучше, чѣмъ разводъ жизни и искусства, чѣмъ ошибочное убѣжденіе въ томъ, что добро само по себѣ, а красота сама по себѣ, что добро въ пошломъ его смыслѣ существуетъ для однихъ себялюбцевъ, а красота для однихъ смащихъ ее эстетиковъ. — Гёте оказывается великимъ артистомъ въ недоконченномъ своемъ «Прометей», котораго

имѣлъ въ виду Мицкевичъ, когда писалъ третью часть «Дѣдовъ», но Гёте былъ великъ только фантазіею и ни на минуту не забывалъ, что онъ витаетъ въ области однихъ только измышлений. Безконечно выше его Конрадъ въ 3-й части «Дѣдовъ», настоящій Прометей, состязующійся съ Богомъ и съ его рѣшеніями.—Мицкевичъ привилъ къ намъ нѣчто отъ своего прометейства.—Онъ сдѣлалъ именно то, о чемъ говорилъ вчера на площади г. Тарновскій, что мы имъ въ нѣкоторомъ смыслѣ искуплены, что мы стали не хуже нашихъ предковъ, а можетъ быть даже и лучше. Хотѣлъ бы я дожить до того времени, когда въ числѣ памятниковъ, которые начинаютъ сооружать въ честь Мицкевича, будетъ хотя-бы одинъ, представляющій его въ моментъ, когда онъ созидалъ «импровизацію», которая, по моему мнѣнію, составляетъ вершину и апогей его поэтического творчества.

Скажу еще нѣсколько словъ. Мицкевичъ былъ и апостолъ имѣющаго еще сложиться объединеннаго славянства. Между нами есть и растенія этого посѣва: есть братья—чехи. Мы уже чествовали тостомъ присутствующаго здѣсь Ярослава Врхлицкаго. Приношу мой поклонъ этому, можетъ быть, наибольшему нынѣ изъ поэтовъ во всемъ славянствѣ.

Вспомню еще что Мицкевичъ написалъ дивные стихи своимъ «друзьямъ Москалямъ». Я прожилъ полвѣка въ С.-Петербурѣ. Могу засвидѣтельствовать, что такихъ людей много. Подымаю бокалъ за ихъ здоровье и передаю мой тостъ пріѣзжему изъ Москвы профессору Брандту, которымъ я познакомился въ Прагѣ и который пріѣхалъ сюда только затѣмъ, чтобы почтить память Мицкевича.

(Помѣщено въ журналъ «Кгај» 1898 г. № 28).

Д. С. М е р е ж к о в с к і й

и его «Вѣчные Спутники».

Д. С. М е р е ж к о в с к і й

и его «Вѣчные Спутники».

I.

Не всегда можно вѣрить заглавіямъ книгъ; нельзя также вполне полагаться на предисловія. Книга г. Мережковского озаглавлена: „Вѣчные Спутники—портреты изъ всемірной литературы“, а уже первая статья въ книгѣ: *Акрополь* — недвижимость, предметъ архитектурный, не могущій никому сопутствовать, и даже не многими лицами посѣщаемый. Въ предисловіи сказано, что вѣчные спутники—это такіе «великіе писатели, которые всюду насъ сопровождаютъ, которые продолжаютъ любить и страдать въ нашихъ сердцахъ, сохраняя кровную связь съ человѣческимъ духомъ; для каждаго времени они современники, и даже болѣе — предвѣстники будущаго». Спрашиваемъ, можетъ ли быть между ними помѣщенъ, какъ литературный портретъ, извѣстный только по одному своему имени—Longus, авторъ идилліи «Дафнисъ и Хлоя»; неизвѣстно—въ какомъ вѣкѣ написанной: не раньше II-го вѣка (временъ Марка Аврелія), а всего вѣроятнѣе въ IV столѣтіи, въ эпоху императора Юліана Отступника? Авторъ любитъ въ этой книгѣ чертами общими и этой повѣсти, и художникамъ ранняго «ренессанса», напримеръ особенно модному въ настоящее время Сандро Боттичелли, а также сочетаніями въ ней дѣтски-наивнаго съ

крайне соблазнительнымъ, цѣломудреннаго съ весьма порнографическимъ.

Поэма «Дафнисъ и Хлоя» — одна изъ милыхъ бездѣлушекъ времени упадка эллинизма, когда уже всѣ знали, что Великій Панъ умеръ. Связь ея съ нашимъ временемъ только та, что, какъ увѣряетъ авторъ (стр. 25), умершій Панъ долженъ немедленно воскреснуть. Между писателями, которыхъ г. Мережковский завербовалъ въ свой отрядъ «вѣчныхъ спутниковъ», есть несомнѣнно и второстепенные, на примѣръ Плиній-Младшій. Но что представляетъ собою Плиній-Младшій? Это — типическій представитель высшаго римскаго общества временъ упадка, бывшій адвокатъ, потомъ высокій сановникъ; его художество — риторика; каждый день онъ возится съ вощеными табличками и стилемъ, придумываетъ, оттачиваетъ и записываетъ фразы для своихъ чтеній и писемъ. Онъ — добрякъ и милосердъ даже по отношенію къ рабамъ, что не помѣшало ему въ Виеннѣ пытаться діакониссъ или посылать на казни не отрекающихся отъ своихъ вѣрованій христіанъ. Отъ него, такъ сказать, разитъ литературнымъ тщеславіемъ и самолюбіемъ, а самъ онъ представляетъ собою образецъ человѣка знатнаго, зажиточнаго и вполне самодовольнаго. Его нельзя обойти, когда изучаешь нравы римлянъ конца I-го вѣка, въ ихъ общественномъ и домашнемъ быту; но онъ ли человѣкъ, имѣющій своеобразную душу? онъ ли предвѣстникъ будущаго? Это — средній человѣкъ, и во многихъ отношеніяхъ ничтожный, а потому и не годится въ «вѣчные спутники».

Упоминается еще Апполонъ Майковъ; его присутствие въ этомъ отрядѣ я объясняю себѣ тѣмъ, что онъ влюбленъ въ греческую и отчасти въ римскую древность; что онъ обожаетъ этотъ міръ за его неподражаемую пластическую красоту, которая имѣетъ надъ г. Мережковскимъ безусловную власть; что по той же причинѣ ему дороги и близки къ сердцу всѣ жрецы этой античной красоты, въ числѣ которыхъ Майковъ занимаетъ видное мѣсто. Изъ трехъ поэтовъ сороковыхъ годовъ — поклонниковъ чи-

стаго искусства — Фета, Я. П. Полонскаго и Майкова, — первые два всетаки мистики; для нихъ міръ есть признакъ и символъ безконечнаго, Майковъ же наиболѣе язычникъ, наиболѣе пластикъ. Г-нъ Мережковскій предпочитаетъ его даже за то, что онъ ограничился однимъ только этимъ родомъ красоты, при чемъ авторъ не спорить, затѣмъ, что у Майкова совершенство формы переходитъ въ изысканность, и красота формы преобладаетъ надъ менѣе значительнымъ содержаніемъ. Выборъ спутника, конечно, есть прежде всего дѣло личнаго вкуса; мы не стѣсняемъ г. Мережковскаго, но спрашиваемъ, почему онъ предлагаетъ Майкова въ обязательные компаньоны и другимъ лицамъ...

Ап. Майковъ, конечно, не чета Гончарову, который несравненно крупнѣе его по таланту; но и относительно выбора Гончарова можно было бы представить нѣкоторыя возраженія. Гончаровъ дорогъ автору, главнымъ образомъ, потому, что ему присуща античная любовь къ буднишной сторонѣ жизни, — иными словами, рѣдкая способность преображать однимъ своимъ прикосновеніемъ прозу дѣйствительности въ поэзію и красоту, а эта способность обуславливается въ свою очередь тѣмъ, что Гончаровъ съ головы до ногъ — цѣльный и солидный оптимистъ; что у него въ произведеніяхъ нѣтъ темныхъ угловъ; что каждая его эпопея озарена свѣтомъ разумной любви къ человѣческой жизни; что онъ человѣкъ удивительно-трезвый и передаетъ дѣйствительность, не стѣняясь ея красотой, какъ Тургеневъ, не проникаясь страданіями людей, какъ Достоевскій, не увлекаясь даже жаждою истины, какъ Толстой. Въ его произведеніяхъ есть особаго рода трагизмъ, составляющій основаніе каждого изъ большихъ романовъ, трагизмъ пошлости буднишной, торжествующей надъ чистотой сердца и идеалами любви. По своему юмору, онъ — прямой продолжатель работы Грибоѣдова и Гоголя.

Такимъ образомъ, изъ тринадцати статей, образующихъ книгу г. Мережковскаго, пять статей не подходятъ.

къ заглавію книги, одна посвящена не человѣку, а предмету архитектуры, одна—неизвѣстному лицу, три—писателямъ, хотя и даровитымъ, но не первостепеннымъ. Остается восемь человѣкъ безспорно либо весьма талантливыхъ, либо даже гениальныхъ, которыхъ авторъ беретъ измѣрять, такъ сказать, своимъ аршиномъ, по новому, имъ открытому методу, по способу особенной критики, которую онъ называетъ *субъективною*. Онъ противопоставляетъ эту критику двумъ другимъ общеизвѣстнымъ объективнымъ критикамъ: *научной* и *художественной*. По мнѣнію г. Мережковского, у каждой изъ этихъ послѣднихъ критикъ есть свои предѣлы, потому что всякій предметъ можетъ быть исчерпанъ наукою до конца, а когда разъ сдѣлана художественная оцѣнка достоинствъ и недостатковъ произведенія, то повтореніе такой описи уже не потребуется. Нельзя никакъ согласиться съ этимъ взглядомъ; великія произведенія по содержанію своему, такъ сказать, бездонны, и каждому послѣдующему вѣку приходится сказать о нихъ свое слово. Субъективная критика предлагается г. Мережковскимъ, повидимому, какъ новостъ. Онъ совѣтуетъ дѣлать слѣдующее:—брать живую душу писателя, своеобразную, никогда не повторяющуюся форму ея бытія, изобразить потомъ дѣйствіе этой души на умъ, сердце и волю, на всю внутреннюю жизнь критика, какъ представителя извѣстнаго поколѣнія. и вникнуть въ то, какъ понимаетъ критикъ личность писателя.

Всякая, достойная своего названія, критика передаетъ читателю произведеніе обдуманное и прочувствованное критикомъ, значитъ—передаетъ читателю эмоцію самого критика, и такимъ образомъ, она не можетъ не быть субъективною. Въ нашъ вѣкъ, при томъ, критика, постепенно совершенствуясь, сдѣлалась въ высокой степени *психологическою*, то-есть, она пытается разгадывать живую душу писателя (*sa faculté maîtresse*, какъ выразился Тэнъ), и пользуется ея созерцаніемъ, какъ ключомъ для уразумѣнія его созданій; при этомъ, однимъ изъ существеннѣйшихъ элементовъ такого критицизма являются

натура, темпераментъ и образованіе критикующаго. Критика есть функція научная, а наука обязательно служить одной только истинѣ. Она должна воспроизводить изслѣдуемаго писателя только такимъ, какимъ онъ извѣстенъ въ дѣйствительности, не прибавляя ничего отъ себя, но и не изъемя, и не откидывая въ сторону ни одной черты, завѣдомо принадлежавшей писателю и подмѣченной предшественниками критикующаго. Только этими условіями: строгою заботливостью объ исторической истинѣ, отсутствіемъ сочинительства, воздержаніемъ отъ произвольнаго фантазирования и намѣреннаго прикрашиванія своего сюжета, — отличается критика, какъ *научная* функція, отъ свободнаго поэтическаго *творчества*. Можно, конечно заинтересовать и увлечь публику романомъ или драмою, которыхъ героями были бы Дантъ и Шекспиръ, но уже по вышней формѣ публика будетъ предупреждена, что она имѣетъ дѣло съ вымысломъ, къ которому нельзя предъявлять строгихъ требованій. Не то бываетъ, когда подъ видомъ критической научной оцѣнки предмета читателямъ предлагаютъ нѣчто, не согласующееся съ достоинствомъ-имѣющимися объ извѣстномъ предметѣ данными. Такое произведеніе въ его распространеніи похоже на выпускъ въ обращеніе поддѣльной монеты. Оно будетъ содѣйствовать распространенію ложныхъ понятій о писателѣ въ средѣ публики, въ которой большинство людей вѣритъ напечатанному, не справляясь съ источниками.

Приступая къ вопросу о томъ, какого рода субъективнаго практикуется г. Мережковскимъ въ его критикѣ, мы становимся передъ слѣдующею дилеммою: либо г. Мережковский предлагаетъ намъ дѣйствительныхъ писателей, какъ онъ ихъ понялъ и прочувствовалъ, и тогда его субъективная критика именно такая, какой образчикъ мы имѣемъ у величайшаго изъ литературныхъ критиковъ XIX вѣка — Ипполита Тэна; либо, слѣдуя совѣтамъ и указаніямъ Оскара Уайльда, онъ измышляетъ писателей и представляетъ ихъ такими, какими онъ бы желалъ ихъ имѣть, не стѣсняясь тѣмъ, какими они были въ дѣйствительности.

Поставивъ, такимъ образомъ, задачу, постараемся ее разрѣшить по отношенію къ тѣмъ восьми великимъ писателямъ, которые остались въ его списокѣ послѣ сдѣланныхъ мною исключеній.

II.

Г-нъ Мережковский рѣзко отличается отъ своихъ товарищей по критической профессіи тѣмъ, что критики обыкновенно стараются быть систематически-объективными, что они не ставятъ себя на показъ и прячутся за излагаемый ими предметъ, такъ что лишь по прочтеніи ими написаннаго можно только догадываться, какое они имѣли направленіе и къ какой принадлежали партіи. Напротивъ того, г. Мережковский не только не скрываетъ своихъ мнѣній эстетическихъ или этическихъ, религіозныхъ или соціальныхъ, но даже открыто исповѣдуетъ ихъ, негодуетъ или восторгается и волнуется, сильно волнуется, не оставляя ни малѣйшаго сомнѣнія въ читателяхъ, что его критика меньше всего художественная, а преимущественно этическая или социальная, и что онъ самъ если не дѣломъ, то своими рѣчами принимаетъ живое участіе въ житейской толчеѣ. Такъ какъ онъ откровененъ насчетъ своихъ убѣжденій, то необходимо прежде всего уяснить себѣ, каковы эти убѣжденія, есть ли въ нихъ цѣльность и послѣдовательность, и затѣмъ уже приступить къ разбору того, въ какой степени повліяло все это на изображеніе и характеристику тѣхъ лицъ, изъ которыхъ онъ составилъ дружину вѣчныхъ спутниковъ.

Задача эта не особенно легка: г. Мережковский—многосторонній человѣкъ, котораго стремленія не уравновѣшены, и понятія его никакъ не приводятся къ одному знаменателю. Въ немъ, можно сказать, сидитъ нѣсколько разныхъ лицъ, нѣсколько противоположныхъ и борющихся наклонностей и направленій, которыя, неизвѣстно какъ, въ немъ совмѣщаются и уживаются, хотя по естествен-

ному ходу вещей онѣ казались бы совсѣмъ несовмѣстимыми.

Прежде всего, и это главное, г. Мережковский есть чистокровный эстетъ, притомъ эстетъ античнаго эллинскаго пошиба, язычникъ и анти-галилеянинъ, человѣкъ чающій новаго возрожденія язычества, то-есть одинаково настроенный какъ Ницше, когда этотъ послѣдній писалъ свое красивое юношеское произведение «Geburt der Tragödie». Г-нъ Мережковский поклоняется Гёте, какъ язычнику, дѣйствующему по правиламъ олимпійской гигіены, способному принимать въ себя изъ жизни одно только свѣжее, свѣтлое, здоровое и красивое. Онъ и Пушкина любитъ за его непрерывную заздравную пѣснь Вакху во славу жизни. Умеръ Великій-Панъ, но мы, люди XIX в., знаемъ, что онъ долженъ скоро воскреснуть: „Если предвозвѣстники будущаго возрожденія не обманываютъ насъ, человѣческій духъ отъ старой плачущей мудрости перейдетъ къ новой мудрости, къ ясности и простотѣ, завѣщаннымъ намъ Гёте и Пушкинымъ“. Г-нъ Мережковский вѣритъ почему-то, что задатки будущаго языческаго возрожденія кроются въ русскомъ міросозерцаніи, то-есть, точнѣе сказать, у Пушкина. Г-нъ Мережковский передаетъ намъ, какъ онъ обезумѣлъ отъ восторга, когда очутился на Акрополисѣ предъ Пареенономъ. Онъ весь проникся радостью, сопровождающею то освобожденіе отъ жизни, которое даетъ красота. Онъ и сказать бы не могъ, что такое красота живая, вѣчная,—само собою разумѣется, эллинская, когда душа и тѣло, идея и форма были нераздѣльное одно, когда художникъ былъ герой и, наоборотъ, герой былъ художникъ, когда оба творили, создавали красоту, когда они были два откровенія одного и того же начала. Но то было и прошло; золотой вѣкъ никогда не вернется; новый Пареенонъ никогда не будетъ созданъ какимъ-нибудь новымъ эллиномъ, богоподобнымъ человѣкомъ на землѣ; если же современные люди мечтаютъ о возрожденіи, то не въ надеждѣ сдѣлаться такими юношами, какими были древніе греки, а только въ надеждѣ,

что они немного освѣжаты и нѣсколько помолодѣютъ, окунувшись опять въ волны эллинизма.

Г-нъ Мережковскій, какъ жаждущій возрожденія язычникъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ убѣжденный сторонникъ *аристократизма*, въ чемъ онъ не отстаётъ отъ грековъ, отъ Гёте и отъ Ницше. Красота античная была результатомъ весьма утонченной культуры, обусловленной рабствомъ простонародныхъ массъ, на плечахъ которыхъ выстроился маленькій мірокъ людей свободныхъ, здоровыхъ и досужихъ, во главѣ которыхъ держались и спорили изъ-за власти люди, превосходящіе другихъ по тремъ единственнымъ основаніямъ всякой аристократіи: породѣ, богатству и уму. Крушеніе этой высокой культуры послѣдовало, когда появилась религія рабовъ, — религія христіанская, утвердившая начало равенства, когда поднялась демократическая война, затопившая общественныя вершины; когда утвердилось повсемѣстно господство средняго человѣка, то-есть, массъ, преобладаніе плебса. Никто не прочувствовалъ сильнѣе, чѣмъ Ницше, котораго г. Мережковскій называетъ, однако, безумнымъ язычникомъ, болѣзненнаго извращенія, вслѣдствіе этой перемѣны, всѣхъ понятій и чувствованій, переоцѣнки всѣхъ идеаловъ, постановки на первый планъ того, чѣмъ особенно гнушался древній человѣкъ, а именно боли, страданій, смиренія, самоуничтоженія въ аскетизмѣ, отказа отъ всякаго геройства, преобладанія стадныхъ качествъ, свойственныхъ одомашненному животному. Г-нъ Мережковскій отрекается отъ Ницше, но онъ раздѣляетъ міровоззрѣніе Флобера, а оно таково: — я не христіанинъ; французская революція не удалась потому, что она была въ связи съ религіей жалости; идея равенства, какъ настоящая суть современной демократіи, есть идея христіанская, прогнворѣчащая началу справедливости. Нынѣ преобладаетъ только милосердіе, чувство — все, право — ничто. Мы гибнемъ отъ избытка чувствительности, отъ нравственной дряблости и т. д. Такъ какъ г. Мережковскій въ душѣ своей такой же язычникъ, какъ Гиббонъ, Гёте

или Флоберъ, то его не могло не поражать болѣзненно то, что любовь къ природѣ подавлена была религіозно-аскетическимъ отвращеніемъ къ ней «блѣдныхъ людей въ черныхъ одеждахъ, видящихъ въ этой природѣ только дѣвольскій соблазнъ». Во всякомъ случаѣ не могъ онъ не ощущать того, что мы уже второй десятокъ вѣковъ опускаемся въ декадансъ, въ тусклую осень, не свѣтящую и не грѣющую. Г-нъ Мережковский ни мало не скрываетъ, что онъ ненавидитъ всѣми силами души современную демократію; съ такимъ же полнымъ отвращеніемъ относится онъ къ современной буржуазіи или «мѣщанству». Онъ смѣшиваетъ ту и другую, говоря о буржуазной и демократической серединѣ, о добродѣтельной буржуазной скукѣ и о демократическихъ будняхъ. Онъ съ полнымъ сочувствіемъ выписываетъ изъ письма Пушкина къ Вяземскому слѣдующія строки: «толпа въ подлости своей радуется униженію высокаго, слабостямъ могучаго. Онъ малъ какъ мы, онъ мерзокъ какъ мы! Врете, подлецы: онъ и малъ, и мерзокъ, не какъ вы,—иначе». Индивидуализмъ г. Мережковского и его анти-общественное направленіе, вытекающее изъ стихійной его ненависти къ преобладанію большинства, въ такъ называемой черни, достигаетъ своего кульминаціоннаго пункта тамъ, гдѣ онъ, отождествляя поэта съ героемъ («поэтъ есть герой созерцанія, герой есть поэтъ дѣйствія») и вступаясь за поэта, какъ жреца культа красоты, подымаетъ настоящій бунтъ противъ идеи добра и религіознаго чувства, проводя между нами грань, которую я считаю положительно невозможною. «Не страшно,—пишетъ г. Мережковский,—когда малые довольны малымъ, но когда великіе жертвуютъ сяоимъ величіемъ въ угоду малымъ, тогда становится страшно за будущность челоувѣческаго духа. Когда великій художникъ, во имя какой бы то ни было цѣли—корысти, пользы, *блага земнаго*, или *небеснаго*, во имя какихъ бы ни было идеаловъ, *чуждыхъ искусству: философскихъ, нравственныхъ или религіозныхъ*, отрекается отъ безкорыстнаго и свободнаго созерцанія, то тѣмъ са-

мымъ онъ творить мерзость во святомъ мѣстѣ, приобщается духу черни».

Указавъ на то, что г. Мережковскій есть прежде всего созерцатель красоты, эстетъ въ древнемъ духѣ и своего рода аристократъ, я постараюсь доказать, что у него въ душѣ таятся и другіе еще элементы, далеко не согласованные съ вышеуказанными и не подходящіе къ предполагаемому новому возрожденію, а прежде всего, что ему присуще *галилейство*, то-есть порывистое и горячее человѣколюбіе, свойственное въ особенности ранней порѣ христіанства, первымъ его вѣкамъ.

III.

Я не думаю, впрочемъ, отстаивать несовмѣстимость противоположныхъ началъ, на примѣръ язычества и такъ-называемаго галилейства или христіанства. Я полагаю, что они могутъ и должны быть согласованы. Я могъ согласиться съ г. Мережковскимъ въ томъ, что въ нашемъ быту имѣются одновременно два потока или порыва, одинъ—къ сліянію съ Богомъ внѣ границъ нашего сознанія, а другой—къ героическому обожествленію своего «я». Историкъ литературы и критикъ должны ежеминутно справляться съ обоими этими направленіями, и міросозерцаніями, переходить отъ Эсхила и Софокла къ библіи и къ весеннимъ золотымъ цвѣточкамъ итальянской поэзіи XIII в., къ „Fioretti“ св. Франциска. Понятно также, что г. Мережковскій, какъ знатокъ исторіи, не смѣшиваетъ теперешняго христіанства, уже значительно охладившагося и, такъ сказать, канализованнаго, то-есть текущаго по разъ навсегда устроенному руслу, съ тѣмъ огненнымъ, какъ потокъ лавы порывистымъ христіанствомъ первыхъ вѣковъ, не считавшимся съ условіями гражданскаго общежитія, вслѣдствіе чего оно было тогда признаваемо анти-общественнымъ и анти-государственнымъ явленіемъ, котораго весьма слабое подобіе имѣется

нынѣ въ «непротивленіи злу», въ пассивной оппозиціи— въ духѣ графа Льва Толстого. Съ практической точки зрѣнія можно сказать, что язычество и христіанство существуетъ въ каждомъ изъ насъ, что они почти соприкасаются, такъ что порою трудно различить, гдѣ кончается одно и начинается другое. Для доказательства того, что они часто проникаются взаимно, сошлемся на прекрасно начертанный у г. Мережковского портретъ язычника-декадента, императора Марка-Аврелія—великаго стоика, который рассуждалъ такимъ образомъ: «можетъ быть боговъ совѣмъ нѣтъ, но и безъ нихъ я долженъ исполнять свой долгъ». Этотъ человѣкъ долга исполнялъ его неуклонно, безстрастно, съ отказомъ отъ удовольствій, отъ личнаго счастья, и съ воздержаніемъ отъ желаній. Онъ одолѣлъ смерть своимъ спокойнымъ пессимизмомъ; ему удалось быть безчувственнымъ, подобно камнямъ. Спрашивается, чѣмъ этотъ добрый до мозга костей, почти святой человѣкъ отличается отъ христіанина? Оказывается, по мнѣнію г. Мережковского, что только тѣмъ, что полное отреченіе отъ воли, отъ жизни и ея радостей, уничтожало въ немъ самую добродѣтель, что онъ *не жалостливъ*, что онъ неспособенъ любить, иными словами, что онъ *пессимистъ*. Замѣтимъ, что наши чувства не въ нашей волѣ, что пессимистическое настроеніе зависитъ не отъ характера, а отъ темперамента. Справедливо сказалъ г. Брюнетьеръ объ Альфредѣ де-Виньи, что человѣкъ рождается пессимистомъ, но не дѣлается имъ впоследствии. Есть притомъ два разные вида человѣколюбія. У однихъ любовь прямо сердечная, обиліе ея таково, что она истекаетъ, такъ сказать, естественно и неудержимо; такова она у Христа и св. Франциска; такова она была, по описанію А. Ө. Кони, у Ө. Гааза («Вѣстникъ Европы», 1897, № 1). У другихъ людей такая же любовь, но рефлексивная, головная; сказалъ себѣ человѣкъ, что надо любить ближнихъ, онъ ихъ и любитъ по долгу совѣсти; такова она у Льва Толстого. Любопытны въ томъ отношеніи признанія Флобера, чистѣйшаго эстета, который

бѣжалъ отъ дѣйствительной жизни въ область искусства, потому что, вникая въ себя, замѣтилъ, что реально онъ неспособенъ кого бы то ни было любить, что онъ сухъ, какъ могильный камень, что видъ чужого горя не трогаетъ его, а только страшно раздражаетъ, и что только погружаясь въ искусство—онъ начинаетъ воображеніемъ любить.

Г. Мережковскій весьма точно опредѣлилъ двоякое значеніе слова «любовь»—у христіанъ и у язычниковъ: «галилеяне утверждали, какъ и язычникъ Лонгусъ (авторъ Дафниса и Хлои), что Богъ есть любовь. Но галилеяне понимали подъ любовью братскую жалость, а Лонгусъ—сочетаніе мужскаго и женскаго началъ во вселенной—то, что мы теперь называемъ *genіемъ рода*». Въ другомъ мѣстѣ Мережковскій повторяетъ за Дантомъ послѣдній стихъ его Божественной Комедіи: «L'amor que mouve il sole e l'altre stelle». Эти указанія не полны. Ближайшее объясненіе, какъ понимаетъ г. Мережковскій любовь, можетъ быть получено только тогда, когда мы сопоставимъ двухъ писателей изъ числа «вѣчныхъ спутниковъ», избранныхъ имъ въ руководители именно по этому вопросу о любви: одинъ изъ нихъ, испанецъ XVI вѣка Кальдеронъ, а другой—Федоръ Достоевскій. Собственно его характеристики обоихъ учителей основаны не на совокупности ихъ произведеній, а только на двухъ твореніяхъ, по одному отъ каждаго изъ нихъ: «Поклоненіе Кресту», Кальдерона, и «Преступленіе и Наказаніе», Достоевскаго. По мнѣнію г. Мережковскаго, Кальдеронъ и Достоевскій проповѣдуютъ почти одно и то же; я же постараюсь доказать, что они до того другъ съ другомъ расходятся, что компаньонами ни въ какомъ случаѣ быть по одному пути не могутъ.

Драма Кальдерона: «Devocion de la Cruz» вся построена на идеѣ, породившей столь распространенныя въ средніе вѣка, въ римскомъ католицизмѣ, церковныя индугенціи, злоупотребленіе которыми послужило главнымъ поводомъ къ тому, что отъ римско-католической церкви

отложились протестантскія исповѣданія. — Положимъ, что нѣтъ счета преступленіямъ тяжкаго грѣшника, но онъ былъ усердный поклонникъ Св. Іосифа или Богородицы, нашелъ себѣ въ небесахъ вліятельныхъ заступниковъ и былъ прощенъ. Существовало глубоко укоренившееся представленіе о томъ, что при нѣкоторой долѣ покаянія и при нѣкоторомъ количествѣ такъ называемыхъ добрыхъ дѣлъ, признаваемыхъ таковыми церковью, можно войти въ царство небесное.

Герой драмы Эзебіо покинутъ младенцемъ въ пустынномъ мѣстѣ у подножія креста; у него на груди родимый знакъ въ формѣ креста. Обладая этимъ прирожденнымъ талисманомъ, онъ и въ водѣ не тонетъ, и въ огнѣ не горитъ; разумѣется, что въ душѣ онъ витаетъ безконечно благоговѣніе къ выручающему его отъ всякихъ бѣдъ святому знаку. Онъ влюбляется въ женщину, которая потомъ оказывается его же родною сестрою; убиваетъ въ поединкѣ препятствующаго этой любви ея и своего брата, проникаетъ въ монастырь, въ который ее заключили, соблазняетъ ее, дѣлается атаманомъ шайки разбойниковъ. Въ концѣ концовъ шайка его разбита, и онъ гибнетъ въ сѣчѣ; но такъ какъ онъ былъ поклонникомъ святаго креста, то силою этого креста онъ сподобился воскреснуть на одну минуту при приближеніи къ нему мимоидущаго монаха, исповѣдаться и получить разрѣшеніе грѣховъ, послѣ чего онъ уже окончательно умираетъ. Таково содержаніе этой quasi-богословской чепухи. Она не имѣетъ ничего общаго со стихомъ. Данта: *l'amor que muove il sol e l'altre stelle*. Богъ не охраняетъ и не спасаетъ тѣхъ, которые его не знаютъ, которые не крещены. Удѣлъ некрещеныхъ таковъ, что они неспособны жить по волѣ божіей, дѣлать какое бы то ни было добро, и не имѣютъ никакой заслуги, хотя бы положили душу за други своя. Само человѣколюбіе не имѣетъ ни цѣны ни заслуги, если оно не истекаетъ изъ вѣры въ Бога и не скажу—любви къ нему, но поклоненія ему. — Г. Мережковскій отлично понимаетъ, что содержаніе этой драмы способно скорѣе

возмутить, а не увлечь современныхъ людей, потому что она выражаетъ собою даже и не язычество, а идолопоклонство въ самой первичной его формѣ, то-есть, грубый фетишизмъ. Онъ и внушаетъ намъ, чтобы мы смаковали ее только эстетически, а не этически: «мы изучаемъ старую темницу,—говоритъ онъ,—потому, что увѣрены, что не возвратимся въ нее никогда; средневѣковый католицизмъ для насъ мертвый врагъ, и мы перестали даже ненавидѣть его». Мнѣ кажется, что нельзя относиться слегка даже къ считаемымъ отжившими религіямъ; онѣ чрезвычайно живучи и, бывъ даже срублены, пускаютъ новые ростки. Кромѣ того самъ г. Мережковскій признаетъ, что для эстетической оцѣнки красоты отжившихъ догматовъ и мертвыхъ уже религіозныхъ формъ необходимо подъ оболочкою мертвыхъ догматовъ и формъ найти и указать вѣчно живую красоту человѣческаго духа.—Какова же эта красота въ настоящемъ случаѣ? — По мнѣнію г. Мережковского, она заключается въ слѣдующемъ: поэтъ поклоняется не дереву креста, а любви, для которой крестъ служить только символомъ.—Выкинемъ терминъ *символъ*, которымъ нынѣ злоупотребляютъ безъ мѣры для продѣлыванія всевозможныхъ фокусовъ. Имѣются два языка: одинъ у поэзіи—образной, и другой у знанія—отвлеченный.—Поэзія располагаетъ только конкретными представленіями, въ которыхъ сквозить, не выдѣляясь еще изъ нихъ, чистая идея. Такъ какъ поэзія предлагаетъ намъ не самую идею, а только образное ея подобіе, то всякая поэзія бываетъ символическая. Но я сильно сомнѣваюсь, чтобы «Devosion de la Cruz» символизировала любовь къ Богу; она только драма поклоненія Богу и символизирующему его кресту.—Впослѣдствіи, оцѣнивая произведеніе Ибсена, «Гедда Габлеръ», г. Мережковскій выражается такъ: «еслибы Гедда нашла такого Бога, во имя котораго стоило бы жить и умирать, то она сдѣлалась бы героиней или мученицей».—Я утверждаю, что такого несправедливаго бога, какъ богъ Кальдерона, нельзя любить, а можно только бояться, и изъ боязни ему по-

виноваться. Г-нъ Мережковскій утверждаетъ что любовь оправдываетъ и смываетъ всѣ грѣхи, потому что *сила покаянія безпредѣльна*; но въ чемъ же проявляется покаяніе Эзебіо? Развѣ онъ оплакиваетъ свои грѣхи, развѣ онъ кается и общается, что исправится? Ничуть не бывало; выводъ о силѣ покаянія вложенъ въ драму извнѣ, и Кальдерону онъ напрасно приписанъ г. Мережковскимъ.

Лично для г. Мережковского то начало, что сила покаянія безпредѣльна, имѣетъ громадное значеніе. Само начало нельзя не признать галилейскимъ, то-есть христіанскимъ, присущимъ христіанству съ самыхъ первыхъ его вѣковъ. Оно подобно цѣпочкѣ связуетъ неразрывно г. Мережковского съ Достоевскимъ, роману котораго посвящена одна изъ объективнѣйшихъ и красивѣйшихъ статей разбираемой нами книги. Въ Достоевскомъ авторъ находитъ преступныя желанія довольно податливаго на зло и сильно развращеннаго сердца, но передаваемыя съ такою заражающею читателя эмоціею, что ихъ на вѣки не забудешь, ихъ переживешь и выстрадаешь, пока не проникнешь въ самую глубь настроенія героя, пока не перевоплотишься въ него и не достигнешь полного съ нимъ сліянія. Отъ книги Достоевскаго нельзя оторваться, потому что въ героя Достоевскаго, какой бы онъ ни былъ, гадюга или червякъ, мерцаетъ инстинктъ божественнаго, есть проблески великодушія, значить въ концѣ концовъ есть возможность возрожденія, хотя вдругъ сквозь смиреніе мученика промелькнетъ порою неистовая гордыня или сладострастіе дьявола. По заключительному опредѣленію Мережковского, Достоевскій есть величайшій реалистъ, измѣрившій бездны челоуѣческаго страданія и порока, и вмѣстѣ съ тѣмъ величайшій поэтъ *евангельской любви*.

IV.

Г-нъ Мережковскій избралъ себѣ въ спугники Кальдерона и Достоевскаго потому, что въ первомъ онъ пола-

гаеть, что нашель идею, что сила покаянiя безпредѣльна, а во второмъ—то положенiе, что и у величайшаго злодѣя на днѣ души есть зернышко подвижничества,—желанiе пострадать и искупить тѣмъ вину. Оба начала, взятые безусловно, ведутъ несомнѣнно къ пониженiю уровня нравственности въ обществѣ, къ значительному ослабленiю необходимой общественной реакціи противъ преступности. Практически раскаянiе не можетъ быть доказано, стеснь его не можетъ быть установленна и опредѣлена. Раскаянiе смѣшивается предъ нами ежеминутно или съ сожалѣнiемъ злодѣя о неудачѣ, или съ лицемѣрнымъ притворствомъ злодѣя, во избѣжанiе имъ отвѣтственности. Разъ мы установимъ, въ видѣ общаго правила, что раскаянiе во всякомъ случаѣ предполагается, то установится безусловное господство безпричинной, неразборчивой, всепрощающей жалости, которая сотретъ всякія границы добра и зла, введетъ полную терпимость зла и совершенное къ нему равнодушiе. Я полагаю, что къ такому именно настроенiю располагаетъ насъ галилейскій элементъ въ субъективизмѣ г. Мережковского.

Всякая культура имѣетъ неизбѣжно свои недостатки, угловатости и трещины; она подобна горшку, обвитому разными проволоками, мѣшающими тому, чтобы онъ распался. Установленiе начала всепрощаемости, то-есть ненаказуемости преступленiй, отмѣна всякой острастки, не уврѣпляютъ горшка, а сдѣлають его еще болѣе хрупкимъ. Повторите то, на что указываетъ авторъ, говоря о дѣятельности Марка-Аврелія: законы сдѣлались мягче, а люди остались тѣми же несчастными, невѣжественными и жестокими, такъ что всѣми чувствовалось съ одной стороны утомленiе жизнью, а съ другой предчувствiе конца міра, точь въ точь какъ въ настоящую эпоху. Хотя г. Мережковский собственно эстетъ, но въ сущности онъ къ судьбамъ міра далеко не равнодушенъ, онъ своего рода соціологъ, прорицающій возрожденiе, воскресенiе Великаго-Пана, будущую гармонизацію двухъ порывовъ одного языческаго—культъ героевъ, и другаго христіанскаго—бѣгство отъ

жизни и уничтоженіе себя въ Богѣ. Такъ какъ вопросъ о будущемъ онъ ставитъ повидимому серьезно, то необходимо съ нимъ на этомъ полѣ посчитаться. Какой же будетъ выходъ изъ современныхъ осложненій, страданій и противорѣчій? То, что онъ предлагаетъ, изумительно по своей простотѣ: отречься отъ культуры и возвратиться на лоно первобытной природы. Къ этому выводу авторъ приводитъ читателей обходными путями и послѣ разныхъ приготовленій. Онъ столь же мало объясняетъ, что такое природа, какъ и то, что такое красота. Повидимому, необходимость одичанія открылась ему внезапно, когда онъ очутился предъ Пареономъ: «творить согласно съ природою». Когда авторъ писалъ это, онъ зналъ конечно, что въ цѣлой природѣ нѣтъ образчика, по которому былъ бы выстроенъ Пареононъ, или какой-бы то ни было храмъ или портикъ греческій; притомъ онъ зналъ и выписалъ изъ Флобера, что искусство выше жизни (*l'oeuvre est tout, l'homme n'est rien*). Снаряжаясь въ путь къ первобытному дикарю, г. Мережковский устранилъ Жанъ-Жака Руссо, котораго онъ сильно недолюбливаетъ, и произвелъ въ «вѣчные спутники» двухъ остроумныхъ насмѣшниковъ, апостоловъ разсудочности и приземистаго здраваго смысла: *Сервантеса* и *Монтэня*. «Донъ-Кихотъ» есть печальнѣйшая, какъ только можетъ быть, сатира отходящей въ вѣчность Испаніи, чуждая всякихъ надеждъ и порывовъ въ будущее. Весь міръ состоитъ изъ несчастнѣйшихъ подлецовъ, среди которыхъ есть только два счастливца, одинъ сумасшедшій рыцарь, который все превращаетъ въ мечту и живетъ однѣми иллюзіями, и другой—его оруженосецъ, лѣннвецъ и невѣжда, который все превращаетъ въ шутку и забаву. Но у Донъ-Кихота есть одна черта новой культуры: онъ любитъ первобытную жизнь среди природы и относится пренебрежительно къ благамъ цивилизаціи, считая ее зломъ.

Другой писатель, Монтэнь (*Montaigne*), родившійся скептикомъ и оптимистомъ, не вѣритъ ни въ Бога, ни въ ближнихъ, потому что не любитъ колебаться и сомнѣ-

ваться; онъ — материалистъ, по принципу эгоистъ, и вполне послушенъ предрѣжающимъ властямъ, но въ душѣ онъ полнѣйшій анархистъ, отрицающій всякій стадный инстинктъ, всякую общественность. Г-нъ Мережковскій подмѣтилъ въ особенности эту послѣднюю черту. Монтэнъ, — говоритъ онъ, — угадалъ, что у ученаго и художника больше общаго съ простымъ первобытнымъ человѣкомъ, нежели у ограниченного доктринера. Не Ж.-Ж. Руссо, а онъ — родоначальникъ идеализаціи первобытнаго человѣка и драгоценнаго правила: самое мудрое — отдаться природѣ въ полной простотѣ.

Допустимъ, что мы бы признали необходимымъ отдаться всецѣло природѣ. Спрашивается, какимъ же образомъ? идейно ли, то-есть теоретически, или практически, какъ сдѣлалъ, на примѣръ, Левъ Толстой, «громадная стихійная сила», какъ называетъ его г. Мережковскій, человѣкъ искренній, послѣдовательный и цѣльный. Что же, послѣдоваль-ли г. Мережковскій этому благому примѣру? — Нѣтъ, нисколько, онъ не только не одобрилъ образа дѣйствій Л. Толстого, но полемизируетъ съ нимъ постоянно. Если собрать всѣ мѣста въ книгѣ, въ которыхъ авторъ злословитъ Толстого, и всѣ его нападки, нисколько не эстетическія, а соціологическія, — то составила бы курьезная, не лишенная противорѣчій характеристика Л. Толстого, состоящая изъ признаковъ, за которые авторъ долженъ былъ бы хвалить, а не порицать Л. Толстого, если бы онъ былъ послѣдователемъ и вѣренъ своей галилейской точкѣ зрѣнія. Онъ мѣтко попалъ въ исходную точку философіи Льва Толстого. Его отреченіе отъ культуры произошло не отъ преизбыточнаго братолюбія и не отъ галилейской жалости (любовь у него чувство рефлексивное), а отъ языческой любви къ тѣлесной жизни и наслажденіямъ, значитъ, только отъ страха смерти, которую онъ, однако, не побѣдилъ, такъ какъ сквозь напускную жалость ощущается только холодъ ужаса и омертвѣніе, отреченіе не только отъ мяса, вина, женщинъ, славы, денегъ, но и отъ искусства, наукъ, отечества, отъ всякаго движенія воли. То у него Толстой —

безумный галилеянинъ; то онъ—безсознательный язычникъ—не свѣтлаго, а темнаго, варварскаго типа, слѣпой титанъ. Онъ—анархистъ безъ насилія, поднимающійся на восковыхъ Икаровыхъ крыльяхъ мистическаго анархизма. Онъ употребилъ свою громадную силу на приготовленіе множества разрушительныхъ рычаговъ. Ему, главнымъ образомъ, вмѣняется то, что новѣйшая русская литература, явно проповѣдывающая смиреніе, жалость, непротивленіе злу, втайнѣ, однако, бываетъ мятежная, полная постоянно возвращающагося бунта противъ культуры.

Приговоръ выходитъ черезчуръ строгій: Толстой въ одно и то же время и язычникъ, и галилеянинъ, и бунтовщикъ, и анархистъ. Такъ ли это? Бываютъ бунтовщики, они же и анархисты,—напримѣръ, динамитчикъ Вальянъ, бросившій бомбу въ парижской палатѣ депутатовъ, но чаще всего эти двѣ характеристики не совмѣщаются въ томъ же лицѣ. Толстой бунтовщикъ, по словамъ Мережковского, но онъ дѣйствуетъ безъ насилія и выражаетъ свое отрицаніе культуры хотя и практически, но пассивно. Онъ добровольно опустился, сошедши съ общественныхъ вершинъ, въ ту область, гдѣ царитъ власть тьмы. Онъ пессимистъ, онъ аскетъ до умерщвленія въ себѣ всѣхъ желаній, такой же, какими были Сакія-Муни и Маркъ-Аврелій, но онъ не анархистъ, и никому не приходило въ голову давать ему такую кличку.

Наоборотъ, вполне возможно прямо противоположное явленіе, а именно, анархизмъ въ однѣхъ только идеяхъ, сопряженный съ смакованіемъ всѣхъ сладостей жизни и даже всѣхъ ея пикантныхъ гадостей. Допустимъ, что я поставлю себѣ цѣлью жизни бѣгство отъ культуры къ первобытному человѣку, но, поставивъ такую цѣль, я къ ней не иду, а бездѣйствую. Я вовсе не желаю идти въ народъ, чтобы поднять его въ культурѣ и облагородить, чтобы освободить его и отъ ига родовитаго аристократизма, и отъ другого ига—капитализма и плутократіи, чтобы содѣйствовать осуществленію трудно достижимаго, но все-таки возможнаго идеала высокообразованной демократіи,

въ которой бы во главѣ общества стояли люди талантливые и добродѣтельные, однимъ словомъ, къ установленію третьей аристократіи, чисто интеллектуальной. Оказывается, что всѣ эти замыслы не по моему вкусу; не прельщаясь ими, я ограничусь только тѣмъ, что буду злословить всякую культуру въ полномъ ея объемѣ, однимъ словомъ, буду дѣлать то въ сферѣ идей, что дѣлаетъ современный социализмъ въ своихъ ученіяхъ. Я буду присоединять свою вязанку дровъ къ массѣ имѣющихся горючихъ матеріаловъ, которые, когда ихъ побольше накопится, произведутъ взрывъ, получше тѣхъ, каковыя неудачно сошли для Вальяна и 12-го февраля 1894 для Анри. Я буду похожъ на того поэта-декадента Тальяда, пострадавшаго отъ послѣдняго взрыва, но восторгавшагося передъ тѣмъ, что жестъ кидающаго бомбу Вальяна былъ божественно красивъ. Мнѣ кажется, что этотъ Тальядъ долженъ приходиться по сердцу г. Мережковскому и поддерживаться имъ весьма усердно, что можно доказать какъ выдержками изъ всей его книги вообще, такъ и спеціальнымъ его этюдомъ, посвященнымъ Генриху Ибсену.

V.

Ибсена г. Мережковскій взялъ себѣ не въ спутники, а въ проводники; онъ обвиняетъ, такъ сказать, вокругъ Ибсена, какъ плющъ около дуба. Ибсенъ, по его словамъ, переживетъ всѣхъ насъ, онъ завоевываетъ Европу; онъ одинъ изъ славнѣйшихъ подготовителей умственного поворота отъ разрушительныхъ теорій къ созидающей якобы философской и художественной работѣ, которую мы переживаемъ. Что онъ разрушитель перваго ранга, это безспорно; но чтобы онъ былъ работникъ поворота къ созиданію, то это болѣе чѣмъ сомнительно. Онъ выросъ на почвѣ крайняго протестантизма и сдѣлался представителемъ наиболѣе неугомоннаго и разнуздавшаго индивидуализма. Онъ — принципиальный антигосударственникъ и

антиобщественникъ, ненавидящій всякое дѣйствіе общими силами. Онъ думаетъ, что люди потому несчастны, что приспособились быть только частицами чего-нибудь, а никто изъ нихъ не дерзаетъ быть самимъ собою; что сильный человѣкъ только тотъ, кто одинъ; что единственный идеалъ, которымъ слѣдовало бы человѣку одушевляться, есть идеалъ безграничной свободы, столь безграничной, что она очевидно невозможна, недостижима. Въ этой недостижимости заключается весь трагизмъ судьбы героевъ, которыхъ онъ изображаетъ.

Ибсенъ несомнѣнно великій талантъ, мрачный, но могучій и весьма ядовитый,—въ особенности, когда онъ раскрываетъ противорѣчія и уродства, кроющіяся въ нашей культурѣ. Крупная ошибка г. Мережковского, какъ критика, заключается въ томъ, что онъ производитъ уродовъ Ибсена въ мученики, и ставитъ заслуженную ими ихъ судьбу особою статьею въ обвинительный актъ противъ культуры; что онъ претендуетъ на культуру за то, что они погибли трагически въ переходной эпохѣ, когда старые боги умерли, а новые еще не родились. Кальдерона онъ прославляетъ за его фанатическое «Поклоненіе кресту». Для увлеченія насъ Ибсеномъ, онъ намъ приподноситъ драматическій портретъ, безъ историческаго или соціального фона, *Гедду Габлеръ*, предваряя насъ, что никогда еще Ибсенъ не достигалъ такой силы въ изображеніи внутренней драмы современнаго человѣка. Гедда Габлеръ, дама 30 лѣтъ, съ виду прекрасная по своему ясному, холодному спокойствію, но одержимая безпредѣльною страстью—безплодною любовью къ заведомо недостижимой красотѣ (той красотѣ, которой поклоняется и критикъ, то-есть пластической, античной). Гедда любить красоту, но не вѣруетъ въ возможность ея на землѣ, а потому и превращается во что-то въ родѣ Нерона въ юбкѣ. Г-нъ Мережковский увѣряетъ насъ, что хотя отъ ея жестокой красоты вѣетъ холодомъ смерти и гибнуть всѣ къ ней прикасавшіеся, но она обаятельно и неотразимо всѣхъ чаруетъ, а между тѣмъ она зла какъ Медея,

она не выносить возлѣ себя ничьей славы, ничьего счастья или генія. Она дѣйствуетъ по необузданному инстинкту разрушенія, безъ разсчета, дѣлая зло для зла, то-есть или ради наслажденія, которое ей доставляетъ чужая гибель, или ради того, чтобы показать свою власть надъ судьбою человѣка, а потомъ, навредивъ, иронизировать, что доставляетъ ей такое же наслажденіе, какъ и самое зло.

Будучи обречена на жизнь среди міра «мѣщанскаго», пошлаго, эта необузданная душа скупаетъ; отъ скуки она выходитъ замужъ за ничтожнаго, бездарнаго кропателя книжекъ, профессора Тесмана. Ей представлялся случай выйти за геніальнаго ученаго Левборга, но Левборгъ оскорбилъ ее своимъ циническимъ неизяществомъ; а можетъ быть она и предвидѣла, что съ Левборгомъ она не уживется, потому что и она, и онъ—натуры крайне властолюбивыя. Исчезнувшій Левборгъ появляется опять съ рукописью, которая его несомнѣнно прославитъ и убьетъ репутацію Тесмана, такъ что кафедра исторіи культуры достанется ему, а не Тесману. Не изъ привязанности къ мужу, котораго она презираетъ, и не изъ-за матеріальныхъ интересовъ, а изъ-за властолюбія и воскресающаго въ ней увлеченія Левборгомъ, Гедда вступаетъ съ Левборгомъ въ борьбу, въ которой она его и губитъ. Зная, что Левборгъ легко опохмеляется, она его подпавляетъ. Опохмелѣвъ, онъ обронилъ на улицѣ рукопись, которая должна его прославить и послужить къ уничтоженію Тесмана. Зная, что Левборгъ придетъ въ отчаяніе отъ этой потери и наложить на себя руку, Гедда даритъ ему свой револьверъ со слѣдующимъ совѣтомъ: не можетъ ли онъ сдѣлать такъ, чтобы въ *этомъ* (т.-е. въ выстрѣлѣ) была красота. Зная, что Левборгъ убьетъ себя, она съ наслажденіемъ истребляетъ его рукопись, бросая въ огонь листъ ея за листомъ. Г-нъ Мережковскій увѣряетъ насъ, что при этомъ сожиганіи «образъ ея вырастаетъ до исполинскихъ размѣровъ, и сердце наше привлекается къ ней ея непонятной красотой», чего мы, какъ ни старались, не

могли, однако, въ себѣ ощутить. И въ смерти своей Лев-боргъ обкаружилъ свою грубую неэстетичность. У кокотки, у которой онъ провелъ ночь, онъ же произвелъ скандалъ, доискиваясь рукописи; потомъ далъ пощечину призванному полицейскому, наконецъ пустилъ себѣ пулю не въ високъ и не въ сердце, а въ животъ, въ кишки. Гедда восклицаетъ: «этого еще не доставало! зачѣмъ смѣшное и пош-лое ложится на все, къ чему я прикоснусь»? Она и сама застрѣливается, освобождая такимъ образомъ міръ отъ дальнѣйшихъ своихъ мерзостей. Я понимаю въ искусствѣ демонизмъ, изображеніе чудовищныхъ натуръ, какого-ни-будь воплощеннаго дьявола Ричарда III на сценѣ; но ни Шекспиръ не представилъ Ричарда мученикомъ и стра-дальцемъ, ни Ибсенъ не имѣлъ намѣренія возвести Гедду Габлеръ въ святыя женщины. Апостолъ этотъ — личное дѣло г. Мережковского, который, когда видитъ предъ со-бою мертвую Гедду «въ ея безнадежной, холодной кра-сотѣ», то у него не хватаетъ духу осудить ее за жесто-кость, за нравственный ея нигилизмъ; онъ плачетъ только надъ тѣмъ вѣкомъ, въ которомъ она жила, надъ низкимъ уровнемъ буржуазнаго міросозерцанія. Гедда не могла жить не вѣря, а вѣры не откуда было взять. Если бы она нашла Бога, «во имя котораго стоило бы жить и умереть», то она бы его полюбила и сдѣлалась бы геро-иней или мученицей. Возникаетъ однако вопросъ: могла ли она найти Бога, когда она его вовсе не искала; она вѣдь прирожденная атеистка и эгоистка. Могла ли она вообще любить какое бы то ни было существо, физиче-ское или идеальное, Бога или народъ, идею, когда по своему душевному складу она неспособна любить. Любовь къ завѣдомо недостижимой, значить — къ несуществующей красотѣ есть вѣдь только праздная прихоть, чувство безъ содержанія, нѣчто похожее на свободу выбора путей у детерминистовъ по вопросу о свободѣ воли; любовь мо-жетъ быть только къ возможному добру. Красота въ сущ-ности тождественна съ добромъ; въ противномъ случаѣ она — уродство и извращеніе чувства. Любовь чего-то не-

человѣческаго есть просто нелѣпость. Очевидно, что при оцѣнкѣ Гедды Габлеръ г. Мережковскій передѣлалъ Ибсена, вложилъ въ него то, чего у Ибсена нѣтъ. Онъ, очевидно, раздѣляетъ многія воззрѣнія и чувства Ибсена, онъ человѣконенавистникъ и антиобщественникъ, по крайней мѣрѣ онъ радикальный противникъ современной культуры. По его словамъ, природа—дерево жизни, а культура—дерево смерти, «Анчаръ»... Изъ воздуха, отравленнаго ядомъ Анчара, изъ темницы, построенной на *кровавомъ долгѣ*, вѣчный голосъ вѣчнаго узника-человѣка зоветъ его къ первобытной свободѣ.

Одно только нехорошо:—люди не слушаются этого вѣчнаго голоса. Вотъ парочка пѣжныхъ сердецъ: съ одной стороны, Татьяна, съ другой—Онѣгинъ. Правда, Онѣгинъ немного попорченъ ложною культурою, а потому и неспособенъ къ любви, дружбѣ, созерцанію, подвигу. Однако Татьяна могла бы его навести на путь природы и истины, она могла бы сдѣлаться для Евгенія новою Беатриче. Но она тоже попорчена и говоритъ: «Я васъ люблю, къ чему лукавить,—Но я другому отдана—И буду вѣкъ ему вѣрна». При этихъ словахъ, «отъ нея вѣетъ крещенскимъ холодомъ, между любящими другъ друга сердцами разверзается неприступная, какъ смерть, бездна долга, закона чести, брака, общественнаго мнѣнія», однимъ словомъ, всѣхъ лжей, заглушающихъ голосъ природы. Любящія сердца должны погибнуть потому, что поработили себя человѣческой лжи. Авторъ видимо сожалѣетъ, что они не бросились другъ другу въ объятія. О вкусахъ нельзя спорить, но отъ такой мудреной реализаціи несомнѣнно близкаго и возможнаго счастья ужаснулся бы вѣроятно и отвернулся бы самъ Пушкинъ, потому что, объединяясь такимъ образомъ, оба его героя порядочно бы унизились. Замѣчу только, что по сравненію съ Ибсеномъ г. Мережковскій мало радикаленъ. Ибсенъ написалъ поэму: «Брандъ», проникнутую ненавистью къ патріотизму. Извѣстно также его изрѣченіе: Für das Solidarische hab'ich eigentlich niemals ein starkes Gefühl gehabt». Напротивъ того, г. Мереж-

ковский упрекает русскаго пуританина въ мужицкомъ полушубкѣ (гр. Л. Н. Толстого) за то, что, проповѣдую всемірное братство, то-есть *космополитическую* отвлеченность, онъ отрекся отъ любви къ родинѣ, отъ той ревнивой нѣжности къ своему національному, которая переполняла сердца Пушкина и Петра Великаго. Онъ сожалѣтъ о томъ, что Толстой сливаетъ живые цвѣта радуги (страстныя національныя черты) въ одинъ мертвый бѣлый цвѣтъ. Не сквозить ли въ этихъ сожалѣніяхъ родъ политическаго оппортунизма? Въ одномъ мѣстѣ г. Мережковский утверждаетъ о Кальдеронѣ, что національность ограничиваетъ его геній, и хвалить Шекспира за то, что у него господствуетъ уже безграничная свобода. Въ нашъ жестокий вѣкъ, когда подъ вліяніемъ Дарвиновской идеи: борьбы за существованіе — прославлялось въ наукѣ и литературѣ племенное и національное каннибальство во имя патріотизма, достойнѣе было бы радикалисту выдерживать свой характеръ до конца. Космополитизмъ Льва Толстого во сто разъ человѣчнѣе того, къ чему съ такою нѣжностью и пощадою относится г. Мережковский, между тѣмъ какъ онъ, будучи послѣдователемъ Ибсена и полнѣйшимъ индивидуалистомъ, отрекшимся отъ всякаго стаднаго чувства, долженъ былъ бы держаться Ибсеновскаго принципа — быть не частицею цѣлаго, а только самимъ собою.

Разборъ всѣхъ двѣнадцати первыхъ этюдовъ въ книгѣ г. Мережковского, за исключеніемъ одного послѣдняго о Пушкинѣ, привелъ насъ къ слѣдующимъ заключеніямъ. Авторъ совмѣщаетъ въ себѣ нѣсколько личностей, и у него не всегда одна съ другими согласна. Онъ — *эстетъ*, обожатель античнаго искусства и сторонникъ *аристократизма*; онъ также нервный, не выносящій вида страданія *галилеянинъ*. Онъ — утопистъ, мечтающій о *дикой волѣ* внѣ границъ цивилизаціи. Онъ, конечно, не бунтовщикъ, но индивидуалистъ и своего рода *анархистъ*, который готовъ радоваться, когда будутъ взрываются другими людьми общественныя устои, на тотъ конецъ только, чтобы ихъ

взорвать, а тамъ, потомъ, окажется, что изъ сего произойдетъ; авось какъ-нибудь что-нибудь устроится, можетъ быть и поплоче, но во всякомъ случаѣ иначе, чѣмъ теперь.

VI.

Дѣнадцать первыхъ главъ или этюдовъ въ книгѣ г. Мережковского, это только приступы и подходы, только подготовительныя работы; главный же предметъ затѣянной имъ выставки (*le sloq*, какъ выразился бы французъ), это послѣдній этюдъ, памятникъ Пушкину, какого никто еще не воздвигалъ. Ему посвящена пятая часть книги. Она написана красиво и увлекательно, какъ и все вообще что пишетъ г. Мережковскій; почти цѣлая поэма, которую жаль разрушать, хотя и нельзя ее не сломать послѣ того, какъ вдумаешься въ нее критически. Задача, которую себѣ ставитъ авторъ, такова, что еслибы оправдалось то, что онъ предполагаетъ, то пришлось бы перестроить всю исторію русской литературы въ XIX столѣтіи, то-есть, съ того момента, когда она перестала только подражать. По мнѣнію г. Мережковского, Пушкинъ былъ не столько совершитель, сколько начинатель русскаго просвѣщенія. Поэтъ «недовершенныхъ замысловъ», онъ закладывалъ фундаменты во всѣхъ родахъ поэтическаго творчества, рубилъ просѣки, мостилъ дороги и былъ нѣчто въ родѣ литературнаго Петра Великаго. Создатель для своего народа особой, Пушкинской культуры, онъ былъ способенъ поднять русскую поэзію и культуру на «міровую высоту». Онъ—прототипъ такого русскаго чело-вѣка, какимъ этотъ чело-вѣкъ явится только въ будущемъ, чрезъ двѣсти лѣтъ. Къ несчастію для Россіи, онъ прежде-временно умеръ, не создавъ ни одного главнаго произведе-нія, которое бы дало полную мѣру его силъ, каковы: «Божественная Комедія», «Фаустъ» или «Гамлетъ». Онъ обладаетъ полнымъ, стройнымъ міросозерцаніемъ, всеобъе-

млющею мыслью. Сдѣлай этотъ медленно созрѣвающій чело-
вѣкъ еще одинъ шагъ впередъ, и онъ былъ бы признанъ
тѣмъ, чѣмъ былъ въ дѣйствительности — *единственнымъ*
даже среди величайшихъ міровыхъ поэтовъ, по крайней
мѣрѣ, по выдающейся особенности его поэтического тем-
перамента — по *простотѣ*. Въ этомъ отношеніи, онъ едва ли
не выше Гёте. Пушкинская Россія не счумѣла выдвинуть
Пушкина на подобающую ему міровую высоту, не отвое-
вала ему мѣста на ряду съ Гёте, Шекспиромъ, Данте и
Гомеромъ, — мѣста, на которое онъ имѣетъ право по вну-
треннему содержанію своей поэзіи. Въ похвалахъ дальше
идти нельзя; г. Мережковскимъ достигнуты геркулесовы
столбы возможнаго. Г-нъ Мережковскій полагаетъ, что
несчастіе Пушкина заключалось въ томъ, что онъ очу-
тился среди наступившаго прибоа демократической мутной
волны, среди одичанія мысли и вкуса, среди грубаго
утилитаризма и народническаго либерализма. Произошла
продолжающаяся вездѣ убыль Пушкинскаго духа въ лите-
ратурѣ, которой г. Мережковскій задумалъ положить ко-
нецъ своимъ изображеніемъ Пушкина, въ видѣ второго
идейнаго Петра Великаго, скачущаго впередъ на обледе-
нѣвшей глыбѣ финскаго гранита. Кругомъ его бушуютъ
волны наводненія, изъ которыхъ каждая зоветъ насъ на-
задъ, къ материнскому лону русской земли, къ смиренію
въ Богѣ, къ простотѣ сердца великаго народа-пахаря, или
въ уютную горницу «старосвѣтскихъ помѣщиковъ», къ
затишью «дворянскихъ гнѣздъ», или къ дикому «обрыву»
надъ Волгою, къ серафической улыбкѣ «идіота» или къ
блаженному недѣланію Ясной-Поляны. Всѣ эти голоса —
не что иное, какъ богохульный крикъ возмущившейся
черни.

Какъ ни высоко мнѣніе г. Мережковскаго о достоин-
ствахъ его субъективной критики, не стѣсняющейся до-
казательствами, все-таки онъ понялъ, что для припод-
нятія Пушкина на необычайную высоту необходимо упо-
требить подходящій рычагъ. Онъ полагаетъ, что онъ на-
шелъ такую подъемную машину въ запискахъ пріятель-

ницы Пушкина, смуглой, черноокой, живой и остроумной Александры Осиповны Россетъ, въ замужествѣ Смирновой. Ни капли русской крови не было въ этой привлекательной иностранкѣ, за которою ухаживали современные поэты. Отецъ ея былъ французскій эмигрантъ, кавалеръ де-Россетъ, мать—нѣмка Лореръ, изъ офранцузившихся нѣмцевъ; бабка по матери—грузинка изъ рода князей Циціановыхъ. Анна Осиповна родилась въ 1809 г., вышла изъ екатерининснаго института въ 1826 г., слѣлана тотчасъ фрейлиною; вышла въ 1831 г. замужъ за бывшаго дипломата, а потомъ губернатора, Смирнова, умерла въ Парижѣ въ 1882 г. Все, что отъ нея осталось, писано на французскомъ языкѣ. Ея бумаги достались ея дочери, тоже литераторшѣ, Ольгѣ Николаевнѣ Смирновой, отъ которой, за годъ до ея смерти, послѣдовавшей 31 декабря 1893 г., удалось добыть издательницѣ «Сѣвернаго Вѣстника» записки матери, для напечатанія въ этомъ журналѣ.

Г-нъ Мережковскій не потрудился разобрать «Записки», пропустить ихъ чрезъ фильтръ критики, но беретъ цѣликомъ все, что въ нихъ написано, на вѣру, какъ настоящую истину, и упрекаетъ современниковъ, что они замалчиваютъ книгу, которая во всякой другой литературѣ составила бы эпоху, вслѣдствіе чего держится еще и нынѣ то мнѣніе, якобы поэзія Пушкина есть только прелестная, но легковѣсная вакханочка. Современники не рѣшаются признать, что, судя по запискамъ Смирновой, Пушкинъ разсуждалъ о философіи, религіи, судьбахъ Россіи о прошломъ и будущемъ человѣчества. Въ бесѣдахъ съ друзьями и Смирновой, Пушкинъ бросалъ сѣмена будущей, еще не существующей культуры, давалъ завѣты будущему просвѣщенію. Нерѣдко у Смирновой Пушкинъ излагалъ мысли, которыя сквозятъ и въ оставшихся его открывкахъ, письмахъ, дневникахъ или черновыхъ его рукописяхъ,—словомъ, онъ является серьезнымъ человѣкомъ и глубокимъ, всеобъемлющимъ мудрецомъ, имѣющимъ своеобразное міросозерцаніе. Такъ какъ г. Мережковскій никакой критикѣ

«Записокъ Смирновой» не подвергъ, то намъ приходится становиться на вопросъ: какую цѣнность могутъ имѣть эти записки въ смыслѣ историческаго источника? Какую историческую достовѣрность представляетъ то, что въ запискахъ этихъ рассказано? Позволю себѣ произвести нѣсколько почерпнутыхъ изъ записокъ образчиковъ, въ которыхъ передаются вещи либо мало вѣроятныя, либо невозможныя и совершенно невозможныя.

Напримѣръ, былъ разговоръ у Смирновыхъ, вѣроятно въ послѣднее время передъ смертью Пушкина, между Пушкинымъ, Жуковскимъ, Соболевскимъ и однимъ изъ Тургеневыхъ. Пушкинъ хотѣлъ показать, что онъ не заводитъ начинающему собрату Лермонтову, и сказалъ: «надѣюсь, что Лермонтовъ создастъ не мало шедевровъ; онъ обладаетъ всѣмъ, что нужно, чтобы сдѣлаться великимъ лирическимъ поэтомъ, у него бываютъ дивные стихи; ему слѣдуетъ читать, размышлять, учиться, сосредоточиваться и не подражать болѣе Байрону, послѣ того какъ онъ подражалъ Шиллеру. Жуковский—его лучший руководитель, какъ былъ и моимъ». Все въ этой передачѣ невѣрно. Поэты никогда не встрѣчались: Пушкинъ, по дружимъ источникамъ, никогда о Лермонтовѣ не упоминалъ. Самъ Лермонтовъ, въ показаніи при допросѣ въ третьемъ отдѣленіи, по поводу стиховъ на смерть Пушкина, сказалъ, что до того напечатана была только одна его поэма въ «Библіотекѣ для Чтенія»—«Хаджи-Абрекъ», въ 1855 г. Онъ не могъ добиться представленія на сценѣ своего неизданнаго еще «Маскарада», а его поэма про Грознаго Царя, про Кирибѣвича и купца Калашникова, появилась въ печати только въ 1838 г. Уже по смерти его, при изданіи юношескихъ его произведеній, стало извѣстнымъ, что онъ переводилъ Шиллера и заимствовалъ кое что изъ его «Разбойниковъ», въ напечатанныхъ своихъ драмахъ. Пушкинъ не могъ предлагать въ наставники Лермонтову Жуковского; пѣсня Жуковского въ концѣ тридцатыхъ годовъ была уже спѣта. Самъ Пушкинъ не относился къ Жуковскому какъ къ наставнику.

Вотъ еще страницы 281—287 изъ «Записокъ» Смирновой. Былъ у Смирновыхъ одинъ изъ обычныхъ субботнихъ вечеровъ, вѣроятно, осенью 1834 г., такъ какъ Пушкинъ принесъ тогда свои «прелестные стихи» о Мицкевичѣ (стихи безъ заглавія, изданные уже по смерти Пушкина и помѣченные 10 августа 1834 г.; они начинаются такъ: «Онъ между нами жилъ», а кончаются словами. „О, Боже, возврати—Твой миръ въ его *озлобленную душу*“). Пушкинъ сказалъ: „его лучшее произведение—Панъ Тадеушъ, мнѣ хочется его перевести на старости лѣтъ, когда уже мнѣ болѣе нечего будетъ сказать своего—я нахожу въ Панѣ Тадеушѣ новыя мысли“. Онъ говорилъ затѣмъ, что боится кружка, который сплотился около Мицкевича, этихъ эмигрантовъ, въ родѣ *секты Товянскаго*, о которомъ Голынский сообщалъ разныя подробности Соболевскому. Пушкинъ былъ взволнованъ, такъ какъ онъ считаетъ Мицкевича весьма несчастнымъ, а порою и *озлобленнымъ*. Говоря о поэмѣ ка наводненіе, Пушкинъ сказалъ: Мицкевичъ думалъ, что лошадь ринется въ пропасть и разобьется, но я не такой дурной пророкъ: она удержится на ногахъ. Пропасть насъ поглотитъ лишь въ томъ случаѣ, если мы не совершимъ того, о чемъ я мечтаю съ лица, не освободимъ крѣпостныхъ, не возвратимъ имъ правъ гражданина и собственности“.

Въ этой передачѣ все фальшиво, отъ начала до конца. Послѣдніе стихи „Пана Тадеуша“ подписаны въ февралѣ 1834 г.; онъ медленно печатался, и едва ли могъ его читать Пушкинъ въ С.-Петербурѣ въ 1834 г. (это была запрещенная книга); едва ли сюжетъ поэмы могъ его заинтересовать и пріохотить къ переводу.

Писалъ поэму Мицкевичъ въ полномъ одиночествѣ и вдали отъ всѣхъ эмиграціонныхъ партій; женившись, онъ переселился изъ за куска хлѣба въ Лозанну, преподавалъ тамъ римскую литературу, и только въ 1841 г. вступилъ на кафедру Collège de France въ Парижѣ. Только въ концѣ 1841 г. пріѣхалъ въ Парижъ никому во Франціи неизвѣстный литвинъ Андрей Товянскій который его опу-

валъ и увлекъ въ религіозный мистицизмъ. Поэма о наводненіи есть отрывокъ „Петербургъ“, составляющій приложеніе къ третьей части „Дѣдовъ“; восторженные же мечты Пушкина, высказываемыя имъ относительно освобожденія крестьянъ, были вполне чужды Пушкину въ концѣ его жизни. Въ „Мысляхъ на дорогѣ“, по направленію противоположному пути Радищевскому, а именно изъ Москвы въ Петербургъ, писанныхъ въ 1834 г. Пушкинъ полезимируетъ съ Радищевымъ, съ его „тогдашнимъ моднымъ краснословіемъ“, и мирится съ существующимъ порядкомъ, т.-е. съ крѣпостничествомъ ¹⁾. Я полагаю, что выходки Пушкина противъ крѣпостничества въ „Запискахъ Смирновой“ приписаны и вставлены послѣ освобожденія крестьянъ; что въ уста Пушкину вложены слова, обличающія ясныя понятія о томъ, о чемъ никто еще опредѣлительно не помышлялъ, а именно объ освобожденіи крестьянъ не иначе какъ съ земельнымъ надѣломъ.

На стр. 158 „Записокъ“, въ моментъ, предшествующій помолвкѣ А. О. Россетъ съ Смирновымъ, значитъ—до 1831 г., въ разговорѣ Жуковского съ Пушкинымъ Жуковскому приписаны слѣдующія слова: „Мускетеры Дюма (отца) — просто искатели приключеній, но они храбры, великодушны, легкомысленны, глуповаты, всегда съ обнаженной шпагой“. „Три мускетера“ Дюма изданы въ Парижѣ въ 1844 году, а Пушкинъ скончался въ 1837 г.

На стр. 66 „Записокъ“ Смирновой, приведены слова императора Николая Павловича, относящіяся къ бытности его въ Лондонѣ, когда ему было только 18 лѣтъ и когда никто не предвидѣлъ въ немъ будущаго государя: „Мнѣ показали Байрона въ паркѣ; онъ сидѣлъ на скамьѣ. Я прошелъ мимо скамьи, онъ всталъ и поклонился мнѣ“. — Такой поклонъ совсѣмъ не въ англійскихъ нравахъ и невѣроятенъ.

¹⁾ Соч. Пушкина, изданіе Морозова, т. V. стр. 240: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мѣрѣ распространенія просвѣщенія. Избави меня Боже быть поборникомъ и проповѣдникомъ рабства, я говорю только, что благосостояніе крестьянъ тѣсно связано съ пользою помѣщиковъ».

На стр. 154, Пушкину приписаны слова. „Шекспиръ есть величайшій творецъ живыхъ существъ, послѣ Бога“. Эти слова, повидимому, заимствованы почти дословно у Тэна: „le plus grand faiseur d'âmes humaines“.

На стр. 32 „Записокъ“, рассказаны живыя картины, поставленныя въ 1828 году въ домѣ Карамзиныхъ. Пушкинъ нарядился мужикомъ, Климентій Россетъ надѣлъ венгерку; Глинка игралъ на гитарѣ трепака и мазурку; на столѣ поставленъ былъ бронзовый Петръ Великій на конѣ, по Фальконету. Жуковский подсказалъ Смирновой: „это Пушкинъ и Мицкевичъ передъ статуей Петра Великаго“. Мицкевичъ не былъ знакомъ въ этомъ обществѣ, не бывалъ у Карамзиныхъ; въ 1827 или 1828 г., онъ имѣлъ какой-то разговоръ съ Пушкинымъ о Петрѣ Великомъ, котораго содержаніе осталось тогда же незаписаннымъ и въ настоящее время никому неизвѣстно, но оно послужило основою для написанія Мицкевичемъ впослѣдствіи, въ Дрезденѣ, въ 1832 г., высоко-художественнаго стихотворенія „Памятникъ Петра В.“, вошедшаго въ составъ отрывка „Петербургъ“ приложеннаго къ третьей части „Дѣдовъ“. Стихотвореніе Мицкевича есть несомнѣнно поэтическая фикція. Оно передаетъ чувства, будто бы выраженные Мицкевичу Пушкинымъ, при сопоставленіи имъ памятника, созданнаго Фальконетомъ, съ конною статуею Марка-Аврелія, у подъема въ Капитолій, близъ Ага Соелі въ Римѣ. Ничего подобнаго не могъ высказывать Пушкину Мицкевичъ въ 1828 г., потому что самъ онъ увидѣлъ впервые коннаго Марка-Аврелія въ Римѣ въ 1829 и 1830 годахъ; Пушкина же познакомилъ съ этою статуею Смирновъ, женившійся на А. О. Россетъ въ 1831 г. (Зап. Смирновой, стр. 244).

Изъ разсказа о живыхъ картинахъ у Карамзиныхъ слѣдовало бы заключить, что собравшееся у Карамзиныхъ общество было уже настолько знакомо съ содержаніемъ стихотворенія, увѣковѣчившаго ничѣмъ не замѣчательный и не записанный ни однимъ изъ двухъ поэтовъ ихъ разговоръ, что собравшіеся способны были отгадать смыслъ

изобразившей эту бесѣду живой картины, чего, конечно, въ дѣйствительности быть не могло.

Не подлежитъ сомнѣнію, что въ домѣ Смирновыхъ поклоненіе Пушкину, пока онъ жилъ, было глубокое, а по его смерти, память о немъ хранилась свято; этотъ культъ Александра Осиповна Смирнова передала и дочери, Ольгѣ Николаевнѣ. Безсознательно и постепенно, въ воспоминанія прошлаго вплеталось и все то, что обѣ Смирновы узнавали о Пушкинѣ, либо вчитываясь въ его произведенія, либо слѣдя за тѣмъ, что было о Пушкинѣ другими писателями печатаемо. Къ несомнѣнно достовѣрному присовокуплялось сказочное изъ наслоившихся постепенно налетовъ. Смѣшенію достовѣрнаго съ легендарнымъ содѣйствовала въ значительной степени безпорядочность записей. Ни одна изъ этихъ записей не имѣетъ числа и года; онѣ перемѣшаны хронологически и позаимствованы изъ альбомовъ, записныхъ книжекъ, клочковъ бумаги, писемъ и бѣглыхъ замѣтокъ. Весь этотъ матеріаль Смирнова-дочь получила только въ 1886 и 1887 годахъ изъ Лондона и Дрездена. Она не подвергала этихъ записей строгой разработкѣ, не расположила ихъ годами. Сообщая матеріаль въ „Сѣверный Вѣстникъ“, она сначала поставила событія 1828 года и послѣдующаго времени, потомъ воспоминанія матери о времени, проведенномъ въ екатерининскомъ институтѣ, и о наводненіи 1824 г., потомъ въ запискахъ замѣтенъ скачокъ съ пропускомъ польскаго мятежа и затѣмъ является внезапно извѣстіе о взятіи Варшавы и рассказываются позднѣйшія происшествія. Подлинныхъ записей матери дочь никому не сообщала, ни въ подлинникахъ, ни въ копіяхъ; она присылала въ журналъ, по словамъ редакціи „Сѣвернаго Вѣстника“, ея же писанные на французскомъ языкѣ сплошные листы, передающіе нанизанныя одно на другое воспоминанія. Листы писаны „болѣзненно-неправильнымъ“ почеркомъ, съ недописанными словами (дочь Смирнова страдала глазами); въ редакціи „Сѣвернаго Вѣстника“ рукописи дочери Смирновой переводились на русскій языкъ. Приго-

товляя воспоминанія, дочь пользовалась еще и своими собственными замѣтками, такъ какъ, по совѣту матери, она вела дневники, внося въ нихъ „только-что выслушанное“. Собственныя ея замѣтки воспроизводили воспоминанія матери; изъ этихъ выслушанныхъ данныхъ она намѣревалась написать нѣчто особое. Она была сильно раздражена противъ новѣйшей русской литературы и въ особенности противъ журналистики. Редакція „Сѣвернаго Вѣстника“ присовокупляетъ, что дочь Смирнова (т. I Зап.) обладала „цѣлымъ философскимъ и эстетическимъ міросозерцаніемъ, сложившимся на основаніи огромнаго литературнаго образованія и широкаго знакомства съ разнообразными вопросами исторіи Россіи и другихъ европейскихъ государствъ“. Можно себѣ представить, какъ сильно разлагался каждый лучъ свѣта, исходящій отъ Пушкина, проходя слѣдовательно чрезъ двѣ такія призмы: умъ и сознаніе сначала матери, а потомъ и дочери. Весь матеріалъ былъ перерабатываемъ обѣими, причемъ я обращаю вниманіе на странный, употребляемый въ „Запискахъ“, приѣмъ—повторять одинъ и тотъ же фактъ нѣсколько разъ, какъ будто бы для того, чтобы сильнѣе водрузить его въ памяти читателя и сдѣлать его чрезъ то болѣе достовѣрнымъ. Такъ напр.. на стр. 13 дочь пишетъ: еще въ 1826 г., въ разговорѣ съ Блудовымъ, Государь называлъ Пушкина самымъ замѣчательнымъ человѣкомъ въ Россіи. На стр. 91, мать Смирнова выражается такъ: „я прибавила: Государь сказалъ Блудову въ 1826 г., что вы самый замѣчательный человѣкъ въ Россіи“. На стр. 266: „я отвѣчала (Баранту): Государь сказалъ Блудову въ 1826 г., послѣ своего перваго свиданія съ Пушкинымъ: сегодня утромъ я бесѣдовалъ съ самымъ замѣчательнымъ человѣкомъ въ Россіи“. Несмотря на многочисленность повтореній, фактъ остается сомнительнымъ потому, что оцѣнка отнесена не къ поэту и его дарованію, а къ качествамъ ума Пушкина съ государственной точки зрѣнія, которыми Пушкинъ не былъ никогда силенъ, и которыя императоръ Николай не былъ расположенъ въ поэтѣ признавать.

На страницахъ 129, 273 и 296 «Записки» удостовѣряютъ предчувствіе въ Пушкинѣ ранней его смерти.

Особенно настойчиво въ «Запискахъ» выражается стараніе писательницы насчетъ устраненія всякаго сомнѣнія въ томъ, что, записывая русскія рѣчи съ моментальнымъ переложеніемъ ихъ на французскій языкъ, А. О. Россетъ воспроизводила ихъ съ полною точностью и дословно. На стр. 150, Пушкинъ ее спрашиваетъ: «Что вы дѣлаете? Рисуете наши каррикатуры?» «Нѣтъ, я записываю ваши слова». Пушкинъ расхохотался: «протоколъ литературнаго засѣданія». Стр. 154: «Пушкинъ перечелъ мои записки, поправилъ двѣ-три фразы, которыя я переводила, когда онѣ были сказаны по-русски»... Стр. 163: «Пушкинъ повернулся ко мнѣ, взялъ бумагу, перемѣнилъ одну или двѣ фразы и сказалъ: вы прирожденная стенографистка». Стр. 173: Пушкинъ сказалъ: «какъ вы быстро переводите на французскій языкъ; это очень полезное упражненіе». Стр. 218: «вы по прежнему будете вести свои замѣтки, и когда мы состарѣмся, мы прочтемъ ихъ вмѣстѣ». Стр. 272: «я просила его пересмотрѣть замѣтки, которыя я набросала. Онъ рѣшилъ: какая страшная у васъ память; я перемѣнилъ только три слова, да и тѣ равнозначія».

Замѣчательно, что въ «Русскомъ Архивѣ» за 1871 г., № 11, стр. 1882, помѣщены отрывки воспоминаній А. О. Смирновой, изъ которыхъ видно, что еще въ 1832 году Пушкинъ не подозрѣвалъ, чтобы она была не только стенографистка, но даже и писательница. «Въ 1832 году А. С. Пушкинъ приходилъ почти каждый день ко мнѣ и въ день рожденія моего принесъ мнѣ альбомъ и сказалъ: вы такъ хорошо рассказываете, что должны писать свои записки».

VII.

Хотя записки Смирновой настойчиво внушаютъ читателю, что все записанное правда не только по содержанію,

но и по формѣ, что Смирнова фиксировала все сказываемое Пушкинымъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ оно было произнесено, но въ дѣйствительности у г-жи Смирновой подѣ ея перомъ пропадаетъ весь Пушкинъ, какимъ мы его знаемъ по его письмамъ и по сказаніямъ его друзей и современниковъ. Онъ былъ шутникъ и неистощимый острякъ, насмѣхающійся не злобно, но позволяющій себѣ и тривіальности, приходившія ему на языкъ. Онъ выражался коротенькими фразами, глубоко зарубающимися въ предметъ и неподражаемо мѣткими, а не сажеными періодами. Никогда не подтверждалъ онъ своихъ положеній цѣлыми вереницами примѣровъ, какъ то свойственно педантамъ и учителямъ, никогда онъ не наводилъ скуку самымъ изложеніемъ мыслей, которыя у него не текли, а сверкали. Замѣчательный образчикъ такого скучнословія въ якобы Пушкинской бесѣдѣ представляетъ разговоръ объ одномъ вечерѣ у Смирновыхъ при участіи князя Вяземскаго, Пушкина и де-Баранта, занимающій цѣлыхъ 20 убористыхъ страницъ (246—266). Зашла сначала рѣчь о даровитыхъ женщинахъ - царицахъ. Пушкинъ выкинулъ залпомъ цѣлыхъ 15 именъ такихъ женщинъ въ хронологическомъ порядкѣ, начиная съ Семирамиды, Зиновіи и Клеопатры. Потомъ его заставили импровизировать родъ англійскаго Essay о демократіи и аристократіи, начиная съ Востока, Греціи, Рима и до современнаго общественнаго и государственнаго устройства теперешнихъ европейскихъ государствъ. Весь этотъ публицистическій этюдъ въ видѣ лекціи кончается довольно зауряднымъ и почти безспорнымъ выводомъ, что когда народъ станетъ по своему образованію тѣмъ, чѣмъ былъ tiers-état во Франціи въ 1789 г., то онъ получитъ преобладаніе вслѣдствіе своей цивилизаціи и численности. Образуется тогда *третья* аристократія, умственная, но пока это сбудется, будетъ господствовать послѣ *первой* родовой аристократіи вторая — денежная, которая господствуетъ въ нашемъ обществѣ, сдѣлавшемся буржуазнымъ. По словамъ Пушкина, *демократами* въ широкомъ смыслѣ этого слова бываютъ люди,

которые допускаютъ, что таланты и геніи могутъ выдѣляться изъ массы и достигать значенія и власти. Такими демократами были и Петръ В., и даже Христось, котораго якобинцы лживо прозываютъ санкюлотомъ-патріотомъ, такъ какъ вдохновенность или святость не составляютъ никогда удѣла одного только класса, однихъ только простолюдиновъ. Отъ этой длинной диссертациі вѣтъ духомъ второй половины XIX в., то-есть временъ послѣ крымской войны. Сама кличка *демократъ* была чѣмъ-то запретнымъ при Николаѣ Павловичѣ; Пушкинъ самъ себя такъ не называлъ; въ пику придворному дворянству онъ назвалъ себя въ своей «родословной» только «мѣщаниномъ», въ душѣ же онъ всегда былъ дворянинъ до мозга костей. И его выходки противъ крѣпостного состоянія, и и его взгляды на священное писаніе, за которые, по словамъ Смирновой, онъ удостоился такой похвалы отъ Баранта: «я не подозрѣвалъ, что у него такой религіозный умъ», — кажутся мнѣ поддѣльными вставками. Разъ доказаны поддѣлки и сочинительство въ нѣкоторыхъ частяхъ «Записокъ», то по каждой лично до Пушкина относящейся подробности ставится вопросъ: не поддѣлана ли она? А такъ какъ ни отъ одной изъ нихъ не вѣтъ Пушкинскимъ духомъ, то онѣ становятся сомнительными и должны быть устранены, а въ числѣ ихъ въ особенности такія, которыя умаляютъ значеніе Пушкина и представляютъ его въ жалкомъ или пошломъ видѣ. А. О. Смирнова была свѣтская барыня, фрейлина изъ екатерининскаго института, обожающая все августѣйшее семейство, и въ то же время связанная тѣснѣйшею дружбою, доходящею до культа, съ Пушкинымъ. Къ этимъ двумъ преобладающимъ привязанностямъ слѣдуетъ прибавить общее настроеніе, господствовавшее въ этомъ высшемъ обществѣ, умѣренное-либеральное, весьма буржуазное. Хотя Пушкинъ жилъ въ этой атмосферѣ, — сомнѣваюсь, могъ ли онъ выражать слѣдующіе этически пуританскіе и чопорные взгляды и вкусы. На стр. 132: «Руссо на мой взглядъ есть писатель безнравственный; его хвалена чувствитель-

ность только флёръ, прикрывающій проповѣдь доктринъ, недостойныхъ одобренія. Его герои и героини противоположны добродѣтели. Идеализировать запрещенныя страсти безнравственно». Стран. 151: «Жанъ-Жакъ для меня скученъ». Стр. 305: «Онъ унижилъ любовь. У него все фальшиво, даже природа». На стр. 194, Альфредъ де-Виньи отдѣланъ столь же безпощадно, какъ и Руссо, за его Элоа, послужившую первообразомъ Тамарѣ Лермонтовскаго «Демона». Элоа—женскій ангелъ, духъ состраданія, родившійся отъ слезы Христа, пролитой на крестѣ. Чтобы сострадать—надобно прежде полюбить. Элоа пожалѣла Люцифера до того, что отдала ему въ жертву свою чистоту. Пушкинъ у Смирновой возмущенъ не сюжетомъ, который прелестенъ, но ложною идеею. «Развѣ то не софизмъ, что паденіе можетъ быть слѣдствіемъ состраданія»? Пушкинъ задается вопросомъ: вѣрующій ли человѣкъ Виньи, или нѣтъ? Такіе же вопросы онъ ставитъ по отношенію къ Гёте и Шекспиру. Онъ самъ признаетъ себя не только вѣрующимъ, но *правовѣрнымъ* человекомъ. Отношу это выраженіе на счетъ неудачнаго перевода слова orthodoxe; надлежало бы сказать: православный. Я вполне увѣренъ въ томъ, что Пушкинъ, хотя, будучи молодымъ, хвастался, что онъ «аѳей», но въ сущности онъ былъ христіанинъ, чему свидѣтелемъ—его «Галубъ»; но едва ли когда-либо онъ былъ узкимъ христіаниномъ, исключительно православнымъ человекомъ. Едва ли онъ могъ мечтать о водвореніи христіанства на Кавказѣ посредствомъ веденія религіозной войны съ горцами (стр. 90), то-есть, о водвореніи христіанства на Кавказѣ съ помощью тѣхъ солдатъ въ киверахъ и съ ружьями, которые бы охраняли своимъпокровительствомъ могучимъ—«Того владыку, терніемъ вѣнчаннаго колючимъ, Христа, предавшаго покорно плоть свою Бичамъ мучителей, гвоздямъ и копію» (стихи на «Распятіе» Брюллова). Само собою разумѣется, что Пушкинъ у Смирновой (стр. 205) сильно порицаетъ Шелли за его «Прометея»: «я не признаю, чтобы возмущеніе противъ Бога могло освобождать

насъ отъ нашихъ золь. Это—софизмъ, это архилживо; оно только ожесточаетъ людей».

Всего больше обиженъ однако Пушкинъ въ «Запискахъ» Смирновой тѣмъ, что онъ представленъ какъ кроткій агнецъ, совсѣмъ одомашненный и прирученный, котораго ласкаютъ какъ ребенка и охраняютъ посредствомъ усиленной цензуры отъ послѣдствій, какія могли бы имѣть его шалости со стороны тѣхъ, кого онъ возстановлялъ противъ себя своими колкими эпиграммами. Императоръ Николай говоритъ ему (стр. 179): «продолжай излагать твои мысли въ стихахъ и прозѣ; нѣтъ надобности золотить пилюли для меня, но надо дѣлать это для публики (стр. 227). Стихи Пушкина остроумны, ему ихъ не простятъ. Не нападай на нихъ (на Булгарина), они этого не стоятъ».

Умаливъ Пушкина, г-жа Смирнова въ своихъ запискахъ низвела и императора Николая съ его высокаго пьедестала. Онъ намъ не импонируетъ своимъ холоднымъ и суровымъ величіемъ, онъ болѣе похожъ на Марка Аврелія, тонкаго литератора, художника и философа въ свои свободныя минуты. Онъ любопытствуетъ знать: «правда ли, что у меня голова Юпитера?—Какого же Юпитера: Громовержца, Капитолійскаго или Статора? Вотъ у Гёте была голова Статора; онъ произвелъ на меня прекрасное впечатлѣніе; я отъ него не слыхалъ банальной фразы» (стр. 85).—Императоръ Николай заходитъ запросто на вечерній чай къ фрейлинамъ, напримѣръ къ А. О. Россетъ (стр. 49). Узнавъ, что у Россетъ бываютъ поэты, онъ сходитъ съ ними и бесѣдуетъ съ Пушкинымъ, Вяземскимъ, Жуковскимъ, даже съ Гоголемъ. Съ послѣднимъ онъ бесѣдуетъ о гетманахъ, отъ Хмельницкаго до Скоропадскаго, и о дядѣ Гоголя, Трощинскомъ. Онъ возводитъ А. О. Россетъ, не конфиденціально, а открыто предъ всѣми, въ званіе курьера или фельдъегеря по отношенію къ стихамъ Пушкина. Онъ ей поручаетъ стихи Пушкина доставлять къ нему, а отъ него препровождать по принадлежности для отдачи въ обыкновенную цензуру.

Между императоромъ и Пушкинымъ устанавливается постепенно столь тѣсная связь, что Пушкинъ забѣгаетъ къ государю на улицахъ, якобы случайно; что съ разрѣшенія государя онъ является въ Лѣтній садъ во время утреннихъ прогулокъ государя: «но это между нами; скажутъ, что ты хочешь влѣзть ко мнѣ въ довѣріе, ищешь милостей и захочешь интриговать, а это тебѣ повредить. Всѣхъ, съ кѣмъ я разговариваю и кого отличаю, считаютъ интриганами» (стр. 72). Сюжеты ихъ разговоровъ — не только поэзія, но также дѣла и люди современные, Аракчеевъ, Сперанскій; государь выражаетъ свои личныя о нихъ сужденія. Онъ интересуется даже снами Пушкина: «скажите ему, что я прошу его видѣть такихъ сновъ побольше, они прекрасны и полезны для русской поэзіи» (стр. 84). Онъ поручаетъ Смирновой передать Пушкину, что Веллингтоновскій «Reformbill» прошелъ въ англійскомъ парламентѣ, а онъ думалъ, что не пройдетъ (стр. 82). А. О. Россетъ сдѣлалась посредницею между государемъ и Пушкинымъ; а такъ какъ ея функція имѣла несомнѣнно литературно-политическое значеніе, то и сама она становилась политическимъ лицомъ. Она исправляла свою должность съ серьезностью департаментскаго регистратора и вела списокъ всего, что проходило чрезъ ея руки. По приему, часто употребляемому ею въ «Запискахъ», она заставляетъ Пушкина огласить этотъ списокъ. На одинъ изъ послѣднихъ своихъ обѣдовъ у Смирновыхъ (стр. 319) Пушкинъ принесъ записку и сказалъ: — отгадайте? Говорятъ: стихи. — Это — списокъ поэмъ и стихотвореній, которые одна прекрасная особа давала читать государю, прежде чѣмъ ихъ видѣлъ Катонъ (графъ Бенкендорфъ). Тутъ есть: Онѣгинъ, Графъ Нулинъ, Мѣдный Всадникъ, есть Бородино, На взятіе Варшавы и Клеветникамъ Россіи, изъ-за которыхъ мой фельдъегерь даже поссорился съ Вяземскимъ который сказалъ, что это — *«минельные стихи»*...

Что касается до «Мѣднаго Всадника», то я сомнѣваюсь, былъ ли онъ подносимъ государю, потому что

цензура въ концѣ концовъ его не пропустила, такъ что онъ появился только между посмертными произведеніями Пушкина. Еслибы дѣйствительно государь, какъ то написано въ «Запискахъ» Смирновой, сказалъ въ разговорѣ съ Пушкинымъ: «я радъ, что ты озаглавилъ поэму Мѣдный Всадникъ, это такое русское заглавіе, и оно такъ идетъ къ Петру Великому; то, что Александра Осиповна показывала мнѣ, дивно хорошо», — то, имѣя такую заручку, поэтъ могъ бы пожаловаться государю на цензуру, и поэма бы прошла. Но у Смирновой выходитъ, что государь Николай и его цензура были почти въ такомъ же отношеніи, какъ Филиппъ II и св. инквизиція: что разрѣшилъ король, то инквизиція могла еще запретить.

Относительно «шинельныхъ стиховъ» можно бы по-видимому, съ увѣренностью сказать, что въ этомъ мелкомъ фактѣ замѣчается очевидная маленькая литературная поддѣлка. Уже послѣ взятія Варшавы (7-го сентября 1831 г.), Жуковскій издалъ томикъ своихъ и Пушкинскихъ патріотическихъ стиховъ, въ числѣ которыхъ стихи: «На взятіе Варшавы», были его собственные. Въ IX томѣ соч. кн. П. А. Вяземскаго, напечатанномъ въ 1884 г., воспроизведено содержаніе его старыхъ записныхъ книжекъ. Въ одной изъ нихъ было отмѣчено, что, находясь въ Москвѣ и прочитавъ патріотическій сборникъ своихъ друзей, Вяземскій его не одобрилъ по чувству, внушаемому простѣйшею моралью, что лежакаго не бьютъ. Подъ 14-ое сентября 1831 г., въ книжкѣ Вяземскаго записано, что онъ написалъ письмо къ Пушкину, но только не послалъ. Въ письмѣ было сказано: «охота была Жуковскому (не Пушкину) писать *шинельные* стихи» (стихотворцы, которые ходятъ въ Москвѣ въ шинели по домамъ съ поздравительными одами). Свою остроу едва ли Вяземскій повторилъ потомъ въ С.-Петербургѣ, такъ какъ сборникъ имѣлъ большой успѣхъ у публики, а Вяземскій не пошелъ бы противъ этого уже опредѣлившагося теченія. Слѣдовательно, въ «Запискахъ» Смирновой имѣются слѣдующія неточности: 1) Пушкину невѣрно приписаны стихи

Жуковского; 2) Вяземскій никогда не называлъ стиховъ «Клеветникамъ Россіи» «шинельными стихами»; 3) сама острога: «шинельные стихи» — не была вѣроятно извѣстна, до изданія въ 1884 году IX т. Сочиненій Вяземскаго. Патріотическій сборникъ изданъ Жуковскимъ; очень можетъ быть, что и Пушкинскіе стихи, предназначавшіеся въ этотъ сборникъ, могли попасть въ печать помимо государя. Удостоверяемый Смирновою фактъ, что «Бородино» и «Клеветникамъ Россіи» подносимы были предварительно государю, способенъ умалить до нѣкоторой степени наше уваженіе къ Пушкину, если бы они могли быть объяснены не выраженіемъ патріотическихъ чувствъ русскаго человѣка, но личною услугою Пушкина правительственной политикѣ.

Если бы было достоверно, что императоръ Николай двукратно якобы повторилъ Смирновой (стр. 221), чтобы Пушкинъ передавалъ ему все, что напишетъ („не забудьте, это болѣе чѣмъ разрѣшеніе; я этого хочу“); еслибы императоръ Николай дѣйствительно былъ въ такомъ восхищеніи отъ Пушкинскаго „Пророка“ („стихотвореніе дивно-прекрасно, это настоящій *Пророкъ*“), то Пушкину не зачѣмъ было бы добиваться упорно, но безуспѣшно, разрѣшенія издавать подцензурную газету; онъ бы гораздо больше сдѣлалъ и скорѣе дѣйствовалъ, влияя на государя непосредственно; онъ бы успѣлъ и доставить облегченіе друзьямъ своимъ декабристамъ, и достигнуть освобожденія крестьянъ. Это освобожденіе звучитъ по всей книгѣ фальшивымъ тономъ въ аккордахъ Смирновой. Были благія по этому предмету пожеланія, но не въ той степени и не во всѣ времена; мѣра и перспектива не соблюдены; настроенія дѣйствующихъ лицъ модернизированы послѣ крестьянской реформы и въ духѣ этой реформы. Не могъ Пушкинъ послѣднихъ его лѣтъ сказать (стр. 288): „я ненавижу придворное дворянство, съ нимъ государю всего труднѣе будетъ справиться въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ“. Не могъ самодержецъ, исполненный сознанія своего политическаго всемогущества, дѣлать такіа

интимныя сообщенія и высказывать завѣты, касающіеся глубочайшихъ замысловъ политики: „только тогда я буду счастливъ, когда народъ освободится отъ крѣпостной зависимости“; на что Смирнова отвѣтила: „да услышитъ васъ Богъ“, а ея мужъ и Пушкинъ сказали: „аминь“! (стр. 225).

Кто бы желалъ удостовѣриться въ малой рѣшительности императора Николая по крѣпостному дѣлу, тому бы мы совѣтовали справиться о томъ въ трудѣ В. И. Семева, во второмъ томѣ его (1882) книги: „Крестьянскій вопросъ въ царствованіе Императора Николая“.

VIII.

Вѣнцомъ несообразностей, которыми пестрѣютъ „Записки“ Смирновой, считаю я все то, что въ этихъ запискахъ относится въ „Анчару“, причинившему Пушкину бездну непріятностей. Въ 1832 г., цензоръ пропустилъ эту на видъ совѣмъ невинную, весьма красивую бездѣлушку, навѣянную поэту воспоминаніями о его африканскомъ происхожденіи. Графъ Беккендорфъ почувалъ въ этомъ произведеніи нѣчто ядовитое и возбудилъ вопросъ, почему оно было напечатано безъ предварительнаго разрѣшенія государя. Дѣло доходило до государя и кое-какъ уладилось. У г-жи Смирновой сочиненъ по поводу „Анчара“ цѣлый разговоръ, въ родѣ комментарія. Императоръ прочелъ *corpus delicti*, который произвелъ на него сильное впечатлѣніе. „За ужиномъ онъ мнѣ сказалъ: то былъ *рабъ*, а у насъ крѣпостные. Я прекрасно понималъ, о какомъ деревѣ говоритъ Пушкинъ. Онъ правъ, говоря что мы должны возвратить русскому мужику его права, его свободу и его собственность (совершенно въ духѣ Положеній 19-го февраля 1861 г.). Я говорю: *мы*, потому что я не могу совершить этого помимо владѣльцевъ крѣпостныхъ, но это будетъ. Еслибы я одинъ сдѣлалъ это, сказали бы, что я деспотъ. Уполномочиваю васъ передать все это Пушкину“.

Оставимъ этотъ разговоръ, который, на мой взглядъ, совсѣмъ не въ духѣ императора Николая и былъ бы умѣстенъ и корректенъ только еслибъ его велъ какой-нибудь конституціонный монархъ, а не неограниченный самодержецъ. Остановимся на самомъ *древнъ яда* и задумаемся въ его внутренній смыслъ. Либо „Анчаръ“ есть чистая бездѣлка, взятая изъ какого-нибудь путешествія по Африкѣ, считаемой потомъ его дальнею родиною. Я самъ такъ думалъ, когда въ 1891 г. полемизировалъ съ краковскимъ профессоромъ Третьякомъ (VIII т. моихъ сочиненій, л. 55), который объяснялъ „Анчара“ непримиримою ненавистью къ существующему въ Россіи политическому порядку. Я опровергалъ это мнѣніе, основываясь на «Воспоминаніяхъ и Очеркахъ», Анненкова, и доказывалъ, что такое толкованіе не соответствовало *тогдашнему* настроенію Пушкина, когда „Анчаръ“ писался Пушкинымъ въ Малинникахъ, въ 1828 г., когда онъ еще не былъ женатъ и когда онъ чувствовалъ себя веселымъ, свободнымъ и счастливымъ. Либо „Анчаръ“ имѣлъ мысль сокровенную, гораздо болѣе глубокую, на что наводятъ слова: „Анчаръ, какъ грозный часовой—Стоитъ *одинъ* во всей вселенной... Но человѣка человека—Послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ... И умеръ вѣрный рабъ у ногъ—Нешоѣдимаго владыки... И царь тѣмъ ядомъ напиталъ—Свои послушливыя стрѣлы—И съ ними гибель разослалъ—Къ сосѣдямъ въ чуждые предѣлы“... Чѣмъ больше вдумываюсь теперь въ это весьма загадочное произведеніе, тѣмъ болѣе склоняюсь къ тому, что, можетъ быть, Третьякъ до извѣстной степени правъ, и что графъ Бенкендорфъ доказалъ свою проницательность, отнесясь подозрительно къ „Анчару“. Начало тридцатыхъ годовъ еще не было столь тяжело для литературы, какъ времена послѣ февральской европейской революціи 1848 г., когда началъ дѣйствовать негласный (бутурлинскій) комитетъ 2-го апрѣля, когда русская литература платилась за политическіе безпорядки въ западной Европѣ и когда прекратилось всякое свободное выраженіе мыслей по какимъ бы то ни было общественнымъ во-

просамъ. Но и въ тридцатыхъ годахъ уже опредѣлительно обозначилось, въ какомъ направленіи движется Россія и къ какому умственному омертвѣнію она должна прійти. Это настроеніе эпохи отражалось всего сильнѣе на Пушкинѣ; не было человѣка болѣе вольнолюбиваго, чѣмъ онъ, но его не отпускали; онъ чувствовалъ себя по рукамъ и по ногамъ связаннымъ и юридически, и нравственно, по связямъ съ декабристами по чувству благодарности за непривлеченіе къ отвѣтственности, за монаршія милости и щедроты. Онъ былъ какъ птичка въ клѣткѣ, и когда могъ, пытался упорхнуть, просился въ 1828 г. на турецкую войну, но его не пустили; онъ сбѣжалъ безъ спроса въ Эрзерумъ, но фельдмаршалъ Паскевичъ, по словамъ г-жи Смирновой, выпроводилъ его въ Тифлисъ. Ему не позволили печатать даже хвалебныхъ для правительства стихотвореній, напримѣръ „Друзьямъ“: „Нѣтъ, я не льстецъ, когда царю хвалу свободную слагаю“ (мартъ 1828). На него находила порою хандра. Въ одну изъ такихъ минутъ, въ Малинникахъ, въ 1827 г., онъ имѣлъ поэтическое видѣніе: ему представились въ поэтическомъ образѣ тѣ тяжелыя для мысли, для свободнаго творчества, условія, въ которыхъ приходилось и ему, и цѣлому обществу, жить; кругомъ—омертвеніе, пустыня, ужасающее однообразіе; надъ отдѣльными людьми-особями высится всемогущая власть, передъ которою все преклоняется, которая всему міру грозна и посылаетъ послушныя стрѣлы во владѣнія сосѣдей. Я готовъ допустить, что въ „Анчарѣ“ можно найти ключъ не ко всей дѣятельности Пушкина во второмъ николаевскомъ періодѣ его жизни, но къ нѣкоторымъ, возвращавшимся къ нему чаще и чаще, ощущеніямъ, далеко не жизнерадостнымъ, а сильно пессимистическимъ. Въ такіе моменты А. О. Смирнова, которой не былъ въ подробности извѣстенъ его александровскій періодъ, не могла его наблюдать; съ этой стороны онъ ей совсѣмъ не показывался, но такія вспышки чувства горести и сильной боли у него бывали и сохранились, какъ, напримѣръ, слѣдующія? Въ письмѣ 1835 (VII, 239); „Chère

madame Osipow, la vie, toute süssse Gewohnheit qu'elle est, a une amertume qui la rend dégoutante et c'est un vilain lac de boue que ce monde". Письмо 1836 г. (VII, 401): „русская журналистика все равно что золотарство, которое хотѣла взять на откупъ г-жа Безобразова. Очищать русскую литературу, значить чистить нужникъ и зависѣть отъ полиціи. Чортъ ихъ побери, у меня кровь въ желчь превращается". Письмо къ женѣ 1834 (VII, 353): „Зависимость отъ честолубія или изъ нужды унижаетъ насъ. Теперь они смотрятъ на меня какъ на холопа, съ которымъ можно имъ поступать какъ угодно". Письмо 1834 (VII, 355): „Кабы Заводы были мои, меня бы въ Петербургъ не заманили и московскимъ калачемъ. Живя въ нужникѣ, поневолѣ привыкаешь къ г...., и вонь его не будетъ тебѣ противна, даромъ что gentleman. Письмо 1834 г. женѣ (VII, 351): „Ты развѣ думаешь, что свинскій Петербургъ не гадокъ мнѣ, что мнѣ весело въ немъ жить, между пасквилями и доносами". — Письмо (1834) женѣ, (VII, 349): „Дай Богъ плюнуть на Петербургъ, подать въ отставку, да удрать въ Болдино, да жить баринѣмъ! Непріятна зависимость, особенно когда лѣтъ двадцать человѣкъ былъ независимъ". Письмо 1834 (VII 366): „Не хочу чтобы папеньку (моихъ дѣтей) хоронили какъ шута, а ихъ маменька ужасъ какъ хороша была на Аничковскихъ балахъ". Письмо 1836 (VII, 404): „Душа въ пятки уходитъ, какъ вспомнишь; что я журналистъ. Будучи еще порядочнымъ человѣкомъ, я получалъ уже полицейскіе выговоры, и мнѣ говорили: vous avez trompé. Что теперь со мною будетъ?.. Чортъ меня догадалъ родить въ Россіи съ душою и талантомъ! весело, нечего сказать!"

Эти—не жалобы и не выраженія скорби, а просто крики сильной душевной боли, издаваемые человѣкомъ, который вовсе не расположенъ былъ по своей натурѣ ныть и хныкать, не соответствующъ ни портрету, написанному А. О. Смирновоу, ни идеальному представленію о Пушкинѣ, сочиненному подъ впечатлѣніемъ ея „Записокъ"

г. Мережковскимъ. Въ „Запискахъ“ Смирновой Пушкинъ—любимецъ государя, такой же исправный и приличный царедворецъ, какъ и она сама, человѣкъ, понимающій и соблюдающій всѣ условности тогдашняго обществя (всѣ *conventionelle Lügen*, какъ выражается Мах Nordau). У г. Мережковского Пушкинъ—неизмѣнно лучезарный, не затемняемый никогда никакими тучами богъ Аполлонъ, расточающій кругомъ только жизнерадостность и веселье. Если съ этими двумя, доброжелательно льстящими Пушкину изображеніями, сопоставить настоящаго Пушкина, каковъ онъ представляется не по нѣкоторымъ, но по всѣмъ безъ исключенія своимъ произведеніямъ и письмамъ, то окажется, что сочиненный Пушкинъ не только неправдивъ, но даже и гораздо менѣе красивъ, нежели настоящій, у котораго по временамъ отъ нестерпимой боли искажались черты лица. Въ нестрадающемъ Пушкинѣ Мережковского пропадаетъ весь трагизмъ положенія великаго поэта, который намъ по этимъ страданіямъ становится особенно дорогъ. вмѣстѣ съ тѣмъ объясняется еще и то, не имѣющее ни какой, указанной у Мережковского, разумной причины обстоятельство, что съ тридцатыхъ годовъ пушкинскій духъ сталъ убывать въ русской литературѣ и что только въ настоящее время становится онъ сильнѣе и ощутительнѣе.

Въ 1826 году, Пушкинъ былъ обезоруженъ и нравственно подавленъ оказаннымъ ему, неожиданнымъ имъ, монаршимъ великодушіемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ существенно ограниченъ въ величайшемъ для него благѣ, въ пользованіи полной интеллектуальною свободою. Онъ лишился въ значительной части своихъ крыльевъ, или лучше сказать, источниковъ своего творчества.

За малѣйшую вольнодумственную поэтическую выходку, за колкую остроту, онъ могъ не только поплатиться юридически, но и быть заклеименъ, какъ неблагодарный человѣкъ и нарушитель своего честнаго слова. Своимъ камеръ-юнкерствомъ онъ тяготился, находя, что оно ему не по лѣтамъ. Его благодѣтельницами и денежно.

Женился онъ весьма неудачно, входилъ въ долги. Болѣе характерный человѣкъ ограничилъ бы себя, уѣхалъ бы въ деревню, стушевался бы, и если бы писалъ, то не распространяя писаннаго, ничего не печатая. Пушкинъ этого не сдѣлалъ. Его писанія по вопросамъ политики и даже патріотическіе стихи были такого рода, что его недоброжелатели, — а такихъ было много, — могли ихъ толковать какъ небезкорыстныя услуги правительству, отъ котораго онъ столь непосредственно зависѣлъ. Однажды, уже послѣ изданія „Исторіи Пугаческаго Бунта“, въ минуту досады Пушкинъ подалъ черезъ графа Бенкендорфа прошеніе объ отставкѣ, на которое послѣдовало Высочайшее соизволеніе. Тяжело читать, въ какихъ выраженіяхъ онъ проситъ графа не давать дальнѣйшаго хода этому прошенію (VII, 360—362: „j'aime mieux avoir l'air d'être inconséquent, que d'être ingrat“)...

IX.

А. О. Смирнова знала Пушкина только во второмъ періодѣ его жизни (никалаевская эпоха) и знала его исключительно съ внѣшней, свѣтской стороны его дѣятельности, какъ знаменитаго писателя и придворнаго. Темная, домашняя и трагическая сторона этой жизни ускользала отъ ея наблюденія. Въ настоящее время изданныя въ 1895 г. „Записки“ А. О. Смирновой, въ томъ видѣ, въ какомъ ихъ обработала дочь ея, Ольга Николаевна Смирнова, совсѣмъ не годятся для употребленія въ качествѣ историческаго источника, по многочисленности прибавокъ, несомнѣнно поддѣльныхъ, позднѣйшаго происхожденія, и по невозможности опредѣлить, безъ тщательнаго изслѣдованія рукописей, что занесено А. О. Смирновою въ ея записныя книжки на свѣжую память день за днемъ при жизни Пушкина, и что было прибавлено ею съ 1837 г. по годъ ея кончины 1882 г.; наконецъ что было присовокуплено къ ея запискамъ дочерью Смирновой, Ольгою Николаев-

ною. Рукописи А. О. Смирновой находятся нынѣ, какъ слышно, во владѣніи другой ея дочери. Еслибы произошла основательная критическая очистка первоначальныхъ записей въ воспоминаніяхъ А. О. Смирновой отъ всякихъ позднѣйшихъ налетовъ, то пришлось бы заключить, что А. О. Смирнова, познакомившаяся съ Пушкинымъ только въ позднѣйшемъ періодѣ его жизни, въ николаевскую эпоху настоящаго Пушкина за всю его жизнь представить себѣ не могла. Такъ какъ г. Мережковскій избралъ ее, однако, своимъ главнымъ проводникомъ, то по ея указаніямъ онъ написалъ портретъ завѣдомо невѣрный, съ полнымъ смѣшеніемъ эпохъ александровской и николаевской, съ подведеніемъ обѣихъ эпохъ подъ одинъ знаменатель и безъ всякаго соображенія съ радикально измѣнившеюся общественною обстановкою своего сюжета. Его этюдъ писанъ, такъ сказать, на китайскій манеръ, безъ всякой перспективы. Онъ изобразилъ себѣ Пушкина, какъ человѣка, не мѣнявшагося въ убѣжденіяхъ и вкусахъ и имѣвшаго во всю жизнь одно цѣльное міросозерцаніе, котораго только онъ не успѣлъ, по недостатку времени, вполне достаточно выразить, но которое выводитъ самъ критикъ по преданіямъ А. О. Смирновой. Г-нъ Мережковскій строитъ міросозерцаніе Пушкина, какъ на краеугольномъ камнѣ, на стихахъ *VI изъ Пиндемонте*, навѣянныхъ будто бы воспоминаніями романтическихъ скитаній по Бессарабіи, Кавказу и Тавридѣ (456), между тѣмъ какъ они соотвѣтствуютъ пониженному тону самаго конца его поэтической дѣятельности (1836 г.). Хотя на видъ они какъ будто бы игривы, но насквозь проникнуты печалью. Поэтъ постоянно пропозитируетъ: „Я не ропщу о томъ, что отказали боги — Мнѣ въ сладкой участи оспаривать налоги“. Онъ притворяется, что равнодушенъ къ самой цензурѣ, которую онъ искреннѣйшимъ образомъ ненавидѣлъ: „И мало горя мнѣ, свободна ли печать — Морочить олуховъ, иль чуткая цензура — Въ журнальныхъ замыслахъ стѣсняетъ балагура“? Въ виду сознаваемого имъ полнѣйшаго своего безсилія, онъ рѣшаетъ: „Зависѣть отъ

властей, зависѣть отъ народа—Не все ли намъ равно“?—хотя безспорно, что онъ предпочелъ бы не зависѣть ни отъ властей, ни отъ народа. Ища убѣжища, онъ залѣзаетъ въ уголокъ маленькій, тѣсный, эгоистическій:..., никому—Отчета не давать; себѣ лишь самому—Служить и угождать...—Дивясь божественнымъ природы красотамъ—И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья—Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья“... Бѣдный Пушкин! онъ опасается даже признать своимъ стихотвореніе, надѣваетъ маску, прячется и подписываетъ сначала: изъ Alfred'a Musset“, а потомъ: „изъ Pindemonte“.

Самыя крупныя произведенія Пушкина суть несомнѣнно: «Цыганы», «Онѣгинъ» и «Борисъ Годуновъ»; всѣ они писаны въ александровскую эпоху. Къ николаевскому періоду принадлежатъ хотя и артистически превосходныя, мастерскія, но такія, къ которымъ публика стала постепенно охлаждать, не давая себѣ въ томъ отчета. Перенесеніе на весь александровскій періодъ настроеній, свойственныхъ только николаевскому, даетъ оцѣнкѣ Пушкина у г. Мережковского произвольное и совершенно ложное освѣщеніе, причемъ критикъ исключаетъ всѣ неподходящія къ его изображенію направленія въ Пушкинѣ, которыя являлись для него неразрѣшимыми противорѣчіями; онъ сочиняетъ своего Пушкина по своему вкусу, по своему подобію, и выдвигаетъ тѣ подмѣченные имъ признаки, которые наиболѣе соотвѣтствуютъ его собственной психической организаціи. Въ психической организаціи г. Мережковского я подмѣтилъ четыре элемента: онъ прежде всего жизнерадостный язычникъ, съ оттѣнкомъ гордаго аристократизма; онъ притомъ нервный, чувствительный галилеянинъ. У него есть сильный порывъ къ дикой свободѣ, къ первобытному человѣку. Онъ готовъ идейно, не на дѣлѣ, радоваться, когда вся современная цивилизація будетъ цѣликомъ взорвана на воздухъ. Ему и на мысль не пришло приписать Пушкину такой идейный анархизмъ. Онъ вѣрно намѣтилъ въ Пушкинѣ, какъ преобладающую черту, его веселость, его неумолкающую

заздравную пѣснь Вакху и его дивную, не всегда достигаемую даже величайшими міровыми поэтами, простоту. Пушкинъ ясенъ какъ эллинъ. Мережковскій прекрасно изображаетъ его внѣшность, красивую только по выраженію лица и въ особенности глазъ, которые, когда онъ вдохновлялся, изъ голубыхъ дѣлались почти черными и искрящимися, а вдохновлялся онъ просто, безъ всякаго пафоса и реторики, безъ малѣйшаго восторга.

Я вполне согласенъ съ г. Мережковскимъ, что въ Пушкинѣ язычникъ сочетался гармонически съ христіаниномъ, хотя перевѣсъ имѣлъ все-таки язычникъ. Какъ правдиво и могуче прочувствовано было христіанство Пушкинымъ, доказываютъ писавшійся въ 1829 г., недоконченный «Галубъ», стихотворенія 1836: «Когда великое свершилось торжество»; молитва: «Отцы пустынники и дѣвы непорочны». Я бы подчеркнулъ только, что это — своего рода христіанство, не такое какъ у всѣхъ, бодрое, готовое къ подвигу; что въ немъ нѣтъ ничего подобнаго жалостливости, нетерпимости вида малѣйшаго страданія или боли, хотя бы они были вполне заслуженныя, хотя бы страдающій былъ пераскаленный послѣдняго разбора злодѣй или подлецъ; что онъ не христіанинъ, если признать, что христіанинъ долженъ быть нервенъ и слабъ до невыношенія никакого выраженія или оказательства страданія.

Г-нъ Мережковскій дѣлаетъ громадныя усилія, чтобы объединить въ Пушкинѣ язычника съ христіаниномъ, но цѣли своей не достигъ, что и доказываютъ стр. 499—504 его книги, исполненныя противорѣчій. Выводъ его состоитъ въ слѣдующемъ.

Пушкинъ, какъ галилеянинъ, противопоставляетъ первобытнаго человѣка (т.-е. дикаря) современной культурѣ, основанной на власти черни, на демократіи, на равенствѣ людей и на большинствѣ голосовъ, то-есть на такъ называемыхъ гражданскихъ мотивахъ. Замѣтимъ, что сама постановка вопроса — совсѣмъ невѣрная; христіанство противопоставило гражданскимъ мотивамъ язычества не первобытнаго человѣка, но отвлеченнаго, будущаго, — чело-

вѣка, какимъ онъ долженъ быть въ своемъ совершенствѣ, то-есть душу человѣческую, проникнутую Богомъ и съ Богомъ сливающуюся.

Такъ-то, по мнѣнію г. Мережковского, дѣйствовалъ Пушкинъ, какъ галилеянинъ; но онъ былъ въ то же время и язычникъ. Какъ язычникъ, онъ противопоставлялъ той же якобы ненавистной ему современной культурѣ, съ ея гражданскими мотивами, совсѣмъ другой объектъ, а именно самовластную волю единого творца или разрушителя, пророка или героя. Полубогъ и укропленная имъ стихія — таковъ будто бы другой главный мотивъ Пушкинской поэзіи. Въ этомъ именно отношеніи отличался якобы Пушкинъ отъ поэтовъ-естественныхъ демократовъ, явно подчиненныхъ духу вѣка, каковы: Викторъ Гюго, Шиллеръ, Гейне и даже самъ Байронъ.

Если, по выводу г. Мережковского, Пушкинъ противопоставлялъ культурѣ не одинъ, а два предмета, то, спрашивается, оба ли вмѣстѣ, или поочередно, сначала одинъ, а потомъ другой? Оба объекта не тождественны. Пословица гласитъ, что за двумя зайцами за разъ не угоняешься, — ни одного не поймашь. Для г. Мережковского это одновременное бѣганье по двумъ скрещивающимся подъ прямымъ угломъ направленіямъ совершенно возможно и удобно-понятно. По его словамъ, аристократизмъ духа столь же тѣсно связанъ съ глубочайшими корнями пушкинского міровоззрѣнія, еще не вполне наукою раскрытаго и несомнѣнно мѣнявшагося, такъ и стремленіе его къ возвращенію къ первобытному человѣку, или иными словами, къ *всепрощающей* природѣ, которая, въ сущности, ничего никому не прощаетъ, такъ какъ для нея, разсматриваемой отдѣльно отъ человѣка, добро и зло совершенно безразличны. По мнѣнію г. Мережковского, красота первобытнаго человѣка и красота героя — таковы два міра, два идеала, одинаково отвлекающіе Пушкина отъ современной культуры, ненавистной Мережковскому, буржуазной, съ которою однако Пушкинъ, по «Запискамъ» Смирновой, совсѣмъ не воевалъ; напротивъ того, въ записанныхъ

Смирновою бесѣдахъ онъ буржуазинъ отъ аристократизма не отличалъ, онъ ее считалъ тѣмъ же аристократизмомъ, но нѣсколько пожизне.

Задача г. Мережковского логически не осмыслена: нельзя одновременно гоняться за двумя противоположными идеалами:—свободою дикарей и поклоненіемъ создателямъ культуры—героямъ. По необходимости, для выхода изъ противорѣчія, придется предположить, что Пушкинъ не былъ вовсе философъ, что у Пушкина не было одного цѣльнаго во всю жизнь міросозерцанія, что убѣжденія его мѣнялись, что они чередовались: одно господствовало до катастрофы, постигшей сердечнѣйшихъ друзей его, декабристовъ, къ которымъ онъ не переставалъ никогда относиться нѣжнѣйшимъ образомъ и любовно; другое его направленіе установилось только послѣ катастрофы.

Остановимся, слѣдуя за г. Мережковскимъ, сначала на стремленіи Пушкина, въ качествѣ якобы галилелнина, бѣжать отъ современной культуры въ некультурное состояніе. По времени оно совпадало съ самымъ кипучимъ гражданскимъ его реформаторствомъ. Съ молодымъ поколѣніемъ онъ былъ душою за-одно, и собирался не разрушать, а строить, когда писалъ въ Одѣ Вольность: «Не слышно тамъ людей стенанье,—Гдѣ крѣпко съ вольностью святой—Законовъ мощныхъ сочетанье». Всякая расположенная къ реформамъ эпоха отличается большимъ усиленіемъ субъективизма, большимъ расположеніемъ къ субъективизму, который, чтобы расшатать неудовлетворительное настоящее, ищетъ точекъ опоры вездѣ, гдѣ можно, слѣдовательно даже и въ прошедшемъ. Переходъ идеала, какъ чего-то искомаго, въ прошедшее совершается посредствомъ извѣстной оптической иллюзіи. Идеаль этоть отыскиваемъ были русскими славянофилами въ до-Петровской Москвѣ; его можно искать и въ небываломъ золотомъ вѣкѣ до-историческаго быта. Бывали цѣлыя поколѣнія, которыя вмѣстѣ съ Руссо и съ Алеко проклинали «пышную суету наукъ». Пріискивая предшествовавшихъ Пушкину такихъ ретроспектантовъ, г. Мережковскій набралъ въ свою ком-

панію и Сервантеса, и Монтеня; онъ могъ бы пригласить Шекспира, могъ бы поставить въ вѣчные спутники всѣхъ писателей конца XVIII в., серьезно забавлявшихся игрою въ пастораль. То былъ духъ XVIII в., которымъ были насквозь пропитаны и Байронъ, и Пушкинъ. Но Пушкинъ отдѣлался отъ байронизма вполне и радикально, написавъ своихъ «Цыганъ», послѣ чего даже и въ «Запискахъ» Смирновой, которыми руководствуется г. Мережковский, Пушкинъ является уже рѣшительнымъ антиромантикомъ и антибайронистомъ. Послѣ того пѣсня Алеко надъ колыбелью сына была окончательно спѣта; самъ Пушкинъ не включилъ ее въ свою поэму «Цыганы» и никогда потомъ не обнаружилъ ни малѣйшаго серьезнаго поползновенія слѣдовать завѣтамъ Алеко: «Не знай стѣснительныхъ палатъ—И не мѣняй простыхъ пороковъ—На образованный развратъ»... или будь *«напрасныхъ угрызений чуждъ»*... Я просто прихожу въ недоумѣніе, читая у г. Мережковского на стр. 473 слѣдующее: «Пушкинъ первый съ силою и страстностью выразилъ вѣчную противоположность культурнаго и первобытнаго человѣка. Эта тѣма *должна была сдѣлаться* однимъ изъ *главныхъ* мотивовъ русской литературы». Авторъ очевидно спуталъ неестественный, а потому и фальшивый уходъ утонченнаго культурника къ первобытнымъ дикарямъ, по идеѣ Руссо, съ постепеннымъ опрощеніемъ нравовъ, какъ неизбѣжнымъ поступательнымъ шагомъ впередъ въ культурѣ, который только и можетъ быть совершенъ посредствомъ столь ненавистной автору демократизаціи нравовъ, то-есть, посредствомъ приобщенія къ культурѣ остававшихся некультурными *классовъ*, всѣхъ низшихъ слоевъ общества.

Намъ предстоитъ еще разобрать другой культъ, который исповѣдывалъ Пушкинъ, якобы какъ язычникъ, — культъ героевъ, а такъ какъ г. Мережковский отождествляетъ героевъ съ поэтами, то Пушкинскій культъ и героевъ, и поэтовъ. Къ этому культу отнесены стихи и поэмы, посвященные либо Наполеону, либо Петру В., а также стихи Пушкина о пророкахъ и поэтахъ, которыми

изобилуетъ второй періодъ его жизни, и въ которыхъ отражается его отрицательное и презрительное отношеніе къ черни. Попробуемъ исключить изъ этой довольно значительной массы одну статью за другою, и прежде всего устранимъ Наполеона. То былъ яркій метеоръ, ослѣпившій и заполонившій всѣхъ поэтовъ первой половины XIX вѣка. Наполеонъ, какъ сюжетъ поэзіи, навязывался силою вещей ихъ воображенію. Этому герою поклонялись почти съ одинаковою симпатіею и преданностью Пушкинъ и Лермонтовъ, Ламартинъ и Гюго, Байронъ и Гейне, и три передовые польскіе поэты: Мицкевичъ, Красинскій и Словацкій. Стихотворенія, имѣющія сюжетомъ Наполеона, доказываютъ не то, что поэтъ имѣлъ культъ героевъ, но только, что онъ жилъ въ первой половинѣ XIX в. или сочувствовалъ этой эпохѣ. Поклоненіе Петру В. служить основаніемъ къ тому, чтобы сказать, что Пушкинъ былъ русскій человѣкъ, но еще не устанавливаетъ на незыблемомъ основаніи, чтобы отношеніе Пушкина къ Петру было всегда любовное и такое, какимъ оно было въ «Полтавѣ» или въ предисловіи къ «Мѣдному Всаднику»: «На берегу пустынныхъ волнъ»... За этимъ предисловіемъ, имѣющимъ видъ только декоративнаго портика, написаннаго скорѣе для цензуры, нежели для публики, но не достигшимъ, однако, своей цѣли, такъ какъ цензура «Мѣднаго Всадника», однако, не пропустила, скрывалась основная мысль поэмы, скорѣе враждебная Петру, скорѣе славянофильская. Песня, по словамъ князя Петра Петровича Вяземскаго, заключала въ себѣ не дошедшій до насъ и, можетъ быть, безвозвратно погибшій монологъ Езерскаго въ тридцать стиховъ, «исполненный ненависти къ европейской цивилизаціи». Положимъ, что это монологъ Езерскаго, но само сочиненіе его Пушкинымъ доказываетъ, что Петръ В. представлялся Пушкину существомъ еще неразгаданнымъ, сѣятелемъ и добра, и зла.

Что касается до призванія и пазначенія пророковъ и поэтовъ, и до презрительныхъ, выражаемыхъ ими у Пушкина, взглядовъ на чернь, то всѣ эти выходки въ концѣ

его жизни получали постепенно обостряющійся характеръ. Онѣ объясняются не міровоззрѣніемъ Пушкина, а личными его чувствами, измѣнившимся его отношеніемъ къ публикѣ. Эту перемѣну усматриваетъ и г. Мережковскій, когда онѣ соболѣзнуетъ о томъ, что поэтъ пошелъ въ разладъ со своимъ варварскимъ обществомъ, со своимъ отечествомъ, что пуля Дантеса только довершила то, къ чему пеминуемо вела Пушкина русская дѣйствительность. Съ каждымъ шагомъ онѣ отрывался отъ интеллигентнаго общества, становился враждебнымъ среднему русскому человѣку (стр. 453). Не оказалось взаимодѣйствія между народомъ и геніемъ, народъ не возвелъ генія на подобающую ему высоту.

Сѣтованія на заѣдающія генія силы, на народъ его и среду можно бы нынѣ сдать спокойно въ архивъ, вмѣстѣ со всѣмъ гардеробомъ романтизма, со всѣми якобы непризнанными, непонятыми и по сей причинѣ погибшими геніями. Къ Пушкину такой пріемъ возвеличиванія его совсѣмъ непримѣнимъ, потому что съ минуты появленія въ печати «Руслана и Людмилы» онѣ воцарился въ области русской литературы и былъ непререкаемо первымъ и величайшимъ поэтомъ Россіи; но только въ его владычествѣ произошла та разница, что до конца двадцатыхъ годовъ XIX в. онѣ былъ полубогомъ, а потомъ публика стала къ нему нѣсколько холоднѣе, хотя даровитости и творчества его никто не смѣлъ оспаривать, такъ какъ художественная геніальность его проявлялась по прежнему во всей своей полнотѣ. Когда наступаетъ такое охлажденіе публики къ возлюбленному ею поэту, то всегда бываетъ виноватъ самъ поэтъ, который не умѣетъ, не можетъ или не желаетъ кормить своими идеями и эмоціями воспріимчивую, пассивную, но имѣющую свои инстинкты и жгучія потребности толпу. Говорятъ: «Пушкинъ—поэтъ преимущественно жизнерадостный»; но всякое такое опредѣленіе есть въ то же время и ограниченіе. Жизнерадостность есть отрицаніе всякой грусти, всякаго пессимизма; а можетъ быть скорбь и горечь были именно.

въ данную минуту потребны организму, можетъ быть онъ не хотѣлъ сладкаго вина и требовалъ мяса, или даже сильнаго лекарства, въ родѣ хиннаго порошка. Несомнѣнно, что по вопросу объ охлажденіи публики къ поэту Мицкевичъ—вполнѣ компетентный судья; онъ былъ такой же властитель душъ, надо думать, въ своемъ народѣ, какъ Пушкинъ—въ русскомъ. Онъ выразился, что публика стала равнодушнѣе къ Пушкину потому, что чувствовала, что онъ пересталъ быть ея духовнымъ наставникомъ (*directeur des consciences*). Онъ удалялся въ холодную область чистаго искусства и пріохочивалъ радоваться и плясать, когда надъ Россіею простирались исполинскимъ навѣсомъ густыя вѣтви дерева «Анчара». Поэзія есть функція народнаго творчества въ наивысшей степени социальная; на это ея качество могутъ не обращать вниманія эстеты, но въ г. Мережковскомъ сидитъ несомнѣнно социологъ, и онъ-то долженъ быть въ этомъ качествѣ нами судимъ. Коль скоро Пушкинъ способенъ былъ только выдѣлять изъ себя одну жизнерадостность, то понятно, что въ данное время публика могла бы предпочесть ему другой талантъ, даже и менѣе гибкій и разнообразный, что ей могъ бы быть симпатичнѣе даже Лермонтовъ, котораго г. Мережковский не любитъ за его реторичность. Я полагаю, что Лермонтовъ былъ въ данный моментъ настоящій великій поэтъ николаевской эпохи, и что его мятежность и могучая мужественная скорбь больше подходили къ тому времени, болѣе помогали обществу переживать тяжелый и жестокий вѣкъ, нежели поэзія Пушкина. Притомъ, замѣтимъ, что настоящее движеніе противъ Пушкина началось не при немъ, а только въ шестидесятыхъ годахъ XIX в., черезъ 25 лѣтъ послѣ его кончины, что оно было явленіе не моментальное и не частичное, а общее и продолжительное. Оно не могло быть безпричинное и имѣло довольно глубокіе мотивы, которые будутъ со временемъ выяснены, когда шестидесятые года найдутъ своихъ историковъ.

Съ г. Мережковскимъ о шестидесятыхъ годахъ я не

намѣренъ спорить. Разстаюсь съ его книгою, съ которой я почти ни въ чемъ несогласенъ, но признаю, что она прекрасно написана, что мѣстами она увлекательна и читается легко, наконецъ, что она вызываетъ, располагаетъ къ тому, чтобы о ней думать и много, много спорить. Будемъ надѣяться, что со временемъ г. Мережковскій сосредоточится, сдѣлается послѣдовательнѣе и будетъ представлять изъ себя цѣльное лицо, а не компанію расходящихся въ разныя стороны противниковъ.

По случаю столѣтней годовщины рожденія А. С. Пушкина.

(Поминальное слово произнесенное на русско-польскомъ
обѣдѣ 23-го мая 1899 года.

Послучаю столѣтней годовщины рожденія А. С. Пушкина.

(Поминальное слово произнесенное на русско-польскомъ
обѣдѣ 23-го мая 1899 года).

Не безъ нѣкотораго волненія обращаюсь къ вамъ, господа наши русскіе гости, отъ имени моихъ земляковъ. Миѣ кажется, не знаю правильно или неправильно, что въ этотъ моментъ совершается нѣчто крупное и знаменательное для настоящаго и грядущаго. Въ декабрѣ 1898 г. русскіе профессора, писатели и артисты чествовали въ С.-Петербургѣ память Мицкевича; нынѣ память Пушкина чествовалась или чествуется одновременно поляками не только въ Петербургѣ, но за предѣлами Россіи, напримѣръ, въ Краковѣ и иныхъ мѣстахъ. Никогда еще не бывало ничего тому подобнаго. Случалось, что русскій человѣкъ попадалъ въ польское общество и дружился и былъ какъ у себя дома, напримѣръ, князь Петръ Андреевичъ Вяземскій въ Варшавѣ въ десятихъ годахъ или Мицкевичъ въ русскомъ обществѣ въ двадцатыхъ въ Петербургѣ и Москвѣ. То были рѣдкія исключенія единичные случаи, да и въ тѣхъ случаяхъ тѣ единицы не договорились до конца, не сообщали всего что чувствовали, старались не касаться больныхъ мѣстъ и вопросовъ. Сознавалось инстинктивно, по внутреннему чутью, что родственныя по расѣ національности не могутъ соприкоснуться не сталкиваясь, не враждуя, не относясь къ себѣ взаимно

такъ: что тебѣ зло, то мнѣ добро и наоборотъ. И вдругъ, послѣ сорока лѣтъ съ 1859 погоды самой пасмурной, блеснуло на облакахъ нѣчто похожее на ту дугу на облакахъ, которую увидѣлъ Ной по выходѣ изъ ковчега, знаменіе завета, что не будетъ вода въ потопъ во истребленіе всякой плоти.

Вамъ извѣстно, господа, что чудесъ въ мірѣ нѣтъ ни въ радугѣ, ни въ перемѣнахъ мыслей и чувствованій и у отдѣльныхъ лицъ и въ народахъ. Всякое новое явленіе умъ изслѣдуетъ въ его причинахъ, въ условіяхъ его происхожденія, наконецъ въ томъ, слѣдуетъ ли явленію содѣйствовать или противодѣйствовать, смотря по тому, добро ли оно или зло. Существовали разныя національности, которыя лучшія силы тратили на то, чтобы враждовать, которыя и къ умственнымъ вождямъ противника относились отрицательно, т.-е. либо не хотѣли ихъ знать либо подвергали ихъ огульному повальному осужденію за двѣ, три подмѣченныя несимпатичныя черты, которыхъ не были въ состояніи забыть. Между тѣмъ жизнь текла, природа и то, что мы называемъ силою вещей брали свое, враждующіе знакомились и взаимно, и съ произведеніями великихъ мыслителей своихъ противниковъ и удивились, когда въ нихъ нашли многое и себѣ по душѣ, многое симпатичное. Съ тѣхъ поръ всѣ прежнія огульныя осужденія оказались неправдою, пережитками прошлаго, тѣмъ, что на языкѣ Пушкина называлось «предразсужденіями». Обѣ націи стали въ произведеніяхъ великихъ поэтовъ своихъ противниковъ одновременно смаковать.

Не хочу хватать черезъ край. Не утверждаю ни-сколько, чтобы въ обѣихъ національностяхъ установился когда-либо вполнѣ одинаковый взглядъ на произведенія либо Пушкина либо Мицкевича. Такая тождественность не только не возможна, но даже и совсѣмъ нежелательна. Когда изучаешь предметъ, то обходишь его кругомъ, и сзади и спереди и съ боковъ, при чемъ взгляды подъ разными углами зрѣнія согласуются и всякая національность останавливается на точкѣ зрѣнія главной, наиболѣе

къ ней подходящей, которая и есть результатъ всѣхъ предшествовавшихъ наблюденій, согласованныхъ и оцѣненныхъ по отношенію ихъ къ дѣйствительности, т.-е. къ истинѣ. Такое согласованіе по отношенію къ Пушкину уже состоялось и въ одной и въ другой національности, что неопровержимо доказывается уже тѣмъ обстоятельствомъ, что мы сошлись сообща не за тѣмъ, чтобы спорить, но чтобы помянуть поэта добромъ и чествовать.

Не взыщите за излишнюю ~~можетъ~~ быть мою смѣлость. Я рѣшаюсь вамъ представить мой полный взглядъ на Пушкина, который, ~~можетъ~~ быть, и разоидется съ вашимъ національнымъ взглядомъ. Истина ~~можетъ~~ быть только въ авантажѣ отъ того, что одинъ и тотъ же предметъ разсматривается съ разныхъ точекъ зрѣнія.

Коснусь больного мѣста въ отношеніяхъ Пушкина къ польскому народу, стихотвореній его «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина». Стихотвореній такого рода, въ которыхъ Пушкинъ являлся какъ бы преемникомъ Державина, у Пушкина вообще очень немного. Вопреки общепринятому въ русской критикѣ мнѣнію, что Пушкинъ былъ только поэтъ, былъ всегда поэтъ и ничего болѣе, я въ немъ усматриваю весьма значительный элементъ проникающей его насквозь русской государственности того времени, который хотя и незамѣтенъ на первый взглядъ, но сильно повліялъ на его жизнь и отчасти опредѣлилъ весь ходъ, всѣ эволюціи его поэтического творчества.

«Пушкинъ столбовой русскій подмосковный дворянинъ изъ небогатаго помѣщичьяго семейства, сильно офранцузившагося и ведшаго знакомство съ русскими литераторами. Еще юнца, его помѣстили въ Екатерининскій элизіумъ, въ одинъ изъ флигелей Царскосельскаго дворца, въ устраиваемый питомникъ для образованія будущихъ русскихъ государственныхъ дѣятелей и заправителей. Хотя онъ сразу почувствовалъ, что онъ въ чиновники не годится, что только Фебова лира его удѣлъ, но неизгладимыми воспоминаніями онъ привязался къ Царскому

Селу («Все тѣ же мы; намъ цѣлый міръ—чужбина; Отечество намъ—Царское Село»).

Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ привязался и ко двору, и къ государственной машинѣ, котсая почти на глазахъ его работала, и къ государственнымъ кормчимъ и правителямъ. По выходѣ изъ лица, онъ прямо попалъ въ теченіе прогрессивныхъ либеральныхъ и конституціонныхъ идей европейскаго Запада. Вмѣстѣ съ Чаадаевымъ онъ упивался вольнолюбивыми мечтами:

Нетерпѣливою душой
Отчизны внемлемъ призыванья,
Мы ждемъ съ томленьемъ упованья
Минутой вольности святой.

Съ задоромъ молодости онъ дѣйствовалъ противъ надвигающейся реакціи, фрондировалъ и даже посвистывалъ. Оказалось, что то были только мечты, только осенніе всходы на почвѣ, которые должна была прикрыть сурова тридцатилѣтняя зима.

Колкаго эпиграмматиста, рѣзваго «сверчка» изъ Арзамаса постигла опала; его сослали въ 1820 г. на югъ, а потомъ въ 1824 г. въ Михайловское и продержали въ заключеніи вплоть до того момента, когда новый Монархъ проявилъ необыкновенный свой государственный умъ, простивъ Пушкину всѣ его выходки, приблизивъ его къ себѣ, приручивъ его, такъ сказать, и постановивъ, что самъ Государь будетъ на будущее цензоромъ этого перваго въ Россіи, но небезопаснаго, съ точки зрѣнія тогдашней политики—пѣвца.

Еще задолго до конца опалы, и даже раньше заточенія въ Михайловскомъ, Пушкинъ сталъ совсѣмъ инымъ, не похожимъ на прежняго, человѣкомъ, оставилъ «либеральный бредъ», написалъ «свободы сѣятель пустынный... потерялъ я только время—благія мысли и труды». Происшедшую въ Пушкинѣ перемѣну объясняли обыкновенно его темпераментомъ, тѣмъ, что онъ не родился бойцомъ, не имѣлъ способности долго плыть противъ теченія, самъ вѣдь онъ очертилъ призваніе поэта въ «Ямбѣ» такъ: «Не

для корысти, не для *бизнеса* — Мы рождены для вдохновения — Для звуковъ сладкихъ и молитвъ». По моему мнѣнію и это объясненіе можетъ быть принимаемо только съ оговоркою. Онъ былъ человѣкъ отважный до бѣшенства, онъ зачастую всю жизнь свою ставилъ, такъ сказать, на карту, слѣдовательно онъ былъ по характеру способенъ не подчиняться никакому внѣшнему воздѣйствію, при чемъ конечно могъ и погибнуть, какъ погибаетъ безчисленное множество людей, хорошихъ и даровитыхъ. Но онъ былъ притомъ весьма близокъ къ государственной машинѣ, по привычкѣ былъ къ ней привязанъ, какъ знакомый съ ея пружинами и колесами. Это знакомство развило въ немъ изумительную трезвость взгляда, изошрило въ немъ государственную сметку, тотъ здравый смыслъ, которымъ гордится русскій народъ и который помогалъ Пушкину вмигъ ориентироваться въ самыхъ запутанныхъ практическихъ вопросахъ и разсѣивать охлажденнымъ умомъ всякія иллюзіи. Прибавимъ къ этой характеристикѣ еще одну существенную черту — Пушкинъ былъ по натурѣ своей оптимистъ. Люди рождаются либо оптимистами, т.-е. любящими жизнь, либо пессимистами, т.-е. тяготящимися жизнью.

Еслибы мы рѣшились доискиваться корней его оптимизма въ располагающихъ къ нему условіяхъ его жизни, то мы бы были поставлены втупикъ. Заглянувъ въ его жизнь, ужасаешься — судьба его печальная и почти трагическая, она была для него какъ злая мачиха и обошла его при раздѣлѣ счастья.

И послѣ того, какъ Пушкинъ получилъ давно и страстно желанную свободу, положеніе его стало, можетъ быть, еще хуже и имѣлъ онъ полное право называть свой вѣкъ «жестокимъ» вѣкомъ. Уѣхалъ онъ не оповѣстясь въ деревню — бѣда. Прочелъ онъ друзьямъ по рукописи только что начерченный стихъ — бѣда. Уѣхалъ въ Эрзерумъ за русскими войсками — крайнее безпокойство. Лучшія его поэмы лежатъ въ его портфелѣ до его смерти подъ за-
претомъ... Поэту какъ воздухъ для дыханія необходимо.

ободреніе читателей; но для кого же онъ будетъ писать? Русская знать смотритъ на него свысока, публика охладѣваетъ къ нему по мѣрѣ того, какъ изъ твореній его изъемяются всѣ общественные мотивы. Поэзія есть, она сіяетъ еще какъ солнце, но и какъ оно въ морозный зимній день свѣтитъ, но не грѣетъ. Онъ шелъ по тяжелому и скользкому пути и дѣлалъ свое дѣло при невозможныхъ для всякаго другого писателя условіяхъ.

Что касается нравственной стороны характера, Пушкинъ былъ всегда изумительно нѣженъ, какъ дитя просто и безконечно вѣренъ святому братству товарищеской дружбы. Ни въ одной литературѣ я ничего не знаю болѣе трогательнаго его «лицейскихъ годовщинъ». Нравственная его чистота была, можно сказать, хрустальная или, точнѣе, голубиная. Съ друзьями декабристами онъ задолго до катастрофы разошелся въ мысляхъ, но сердцемъ онъ былъ всегда съ ними, писалъ имъ посланія «въ глубину сибирскихъ рудъ», не опасаясь за послѣдствія и внушая имъ «хранить и гордое терпѣнье, и душъ высокое стремленіе». Онъ зналъ, что «будетъ тѣмъ любезенъ онъ народу, что милость къ падшимъ призывалъ». Въ числѣ его главныхъ качествъ была благодарность за всякое добро. Тонкая нить признательности Императору Николаю I за оказанное ему довѣріе была въ дѣйствительности крѣпче стальныхъ проволокъ. Послѣднія его слова обращены были къ Жуковскому: «скажи Государю, что мнѣ жаль умереть — былъ бы весь его». Но эти слова, какъ и многое у Пушкина, надо брать не буквально, а иносказательно. Есть нѣчто въ человѣкѣ, надъ чѣмъ онъ самъ не властенъ, самая его природа, а въ эту природу входило то, что и намъ наиболѣе въ немъ дорого: полная свобода духа.

Незадолго до смерти, въ стихотвореніи «Изъ Пиндемонте» (5 іюля 1836 г.), это никогда не покидавшее его качество онъ выразилъ словами: «для власти, для ливреи не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи, вотъ счастье! вотъ права!...» На своемъ «жестокомъ», какъ онъ его

называлъ, вѣку онъ пронесъ, высоко держа его надъ своею головою, свѣтильникъ не политическихъ идей и даже не гражданскихъ стремленій, а только свободы поэтического творчества, не понизивъ ни передъ кѣмъ. Пошли потомъ другія времена, выдвинулись впередъ гражданскіе мотивы, слава Пушкина временно какъ будто померкла; стали говорить, что онъ далекъ отъ нуждъ народа, что онъ не народный поэтъ. Но онъ воскресъ уже давно, еще въ Москвѣ въ 1880 году, при взрывѣ не прерывающихся понынѣ рукоплесканій.

Онъ въ высокой степени народный русскій пѣвецъ, одаренный отъ природы поэтическимъ воззрѣніемъ на міръ. Эту поэзію жизни онъ открывалъ во всемъ, къ чему бы ни прикоснулся. То было неожиданное, небывалое откровеніе. Онъ заставилъ всѣхъ созерцать его глазами пренебрегаемую и неприглядную русскую дѣйствительность. Всѣ мы въ этомъ его послѣдователи и подражатели. Онъ жилъ въ то время, когда въ Россіи были освѣщены одні лишь общественныя вершины. Онъ жилъ на этихъ освѣщенныхъ вершинахъ и не опускался съ нихъ въ мракомъ покрытыя подполья; можетъ быть, и русскаго простолюдина онъ наблюдалъ только извнѣ, не проникая въ глубь его души.

Не называйте его бойцомъ, великимъ гражданиномъ, не сравнивайте съ громовержцемъ Юпитеромъ, не производите его въ герои; но, господа, нельзя отъ поэта требовать, чтобы онъ рычалъ какъ левъ, когда онъ лишь чудный, очаровательный соловей. О содержаніи поэзіи Пушкинъ имѣлъ глубокое понятіе («Пиръ во время чумы»): «есть упоеніе въ бою и бездны мрачной на краю, и въ аравійскомъ ураганѣ, и въ дуновеніи чумы»). Но самъ онъ неохотно ковырялъ въ своей душѣ, неохотно сомнѣвался, не любилъ диссонансовъ, обожалъ свѣтъ, веселье, опредѣленность очертаній, не переносилъ тумана мистицизма, и въ этомъ отношеніи выполнялъ главную задачу искусства, состоящую въ томъ, чтобы на шероховатую поверхность страдальческаго человѣческаго быта наклады-

вать красивое узорчатое покрывало завѣдомаго измышленія и спасать насъ отъ тоски посредствомъ сладкой иллюзіи. По своему творчеству и настроенію онъ былъ древній грекъ, такъ что поднимая въ честь его бокалъ, я невольно задаюсь мыслью, не провозгласить ли тостъ за Вакха, Феба, Киприду и за прочія олимпійскія божества. Вѣдь, по словамъ Пушкина, «и насъ они наукъ первой учатъ: чтить самого себя» (набросокъ 1829 г.).

С е м њ я П о л а н е ц к и х њ .

Романъ Г. Сенкевича.

С е м ь я П о л а н е ц к и х ъ.

Романъ Г. Сенкевича.

І.

Прозаическій романъ во второй половинѣ XIX вѣка составляетъ тотъ родъ изящной литературы, который получилъ въ ней преобладающее значеніе. По роману оцѣнивается нынѣ достоинство изящной литературы въ данный моментъ. Каждое крупное произведеніе превосходящее размѣръ новеллы, повѣсти требуетъ нѣсколькихъ дней чтенія и вдумчиваго углубленія въ цѣлое произведеніе. Первое впечатлѣніе внимательнаго читателя подобно тому какое выносишь когда очутишься въ весьма шумливой и суетящейся компаніи. Приходится разглядѣться въ толпѣ и сжиться съ дѣйствующими лицами. Такихъ лицъ въ семьѣ Поланецкихъ или намѣченныхъ двумя-тремя штрихами карандаша или разцвѣченныхъ и тонко обрисованныхъ 39 человекъ. У такого мастера дѣла какъ Сенкевичъ знакомишься съ каждымъ лицомъ мгновенно, въ двухъ-трехъ строкахъ портретъ готовъ выпуклый и живой. Живописаніе происходитъ необыкновенно легко независимо отъ того возвышенъ ли сюжетъ или комиченъ. Сенкевичъ изображаетъ напримѣръ Папу въ Ватиканѣ, какъ его несутъ на носилкахъ: *sella gestatoria* («свѣтъ просвѣчивающій сквозь алебастръ, духъ одѣтый въ какую то призрачную матерію, такъ что сама эта матерія

является чѣмъ то призрачнымъ, а духъ одинъ чѣмъ то дѣйствительнымъ») или доктора при родахъ Марыни «старикъ скептикъ, ворчунъ, съ золотыми очками на носу и съ золотымъ сердцемъ въ груди») или поэта Завиловскаго («нервное лицо, подбородокъ выдается и торчитъ точно у Вагнера; веселые, живые, черные глаза и нѣжное бѣлое чела лицо, на которомъ жилы изображаютъ букву У; выдающійся подбородокъ сообщаетъ лицу выраженіе нѣкоей энергіи, которому противорѣчитъ верхняя часть лица столь нѣжная почти какъ у женщины»). Съ одинаковымъ искусствомъ и старательностью начертаны авторомъ даже третъестепенныя лица, напримѣръ паничъ Гонтковскій, что на бѣлой кобылѣ ѣздитъ, изъ пистолцевъ стрѣляетъ и заглядываетъ дѣвкамъ въ бѣлки глазъ»). Такъ старательно рисованы даже лишнія лица напримѣръ нянька Розулька, которая наткнувшись въ сѣняхъ на панича Гонтковскаго обѣими руками обняла его за ноги, а затѣмъ поцѣловала въ руку; или пресловутый покойникъ Теодоръ иначе панъ Бронишъ (двойной дуракъ столько же толстый, сколько его жена была худа, вѣситъ десять пудовъ а глаза у него рыбы). Авторъ точно фокусникъ сыплетъ изъ рукава на бумагу безконечное число головокъ, лицъ и цѣлыхъ фигуръ.

У каждаго новелиста есть наблюдательность, то-есть способность быстро схватывать выдающіяся черты дѣйствительности и мгновенно ихъ фиксировать. Съ этимъ фотографическимъ снарядомъ въ головѣ и съ нѣкоторою долею начитанности онъ уже можетъ изъ этихъ оттисковъ и изъ литературныхъ воспоминаній кое-что сочинять. Но эта способность второстепенная, почти простая свѣтопись, не переступающая за порогъ настоящаго мастерства. Творецъ художникъ сквозь выразительную внѣшность войдетъ въ душу изображаемаго, усвоитъ себѣ и закрѣпитъ умственный ликъ данной особы, способы воздѣйствія ея на внѣшность, форму ея характера. О Шекспирѣ Тэнъ выразился такъ: *le plus grand faiseur d'âmes*, величайшій фабрикантъ душъ человѣческихъ.

Сенкевичъ несомнѣнно той же породы человѣкъ, одинъ изъ величайшихъ современныхъ творцовъ душъ. Его способъ писанія не драматическій, но чисто эпическій. Онъ склоненъ повторять тоже тѣми же чертами и даже словами, возвращаться и чертить то же лицо съ разныхъ сторонъ, въ разныхъ положеніяхъ и посадкахъ, тончайшимъ образомъ передавать перемѣны въ лицѣ не при рѣшительныхъ столкновеніяхъ героя съ другими людьми, передавать еле замѣтныя видоизмѣненія въ понятіяхъ и чувствахъ въ обыденной жизни людей, которыя однако почти незамѣтнымъ образомъ приводятъ къ тому, что человѣкъ становится совсѣмъ другимъ чѣмъ прежде лицомъ. При помощи накопленныхъ съ неимоверною бережливостью и аккуратностью такихъ микроскопическихъ черточекъ или наблюденій совершается удивительно логическое и послѣдовательное построеніе основнаго замысла, относящагося къ каждому отдѣльному лицу, а изъ согласованныхъ такихъ замысловъ образуется общая картина, въ которой просвѣчиваетъ общая основная идея цѣлаго произведенія, можетъ быть и не вполне высказанная, можетъ быть даже не совсѣмъ формулированная въ умѣ автора, но такая, которую онъ прочувствовалъ и выразилъ хотя бы символически, вслѣдствіе чего посредствомъ критики можно ее найти, раскрыть и поднести читателю. Всякое серьезное созданіе, не пустая бездѣлка; оно ни что иное какъ символъ извѣстной идеи, къ которому надобно подбирать подходящій ключъ.

Въ романѣ Сенкевича такимъ ключемъ можетъ быть только взаимное соотношеніе двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, которые дали и заглавіе роману: *семья Полянецкихъ*. Герои романа Станиславъ и Марыня Полянецкіе. Заглавіе не совсѣмъ точное, правильнѣе было бы назвать романъ: «Чета Полянецкихъ», потому что этой четы еще не дополняетъ малютка, на крестинахъ котораго кончается романъ. По отношенію къ этой четѣ всѣ другія лица составляютъ только фонъ картины и обстановку главныхъ лицъ: мужчины и женщины, симпатичные и

противные, чистые и грязные, какъ вообще въ жизни человѣческой, гдѣ много нечистотъ, но есть и проблески идеала, есть и положительно хорошіе элементы съ примѣсью гадкихъ и отрицательныхъ. Авторъ человѣкъ добрый, снисходительный и вдумчивый, онъ освѣщаетъ лучемъ идеала хотя бы слабымъ и блѣднымъ даже противныя личности, напримѣръ пренесноснаго Машку, arrogantъ съ длинными бакенбардами, моноклемъ въ глазу, бѣлою жилеткою, толстыми губами, раздутыми ноздрями и красными пятнами, точно припеками на щекахъ. Этому не то англичанину, не то дипломату, который исполнительъ въ обязательствахъ по расчету, а въ душѣ циникъ и эгоистъ, систематически соблюдающій всѣ условности, присуща нѣкоторая грубая сила, есть въ немъ и молодечество недюжиннаго авантюриста, который становясь банкротомъ имѣетъ извѣстный *point d'honneur* банкрота и признаетъ, что онъ предпочитаетъ подкузывать постороннихъ, нежели тѣхъ, которые оказывали ему услуги. Онъ говоритъ: «я не такая шваль какъ ты думаешь» и это убѣжденіе не покинетъ его даже и тогда, когда онъ станетъ помятою дрянью съ истоптанными сапогами. Въ этомъ человѣкѣ болѣе чванства чѣмъ жадности, хотя онъ выбралъ себѣ жену, такъ сказать, механическую, заводимую точно ключемъ, но не смотря на свой явно оповѣщаемый имъ эгоизмъ, ему не покойно въ сердцѣ, когда ему представляются тяжелыя минуты, которыя должна испытать его жена лишь послѣ его бѣгства. Я бы усомнился можно ли отнести къ прямо противнымъ личностямъ мужскаго гурія изъ дамскаго магометова рая—Коповскаго, у котораго ума меньше чѣмъ у пуделя и мозгъ котораго могъ бы помѣститься въ орѣховой скорлупѣ; онъ нѣчто среднее между мраморнымъ греческимъ богомъ и моделью портнаго; онъ скорѣе не живое лицо, а только маска или кукла, манекенъ приводящій въ романъ въ движеніе нѣсколько красивыхъ по виду, но скверныхъ по душѣ дамскихъ типовъ. Я не могъ бы отнести ни къ числу симпатичныхъ, ни къ числу противныхъ папашу Пла-

вицкаго. Онъ дивная каррикатура, исполненная высокаго комизма, старый комедіантъ, фарсеръ и надуватель, угощающій прїѣхавшаго къ нему за деньгами Поланецкаго сначала благословеніемъ, потомъ фантастическимъ мергелемъ, потомъ проклятіями, наконецъ подающій ему снятый со стѣны охотничій ножъ со словомъ: «рази!» Прижатый къ стѣнѣ старикъ Плавицкій опредѣляетъ себя пренаивно такимъ образомъ: «не я надуваю, это мое имѣніе надуваетъ, а я только за него говорю».

Къ числу симпатичныхъ и отдѣланныхъ авторомъ съ особою старательностью и любовью отношу я четыре мужскаго пола персоны: Васьковскій, Завиловскій, Букацкій и Свирскій. Я уже очертилъ наружность Завиловскаго. Это настоящій поэтъ боящійся того, какъ бы его не сочли позирующимъ, стыдящійся своей поэзіи, дичащійся и гордый; нѣжная душа, требующая любви, но внѣшнія чувства у него такія же какъ у сатира. Разъ онъ сказалъ себѣ что влюбится, то и воображаетъ что влюбился. Эта дѣятельность воображенія увлекала его чувство, онъ дрожалъ, эмоціонировался отъ мечты, отъ образа, точно отъ настоящей женщины, когда же жизнь обличала съ немилосердною ироніею всю неправду мечты, то все въ немъ разомъ рушилось, онъ пустилъ себѣ пулю въ лобъ и повредилъ себѣ не только черепъ, но и самъ талантъ, обратился въ ненужнаго обременяющаго другихъ и землю человѣка. Таковъ романъ его съ Кастелли. Васьковскій сильно похожъ на Олешкевича въ 3 ей части «Дѣдовъ» Мицкевича. У насъ всегда водились религіозные мистики съ гвоздемъ въ головѣ, съ глазами, какъ у ребенка, отражающими только внѣшніе предметы, но въ сущности внедряющимися въ неопредѣленную даль, въ безконечность. Великолѣпнѣйшимъ украшеніемъ романа является группа прямо противоположныхъ натуръ, дружныхъ и превосходно насквозь себя знающихъ, но вѣчно спорящихъ и какъ бы на то созданныхъ, чтобы жить и умереть холостяками, безъ семей, безъ гнѣздышекъ. Таковы живописецъ Свирскій и диллетантъ-коллекціонеръ Букацкій.

Свирскій самъ себя зоветъ буйволомъ, человѣкъ онъ весь изъ одного куска, едва обтесанный чурбанъ, черно-мазый съ волосами какъ смоль, каковы бывають италянцы и съ торсомъ которому позавидоваль бы Геркулесъ. Онъ до мозга костей артистъ, рабъ своего искусства, обязанный ежедневно работать, потому что въ противномъ случаѣ будутъ тупѣть его рука и его художественное чутье. Эта непрестанная работа помѣшала ему любить. Онъ одинокъ на свѣтѣ какъ палецъ. Чисто эстетическій восторгъ исключаетъ всякую похоть, всякое желаніе обладать и жуировать предметомъ восхищенія. Свирскій молить Бога: дай мнѣ какую нибудь милашку-бабенку, которая бы меня чуточку полюбила, но онъ того мнѣнія, что женщины любить не умѣють, хотя любовь ихъ единственная работа. Онъ бы хотѣлъ чтобы у нихъ были крылья, но у весьма многихъ онъ нашелъ одни только хвосты. Онъ не подозреваетъ что онъ на самомъ ложномъ пути. Другіе люди начинали съ того что полюбили и затѣмъ для возлюбленной женщины воздвигали храмы, онъ же началъ съ сооруженія храма и къ готовому храму пригоняетъ божество, вслѣдствіе чего постоянно дѣлаетъ промахи, кидается впередъ импульсивно, а потомъ остываетъ и кончается на такой рѣшимости: подожду-ка еще годикъ и затѣмъ сдѣлаю предложеніе паннѣ Ратковской. На такое «затѣмъ» Свирскій никогда не рѣшится.

(Свирскій -- аскетъ при всей своей мощной и атлетической наружности, сдѣлавшійся аскетомъ по любви къ искусству. Букацкій напротивъ того выжига сибаритъ, до мозга костей износившійся, человѣкъ, котораго доконала заразная болѣзнь вѣка, болѣзнь эту авторъ многократно наблюдалъ и изучалъ: отсутствіе догмата, пессимизмъ. По духу онъ родной Плошовскому, но по мастерству въ ироніи онъ достигаетъ почти до высоты Гамлета. Его совѣтъ Поланецкому: «сдѣлай мнѣ одну, единственную милость, умоляю тебя не женись» — можетъ смѣло стать на ряду съ словами Гамлета къ Офеліи: «иди, Офелія, въ монастырь». Отъ любви остались въ немъ только

острыя боли и ломота въ костяхъ. Букацкій мастеръ въ искусствѣ двоится, себя самого анализировать, онъ знаетъ что все въ мірѣ суета въ сравненіи съ любящимъ сердцемъ, что хорошо умѣть любить, но еще того лучше быть любимымъ, что дабы быть любимымъ мало того чтобы взягъ женщину, надо еще отдать себя женщинѣ и необходимо чтобы она сознала что ты себя ей отдаешь. Онъ знаетъ притомъ что это счастье ему не дано, онъ издѣвается надъ собою и надъ всѣмъ сущимъ, онъ сдѣлался шутомъ, паяцомъ, притомъ горькимъ и не искреннимъ паяцомъ, себѣ самому внушающимъ что жизнь не стоитъ труда (*ne vaut pas la fatigue*). Онъ корчитъ изъ себя буддиста, играетъ въ нирвану не ощущая ее, бѣжитъ изъ родины, гдѣ поневолѣ что нибудь или кого нибудь да любишь и бѣжитъ въ Италію гдѣ солнце яркое, гдѣ есть и искусство которому онъ податливъ, гдѣ есть вино *chianti*, гдѣ наконецъ есть люди которые его нисколько не интересуютъ, а ему только то и нужно, чтобы быть въ достаточной степени скотомъ.

Искусство которому онъ преданъ это коллекціонерство, утонченный дилеттантизмъ, искусство шиворотъ на выворотъ, въ которомъ нѣтъ стремленія къ высшимъ идеаламъ, а только чувственное смакованіе. Такое смакованіе достойно опредѣленія, которое ему даетъ знакомый Букацкаго славянинъ акварелистъ, вѣроятно коренной русскій, что искусство — свинство порожденное буржуазнымъ сладострастіемъ и избыткомъ денегъ накопленныхъ посредствомъ эксплуатированія однихъ людей другими, однимъ словомъ что искусство только одна подлость и несправедливость. Возведенный въ квадратъ и въ кубъ юморъ характеризующій Букацкаго доходитъ до геройства, до насмѣшекъ надъ приближающеюся смертію въ самый моментъ агоніи: «это пустяки — только поражение лѣвой части тѣла, малая непріятность, вопросъ привычки, какъ говорилъ рыжикъ на сковородѣ... Вздоръ говорить, что я имѣю три измѣренія, я весь вытянуть въ одну линію и притомъ въ линію продолжающуюся безъ шутокъ въ безконечность».

Серія женскихъ типовъ въ «Семьѣ Поланецкихъ» превосходитъ портретную галерею мужчинъ и по подбору и по отдѣлкѣ, что и понятно, если принять въ соображеніе что поэтъ посредствомъ высочайшаго артизма ограничился въ одной тѣсной области и весь романъ заключилъ въ предѣлы одной только страсти нѣжной, только одного процесса рождаемости, то-есть выстроилъ храмъ, посвященный одному только богу Эросу. Не будемъ упрекать Сенкевича за эту односторонность, во *первыхъ* потому, что онъ доказалъ рядомъ чудныхъ историческихъ повѣстей, что онъ умѣетъ совладать съ болѣе высокими мотивами, что онъ способенъ воскрешать великое закованное въ сталь прошлое, во *вторыхъ* потому что и величайшіе мастера писали произведенія, посвященные одной только любовной страсти и что не прекратится никогда пока живъ будетъ этотъ родъ литературы, нескончаемый родъ подражателей великимъ мастерамъ. Авторъ долженъ быть безусловно свободенъ въ выборѣ предмета повѣствованія и мотивовъ изображаемаго имъ дѣйствія, тѣмъ болѣе что онъ внушаетъ намъ весьма убѣдительно слѣдующее. Половой инстинктъ толкаетъ съ непреодолимою почти силою мужчину по направленію къ домашнему очагу, къ браку и образованію семьи. Высочайшій пессимизмъ безсиленъ передъ этимъ инстинктомъ, не хранитъ отъ него ни артизмъ, ни общественное призваніе. Женятся мизантропы не смотря на свою философію, женятся художники не смотря на искусство, женятся и тѣ, которые гласятъ что предали своей главной цѣли всю душу а не только половину души. Не женятся развѣ тѣ, которымъ помѣшала жениться та же стихійная сила, которая создаетъ браки, то-есть тѣ, которые подверглись крушенію отъ этой же любви. Холостячество часто то же что скрытая трагедія. Инстинктъ бываетъ всегда слѣпой, дѣлаетъ промахи, слѣдствіемъ чего являются цѣлые ряды ошибокъ и иллюзій, обожаніе звѣрьковъ, принимаемыхъ за ангеловъ, предоставление себя на жертву обманщицамъ, кокеткамъ. Наша польская литературная критика признала за Сенкевичемъ

мастерство въ изображеніи этихъ то именно женскихъ отрицательныхъ натуръ и предлагаетъ эти именно сцены, какъ верхъ артизма, какъ лучшую часть его произведеній вообще и Семьи Поланецкихъ въ особенности. Въ этого рода сценахъ дѣйствуютъ двѣ сирены: госпожа Основская и панна Кастелли, обѣ имѣютъ иностранный обликъ и отпечатокъ, Основская вслѣдствіе иностраннаго космополитическаго воспитанія, а Кастелли потому что и по крови она италіанка и потому что долго вертѣлась въ кругу артистической богемы за границею. Основская обладаетъ вспыльчивымъ воображеніемъ, при рыбьемъ темпераментѣ, она предпочитаетъ игру зломъ самому злу и похожа на бритву, которая поминутно нуждается въ брукѣ-мущинѣ, на которомъ бы могла отточиться. Къ этимъ только двумъ лицамъ въ романѣ, къ которымъ не подходитъ правило Елены Завиловской, что ни въ кого нельзя извѣриться пока онъ еще живъ. Другое лицо—Кастелли (тополь или колонночка) русый съ черными глазами идеаль, видъ женщины лебедя съ темпераментомъ горничной. Она послѣдовала своему призванію быть модницею и *sabotine* и вступила въ борьбу съ Основскою изъ за портняжной модели—изъ-за Коповскаго.

Ни какъ не могу я согласиться ни на такіе выводы критики, ни на такую оцѣнку произведенія.¹ Польскіе критики не хотятъ уважить, какъ слѣдуетъ, положительные женскіе типы Сенкевича, болѣе многочисленные и тщательнѣе отдѣланные, напримѣръ Эмилию, мать Литки, Елену Завиловскую, Ратковскую, Бигель, наконецъ поставленную на первомъ планѣ Марыню почти столь же прелестную какъ Сикстинская мадонна. Основская и Кастелли—это только два эпизода, обѣ можно бы вырѣзать изъ романа, не разстраивая его и не повредивъ ему. Авторъ не думалъ ставить эти отрицательные типы на первомъ планѣ, что я могу доказать ссылкой на нѣсколько мѣстъ въ романѣ, обличающихъ настоящія его намѣренія, напримѣръ: «ничто не возбуждало въ Поланецкомъ столько опасеній на счетъ будущаго, какъ изящное зло будущаго;

посѣянное на дикую славянскую новь и проявляющееся на ней въ видѣ цвѣтовъ дилеттантства, разврата, безсилія и вѣроломства». Поланецкій обвинявшій въ такомъ по-сѣвѣ зла то родовую аристократію, то финансовую плутократію, постигъ что тотъ кто живетъ въ воздухѣ пресыщенномъ углекислотою долженъ угорѣть. Мы всѣ деревья изъ того же лѣсу, мы содѣйствуемъ выработкѣ той общественной этической атмосферы, которая помогаетъ цвѣточкамъ, подобнымъ Кастелли всходить, развиваться, цвѣсти и давать сѣмена.

Мы сдѣлали подмалевку фона картины и изобразили обстановку двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, то-есть четы Поланецкихъ. Пара типовъ въ этой средѣ напирмѣрь Плавицкій или старый Завиловскій, — люди прошлаго уже много разъ повторявшіеся въ повѣстяхъ, но всѣ остальные типы новые, самые современные и изъ жизни взятые не могутъ быть подозрѣваемы въ томъ, что они либо копін, либо видоизмѣненія типовъ уже прежде фиксированныхъ литературою. Изъ взаимнаго дѣйствія мужа и жены возникаетъ и развивается романъ *психологическій*, особенность котораго заключается въ томъ, что при данныхъ психическихъ организаціяхъ двухъ дѣйствующихъ лицъ ихъ понятія, эмоціи и дѣйствія совершаются въ непрерывной послѣдовательности, какъ бы по непреложной логической необходимости, такимъ образомъ что читатель долженъ по совѣсти признать что иначе и быть не могло, что правда поймана и накрыта какъ есть и удостовѣрена точно при судебномъ слѣдствіи. Это ощущение открытія нагой правды доставляетъ всегда столь великое наслажденіе, что можно любоваться даже картинами изображающими почти что не людей, а неумытыхъ и совсѣмъ грязныхъ животныхъ, какихъ намъ ставила французская литература такъ называемаго натурализма. Сенкевичъ умѣетъ писать и животныхъ, но онъ наибольшее удовольствіе ощущаетъ изображая людей, которыхъ человѣческія чувства трогаютъ насъ и возвышаютъ а значительную высоту. Здѣсь то именно мы чувствуемъ

себя непріятно задѣтыми сучьями и крючьями современной польской литературной критики.

II.

Въ личномъ составѣ польской литературной критики есть и соціологи и публицисты. Они точно огня боятся, чтобы ихъ незаподозрили въ угодничествѣ еретической теоріи искусства ради одного искусства (*l'art pour l'art*). Они считаютъ своимъ призваніемъ поучать и морализировать. Въ такъ называемыхъ герояхъ романа эти критики доискиваются не идеализированныхъ типовъ живыхъ людей, такими Богъ ихъ создалъ и какими ихъ воспитало общество, но воплощенныхъ отвлеченностей добра и зла, людей какими имъ слѣдуетъ быть или небыть, людей по образу и подобию коихъ мы обязаны моделировать себя и имъ подражать или отъ которыхъ мы должны бѣжать какъ отъ чудовищъ. Польская критика подвергаетъ испытанію cadaго образцоваго героя и ставитъ ему баллы, а по этимъ балламъ повышаетъ или понижаетъ стоимость самаго героя, а потомъ и посвященнаго ему произведенія. По ея словамъ Поланецкій чутьчку выше средняго уровня толпы интеллигентовъ. Такихъ людей какъ онъ наберется въ обществѣ цѣлый легионъ. Онъ мастеръ красить ситцы, но неизвѣстно каковъ онъ какъ гражданинъ? участвуетъ ли онъ въ какомъ нибудь учрежденіи, для пользы общественной? Онъ исключительно вращается въ области частныхъ интересовъ и его кругозоръ не простирается дальше границъ семейной жизни. Онъ не озабоченъ нисколько тѣмъ, чтобы дать своему состоянію или своимъ способностямъ такое направленіе, которое бы содѣйствовало распространенію просвѣщенія или облегченію людей страждущихъ и неимущихъ, значить онъ лишенъ чутья общественности, онъ вульгарной рублекопитель, неотзывчивый на движенія общественныя (См. *Ateneum* май 1895—рецензія П. Хмѣлёвскаго). Если съ этой точки посмотрѣть

и на Марыню Плавицкую, то и она средняя женщина, достойная сожительница рублекопителя, безъ всякаго позова на болѣе выпренный полетъ. Недаромъ авторъ и представляетъ ее въ большей части романа въ видѣ временной, то есть не очень привлекательной женщины.

При такой оцѣнкѣ по пониженной цѣнѣ четы Поланецкихъ, вопреки явно выраженнымъ намѣреніямъ автора опошляются очевидно въ глазахъ критики благородно эротическія сцены, а возводятся напротивъ въ перлъ созданія картины разврата и эпизоды, достойные бича сатиры, но для романа не существенные.—Конечно иронія у Сенкевича всюду бездна, безъ ироніи не могъ бы онъ быть великимъ писателемъ, но я отрицаю чтобы *иронія жизни* была главнымъ элементомъ романа, та иронія въ силу которой палъ благородный Ахиллъ въ Иліадѣ, а живетъ презрѣнный Терситъ. Въ романѣ Сенкевича благоденствуетъ не анализирующій себя Плошовскій, а Поланецкій.—Плошовскій провалился именно потому, что былъ изящнѣе Поланецкаго, что высѣченъ изъ болѣе тонкаго матеріала.—Конечно еслибы должна была царить иронія, то верхъ ея заключался бы въ томъ, что Поланецкимъ мужу и женѣ не пришлось бы такъ хорошо присгаться другъ къ другу и сплотиться, они бы разошлись послѣ нѣсколькихъ лѣтъ сожитія. Поланецкій не принесъ вѣдь женѣ покаянія за свои супружескія невѣрности, значить жена на счетъ его остается въ пріятномъ заблужденіи, да и авторъ не ручается что онъ не шалунъ, что съ нимъ не случится рецидива, не одна вѣдь госпожа Машко на свѣтѣ.—И такъ счастливое окончаніе романа только данъ автора буржуазному, вульгарному вкусу публики. Впрочемъ что за бѣда, что романъ напомнитъ старые романы, не все вѣдь нехорошо что старо.

Не можемъ согласиться на такую постановку вопроса верхъ дномъ критикою. Слава Богу, что Плошовскіе у насъ убываютъ, но неправда якобы мы имѣли миліоны Поланецкихъ, что было бы во всякомъ случаѣ желательно. Поланецкій не теряетъ отъ сопоставленія его съ Плошов-

скимъ, который годился бы только на помѣщеніе на этажеркѣ вмѣстѣ съ другими бездѣлками. Поланецкій говоритъ: я красилъ ситцы, но отъ Плошовскаго краснѣли только женскія щеки. И въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи не надо быть слишкомъ филиграннымъ, будущее принадлежитъ только недѣлимымъ, одареннымъ наибольшею неподатливостью внѣшнимъ условіямъ, наибольшею жизнеспособностью и выносливостью, любящихъ жизнь ради самаго процесса жизни и ощущающихъ всѣми порами кожи удовольствія жизни; будущность принадлежитъ оптимистамъ. Нельзя раціоналистически доказать привязанность къ жизни, даже крайне тяжелой и непріятной, ее можно только чувствовать. Ее чувствуетъ Поланецкій — какъ сильная натура, и это ощущеніе передается и намъ читающимъ, какъ нѣчто здоровое и питательное. Ее ощущаетъ и Сенкевичъ, въ чемъ и заключается тайна его обаянія. Меня всегда изумлялъ тотъ необъяснимый разумомъ фактъ, что у насъ поляковъ при страшномъ давленіи извнѣ со всѣхъ сторонъ располагающемъ къ мрачному отчаянію столь мало отчаянныхъ пессимистовъ-поэтовъ, у которыхъ, по словамъ Словацкаго въ «окна души вставлены зеленые стекла»; у насъ какъ будто бы чѣмъ хуже тѣмъ веселѣе. Я полагаю что наша польская литература дѣлаетъ свое дѣло исправно, она насъ подбодряетъ, укрѣпляетъ, она помогаетъ намъ жить и существовать, хотя бы только прозябая. Этотъ оптимизмъ въ силу нашего темперамента могучъ и спасителенъ. Еслибы романъ имѣлъ одно только назначеніе поддерживать жизнерадостныя чувства въ людяхъ, то и это было бы хорошо. Я уже объяснялъ, что можно помириться съ романомъ, основаннымъ на одномъ только чувствѣ любви, безъ всякихъ общественныхъ примѣсей, которыхъ отсутствіе не означаетъ вовсе того, чтобы авторъ отрицалъ пользу такихъ примѣсей, но доказывать только, что авторъ счелъ возможнымъ съузить свою задачу и обошелся безъ нихъ, самаго себя ограничивъ. Конечно онъ имѣетъ полное право на такое самоограниченіе и можетъ

представить героя только въ кругу его отношеній частныхъ и семейныхъ. Нѣтъ автору надобности оправдываться передъ читателями насчетъ его безупречной гражданственности, потому что такое умолчаніе не умаляетъ героя какъ человѣка и не подвергаетъ его риску быть обвиненнымъ въ отсутствіи чувствъ гражданскихъ.

Большинство людей съ которыми мы знакомимся, находимся въ общеніи и дружимся извѣстны намъ только по своимъ отношеніямъ частнымъ и домашнимъ, въ особенности если эти лица не занимаютъ выдающихся мѣстъ въ строѣ общественномъ. Если только они не осквернили себя ничѣмъ явно гадкимъ и нечестнымъ, мы не имѣемъ основанія ради одной только любознательности вникать каковы ихъ взгляды на общественные идеалы или на ихъ общественныя утопіи. Въ самоограниченіи автора мы усматриваемъ не недостатокъ, а достоинство произведенія. Бываютъ эпохи, какъ на примѣръ наша современная, когда всѣ почти поприща политической и публичной официальной дѣятельности для насъ закрыты, но пока недѣлимые выдѣляютъ изъ себя элементы, изъ которыхъ слагается нормальная умственная атмосфера общества, здоровая незараженная миазмами разложенія и гніенія, до тѣхъ поръ нѣтъ основанія унывать и приходить въ отчаяніе.—Мы какъ нибудь поладимъ съ дѣйствительностью, устроимся и будемъ держаться, пока не откроется возможность вступить на новые широкіе пути.

Станиславъ Поланецкій есть самоновѣйшій типъ общественный, не имѣющій ничего общаго съ эпигонами байронизма и романтизма, ни съ декадентами такими какъ Плоховскій или хотя бы Букацкій.—Притомъ это типъ породистый, въ которомъ оживаетъ съ необычайною силою старая раса, со всѣми своими качествами смѣлости, бойкости, веселости и удалства. Широкое мужественное лицо, здоровые зубы, крѣпкое тѣлосложеніе, живые глаза отличаютъ его отъ предшественниковъ, но сильно сближаютъ съ праотцами, съ такими людьми какъ Скржетускій, Володыевскій, съ богатырями войнъ казацкихъ и швед-

скихъ. О поколѣніи къ которому онъ принадлежитъ выражается такимъ образомъ старый обветшалый аристократъ Завиловскій: «можетъ это такъ самъ Господь Богъ устроилъ, что измѣнилось молодое поколѣніе, что чертъ къ нимъ и неприступай. Способны они шельмецы и завзяты когда работаютъ и характерны—ого характерны!» Поланецкій много знаетъ, онъ всесторонне и даже философски образованъ, онъ терся между мыслящими людьми, если не на родинѣ, то въ Бельгіи.—«Была насъ цѣлая пачка людей, сходящихся разсуждать о смыслѣ жизни. Мы задавались вопросами: куда мы идемъ? какую цѣну, значеніе и конецъ имѣетъ всякая вещь? Мы вчитывались въ пессимистовъ и терялись въ бездонныхъ вопросахъ, какъ тѣ птицы, которыя летятъ за море и имъ неначемъ сѣсть во время перелета. Но я замѣтилъ что у меня проходитъ схота къ труду и что я становлюсь слабосильнымъ человекомъ; тогда я потянулъ себя за уши и сталъ красить на убой мои ситцы. Я сказалъ себѣ слѣдующее: жизнь есть законъ природы, глупъ или мудръ этотъ законъ я не знаю, но я знаю что онъ есть. Жить надо, значить надо изъ жизни извлечь все что она можетъ дать».—Поланецкій сталъ положительнымъ человекомъ и купцомъ, но и въ этой положительности есть коренная разница между нимъ славяниномъ и западными европейцами. «Я открылъ, говоритъ Поланецкій, что мои бельгійцы менѣе сердечно относятся къ бездоннымъ бытовымъ вопросамъ, что мы гораздо болѣе ихъ наивны». Его славянская голова не выдѣлялась окончательно и не уособлялась изъ всебытія; хотя онъ сталъ избѣгася міровыхъ вопросовъ и загадокъ, но эти вопросы и загадки не переставали смущать его и озадачивать. Ради чего работать, копить состояніе, жениться, рождать дѣтей, когда все кончится паденіемъ въ бездну, когда все умреть.—«Видите, говоритъ Поланецкій Марынѣ, можетъ быть и правъ мой другъ чудакъ Васьковскій что никто кончающійся на *скій* или *вичъ* не можетъ вложить всю свою душу въ деньги и на нихъ жизнь покончить». По своей природѣ онъ

былъ человѣкъ обязательный, щедрый, способный иногда нѣжничать и деликатничать какъ женщина, притомъ онъ имѣлъ прирожденное отвращеніе къ матеріализму, но онъ прикидывался шероховатымъ и неуживчивымъ въ сдѣлкахъ, потому что боялся чтобы его не провели какъ дурака, или не уличили въ оплошности и въ томъ что онъ не дѣльный человѣкъ. Онъ поставилъ себѣ неуклончивость принципомъ и сдѣлалъ изъ нея вопросъ самолюбія. Одинъ только денежный вопросъ привлекъ его въ село Кремень къ своему родственнику и должнику Плавицкому. Онъ пріѣхалъ выжимать долги изъ весьма неисправнаго плательщика. Не успѣли они еще столковаться по дѣлу, когда онъ влюбился въ дочь Плавицкаго—свою свояченицу. Влюбился онъ простѣйшимъ и незатѣйливѣйшимъ образомъ. Въ человѣкѣ молодомъ здоровомъ, крѣпкомъ и духовно и физически любовь есть стихійная сила, толкающая мужчину въ объятія женщины. Такъ какъ онъ былъ прежде всего живой и дѣятельный человѣкъ, то онъ уже смолоду рѣшилъ, что волочиться за замужними женщинами подобаетъ только празднымъ бездѣльникамъ. Его влекло только къ дѣвушкамъ, влюблялся онъ только затѣмъ чтобы жениться. Только дѣвушки возбуждали въ немъ и физическое и психическое любопытство. Извѣстная практическая философія поддерживала его въ его мужескомъ половомъ инстинктѣ, указывая ему на бракъ, какъ на одну изъ главныхъ цѣлей жизни. Онъ объяснялъ это слѣдующимъ образомъ своей будущей женѣ: «я нуждаюсь въ комънибудь, съ кѣмъ бы могъ всѣмъ моимъ подѣлиться, чтобы меня признавалъ. Кто можетъ меня признать кромѣ женщины лишь бы она была весьма добра, весьма вѣрна, весьма моя и весьма любима». Съ первой же встрѣчи образовалась связь исполненная задушевной искренности, короткаго знакомства, но эту связь Поланецкій чуть чуть не разорвалъ по свой опрометчивой вспыльчивости. Онъ увѣрялъ панну Плавицкую что никогда не будетъ ее кредиторомъ, а развѣ только должникомъ, но вслѣдъ затѣмъ выведенный изъ терпѣнія патетическимъ фарсеромъ—ея

отцомъ, пытавшимся отдѣлаться отъ него не заплативъ ему ни копейки, онъ вспылить, обругалъ его, оскорбилъ и Марыню, пригрозивъ что онъ продастъ свое долговое обязательство за полцѣны первому встрѣчному еврею. Онъ и уступилъ свое обязательство ловкому аферисту Машко, купившему Кремень, который сталъ ухаживать за Марынею, какъ искатель ея руки. Плавицкіе переѣхали на житье въ Варшаву.

Наступилъ періодъ непріязни, холодности, взаимнаго отталкиванія другъ друга. Она не можетъ простить, что она въ немъ ошиблась, она была увѣрена, что онъ не обидитъ ни ее, ни папашу, ни село Кремень. Поланецкій съ другой стороны мечется и не можетъ успокоиться, потому, что при его сильной чувственности ему все грезится эта гибкая личность, отъ которой становится теплѣе, когда созерцаешь ея чудную дѣвственную молодость. Забыть онъ не могъ этихъ глазъ, этихъ широкихъ устъ, ея немного загорѣлыхъ рукъ, темныхъ волосъ, звонкаго голоса и пятнышка надъ верхнею губою. Онъ слѣдовалъ всегда первому порыву и по принципу не рефлексировалъ, но имѣлъ страшно чуткую совѣсть. Онъ себѣ такъ объяснялъ свое внутреннее состояніе: «въ каждомъ изъ насъ сидятъ два человѣка, одинъ дѣйствуетъ, а другой его критикуетъ». Критикъ въ немъ сказалъ: оставь пока папашу, съ нимъ не столкнешься. Онъ и продалъ документъ, послѣ чего уже спохватился, что не можетъ отдѣлаться отъ мысли о паннѣ Плавицкой, когда же изъ письма ея узналъ, что и она чувствовала нѣчто, тогда влюбился въ нее совсѣмъ. «Пока человѣку что-то грезится — это еще ничего, но когда узнаешь, что и тамъ открывались объятія, то уже не могу себѣ найти мѣста и покоя». По мѣрѣ того какъ двойнымъ становился самъ въ себѣ Поланецкій, въ душѣ его двойственной становилась и личность Марыни. Одна Марыня — ласковая, привѣтливая, заслушивающаяся его и готовая любить, другая Марыня — ледяная и отталкивающая, графинъ съ мороженой водой, чѣмъ болѣе равнодушная, тѣмъ болѣе ненавистная. Пола-

нецкій ничего не смыслилъ въ женской психологіи и даже не смѣкалъ до какой степени сужденія женщинъ о мужинахъ зависятъ отъ настроенія чувства судящихъ постоянного или мѣняющагося. Въ силу этого настроенія все можетъ быть истолковано въ хорошую или дурную сторону, глупость взята за умъ, умъ за глупость, грубость принята за откровенность, а откровенность за неделикатность. Ей казалось, что Поланецкій нарочно вередитъ ея рану, дѣйствуя съ беззащитностью черстваго человѣка, имѣющаго грубые нервы. У обоихъ любовниковъ любовь смѣшивалась съ горечью, а подобный ферментъ разлагаетъ любовь, потому что отравляетъ ее. Ихъ отношенія до того перепутались, что легче имъ было разлюбивъ полюбить опять другъ друга, нежели прійти къ соглашенію. — Однако начало соглашенію дано было однимъ совѣмъ постороннимъ обстоятельствомъ — болѣзнью и смертью маленькой Литки. Этотъ эпизодъ можетъ быть самый красивый въ романѣ. — Литка, 12-лѣтняя дочь вдовы Эмилиі Завистовской, короткой знакомой обоихъ любовниковъ, которая попыталась ихъ сблизить и помирить. Эта крошка, больная болѣзнью сердца, привязана страстно, выше своихъ лѣтъ, любовью къ Стаху (Поланецкому). Когда она поняла, что Стахъ влюбленъ въ Марыню, она ощутила первую въ жизни кровную обиду, потому что Стаха она считала уже своей собственностью. Это откровеніе усиливаетъ болѣзнь и приближаетъ смерть. Убѣдившись, что Стахъ несчастенъ и страдаетъ, бѣдняжка приноситъ себя въ жертву и говоритъ мамашѣ: «у меня на совѣсти большой грѣхъ, — я не люблю панну Марыню», а передъ смертью она обращается къ ухаживающимъ за нею Стаху и Марынѣ: «у меня большая просьба къ тетѣ Марынѣ, чтобы тетя Марыня полюбила пана Стаха». Марыня должна ей обѣщать, что выйдетъ за-мужъ за Стаха. — Слова эти вызываютъ въ Поланецкомъ спазматическій плачъ. Онъ и Марыня почувствовали, что ихъ судьбы рѣшаются въ эту минуту, они подавлены случившимся и не смѣютъ смотрѣть другъ другу въ глаза.

Художникъ меньшаго размѣра повѣнчалъ-бы любовниковъ и поставилъ-бы точку, положилъ-бы конецъ писанію. Повѣсть была бы чудесная, съ крупнымъ алмазомъ въ брошкѣ, съ эпизодомъ объ умирающей Литкѣ. Всѣ были бы растроганы, не осталось бы времени и мѣста для рефлексированія, для замысла болѣе глубокаго. — Не было бы разныхъ мнѣній, всѣ бы кричали въ одинъ голосъ: превосходно! Мы признаемъ необычайную высоту творчества у Сенкевича именно въ томъ, что онъ не поддался искушенію, что онъ проникнулъ глубже въ суть жизни, дошелъ до мути, до скрежетовъ, что идиллія, на которой можно бы оборвать рассказъ, превращается въ драму, въ упадокъ по собственной волѣ и затѣмъ въ подъемъ и выходъ изъ этого паденія столь рѣшительный и энергическій, что онъ устанавливаетъ если не достовѣрность, то правдоподобіе того, что сожитіе супруговъ будетъ счастливое и если не совсѣмъ свободное отъ заботъ, то, по крайней мѣрѣ, такое, что въ немъ будетъ меньше полыни чѣмъ меду.

Смерть Литки устранила горечь ненависти, но не возстановила согласія. Образовалось новое отношеніе, любовь измѣнилась въ своемъ качествѣ столь значительно, что Поланецкій сталъ задумываться и мѣшкать съ брачнымъ предложеніемъ. — Марыню увлекла мужественная энергія, съ которою Поланецкій при смертномъ одрѣ дитяти упрекалъ Марыню въ томъ, что въ ней нѣтъ доброты, что въ ней нѣтъ мѣры въ ненависти. Обѣщаніе, данное ею Литкѣ, связывало ее точно принятая присяга. Ей показалось, что если-бы она не любила, то обязана была-бы заставить себя любить. Поланецкій вошелъ въ кругъ ея обязанностей. Она была простое женское созданіе, отождествляющее жизнь и обязанность. Поланецкій убѣдился, что предъ нимъ Марыня не та уже, а другая, хотя она не перестала быть существомъ, производящимъ особенно сильное впечатлѣніе на его нервы и тянущая его къ себѣ точно клещами. Онъ ощутилъ, что въ его чувствѣ любви не достаетъ того, вокругъ чего оснащаются мечты, того, чего боишься, дрожишь, что заставляетъ становиться на

колѣни, что превращаетъ похоть въ богослуженіе, вводя въ любовь мистическій элементъ, что изъ любовника дѣлаетъ поклонника. Тѣ двѣ личности, которыя въ немъ совмѣщались вступили другъ съ другомъ въ ожесточенную борьбу. Страстный человѣкъ сердился не въ мѣру, что вождельніе обладать Марынею становилось теперь слабѣе прежняго, чѣмъ тогда, когда она его отталкивала. Онъ бы предпочиталъ чтобы его любили ради его самого и восклицалъ «рыба, обязательственная рыба! Знаю я тѣ холодныя натуры съ экзальтированнымъ умомъ, исполненнымъ такъ называемыхъ принциповъ!» Но другая сидящая въ Поланецкомъ личность,—разсудочный человѣкъ и критикъ, внушала ему: ты съ ума что-ли сошелъ? Вѣдь тебѣ нужна жена, а не любовное приключеніе.—Поланецкій въ душѣ своей сожалѣлъ, что онъ чувствовалъ не то что прежде; тогда онъ стремился и жаждалъ, теперь онъ только хочетъ и соглашается. Это сравненіе дѣйствовало на него какъ морозъ. Не смотря на то, онъ заключилъ разсудочно и хладнокровно, что надо сдѣлать рѣшительный шагъ и жениться. Всѣ его знакомые объявили, что онъ сдѣлалъ нѣчто самое умное въ своей жизни. Онъ сказалъ Марынѣ конечно шутя: «пропалъ я, совсѣмъ пропалъ, вы меня совсѣмъ покорите, знаю я что отъ меня, какъ отъ зайца, останутся только уши одни». Говорилъ онъ эти слова зная, что они неправда, зная, что выйдетъ совсѣмъ не то. Случилось въ дѣйствительности чтото иное, противное тому что онъ вышучивалъ; оно едва не причинило ему величайшихъ несчастій, потому что Поланецкій, самоувѣренно полагавшій что онъ въ порядкѣ и съ Богомъ и съ свѣтомъ, не былъ въ порядкѣ съ своею женою, что и въ собственномъ его домѣ привело къ разладу.

III.

Есть въ романѣ одно лицо трезво судящее и мудро совѣтующее, но преглупо живущее, а именно Букацкій,

который утверждаетъ, что бракъ ему противенъ и гадокъ, потому что съ одной стороны онъ эксплуатація, а съ другой — жертвоприношеніе. На его взглядъ у обоихъ супруговъ Поланецкихъ тоже количество ума и характера, но жена больше любитъ, вслѣдствіе чего жизнь ихъ сложится такъ, что жена войдетъ въ сферу дѣйствія мужа какъ планета, которую онъ будетъ согрѣвать и освѣщать. Онъ будетъ обладателемъ и ея и всего остальнаго, она будетъ обладать только имъ, но безъ остальнаго. Онъ позволитъ женѣ его любить, она будетъ полагать въ этой любви свое счастье и свой долгъ и будетъ провозглашать: «вотъ онъ мой лучезарный богъ!» Поланецкій имѣлъ ту самоувѣренность, которая возмущала Букацкаго и то самодовольствіе, которое располагаетъ человѣка къ ожиренію, къ ржавчинѣ и къ тому чтобы катиться внизъ. Если бы любовь Марыни доставалась ему съ большимъ трудомъ, если бы выдавала себя за божество и требовала поклоненія, то Поланецкій считалъ бы ее божествомъ и поклонялся бы ей, но теперь онъ получаетъ ея любовь какъ свое право, какъ свою собственность, онъ бралъ все удѣляя ей только частицу себя. Даже поцѣлуи и ласки были ей порою непріятны по недостатку уваженія къ ней, потому что въ нихъ сквозило снисхожденіе. Она желала бы видѣть больше чувства, зернышко поэзій. Она чувствовала что сходить на второй планъ, что ее цѣнять какъ мать, родительницу дѣтей. Это увеличеніе разстоянія жены отъ мужа и это постепенное уменьшеніе равенства начертаны тончайшими чертами. Когда Поланецкая забеременѣла, потеряла свѣжесть лица, подурнѣла, ей пришлось прожить тяжелыя минуты, пока она не нашла нѣкакого успокоенія въ томъ, что ее однако не сблизило съ мужемъ, въ томъ что зовутъ резигнаціею, въ уразумѣніи что какъ что есть, такъ и должно быть. Она не только помирилась съ судьбою, но и сочла себя счастливою: «если бы я была Стахъ, я бы бѣжала изъ дому, я вѣдь такая дурняшка». Чѣмъ самоотверженнѣе и чище нравственно становилась Марыня, тѣмъ больше понижался

правственню Станиславъ. Онъ себя счелъ большимъ мастеромъ въ искусствѣ жить, сказалъ себѣ: я достаточно добръ и уменъ, могу опочить. Онъ забылъ про необходимость постоянного усилія, чтобы подыматься и всплывать, безъ чего каждый изъ насъ погружается и идетъ ко дну собственною своею тяжестью. Онъ полагалъ что выстроилъ превосходную теорію жизни изъ толстыхъ бревенъ и на крѣпкихъ устояхъ, но тотчасъ же послѣ этого стѣны его дома стали трескаться. Онъ почувствовалъ что просчитался, что онъ слабъ именно въ томъ что считалъ своею крѣпкою стороною, въ своемъ характерѣ. Авторъ гениально отмѣтилъ черту, свойственную такимъ именно какъ Поланецкій неутомимо дѣятельнымъ натурамъ, что онъ всегда крайній: или или, что онъ можетъ быть только добръ либо только злъ, но никакъ ни то ни се, и что когда онъ отступаетъ въ зло, то онъ уже идетъ въ бродъ произвольно и самъ себя ведетъ въ искушеніе точно и самъ изобрѣлъ себѣ предметъ искушенія, потому что этотъ предметъ не сдѣлалъ на встрѣчу ему перваго шагу. Мы знаемъ что Машко ухаживалъ за Марынею, но получилъ отказъ и женился на пассивѣйшей женщинѣ Терезіи Краславской, у которой ума было столько сколько у курицы. Онъ выбралъ ее потому что въ ней не было ни зернушка, того изъ чего вылѣплены авантюристки. Она была непомѣрно хороша тѣмъ, что соблюдала всѣ свѣтскія приличія, отвращалась отъ того чего не слѣдуетъ дѣлать, что она была безкровная, лѣнивая на подъемъ, наивно поддающаяся всякой настойчивости самка. Много причинъ сложилось на катастрофу паденія Поланецкаго: беременность жены, продолжительное его пребываніе въ испорченной атмосферѣ, въ міазмахъ выдѣляемыхъ такими кокотками, какъ Основская и Кастелли или Адонисомъ Коновскимъ и цѣлою шеренгою бездѣльниковъ, такъ называемыхъ коптителей неба. Его обварилъ точно кипяткомъ приливъ физическаго чисто плотскаго влеченія, долго подавляемаго, но вспыхнувшего съ неудержимою силою. Паденіе Поланецкаго изображено мастеромъ съ полнымъ до

очевидности объясненіемъ читателю какъ могъ такой упадокъ приключиться отборному человѣку, разрушая всѣ его отношенія къ Богу, правдѣ и женщинѣ, какъ забурилось въ немъ зло, какъ распоролся въ мигъ весь шевъ нравственности, какъ только разрѣзана была одна ниточка, какъ совершилось подлое вѣроломство, исключющее собою честь, гражданственность, порядочность, совершаемое притомъ не негодяемъ или безмысленнымъ человекомъ, но такимъ лицомъ, которое было увѣрено что между людьми онъ точно дубъ или скала. Онъ съ ужасомъ увидѣлъ что онъ только животное. Онъ способенъ отвертываться, оправдывать себя площадною острою, что я не шведская спичка или оправдываться тѣмъ, что по нашимъ нравамъ адюльтеръ для мужчинъ дѣло обычное, что оно все равно что дозволено.

Свалился быстро въ бездну Полаонецкій, но онъ изъ нея выскочилъ и поднялся опять могучимъ усиліемъ весьма энергической воли. Онъ намъ извѣстенъ какъ противникъ всякаго ковырянія въ бытовыхъ вопросахъ, всякаго анализа, но самъ онъ себя знаетъ превосходно и проникаетъ себя насквозь съ неумолимою искренностью. Онъ о Марынѣ того мнѣнія, что если бы она кого обманула, то отъ огорченія заболѣла бы воспаленіемъ совѣсти. Онъ и самъ былъ таковъ что поминутно сводилъ счеты со своею совѣстью. Онъ увидѣлъ что онъ сыгралъ жалкую роль въ комедіи человѣческой, слѣдуя своему инстинкту павьяна. Какъ только поддалась ему госпожа Машко почувствовалъ онъ нѣчто въ родѣ душевной приторности, оскомы, это чувство дайдетъ потомъ до незаслуженной ею ненависти, потому что не она его смамила, а онъ на нее налетѣлъ. Эта ненависть испарится только тогда, когда онъ почувствуетъ что онъ сдѣлался уже инымъ человекомъ. Послѣднія его слова къ госпожѣ Машко можетъ быть и непонятны ей, но внушены искреннимъ раскаяніемъ: «увѣряю васъ что я недостойнымъ образомъ провинился предъ вами, за что прошу прощенія отъ всей души».

Полаонецкій чувствовалъ себя глубоко приниженнымъ,

ему были присущи въ его сознаніи всѣ тѣ нравственныя начала, которыя онъ попраля, но они лежать у него гдѣ то тамъ, въ глубинѣ, какъ въ амбарѣ или въ кассѣ. Онъ ими не пользовался и довѣрившись своему богатству заключилъ что можно безъ нихъ обойтись и почилъ на лаврахъ. Извѣстно что люди всего больше обижаются на тѣхъ, которыхъ они то сами и обидѣли; посему то въ данномъ случаѣ Поланецкій сердился изъ за своего паденія на г-жу Машко и на жену, за то что жена допустила его упасть. Собственно онъ никогда не былъ бы въ состояніи оцѣнить въ отношеніи къ себѣ поведенія Марыни до того противоположны два соприкасающіеся міры, одинъ женскій, эмоциональный, главный интересъ котораго любить другихъ и содѣйствовать ихъ счастію и другой мужской разсудочный драчливый, сердитый, изобилующій поединками, усиліями для сколоченія состоянія. Марыня никому не жаловалась на мужа, она даже не догадывалась, что они въ разладѣ другъ съ другомъ, она сожалѣла только что та любовь о которой она когда то грезила оказывается совсѣмъ не такая какъ она думала. На ту дѣйствительность, которую она переживала ложилась тѣнь печали соединенной съ предчувствіемъ, что эта тѣнь станетъ постояннымъ фономъ ея жизни. Не могла она не видѣть что всѣ ее уважаютъ, хвалятъ, состоятъ подъ ея обаяніемъ, но что всего менѣе признаетъ эти ея качества мужъ. Только мимоходомъ и на одно лишь мгновеніе дрогнуло ея сердце и потемнѣло у нее въ глазахъ, когда она увидѣла что онъ вглядывается въ госпожу Машко страстнымъ взоромъ, какимъ онъ на Марыню глядѣлъ, когда былъ ея женихомъ, но затѣмъ она сказала: привидѣлось мнѣ что то. Затѣмъ доискиваясь причины его непочтительности она ее нашла въ себѣ, въ своей неумѣлости любить его какъ слѣдуетъ, въ томъ что не успѣла сгладить ту складочку, которая образовалась гдѣ то въ его сердцѣ. Въ концѣ концовъ выходило что она счастлива тѣмъ что есть, а весь остальной преизбытокъ счастія только подарокъ отъ Бога. Ея терпѣніе по чув-

ству долга вознаградилось ей стократно. Раскаившійся Поланецкій сдѣлался безконечно милѣе и добрѣе. Его же мучило глухое безпокойство и какъ будто бы предчувствіе того, что вслѣдствіе какой то роковой логики вещей его постигнетъ какое то страшное несчастье, что въ жизни какъ въ лѣсу преслѣдуютъ человѣка молчкомъ какія то несчастія гоняющіяся за нимъ какъ звѣри. Ему казалось что зло какъ волна подходящая прибоемъ, опять отходить и опять возвращается, это мучительное состояніе продолжалось до тѣхъ поръ пока ему не уяснилось, что эта возвратная съ новымъ прибоемъ волна заключается въ его же, упрекахъ совѣсти и раскаиваніи. Поланецкій не разлюбилъ Марыню, но потерялъ только самоувѣренность, бойкость и безцеремонность. Его новое колебаніе походило иногда на холодъ. Оба супруга убѣдились что перемѣны настроенія и оттѣнки въ сожитіи неизбѣжны, но что они преходящи, пока неровности и изгибы въ характерахъ не образуютъ укладываясь одной общей линіи. Оказалось что подъ незамѣтнымъ женскимъ вліяніемъ оправдалось брошенное въ видѣ шутки на вѣтеръ предсказаніе Стаха: «я пропалъ, вы меня покорите, отъ меня останутся только уши». Съ каждымъ днемъ Поланецкій становился менѣе безусловнымъ, болѣе мягкимъ, не только по отношенію къ женѣ, но и ко всѣмъ людямъ съ которыми сходилъ. Онъ сознавалъ, что его умъ болѣе гибкій, упругій, что его знаніе и мышленіе шире и глубже. однако онъ чувствовалъ только то, что чувствовала она, все внутри его становилось тоньше по отдѣлкѣ и благороднѣе. Подъ ея вліяніемъ начала добытые его умомъ, гдѣ они были мертвымъ веществомъ, переходили въ его сердце, гдѣ они становились дѣломъ. Онъ созналъ, что не только счастье но и онъ самъ—это въ нѣкоторой степени ея произведенія. Романъ кончается великолѣпнымъ, триумфальнымъ торжествомъ женщины, возведенной на высокій престолъ и ослѣпляющей всѣхъ новымъ разцвѣтомъ красоты послѣ родовъ. Увидѣвъ ее въ этой красотѣ дивнаго материнства, живописецъ Свирскій восклицаетъ, точно онъ

стоитъ передъ Мадонною Рафаэля: «происходить непостижимое, можно глаза потерять; становитесь на колѣни народы; ничего больше не скажу». Если бы авторъ послѣ такого финала озаглавилъ свое произведеніе: «Марыня Поланецкая», мы бы ничего не могли возразить противъ такого заглавія. Для полноты моего отчета я долженъ еще остановиться на одной довольно важной подробности, на томъ что супруги сошлись въ своихъ понятіяхъ не только о томъ что добро и честно, но и въ своихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ. Я подчеркиваю эту подробность для опроверженія неправильнаго заявленія варшавской критики о томъ, что романъ якобы представляетъ кичливаго проповѣдника принциповъ, обращеннаго въ традиціонную вѣру по откровенію. Я считаю что это положеніе неосновательно по слѣдующимъ соображеніямъ.

Марыня исповѣдуетъ одну только религію а именно откровенную, заимствуетъ ее изъ перваго источника, т. е. изъ преданія, никогда не усомнится въ ней и будетъ вѣровать обязательно («служба Божія» говоритъ она) этою обязанностию она живетъ и дышетъ. Иное дѣло Поланецкій, онъ сынъ вѣка волнуемаго безпокойствами, доходящими до полнаго безвѣрія. Въ Поланецкомъ истлѣли и разсыпались въ прахъ тѣ основы, на которыхъ опирался строй жизни въ прошлые вѣка. Онъ сынъ своего вѣка еще и потому, что хотя онъ не приобрѣлъ и не приобрететъ никогда простой прежней вѣры по преданію, но онъ извѣрился также и въ раціонализмъ, натыкаящійся на всякіе придорожные камни и столбы. Онъ по темпераменту не тряпка и не лѣбтяй. Онъ не разрѣшилъ себѣ предаваться съ удовольствіемъ нервнымъ потрясеніямъ, сомнѣніямъ, играть душевную драму. Убѣдившись въ полной невозможности отвѣтовъ на разные *зачѣмъ?* онъ рѣшилъ дѣйствовать независимо отъ того какова эта жизнь исполненная тайнъ, а прежде всего основать семью и начать общественную работу. Съ самаго появленія своего въ романѣ, онъ представляетъ собою путника на чужбинѣ въ незнакомой странѣ, который идетъ не останавливаясь и не распра-

шивая прохожихъ куда идти, но держится того правила, что надо идти по торнымъ дорогамъ и направляться туда, куда направляются всѣ. Авторъ предвѣщаетъ насъ, что до своего знакомства съ Марынею его славянскую душу страшно мучила мысль о бездонной пропасти между жаждою жить и неизбѣжностью смерти, но у него было постоянно сознаніе, что философскія системы пропадаютъ точно тѣни, а обѣдня отправляется по старому, что она то одна имѣетъ безконечную непрерывность. И какъ Пола-нецкій смолоду былъ атеистъ, а теперь онъ только *агно-стикъ*, послѣдователь морали независимой отъ вѣры, имѣю-щій притомъ сильное религіозное чувство.

Когда онъ познакомился съ Марынею, то прежде всего сообразилъ по причинѣ кореннаго несходства въ міросозерцаніяхъ, что вѣроятно не для него яркими огнями освѣщена та пристань, которую обрѣлъ бы онъ при сожитіи съ нею. Онъ и рѣшилъ: «еще не та и еще не въ этотъ разъ». Но она была именно та и къ ней тянуло его, вопреки его волѣ чувство любви точно клещами. Смерть Литки усилила въ его любви агностическій элементъ. Онъ ощутилъ въ печали Эмилиіи матери Литки такую боль душевную, которая стремится къ смерти и призываетъ ее всѣми силами души. Въ немъ самомъ смерть Литки уничтожила его прежнюю наивную любовь къ Марынѣ. Онъ постигъ, что все суета суетъ, хотѣлъ среди этихъ суетъ скрежетать зубами и проклинать. Люди всѣ казались ему мерзкими, онъ былъ въ своихъ глазахъ самому себѣ гадокъ. Когда въ головѣ его мелькнула мысль, что можетъ быть Литка затѣмъ только и умерла, чтобы сочетать его съ Марынею, его обуялъ сильный гнѣвъ сопряженный съ ненавистью и презрѣніемъ самаго себя, всего свѣта и Марыни, до того сильна была еще въ немъ реакція прежняго раціоналиста, пріобыкшаго смотрѣть на міръ и жизнь трезво, критически и научно и чуждающаяся всякихъ вопросовъ: *зачѣмъ?*

Если въ жизни нѣтъ ни разума ни милосердія, то зачѣмъ жить? зачѣмъ трудиться? Созерцая это раститель-

ное, правда, но ангельское спокойствіе царствующее въ Марынѣ, онъ постигъ что онъ и Марыня существа изъ двухъ противоположныхъ міровъ и подумалъ затѣмъ, что если бы въ ее словахъ была бы хотя капелька правды, то его мучительныя сомнѣнія были бы подобно тающему снѣгу, потому что въ такомъ случаѣ были бы умирающіе, были бы и кладбища, но не было бы самой смерти. Онъ понялъ еще что если бы такія понятія не происходили изъ вѣры и были еще неизвѣстны и если бы какой нибудь философъ поставилъ ихъ какъ гипотезу, то бы эту гипотезу провозгласили какъ гениальнѣйшую изъ гениальныхъ, то бы передъ такимъ мудрецомъ міръ сталъ бы на колѣни. Мы наталкиваемся на одну изъ тѣхъ страницъ, которая какъ будто бы живьемъ вырвана изъ послѣднихъ сочиненій Льва Толстого, изъ одного изъ его мастерскихъ описаній смертей, въ которыхъ поэтъ-моралистъ заставляетъ умирающаго воображать въ моментъ кончины, что онъ собственно не умираетъ, а только вступаетъ въ новую жизнь. Поланецкій не превратился въ вѣрующаго человека, его одолеваетъ порою скептицизмъ, но этотъ скептицизмъ пробѣгаетъ только легкою зыбью по поверхности его сознанія, глубь же этого сознанія не тронута и спокойна. Жена одержала надъ нимъ ту побѣду, что онъ уважилъ и сталъ исполнять обрядъ. И въ этой сферѣ утвердилось супружеское согласіе. Два разные лица, не теряя своихъ особенныхъ качествъ составили какъ бы одно цѣлое. Правду сказалъ Поланецкій, имѣвшій очевидно въ виду Букацкаго: «если я женюсь, то я не сдѣлаю изъ сына декадента». Декадентовъ не рождаетъ и не воспитываетъ такая чета. Произведеніе закругляется, укладывается въ нѣчто вполне законченное и доставляетъ живѣйшее эстетическое наслажденіе. На его вершинѣ усаживается не иронія въ видѣ куста бурьяна съ колючими листьями и красными цвѣтами, но получается впечатлѣніе какъ бы того запаха, который идетъ отъ колосающейся хлѣбной нивы. Среди этихъ золотистыхъ и высокихъ колосьевъ имѣются васильки, дикіе маки и бодяки, но изъ

всей совокупности романа выдѣляется извѣстный аромат, извѣстная ободряющая практическая философія, выражающаяся въ безчисленныхъ мудрыхъ изреченіяхъ, дѣйствующихъ лицъ въ родѣ слѣдующихъ.

Васьковскій говоритъ: «когда нѣмецъ дѣлается пессимистомъ, то напишетъ цѣлый томъ доказывая, что жизнь приводитъ къ отчаянію, но не взирая на то, будетъ нагружаться пивомъ, будетъ воспитывать дѣтей, копить деньги, накрываться периною, но славянинъ повѣситъ или предастъ себя разврату, потому что будетъ намѣренно влѣзать въ это болото.

Не хуже и то, что объясняетъ Бигель; «у иныхъ народовъ бываютъ отпѣтые шельмецы, но у насъ и въ швали доскребешся до человѣка, потому что пока въ брюхѣ есть хотя какая нибудь искорка, то до тѣхъ поръ человѣкъ не совсѣмъ еще оскотинился. Отнимите это у насъ и тотчасъ мы разлетимся какъ бочка по снятіи обручей».

Поразительно вѣренъ слѣдующій третій отрывокъ изъ сужденія Поланецкаго по поводу Букацаго: «вы любите не искусство, а ваше знаточничество, не видите деревъ, а одни только сучья. Вы морочите людей, втолковывая имъ что горькія и слабѣйшія вещи любопытнѣе тѣхъ, которыя и лучше и совершеннѣе. Слѣдуя вамъ мы бы въ городѣ не видѣли церквей, а тѣ только предметы, которые видимы только подъ микроскопомъ или лупою.

Еще одинъ отрывокъ изъ сужденій самаго автора. «Горь обществу въ которомъ низъ состоитъ изъ совсѣмъ темныхъ головъ, а верхъ состоитъ изъ людей мудрствующихъ, изъ дилеттантовъ или декадентовъ, наконецъ изъ людей со свихнувшимися мозгами, а нѣтъ людей трудящихся, честныхъ и уравновѣшенныхъ.

Наконецъ, предлагаемъ еще послѣдній пятый отрывокъ. Свирскаго, образующій можно сказать мозгъ костей и сердцевину всего произведенія: «страненъ тотъ человѣческій организмъ, которому представляется на выборъ только два исхода: либо идти впередъ, либо пятиться назадъ, по-

тому что кто не поступает впередъ, тотъ неизбѣжно падаетъ». Такихъ афоризмовъ и аксіомъ практической философіи безчисленное множество. Авторъ разсыпаетъ ихъ полными руками.

Произведеніе Сенкевича не только красивое но и нравственное. Оно вполнѣ соответствуетъ даже вульгарной морали, даже морали катихизиса. Этого результата авторъ конечно не замыслилъ достигнуть и не ожидалъ. Если бы онъ хотѣлъ представить намъ только образцовыхъ людей, достойныхъ подражанія, то онъ бы удовлетворилъ варшавскихъ рецензентовъ, произведя Поланецкаго въ члены всевозможныхъ общепользныхъ учрежденій и обществъ и постарался бы чгобы всѣ видѣли не одинъ только разъ Марыню (какъ онъ сдѣлалъ въ романѣ) а многократно занимающуюся какими то вышивками, съ благотворительною цѣлью. Тогда бы никто не усумнился, что супруги не могутъ быть обвинены въ недостаточности чувства общественности и въ неогзывчивости на общественныя требованія. Искусство имѣетъ то свойство, что всякая влагаемая въ произведеніе напередъ тенденція даетъ промахъ и только вредитъ произведенію, потому что подъ изображаемымъ лицомъ мы оцупываемъ этическую формулу, мы узнаемъ что это лицо, не лицо а кукла, что его слова и дѣло искусственны, сочинены и неискренны. Возьмемъ изъ романа готовый тому примѣръ. Старый фарсеръ Плавицкій поучаетъ: «помни что жизнь есть рядъ самопожертвованій». Самъ то совѣтъ прекрасный, но онъ этическая формула, значитъ нѣчто мертвое, тѣмъ болѣе что его преподаетъ завѣдомый комедіантъ, Но мы восхищены когда этотъ комедіантъ обличаетъ передъ нами все нутро своей обезьяней натуры и когда съ улыбкой сладострастнаго сатира и моргая глазами онъ восклицаетъ, узнавъ о скандалѣ въ домѣ Основскихъ: «ну молодецъ бабенка, что на полѣ битвы то непріятель! Никому спуску не дала, никому! бѣднякъ Основскій — никому не дала спуску!» Цѣлью искусства никогда не можетъ быть поученіе. Его задача ограничена, она состоитъ въ предста-

вленіи воображаемаго предмета не въ отвлеченномъ, какъ говорятъ философы, а въ конкретномъ, видѣ настолько выразительномъ, чтобы другія лица прочувствовали его, такъ какъ прочувствовалъ самъ авторъ, то есть чтобы они признали, что изображеніе вполне согласно съ правдой, съ такъ называемой поэтической правдой, то-есть чтобы изображеніе произвело на нихъ такое впечатлѣніе какое произвели бы образъ или событіе, если бы они его лично собственными глазами наблюдали. Вліяніе событія на зрителей и слушателей походить на гипнозъ, на передаваніе другимъ людямъ посредствомъ такъ называемой суггестіи своихъ собственныхъ не мыслей, а ощущеній. Мастеръ художникъ настраиваетъ общество на свои собственные чувства, дѣйствуетъ на нихъ живыми образами созданными его творческимъ воображеніемъ. Онъ заставляетъ толпу проникаться его чувствами. Природа человѣческая есть главный неисчерпаемый источникъ красоты. Когда поэтъ или романистъ эту красоту въ природѣ замѣтилъ, прочувствовалъ и выразительно фиксировалъ, уже тѣмъ самымъ онъ и насъ возвысилъ, облагородилъ, сдѣлалъ лучшими. Онъ служилъ только искусству, но мораль пришла не приглашенная и нежданная и водворилась въ произведеніи. Мы удивляемся мастерству автора въ романѣ «Безъ догмата». «Семью Поланецкихъ» мы ставимъ еще выше, хотя намъ трудно объяснить почему? Можетъ быть потому, что выборъ дѣло вкуса и что по большей части мы предпочитаемъ бывать въ семейныхъ домахъ и гостинныхъ, нежели въ гошпиталяхъ. До насъ доходили сѣтованія что это романъ космополитическій, что ничто въ немъ не напоминаетъ намъ нашихъ общественныхъ страданій, нашего непригляднаго настоящаго. Слава Богу мы имѣемъ этой современности въ волю, а можетъ быть и съ избыткомъ въ другихъ мѣстахъ. Дайте же намъ отдохнуть въ тишинѣ домашнихъ частныхъ отношеній. Что касается до космополитизма, то неправда ли что всѣ дѣйствующія лица кровные поляки и притомъ самаго новѣйшаго типа (ganz modern), такъ что ни одинъ.

иностранецъ не могъ бы ошибиться принявъ ихъ за своихъ земляковъ. Русская критика уже высказалась признавъ, что по этому роману можно составить себѣ наилучшее представленіе о томъ, что такое польская семья и польское общество въ настоящую минуту.

Достоинство романа значительно возвышаетъ языкъ колоритный и необычайно образной. Слогъ автора остеръ какъ бритва, тоньше рѣзца. Онъ воспроизводитъ всѣ очертанія и шероховатости предмета. Онъ настолько оригиналенъ и неподражаемъ, что вспоминается выраженіе *ex ungue leonem*. Угадать кто авторъ можно было бы и безъ его надписи на произведеніи.

(«Kraj» 1895 г. № 20 - 22).

Международный адвокатскій конгрессъ въ Брюссель

1897 года.

Международный адвокатскій конгрессъ въ Брюсселѣ

1897 года.

Бельгія—небольшое государство, пространствомъ меньше Швейцаріи (въ Бельгіи около 30.000 квадр. километровъ), съ $6\frac{1}{2}$ милліонами жителей. Невсѣмъ извѣстно ли, что въ этой маленькой странѣ есть особая бельгійская національность, значить, что у этого населенія въ $6\frac{1}{2}$ милліоновъ. есть такая общность идей и чувствъ, имъ только свойственныхъ, что изъ этой общности можно сдѣлать и выводъ по началамъ недавно еще возникшей науки психологіи народовъ, о существованіи особой *бельгійской души*.

Это положеніе отстаиваетъ съ большимъ жаромъ и блескомъ одинъ изъ людей, которыхъ бельгійцы считаютъ своими великими людьми,—Эдмонъ *Пикаръ* (Picard), сенаторъ, профессоръ, адвокатъ и главный инициаторъ международнаго адвокатскаго конгресса въ Брюсселѣ, о которомъ я пишу. Намъ придется спорить о самой постановкѣ этого вопроса. Всякая нація образуется вслѣдствіе сплоченія самыхъ разнородныхъ племенныхъ элементовъ, которые потомъ, съ теченіемъ времени, и скрещиваются, и сплавляются. Самъ Пикаръ представляетъ собою образчикъ такого скрещенія: мать его была фламандка, значить нѣмка, такъ какъ фламандцы особая отрасль германскаго племени особое нарѣчіе, имѣющее, впрочемъ, отдѣльную отъ нѣмецкой литературу; отецъ Пикара былъ

валлонъ, то есть кельтъ, сродни французамъ; въ натурѣ Пикара гораздо болѣе пылкости французской, нежели флегмы нѣмецкой. Для сплава разныхъ племенъ въ націю требуются обыкновенно слѣдующія условія: весьма продолжительное время общаго сожителства въ одномъ и томъ-же государствѣ, подъ однимъ и тѣмъ-же правительствомъ и, затѣмъ, общность воспоминаній о пережитомъ, о дружныхъ усиліяхъ, общихъ страданіяхъ, отраженныхъ сообща опасностяхъ, при появленіи которыхъ возвышается, такъ сказать, эмоціональная температура, особенно содѣйствующая успѣшному сплаву. Со временемъ пропадаетъ и память о насилии, завоеваніи, если они положены въ основаніе государству, и устанавливается центральное понятіе объ отечествѣ и чувство преданности ему. Эти условія какъ будто отсутствуютъ въ данномъ случаѣ. До XIX вѣка Бельгія никогда не была „своя“ страна: она входила въ священную римскую имперію, была бургундская, потомъ испанская, даже и послѣ того какъ на ея почвѣ разыгрались первыя дѣйствія драмы отпаденія отъ Испаніи Нидерландовъ, затѣмъ австрійская, а со временемъ великой французской революціи — французская. Послѣ вѣнскихъ трактатовъ 1815 г. она сдѣлалась голландскою, а когда она отложила въ 1830 году отъ Голландіи, то европейскія державы не допустили ее присоединиться къ Франціи и создали изъ нея государство-буферъ, страну вѣчно и во чтобы-бы то не стало нейтральную, хотя бы вся Европа была въ пожарѣ европейской войны. — Бельгія наслаждается неслыханнымъ въ другихъ странахъ счастіемъ пользоваться благами мира даромъ, не дѣлая почти затратъ на вооруженія, которыя поглощаютъ въ другихъ государствахъ большую часть ихъ чистаго дохода. Бывали, конечно, въ Бельгіи и тревожныя минуты, — на примѣръ, тотъ 1859 годъ, когда я впервые посѣтилъ брюссельскія законодательныя палаты. Премье-министромъ былъ Фреръ Орбанъ, Наполеонъ III освобождалъ Италію отъ австрійцевъ, но германскія государства, съ Пруссіею во главѣ, рѣшили вступить за Австрію и вооружались. Брюссель-

скія палаты обсуждали ставимый въ подобныхъ случаяхъ вопросъ объ укрѣпленіи Антверпена, но разбирали его неохотно. При господствѣ на весьма прочныхъ основаніяхъ благодатнаго мира утвердился общественный порядокъ плутократическій, полное осуществленіе идеаловъ, такъ называемыхъ, мѣщанскихъ, прямолинейный либерализмъ, не признающій никакъ вѣроисповѣдныхъ различій и имѣющій девизомъ: „свобода, какъ цѣль жизни“, но разумѣется свобода только для людей досужихъ, мало-мальски состоятельныхъ и обезпеченныхъ. Этотъ порядокъ былъ настолько устойчивъ, что не поколебался даже во время общеевропейской суматохи 1848 г. Король Леопольдъ заявилъ готовность уѣхать, если бы народъ пожелалъ республики. Его просили остаться, понизили только, и то незначительно, имущественный цензъ для избирателей при выборахъ въ палаты, такъ что по этой системѣ, до начала дѣйствія новой избирательной реформы, Бельгія имѣла не болѣе 133.000 избирателей, при шестимилліонномъ слишкомъ населеніи. Въ этотъ плутократическій періодъ господствующее зажиточное и довольное меньшинство дало волю своимъ фантазіямъ и вкусамъ и воздвигло, какъ нѣчто самое возвышенное и національное, храмъ юстиціи, подобнаго которому нѣтъ въ мірѣ. Въ этотъ-то храмъ мы на 1 августа 1897 г. были приглашены. Храмъ не имѣетъ ни иконы, ни креста, ни чегобы то не было напоминающаго Бога, но выдвигаетъ въ небо свою высокую, никакой практической цѣли не соотвѣтствующую, башню, куполь которой достигаетъ высоты двойной въ сравненіи съ высотой башенъ главнаго брюссельскаго собора—церкви Св. Гудулы. Площадь, занимаемая имъ, нѣсколько больше той, которую занимаетъ церковь Св. Петра въ Римѣ. Дворецъ юстиціи стоилъ при постройкѣ 45 милліоновъ франковъ. Если бы его пришлось внутри украсить какъ слѣдуетъ произведеніями живописи и ва-янія, то потребовалась бы еще такая-же сумма. Дворецъ этотъ нѣчто исполинское, циклопское, страшно массивное, но могучее, каменная утопія, осуществленное, нереальное

собственно, представлѣніе, что *justitia regnorum fundamentum*, что основаніе всему въ государствѣ законъ, а самаважнѣйшая въ немъ функція судъ, передъ которою преклоняются и король, и министры, и палаты. Эта идея одушевляла народъ, когда онъ давалъ средства на постройку, она играла въ то время, но не надолго, роль цемента, скрѣпляющаго національность. Дворецъ юстиціи начать постройкою въ 1866 году, открыть торжественно въ 1833 году; я присутствовалъ при его открытіи, какъ делегатъ отъ русской адвокатуры. Если бы его пришлось теперь строить, то онъ, конечно, получилъ бы иной видъ, потому-то настроеніе общества сдѣлалось иное. Выступили со временемъ наружу скрывавшіяся въ нѣдрахъ его противоположности, началось броженіе, отъ котораго этотъ человѣческій улей, густо населенный и рабочій, разшевелился сверху до низу. Обнаружилась рознь между элементами фламандскимъ и валлоно-французскимъ, между безцѣтнымъ въ религіозномъ отношеніи либерализмомъ и горячею римско-католическою религіозностью въ фламандскихъ частяхъ страны, и въ особенности въ селеніяхъ. Изъ большого либеральнаго лагеря выдѣлилась радикальная партія, за которою тащилась сзади социалистическая группа. Дѣйствіемъ обѣихъ измѣнена была и конституція, просуществовавшая спокойно съ 1831 года до начала шестидесятыхъ годовъ. Боевымъ кличемъ новаго демократическаго движенія было всеобщее голосованіе (*suffrage universel*), то есть допущеніе до участія въ представительствѣ всѣхъ взрослыхъ мужского пола людей туземцевъ. Послѣ борьбы состоялся компромисъ, установившій голосованіе всеобщее, но съ предоставленіемъ нѣкоторымъ голосующимъ нѣсколькихъ голосовъ (*vote plural*). Каждый 25-лѣтній избиратель имѣетъ одинъ голосъ, нѣкоторые имѣютъ по два, если у нихъ есть цензъ имущественный, и даже по три, если у нихъ есть еще и цензъ образовательный. Въмѣсто 133.000 выборщиковъ, составлявшихъ то, что французы называли *payes légal*, имѣется, послѣ реформы, 1.370.000 избирателей, располагающихъ 2 мил.

ліонами голосовъ. Прямолинейный, неуступчивый либерализмъ былъ при этой реформѣ разбитъ и вытѣсненъ. Послѣ всякой крупной побѣды прогрессивной партіи слѣдуетъ неизбѣжная реакція, водворяющаяся очень просто потому, что въ жизнь государственную введенъ бываетъ большой классъ новичковъ, парламентски не вышколенныхъ, грубоватыхъ, стоящихъ на низшемъ уровнѣ развитія. Фламандскій элементъ достигъ того, что въ парламентѣ допущены рѣчи и на фламандскомъ языкѣ. Надъ религіознымъ индифферентизмомъ вершинъ интеллигенціи взялъ верхъ престопаходный католицизмъ, правленіе перешло въ руки римскихъ католиковъ. Въ тоже время въ законодательныя палаты впервые вступила еще не очень большая, но сильно сплоченная партія соціалистовъ, а въ тоже время всѣ остатки побитыхъ либераловъ-прогрессистовъ стали на сторону, такъ называемаго въ Германіи. штатсъ-и катедръ-соціализма, то есть проведенія соціалистическихъ идей и теорій путемъ не переворота, а законодательнымъ и легальнымъ, коренная передѣлка въ духѣ соціализма гражданскихъ законовъ. Такимъ образомъ почти что сбылось то, что предсказывалъ одинъ изъ видныхъ вожаконъ партіи соціалистовъ Вандервельдъ: „наши буржуа безпечные, а у насъ нѣтъ своей національности, Бельгія была испанская, австрійская, французская, а въ будущемъ она будетъ соціалистическая «международная». — Сдѣлается ли она космополитическою — это еще вопросъ, потому еще и нынѣ она продолжаетъ индивидуализироваться болѣе и болѣе, но что нынѣ она увлекается соціалистическими идеалами, составляющими ея характерную національную черту настоящаго момента, то несомнѣнно. Она сильно занята критикою соціалистическихъ теорій и прямо поставленною задачею *соціализаціи* гражданского закона (*sociâlisatіon du code civil*). Соціализмъ этотъ течетъ нынѣ по двумъ русламъ: онъ или отдѣлившійся отъ католическаго большинства демократическій соціализмъ, христіанскій, въ духѣ указаній папы Льва XIII, радѣющій сердечно о бѣдныхъ, объ обездоленныхъ и страдающихъ, или

соціалізмъ экономическій, научный, направленный къ усовершенствованію, въ смыслѣ большей гуманности и солидарности людей, многовѣковыхъ, съ трудомъ совершенствующихся, нормъ гражданского закона. Жизнь, съ которою весь интеллигентный слой бельгійскаго общества откликнулся на эту задачу современности, подкрѣпляетъ предположеніе Пикара о существованіи бельгійской души: „âme d'une nation minuscule, mais si miraculeusement vivace, avec tant d'allegresse, un tel entrain et tant de vaillance pour l'action et la vie..., âme essentiellement progressive et infiniment éduicable“.

II.

Свои національныя бельгійскія качества живости, бойкости, быстрой прогрессивности, если не приобретенныя благодаря необычайно счастливому положенію страны, то, по крайней мѣрѣ, по этой причинѣ развитыя, обнаружила передъ нами въ полной мѣрѣ пригласившая насъ на конгрессъ адвокатура бельгійская. При самомъ приѣмѣ прибывшихъ иностранныхъ членовъ конгресса имъ были розданы книжки *syllabus*овъ, т.-е. резонированные конспекты юридическихъ курсовъ, преподаваемыхъ Пикаромъ и его товарищами профессорами въ вольномъ брюссельскомъ университетѣ. Приведу нѣсколько выдержекъ изъ конспектовъ Пикара по энциклопедіи права и исторіи французско-бельгійскаго гражданского права.

«Послѣ кодификаціи своей въ *Code civil* право гражданское французское вступило нынѣ въ періодъ, въ которомъ оно направляется къ своей *соціализаціи*, т.-е. къ общей юридической гармоніи, основанной на равенствѣ и на справедливомъ распредѣленіи выгодъ, доставляемыхъ законодательствомъ. Углубившись въ эзегезъ гражданского права, обработаннаго въ Наполеоновскомъ кодексѣ, юристы потеряли критическій смыслъ, необходимый для уразумѣнія пропусковъ и несовершенствъ, свойственныхъ этому ко-

дексу. Они установили даже въ области совѣмъ неюридическихъ отношеній преувеличенное почитаніе собственности, вѣрительства (*crédance*), обязательности соглашеній, даже явно убыточныхъ (*conventions léonines*), свободы эгоистической, наслѣдованія по закону и по завѣщанію, даже смѣшнаго или явно несправедливаго (*inique*), семьи основанной на преизбыточной власти отца и на приниженіи жены, какъ эту семью понимаетъ Наполеоновъ кодексъ, устройство капиталистическаго хозяйства и общественный перевѣсъ, матеріальный и нравственный, представленный богатому человѣку. Образовалась каста владѣльцевъ, могущество которой постепенно возрастало. Эта каста состояла не изъ постоянного не мѣняющагося персонала, потому-что уважаемы были не *лица* сами по себѣ, но только ихъ *имущества*. Юридическій бытъ сталъ матеріалистиченъ, господствовала группа численно уменьшающаяся, но съ увеличивающимися состояніями вслѣдствіе сосредоточенія богатствъ. Въ этого движенія оставалось значительное количество благъ и лицъ забытыхъ или пожертвованныхъ, какъ-то, въ смыслѣ благъ: весь трудъ умственный и физическій, а въ смыслѣ лицъ, всѣ тѣ, которыхъ достояніе зависитъ отъ ихъ умственного или ручнаго труда. Кодексъ Наполеона есть кодексъ капитала; необходимо многое въ немъ написанное исправить и многое пропущенное въ него внести, напримѣръ, права авторскія и изобрѣтательскія, а также права физическаго труда, такъ какъ дѣйствующіе законы предоставляютъ рабочаго производу капиталиста относительно условій рабочей платы, относительно опеки надъ рабочими и страхованія ихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Въ дѣйствующемъ кодексѣ, самомъ буржуазномъ, надлежитъ ограничить преизбытокъ свободы личной, власти отцовской и мужниной, собственности, вѣрительности, наслѣдованія. Такимъ кореннымъ пересмотромъ Наполеонова кодекса въ смыслѣ социализации его будетъ завершена во всей ея красѣ, логичности и послѣдовательности эволюція гражданскаго права въ его круговомъ оборотѣ, длящемся двѣ тысячи лѣтъ».

Спрашивается, что можетъ быть общаго между этою широкою законодательною программой и адвокатурою вообще, и въ особенности международнымъ адвокатскимъ конгрессомъ? Постараюсь доказать, что это отношеніе болѣе близкое, чѣмъ бы могло показаться по первому взгляду. Въ прошедшемъ XVIII вѣкѣ сочиненіемъ такихъ программъ занимались особенно философы, создатели, такъ называемаго, естественнаго или философскаго права, противопоставляемаго праву историческому, вытекающему изъ жизни, но запаздывающему и потому считающему неестественнымъ. Пикарь признаетъ, что нынѣ двигателями преобразованій являются не юристы-законовѣды, которыхъ способности притупляются вслѣдствіе того, что они довольствуются только догматикою существующаго закона (*la science proprement dite de droit, stérilisée par les vues positives*). Но едва ли и не теперь, а когда нибудь, идеальныя мечтанія о будущемъ законѣ будутъ удѣломъ профессиональныхъ законовѣдцовъ. Законовѣдѣніе есть нѣчто чисто дедуктивное. Законовѣдъ, если онъ судья, извлечетъ изъ закона все, что законъ можетъ дать при широкомъ и упругомъ его толкованіи. Адвокатъ есть только ассистентъ судьи при выработкѣ авторитетнаго судебскаго рѣшенія. Ходить теперь по головамъ идея, можетъ быть и основательная, объ особомъ новомъ ученіи, о новой наукѣ или искусствѣ, о *цивилистической политикѣ*, посвященнѣй приведенію въ соотвѣтствіе законодательнымъ путемъ положительнаго закона съ новыми требованіями жизни. Вспомнимъ, что мы въ Бельгіи, странѣ своеобразной, гдѣ не все такъ дѣлается, какъ въ другихъ странахъ; что эта страна настоящій рай для адвокатовъ. Я самъ слышалъ въ 1883 г. изъ устъ Леопольда II при открытіи дворца юстиціи слова его рѣчи: *всѣ мои министры были адвокатами*. Въ своихъ докладахъ конгрессу бельгійскіе адвокаты высказывали желаніе, чтобы всѣ законопроекты предлагались правительствомъ на обсужденія адвокатскимъ совѣтамъ и конференціямъ. Въ первобытныхъ обществахъ право истекало изъ самого народа въ

видѣ обычая, потомъ оно монополизировано, перешло въ руки профессиональных законодателей и сдѣлалось достояніемъ кабинетныхъ ученыхъ. Надобно потряхнуть стариною, вспомнить прошлое и, готовясь законодательствовать, наблюдать, каковъ былъ процессъ самозарожденія права въ самомъ народѣ. На каждомъ шагу на конгрессѣ въ Брюсселѣ мы слышали афоризмъ: *ex facto oritur jus*. Съ этой точки зрѣнія естественнымъ объяснителемъ права и его бойцомъ является даже не судья, а адвокатъ, приглашаемый для устроенія возникающихъ правоотношеній, естественный вульгаризаторъ права и его учитель. Это яркое и сильно преувеличенное представленіе объ адвокатской профессіи нашло подходящее выраженіе въ первомъ докладѣ на конгрессѣ брюссельскаго адвоката Дюбуа, въ которомъ адвокаты не только провозглашены бойцами за право, но и возведены въ званіе его жрецовъ (*prêtre du devoir exerçant un sacerdoce*). Никто не опротестовалъ этого крупнаго парадокса, котораго несостоятельность очевидна. Священство предполагаетъ общій культъ, извѣстный догматъ, считаемый правдою и потому проповѣдуемый, между тѣмъ какъ адвокатура установлена только для споровъ о правѣ, для установленія того, — которое изъ сомнительныхъ и спорныхъ правъ предпочтительнѣе, которое изъ нихъ болѣе согласно съ идеею еще болѣе возвышенною нежели право, и его въ себѣ совмѣщающею, а именно съ идеею добра. Задача адвокатуры вовсе не та, чтобы проповѣдывать какую-либо правду, а только чтобы всякое право хотя бы въ данное время не популярное и даже, по строгости своей, непріятное, нашло себѣ отважнаго и искуснаго бойца, и что бы бой происходилъ по всѣмъ правиламъ боецкаго искусства, со всѣю вѣжливостью и пощадою, которая требуется въ образованномъ обществѣ даже по отношенію къ противникамъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что бельгійская адвокатура имѣетъ нѣсколько преувеличенное представленіе о задачахъ и достоинствахъ адвокатуры вообще, а такъ какъ нѣтъ дѣйствія безъ причины, то возникаетъ вопросъ о томъ, какими путями дошла она до та-

кого самомнѣнія и, затѣмъ, какія имѣла она цѣли въ виду, при сознаніи международнаго конгресса адвокатовъ? — Постараюсь дать отвѣтъ на эти оба вопроса.

III.

Заслуги бельгійской адвокатуры весьма велики. Результаты, достигнутые ею по части выработки крѣпкой корпоративной организаціи сословія, поразительны и даже изумительны. Извѣстно, что во время французской революціи 1790 г. 2 сентября институтъ адвокатуры былъ совсѣмъ отмѣненъ. Его возстановилъ въ 1810 г. Наполеонъ, но такъ какъ онъ не любилъ вообще, такъ называемыхъ имъ, болтуновъ (*bavards*), то, возстановляя адвокатовъ, онъ взялъ ихъ въ желѣзные тиски, отъ которыхъ освободило ихъ только правительство временъ реставраціи 20 ноября 1822 г. Въ Бельгіи Наполеоновскій декретъ 14 декабря 1810 г. еще до нынѣ неотмѣненъ, но бельгійскіе барро своею самодѣятельностью во время и послѣ революціи 1830 г. устроили сами себя корпоративно по примѣру брюссельскаго, который объявилъ, что онъ устраивается, какъ вольная община (*association libre*). Это новшество признано и утверждено закономъ 5 августа 1836 г., послѣ разныхъ конфликтовъ между адвокатурою и судебными властями, во время которыхъ бывали случаи временныхъ адвокатскихъ забастовокъ. Автономія каждаго барро при судахъ обѣихъ инстанцій осуществляется въ дисциплинарномъ совѣтѣ, въ которомъ председатель называется *bâtonnier*, или хоругвеносецъ. Въ 1840 г. при брюссельскомъ барро особая самообразовавшаяся группа завела *конференціи молодого барро* (*conférences du jeune barreau*) для стажіеровъ. Задача конференцій: наставлять стажіеровъ, устраивать для нихъ чтенія объ адвокатскихъ обязанностяхъ и готовить ихъ посредствомъ упражненій въ краснорѣчіи подъ руководствомъ опытнѣйшихъ и талантливѣйшихъ старшихъ чле-

новъ сословія, добровольно предлагавшихъ конференціи свои услуги. Въ 1843 году брюссельскій совѣтъ взялъ на себя руководство конференцію. Подобныя же конференціи устроились и при провинціальныхъ дисциплинарныхъ совѣтахъ; при каждой конференціи устроено бюро для даровой защиты несовершеннолѣтнихъ и для дачи даровыхъ консультацій лицамъ неимущимъ.

При дальнѣйшемъ развитіи адвокатскихъ учрежденій явилась мысль объ объединеніи всѣхъ бельгійскихъ барро и объ образованіи единой бельгійской адвокатуры. По предложенію конференціи молодого брюссельскаго барро 25 іюня 1886 г. возникла *федерация*, т. е. союзъ бельгійскихъ адвокатовъ, собирающійся ежегодно въ одномъ изъ городовъ Бельгіи и имѣющій девизомъ *omnia fraterne*. На съѣздъ федераціи въ Брюсселѣ въ декабрѣ 1894 были приглашены и представители главнѣйшихъ европейскихъ адвокатуръ. Главною задачею союза поставлена *популяризація* права, учреждена общебельгійская касса вспомошествованія для нуждающихся адвокатовъ и для оставшихся послѣ нихъ семействъ. Въ 1896 г. на съѣздѣ союза въ Антверпенѣ предположено созвать къ 1 августа 1897 г. международный адвокатный конгрессъ въ Брюсселѣ. Въ бельгійской адвокатурѣ давно уже сквозила мысль и стремленіе къ международной адвокатурѣ, т. е. къ освобожденію адвокатуры отъ всевозможныхъ національных ограниченій. По постановленію брюссельскаго адвокатскаго совѣта, безъ всякаго на то указанія закона, допущено практиковать въ судахъ иностранцамъ наравнѣ съ бельгійцами, если они имѣютъ ученую степень бельгійскаго университета и другія формальныя условія этого званія. Обычай установилъ, что иностранные адвокаты могли дѣйствовать наравнѣ съ бельгійскими въ бельгійскихъ судахъ съ особаго каждаго разъ разрѣшенія подлежащаго суда. Созывая международный съѣздъ, бельгійскій союзъ поставилъ двѣ предлагаемыя имъ конгрессу совершенно опредѣленныя задачи: 1) выяснить посредствомъ сравнительнаго изученія законодательствъ объ

адвокатурѣ, какія реформы желательны въ этой области отношеній (иными словами, постараться о выработкѣ однообразной всеобщей организаціи адвокатской профессіи) и 2) достигнуть установленія болѣе тѣсныхъ научныхъ и братскихъ отношеній между адвокатурами разныхъ странъ. Таковы были двѣ прямо оглашенные задачи, но за ними скрывались и не высказываемыя побужденія, вызывавшія рѣшимость настойчиво хлопотать о международномъ конгрессѣ, тѣ виды, пожеланія или, какъ принято выражаться, *аспираціи*, чисто національныя бельгійскія, органомъ которыхъ являлся союзъ. Наиболѣе прогрессивное, можетъ быть, въ Европѣ, а слѣдовательно, и во всемъ мірѣ, бельгійское адвокатское сословіе, выработавшее автономически довольно сложную организацію и одушевляемое заманчивыми, хотя, вѣроятно, утопическими, надеждами на возможность социализаціи права, т. е. на возможность скорой постановки всегда запаздывающаго положительнаго закона въ уровень съ ежеминутно набѣгающими новыми требованіями вѣка и на возможность такой популяризаціи права, чтобы, отрѣшившись отъ всякаго педантизма, оно вышло изъ кабинетовъ ученыхъ юристовъ на улицу и на площадь, желало произвести повѣрку основательности и прочности своихъ идеаловъ и стремленій, и затѣяло международный диспутъ, могущій служить ступенью къ образованію международного союза. Иными словами, бельгійская адвокатура сдѣлала попытку пропагандировать по всѣму свѣту свои идеи. Съ этими надеждами и душевными желаніями учредителей конгресса мы, пріѣзжіе, познакомились только на мѣстѣ, только когда при прощаніи мы изучили № 1333 (*numéro commémoratif*) изданія *Journal des tribunaux* съ иллюстраціями, изъ котораго я заимствую слѣдующій характерный отрывокъ:

«Сама судьба, по ходу историческихъ событій, поставила Бельгію на скрещеніи путей, отъ другихъ народовъ идущихъ, сдѣлала ее фокусомъ для идей, отъ этихъ народовъ исходящихъ. Въ настоящее время Бельгія обрѣтается въ состояніи необычайнаго разгоряченія. Никогда

еще не было такой агитаціи въ душахъ; повсюду видимъ попытки и начинъ. Мы похожи на рекрутовъ, которымъ опостыло жить въ казармахъ и которые напрашиваются дѣйствовать. Мы долго жили среди устарѣлой политики и вызываемъ: пора, пора отправиться на войну за идеи.

Созывая международный конгрессъ, составители его не могли не знать, что хотя бы званыхъ гостей явилось много, но только незначительная часть прїѣзжихъ иностранцевъ приметъ серьезное участіе въ состязаніи и преніяхъ по первой задачѣ программы, т. е. по кореннымъ вопросамъ устройства адвокатуры. Есть европейскія страны, гдѣ адвокатура совсѣмъ вольная и занятіе ею не обусловлено даже университетскимъ дипломомъ (Швеція). Есть страны съ адвокатами, но безъ адвокатуры въ смыслѣ корпоративной организаціи, гдѣ они родъ должностныхъ лицъ, занимающихся защитой чужихъ дѣлъ по допущенію ихъ къ тому правительствомъ (таковы были германскія государства до недавняго времени, такова Греція). Въ самой Россіи, въ ея европейскихъ судебныхъ округахъ и Закавказьи, въ трехъ только ея округахъ изъ 10 введены совѣты присяжныхъ повѣренныхъ, а въ 7 они не введены, значитъ въ 3 только округахъ адвокатура организована на 32-мъ году со дня введенія судебной реформы. Есть страны, въ которыхъ имѣются корпоративные адвокатскіе совѣты, но не ощущается еще потребности въ серьезной технической подготовкѣ кандидатовъ предварительному вступленію ихъ въ званіе адвокатовъ, гдѣ стажъ не заведенъ, гдѣ по одному диплому на ученую степень по законовѣдѣнію кандидатъ поступаетъ прямо и практикуетъ (таковы Нидерланды, такова Испанія). Изъ другихъ странъ латинскихъ, хотя въ Италіи корпоративная адвокатура организована 8 іюля 1874 г., и хотя требуется двухлѣтній стажъ послѣ докторизаціи съ обязательнымъ посѣщеніемъ судовъ, повѣряемымъ судебными приставами, съ работами въ канцеляріи извѣстнаго патрона и съ особыми потомъ испытаніями, но вопросъ объ адвокатурѣ столь мало интересуетъ италіанскихъ адвока-

товъ, что конгрессъ не получилъ никакихъ сообщеній отъ италіанскихъ барро и не имѣлъ въ своей средѣ ни одного италіанца. Что касается Швейцаріи, то каждый ея кантонъ имѣетъ своеобразно организованную адвокатуру. Всѣ поименованныя мною страны, за исключеніемъ Германіи, вообще мало интересовали бельгійцевъ, которымъ приходится главнѣйшимъ образомъ считаться только съ тремя государственными колоссами, между которыми поставлена ихъ страна, то есть съ Англіею, Германіею и Франціею. Содѣйствіе гостей-пріѣзжихъ изъ другихъ государствъ могло бы сдѣлаться существенно полезнымъ, еслибы конгрессъ справился вполне успѣшно съ первою своею задачею, т. е. пришелъ къ соглашенію объ общихъ основаніяхъ устройства адвокатуръ, и затѣмъ приступилъ ко второй задачѣ, т. е. къ закладкѣ дружными усиліями всѣхъ націй зачатковъ прочнаго постояннаго, хотя бы самаго скромнаго, международнаго адвокатскаго союза и объединенія. Но отношеніе бельгійцевъ къ каждому изъ трехъ могучихъ ихъ сосѣдей было весьма неодинаково. Въ Германіи, Австріи и въ Россіи адвокатура есть произведеніе самоновѣйшее, можно сказать, вчерашнее; она существуетъ въ видѣ всходящихъ ростковъ, ей надо еще сложиться, опыта у нея нѣтъ никакого. И въ Германіи, и въ Австріи существовали до недавняго времени только жоронные чиновники для защиты интересовъ сторонъ. Въ Австріи свободная адвокатура возникла только по закону 6 іюля 1868 г., въ Германіи она учреждена еще десятью годами позднѣе (*Rechtsanwaltsordnung* 1 іюля 1878 г.). И на австрійской, и на германской адвокатурѣ лежитъ еще, такъ сказать, печать ихъ чиновнаго происхожденія, и подготовка къ адвокатурѣ походить не на стажъ, а на судейскую кандидатуру, съ судейскими экзаменами, съ продолжительными занятіями въ канцеляріяхъ судовъ и въ прокурорскомъ надзорѣ. Отъ Германіи не приходится бельгійцамъ что-нибудь заимствовать, не приходится имъ также учиться у англичанъ. Англійская адвокатура, солиднѣйшая, можетъ быть, изъ всѣхъ европейскихъ, восхо-

дять своими глубокими корнями до XIII вѣка, до начала образованія королевскихъ вестминстерскихъ судовъ и періодическихъ разъѣздовъ членовъ этихъ судовъ по всей странѣ. Она великолѣпная, но своеобразная; пересадка ея на иную почву, на материкъ Европы, — почти совсѣмъ невозможна. Притомъ законодательство англійское, равно какъ русское, не кодифицировано и, вслѣдствіе этого отсутствія систематической дедуктивной его кодификаціи, охранено отъ всякихъ попытокъ социализаціи гражданскаго права, т. е. отъ переработки коренныхъ его началъ, не разрушая системы его построенія. Напротивъ того, съ законодательствомъ гражданскимъ французскимъ и съ судоустройствомъ бельгійское не только аналогично, но вполне тождественно. Въ обѣихъ странахъ тотъ-же *Code civil*, общая юридическая литература, общіе приемы и языкъ. Французская адвокатура еще древнѣе англійской: ея преданія начинаются съ капитуляріевъ Карла Великаго; французская и бельгійская адвокатуры — это двѣ вѣтви одного и того же пня, первая изъ нихъ запаздывающая, осторожная, консервативная и даже рутинная, вторая новшествующая и даже фантазирующая. Весь интересъ конгресса зависѣлъ отъ того, поладятъ ли бельгійцы съ французами. Соглашеніе требовало и подходящей почвы и самыхъ тщательныхъ подготовокъ. Я долженъ изложить сначала, въ чемъ состояла подготовка, а потомъ осуществилось ли составляющее цѣль конгресса соглашеніе.

IV.

Планъ приготовительныхъ работъ по конгрессу задуманъ былъ великолѣпно. Составленъ былъ *questionnaire*, или вопросникъ, въ которомъ поставлены 16 капитальныхъ вопросовъ, или задачъ, и на который получены отвѣты не только отъ европейскихъ странъ (въ томъ числѣ изъ Турціи), но даже изъ дальняго востока (Японія) и изъ Соединенныхъ Сѣверо-американскихъ Штатовъ, гдѣ

адвокатура есть свободное, не регламентированное, всякому доступное, занятіе. Переплетенные вмѣстѣ отвѣты составляютъ объемистый сборникъ, который увѣковѣчитъ память о конгрессѣ, хотя бы отъ него не было получено никакихъ иныхъ результатовъ, потому-что этотъ сборный трудъ фиксируетъ статику и динамику адвокатуры всего свѣта въ данный моментъ, на исходѣ XIX вѣка, и представляетъ полную картину ея устройства въ образованныхъ странахъ. Матеріалъ этотъ настолько содержателенъ, что если бы его пришлось порядкомъ разобрать, то потребовалось бы, даже и не входя въ подробности, нѣсколько недѣль, а на весь конгрессъ предназначено было только 5 дней, изъ которыхъ первый и послѣдній отведены на обрядности открытія и закрытія, а только три остальные на настоящее дѣло. Спорныхъ вопросовъ было, конечно, меньше шестнадцати. Изъ 16 вопросовъ отпалъ сразу послѣдній, добавочный, поставленный на тотъ конецъ, не придумаетъ ли кто изъ членовъ чего-нибудь заслуживающаго обсужденія, но пропущеннаго въ вопросникѣ. Въ трехъ вопросахъ (13—15) начерчены тонкими линіями желательныя основанія будущаго международнаго объединенія. Шесть первыхъ вопросовъ имѣли справочный характеръ и не требовали никакого обсужденія. (Какими законами или обычаями руководствуется данная адвокатура? Пополняется ли ею личный составъ магистратуры? Имѣются ли свободныя вспомогательныя учрежденія, касающіяся адвокатской профессіи? Какія предполагаются реформы? Какія имѣются сочиненія по адвокатурѣ?). Возбуждающихъ серьезные споры вопросовъ было всего только 6, а именно: три о требуемой отъ вступающихъ въ званіе подготовкѣ, о полученіи ученой степени докторской или иной по юриспруденціи и о профессиональной сноровкѣ въ видѣ стажы (7, 8, 9) и три о самомъ званіи адвоката, подлежитъ ли оно регламентаціи, или совѣмъ свободно? съ какими иными званіями или занятіями оно несомвѣстимо? подраздѣляется ли оно іерархически на двѣ функціи: адвокатуру и субъ-адвокатуру? 10, (11, 12). По су-

щественной важности послѣдняго вопроса, проникающаго въ самое нутро института и обусловливающаго роль и значеніе адвокатуры въ обществѣ, болѣе или менѣе высокое ея положеніе, я приведу формулировку этого 11 вопроса по тексту вопросника: «Etes vous d'avis que les fonctions de la défense en justice doivent donner lieu à une répartition entre plusieurs professions ou qu'il vaut mieux les cumuler (avocats-avoués)? По этому капитальному вопросу невозможно было ожидать единогласнаго рѣшенія, но брюссельскій конгрессъ представлялъ превосходнѣйшую нейтральную почву, пригодную на то, чтобы въ немъ разобратся, обсудить его и всѣ доводы за и противъ изъяснить. Самоновѣйшія по времени адвокатуры, послѣдняго, такъ сказать, фасона (русская 1864 г., австрійская 1868 г. и германская 1878 г.) не допускаютъ никакого дѣленія адвокатскихъ функцій, никакой субъ-адвокатуры. Дѣленіе это свойственно только странамъ съ многовѣковыми адвокатурами, каковы Франція и Англія. Оно наиболѣе извѣстно на материкѣ Европы въ его устарѣвшей французской, весьма неудобной, формѣ, предоставляющей субъ-адвокатуру всю письменную подготовку дѣла (*postuler et conclure*), а настоящей адвокатуры судебное краснорѣчіе и дачу консультацій (*consulter et plaider*). Бельгійская адвокатура стоитъ скорѣе за упраздненіе *avoués*, въ чемъ я могъ удостовѣриться изъ бесѣды съ министромъ юстиціи Бакегемомъ, сообщивъ мнѣ, что если бы рѣшался стоящій уже на очереди въ Бельгіи вопросъ о соединеніи функцій *avocats* и *avoués*, то онъ былъ-бы, вѣроятно, рѣшенъ утвердительно. Мнѣніе бельгійцевъ нашло бы поддержку и въ провинціальной адвокатурѣ французской, но несомнѣнно, имъ бы пришлось вступить въ серьезный споръ со свѣтилами и знаменитостями парижской адвокатуры, неуклонно отстаивающей старинныя преданія, а вмѣстѣ съ ними и свое первенствующее во всемъ мірѣ значеніе. Одинъ такой вопросъ, хотя бы занялъ большую часть времени, отведеннаго конгрессу, и хотя бы не привелъ къ полному соглашенію, пролилъ бы больше свѣта

на предметъ, нежели поверхностныя соглашенія, съ за-
 прятанными подъ ними недомолвками и недоразумѣніями.
 Устроители конгресса взглянули на дѣло иначе; они не
 допустили генеральнаго сраженія, они исключили всѣ
 мало-мальски спорные вопросы, даже и вопросъ о несо-
 вмѣстимости съ адвокатурою тѣхъ или другихъ занятій.
 Намѣренно примирительное расположеніе устроителей кон-
 гресса выразилось и въ § 4 принятаго для этого кон-
 гресса регламента, по которому постановлено, что по пре-
 ніямъ не будетъ голосованія и предсѣдатель ограничится
 только резюмированіемъ мнѣній, высказанныхъ орато-
 рами.

На основаніи присланныхъ отвѣтовъ выбраны только
 три тезиса, по одному на каждое изъ трехъ дѣловыхъ засѣ-
 даній (2, 3 и 4 августа): 1) о свободныхъ учрежденіяхъ,
 дополняющихъ адвокатуру и ее, такъ сказать, оснащи-
 вающихъ (федерацій адвокатскихъ, конференцій молодаго
 барро, кассы вспомошествованій); 2) о подготовкѣ къ адво-
 катскому званію: научномъ университетскомъ образованіи
 и профессиональномъ, или о стажѣ; 3) о международномъ
 общеніи адвокатуръ. Въ выборѣ тезисовъ невольно сказа-
 лись національныя бельгійскія стремленія. Федерация на-
 ціональныхъ барро есть учрежденіе, свойственное одной
 только Бельгіи. По устройству юридическаго образованія
 и стажа Бельгіи принадлежитъ безспорно первое мѣсто
 въ Европѣ, за исключеніемъ одной Англіи, гдѣ эти за-
 дачи разрѣшены, можетъ быть, еще лучше, но мало при-
 годнымъ для материка Европы способомъ. Наконецъ, бель-
 гійцы особенно гордятся тѣмъ, что имъ первымъ пришла
 мысль устроить международный конгрессъ и затѣять обра-
 зованіе чего-то въ родѣ постоянного и непрерывающагося
 установленія, положить начало небывалому еще всемірному
 адвокатскому союзу. Мы подошли теперь къ самому пред-
 ставленію, состоящему изъ пролога, эпилога и трехъ дѣй-
 ствій. Попрошу читателей удѣлить вниманіе весьма сжа-
 тому пересказу о томъ, какъ это представленіе сошло, и
 чѣмъ оно кончилось.

V.

Въ воскресенье, 1 августа (20 іюля), члены конгресса собрались въ громадномъ дворцѣ юстиціи (*rue de la Régence*), въ прекрасномъ помѣщеніи въ два свѣта, отведенномъ библіотекѣ брюссельскаго барро. Было насъ человѣкъ триста, туземцевъ и гостей. Въ числѣ гостей было одно лицо въ чалмѣ: бегъ Филиповичъ изъ Босни-Сераева, славянинъ, но мусульманинъ. Бельгійцы были въ своихъ обычныхъ тогахъ и беретахъ. Мы познакомились съ бельгійскими знаменитостями конгресса: бывшими министрами (*ministres d'État*) Гиллери и Леженомъ, и сенаторомъ Пикаромъ. Въ числѣ членовъ оказались многіе, которыхъ мы уже знали по международному съѣзду адвокатовъ въ Брюсселѣ въ 1883 г. и по пенитенціарнымъ конгрессамъ. Сервированнымъ тутъ же завтракомъ кончался рядъ угощеній и зрѣлищъ, которыми насъ развлекали брюссельское барро и городъ Брюссель: историческій кортежъ, который мы созерцали съ балкона *maison du Roi* на главной площади, балъ съ концертомъ въ *hotel de ville*, рауты у Бакегема, Лежена, предсѣдателя палаты представителей Бэрнэрта. Палаты отказали федераціи въ выдачѣ ей 15.000 франковъ на угощенія. Пикарь сказалъ по этому случаю въ сенатѣ: *les subsides pour les dépenses voluptueuses viennent à manquer à la fédération; eh, bien elle se tirera d'affaire toute seule. Elle est assez grande et assez forte pour cela.* Съ насъ не взяли даже обычной котизаціи по 20 франковъ съ лица за тѣ печатные бюллетени и книжки которыми насъ надѣляло бюро конгресса. Перехожу къ тремъ днямъ, такъ называемымъ, рабочимъ (2—4 августа). Бывали каждый день два засѣданія: съ 10 часовъ утра до часу и съ половины 3-го до 5 ч. Конгрессъ открытъ почетнымъ предсѣдателемъ, министромъ юстиціи Бакегемомъ, который насъ привѣтствовалъ именемъ страны и опредѣлилъ, какъ на главную цѣль конгресса, *le fédéralisme des idées et des mœurs*. Отвѣчали ему въ томъ-

же тонѣ представители крупнѣйшихъ иностранныхъ адвокатуръ, которые тутъ же потомъ и заняли мѣста за председательскимъ столомъ, какъ члены бюро конгресса: г.г. Лассе и Гольдшмидтъ изъ Берлина, будапештскій адвокатъ Стело (Stehlo), очень извѣстный продолжатель громаднаго труда Демоломба, умершаго въ 1888 г. (Cours du code civil), Гиллюаръ (Gillouard), батонье въ Саѣн, высохшій сухощавый, рыжій, типическій англичанинъ Краканторпъ, членъ адвокатской общины *Lincoln's Inn* въ Лондонѣ и учрежденнаго въ 1896 г. совѣта англійской адвокатуры (general council of the english bar). Россію представлялъ председатель петербургскаго совѣта присяжныхъ повѣренныхъ А. Н. Турчаниновъ. Сказанное каждымъ ораторомъ на трехъ, кромѣ французскаго, языкахъ: нѣмецкомъ, англійскомъ и фламандскомъ, передавали тотчасъ на французскомъ переводчики изъ состава молодаго брюссельскаго барро съ такою быстротою и точностью, что довольно пространныя даже рѣчи доходили до насъ въ почти дословномъ переложеніи. Мистеръ Краканторпъ заявилъ, что онъ не раздѣляетъ преизбыточнаго индивидуализма англійскаго барро и одушевленъ болѣе федералистическими чувствами. Въ первомъ засѣданіи Краканторпъ говорилъ, по принципу, на англійскомъ языкѣ; на слѣдующихъ дѣлалъ пространныя и интересныя сообщенія на французскомъ, которымъ обладаетъ въ совершенствѣ, хотя произноситъ слова съ сильнымъ англійскимъ акцентомъ. Парижское барро, можно сказать, отсутствовало. Временнымъ его представителемъ являлся знакомый съ нами, по бытности своей въ Петербургѣ, M-re Édouard Clunet, редакторъ изданія *journal du droit international privé*. Онъ не сѣлъ за председательскимъ столомъ, но сразу вошелъ въ роль оппозиціи почти по каждому вопросу. Выборовъ въ почетное званіе вице-предсѣдателей не произведено. Тотчасъ послѣ рѣчи Бакегема и отвѣтовъ председательское кресло занялъ *Жюль Леженъ*, идеальнѣйшій предсѣдатель какого можно себѣ представить, какъ бы на то и созданный, чтобы быть посредникомъ и миротвор-

цемъ во всѣхъ общественныхъ разномысліяхъ и спорахъ. Черты лица его весьма характерны и врѣзываются въ память, что подтверждать, вѣроятно, всѣ изъ насъ, бывавшихъ на пенитенціарныхъ конгрессахъ, въ которыхъ онъ постоянно участвуетъ. Старикъ, сѣдой, неизмѣнно веселый, безконечно добродушный, гуманистъ въ полномъ смыслѣ этого слова, глубоко вѣрующій въ прирожденную доброту человѣка, въ его исправимость, коль скоро будутъ приняты соотвѣтственные тому средства, въ возможность уменьшенія почти что до нуля наклонности къ преступленіямъ и, значитъ, самаго числа преступленій. Неизмѣнное оптимистическое настроеніе этого филантропа-мечтателя могло бы надоесть, если бы оно не было приправлено большимъ количествомъ тонкой ироніи, искрящагося остроумія и увлекательнаго краснорѣчія, отличающагося удивительною простотою, безъ малѣйшаго пафоса и эмфаза.

По каждому изъ трехъ предложенныхъ конгрессу тезисовъ предшествовалъ обстоятельный докладъ, дѣлаемый однимъ изъ членовъ какого-нибудь бельгійскаго барро. По первому вопросу пальма первенства принадлежитъ несомнѣнно Бельгіи въ которой не только устроены въ 1830 г. конференціи молодаго барро, послужившія лучшими семинаріями для стажіеровъ, но и заведена общebelгійская федерація адвокатовъ. При этомъ случаѣ ставилось на видъ и подчеркивалось, что эти установленія суть плоды самостоятельнаго творчества адвокатуры, плоды корпоративной автономіи, безъ вмѣшательства власти законодательной. Ключею счелъ необходимымъ возражать, что, хотя парижское барро устроилось только на основаніи законодательныхъ актовъ и правительственныхъ распоряженій, но, не смотря на то, оно не хуже всякаго другаго (*cela nous satisfait*). Понятно, что въ виду достигнутыхъ въ Бельгіи блистательныхъ результатовъ обѣихъ формъ ассоціацій, всѣ иностранныя адвокатуры расположены признать, что заимствованіе и усвоеніе по возможности обѣихъ формъ весьма желательно. Но бельгійскіе члены конгресса имѣли замыселъ болѣе широкій и рѣшили предложить всѣмъ ино-

страннымъ адвокатурамъ, чтобы онѣ нынѣ же приступили къ образованію подобныхъ же федерацій, которыя бы объединили всѣ національные барро и превратили бы совокупности своихъ барро въ такое же число общенациональныхъ адвокатскихъ союзовъ, сколько имѣется отдѣльныхъ государствъ. Понятно, что разъ бы повсемѣстно образовались такіе національные союзы, уже и образованіе космополитическаго союза было бы почти готово и осуществилось бы въ недалекомъ будущемъ. Это предложеніе подкрѣпляемо было ссылками и на религіозный конгрессъ въ Чикаго въ 1896 г. и на то, будто бы такая федерація уже осуществлена въ Англіи, гдѣ имѣется одно только Лондонское барро. Это предложеніе не могло быть принято не только потому, что хотя адвокатура есть профессія свободная, но не вездѣ внѣ Бельгіи адвокатскія корпораціи пользуются такою свободою, какъ въ Бельгіи, въ иныхъ странахъ имъ совсѣмъ не разрѣшено образовывать союзы изъ корпорацій отдѣльныхъ округовъ безъ разрѣшенія правительствъ. Притомъ федерація есть группа состоящая изъ имѣющихся уже барро столичныхъ и провинціальныхъ, какъ единицъ, но гдѣ нѣтъ готовыхъ единицъ, тамъ невозможно устроить и группу. Попробуйте завести союзъ адвокатуръ въ Англіи, гдѣ отъ временъ Вильгельма Завоевателя существовали только центральные лондонскіе королевскіе суды, творящіе судъ и расправу по всему государству посредствомъ разѣзжающихъ по государству членовъ своихъ и преобразованные только въ 1873 г. въ одинъ верховный судъ съ подраздѣленіями, а при этомъ единомъ верховномъ имѣются четыре адвокатскія братства (inns of court), составляющіе въ совокупности одно барро въ Лондонѣ, за несуществованіемъ никакихъ ровно другихъ провинціальныхъ. Объединеніе адвокатскихъ корпорацій, если бы оно даже и было разрѣшено нашимъ правительствомъ, немыслимо въ Россіи, гдѣ только въ 3-хъ судебныхъ округахъ адвокатура организована корпоративно, а въ 7 она совсѣмъ не организована,—значить, въ этихъ 7 нѣтъ настоящей адвокатуры, а имѣется

только какое-то ея подобіе. Если бы во всѣхъ округахъ Россіи были заведены адвокатскія корпораціи, то потребность въ объединеніи ихъ, а затѣмъ и сама идея объединенія, могли бы возникнуть и развиваться только постепенно, посредствомъ ознакомленія другъ съ другомъ, сближенія и соревнованія отдѣльныхъ корпорацій. Только затѣмъ, и только въ далекомъ будущемъ, можно-бы задаться вопросомъ объ установленіи во всѣхъ окружныхъ корпораціяхъ одинаковыхъ порядковъ и о единой адвокатурѣ на все государство. Предложеніе о федераціяхъ адвокатовъ, по одной на каждую національность, какъ въ Германіи, или на каждое государство, имѣло одинаковую судьбу, какъ и попытка Икара въ греческой миеологіи летать на восковыхъ крыльяхъ,—оно провалилось. Въ своемъ заключеніи предсѣдатель Леженъ опредѣлилъ это предложеніе, какъ не своевременное (*mouvement prématuré*). Принята только въ принципѣ необходимость установленія вездѣ адвокатскаго стажа, противъ чего не возражали и представители странъ, гдѣ дипломированный юристъ допускается безъ всякаго стажа въ адвокатуру (голландцы, испанцы, скандинавскія государства).

VI.

Первое засѣданіе конгресса оставило послѣ себя ощущеніе неудовлетворенныхъ пожеланій. Пренія были безплодныя и сухія. Гораздо ббльшій интересъ возбудилъ разборъ втораго вопроса во второй день съѣзда объ университетскомъ и профессиональномъ образованіи, требуемомъ отъ вступающаго въ корпорацію. Университетское юридическое образованіе требуется почти повсемѣстно, оно подготавливаетъ только юристовъ. Въ Англіи оно дополняется съ 1852 года курсами специально для образованія адвокатовъ предназначенными въ *inns of court*, послѣ чего кандидаты подвергаются еще испытаніямъ. Въ преніяхъ объ университетскомъ образованіи принимали участіе

первостепенные специалисты-профессора, руководители конференцій. Они излагали свои взгляды, результаты долго-временнаго опыта и мудрости житейской; они толковали о недостаткахъ и достоинствахъ и о методахъ преподаванія. Каждый говорилъ съ своей національной точки зрѣнія, слушатели могли, сопоставляя слышанное, дѣлать любопытные выводы о юридической наукѣ и педагогикѣ въ самыхъ образованныхъ странахъ Европы. Всѣ соглашались, что нельзя ограничиваться упражненіемъ одной только памяти, что приобретаемое знаніе должно быть преимущественно интенсивное, что ученіе должно быть далекое отъ стремленія ко всевѣденію, что число обязательныхъ для учащихся предметовъ должно быть ограниченное, но что университету необходимо имѣть возможно большее количество необязательныхъ спеціальныхъ курсовъ не только по части юриспруденціи, но и по философіи, біологіи, антропологіи, которые могъ бы посѣщать по доброй волѣ любознательный студентъ. Политика и социологія не должны быть обязательны для юриста. Красно-рѣчіе не преподается, такъ какъ мы не нуждаемся въ риторкахъ. Экзамены должны быть изустные и письменные съ цѣлью повѣрки способенъ ли экзаменующійся не только заучивать выслушанное, но и думать самостоятельно. Пикарь хвалилъ способъ преподаванія, практикуемый въ вольномъ брюссельскомъ университетѣ, а именно: преподаваніе словесное по краткому конспекту, исключжающее возможность диктовки по разъ навсегда составленнымъ запискамъ и направленное, главнымъ образомъ, къ популяризації закона. Ему возражали, что это вопросы метода, что методъ всегда хорошъ у талантливаго человѣка, что наука должна идти впередъ по направленіямъ и въ ширь и вглубь попеременно или даже и одновременно.

Что касается до профессиональной выправки кандидатовъ въ адвокаты, то на этотъ счетъ существуютъ такія разногласія, такія противоположности въ обычаяхъ и нравахъ, которыя препятствуютъ принципиальной постановкѣ вопроса на международномъ конгрессѣ. Я уже указалъ

государства, которыя недопускають никакого новіціата и разрѣшаютъ практиковать въ судѣ всякому, предъявившему ученый дипломъ. Очень близокъ къ этому типу даже стажъ французскій. Дипломированный стажіеръ принимаетъ тотчасъ же адвокатскую присягу, и можетъ «пледировать», но только не вносится въ вывѣщенный въ судѣ списокъ адвокатовъ. По обычаю онъ обязанъ въ теченіи трехъ лѣтъ бывать въ судахъ на засѣданіяхъ, что не контролируется, бывать на наставленіяхъ въ профессиональныхъ правилахъ поведенія, преподаваемыхъ старѣйшинами сословія, бывать на конференціяхъ, на которыхъ стажіеры упражняются въ «пледированіи» по фиктивнымъ процессамъ. Если для пріобрѣтенія опытности въ судебномъ письмоводствѣ стажіеръ запишется клеркомъ къ какому нибудь авуэ, это время, въ теченіе котораго онъ былъ клеркомъ, вычитается изъ трехлѣтняго періода его стажа. Въ Германіи и Австро-Венгріи стажъ собственно не адвокатскій, а кандидатско-судебный съ судебскими экзаменами. Если есть страны, гдѣ дѣловая выправка адвокатская регламентирована для стажіера, то съ другой стороны объ этической выправкѣ нигдѣ почти нѣтъ и помину. Исключеніе въ этомъ отношеніи составляетъ одна Англія, для характеристики которой займствую слѣдующую выдержку изъ доклада по 2 тезису адвокатовъ Гансенса и Гиманса: «за исключеніемъ Англіи профессиональная мораль (стажіеровъ) нигдѣ не гарантирована достаточно». Меня особенно интересовало какъ справляются съ задачей неэтической выправки вступающихъ въ адвокатуру лицъ, въ Бельгіи, гдѣ адвокатура пользуется полною автономіею, гдѣ она дѣловитѣе чѣмъ во Франціи, гдѣ она ближе къ жизни и не ограничивается задачами одного ораторскаго краснорѣчія, наконецъ гдѣ она щеголяетъ техническимъ совершенствомъ работъ по конференціямъ молодого барро. На этихъ конференціяхъ происходятъ симулятивныя упражненія въ «пледированіи» дѣлъ; читаются и издаются прекрасные труды по всѣмъ частямъ законовѣденія; даже и провин-

ціальные барро имѣють свои спеціальные повременные органы печати. Что касается до нравственной подготовки стажіеровъ, то бельгійцы признаются, что бóльшая строгость была бы желательна. «Отличительная черта бельгійскаго барро, пишетъ Вовермансъ (*Études sur le barreau belge*, въ *Bulletin mensuel de la législation comparée*. Paris. Août. Septembre 1897)—меньшій ригоризмъ, менѣе рѣзкій формализмъ, излишняя снисходительность, легко могущая перерождаться въ послабленіе и въ преступную терпимость».—Въ 1895 г. брюссельскій совѣтъ, подѣ предсѣдательствомъ батонье Брауна, выработалъ проектъ желательныхъ реформъ, въ когоромъ (въ § 159) предложено сдѣлать обязательною приписку стажіера къ какому нибудь старшóму (ancien), но съ тѣмъ существеннымъ различіемъ отъ нашихъ порядковъ, что если стажіеръ неприщеть желающаго приписать его къ себѣ патрона, то батонье назначаетъ ему таковаго самъ. Еще не установлено, но предлагается какъ желательное—предоставленіе совѣту права исключать временно или навсегда стажіеровъ, провинившихся противъ адвокатской этики. Этимъ правомъ у насъ уже давно пользуются три существующіе совѣты присяжныхъ повѣренныхъ.—Передаваемые мною факты свидѣтельствуютъ, что по второму тезису конгресса не могло состояться никакихъ постановленій. Мы узнали многое крайне интересное, но по своимъ результатамъ второй день оказался столь же бесплоднымъ, какъ и первый.

VII.

Въ третій день конгресса мы очутились по третьему тезису на краю положительныхъ фактовъ, на самомъ берегу необозримаго моря предположеній и мечтаній, то есть почти въ такомъ состояніи, въ какомъ былъ Колумбъ, когда онъ отправлялся искать Индію за Атлантическимъ Океаномъ.

Докладъ по третьему вопросу составленъ былъ сообща

г.г. Hennebicq и Paul Janson. Отправная точка этого доклада была, несомненно, парадоксальная. Существует общечеловѣческое благо, именуемое правомъ. Оно требуетъ защиты, защитниками его и бойцами являются адвокаты. Въ дѣйствительности эти, разсѣянные по всѣмъ странамъ рыцари образуютъ уже на самомъ дѣлѣ общеевропейское барро, которое приходится только упорядочить, устроивъ для него постоянное средоточіе въ какой-нибудь маленькой, нейтральной, никому неопасной странѣ. Начать дѣло можно посредствомъ основанія космополитической конторы всевозможныхъ справокъ — *un bureau des renseignements permanents* съ комитетомъ, созывающимъ затѣмъ періодическіе сѣзды главныхъ представителей европейскихъ адвокатуръ. Контора эта должна имѣть цѣлью не частныя удобства отдѣльныхъ лицъ; она существовать должна не для того, чтобы при ея посредствѣ шведъ или португалецъ могъ пріискать себѣ по своему дѣлу подходящаго защитника въ Вѣнѣ, Неаполѣ или Москвѣ. Она предназначена для обезпеченія въ каждой странѣ юридической помощи нуждающимся въ ней неимущимъ иностранцамъ, *par devoir de charité sociale*. Такъ какъ во многихъ странахъ представителями тяжущихся могутъ быть только адвокаты-туземцы, подданные или граждане страны, то общеевропейскій адвокатскій союзъ употребить всѣ старанія, чтобы повліять на мѣстныя законодательства и провести въ нихъ идею допустимости адвокатовъ-иностранцевъ къ функціонированію въ мѣстныхъ судахъ наравнѣ съ адвокатами-туземцами. Въ видахъ будущаго общерадвокатскаго братства можно бы уже и теперь учредить братскую кассу общеевропейской адвокатской взаимопомощи и пенсіонированія достигшихъ преклонныхъ лѣтъ дѣятелей, которая бы доставляла участникамъ, при наименьшихъ взносахъ, наибольшія выдачи по выработаннымъ современной теоріею страхованій началамъ.

Съ перваго взгляда бросался въ глаза въ этой программѣ коренной недостатокъ, присущій основному замыслу конгресса. П] едполагалось строить нѣчто объеми-

стое и широкое на воздухъ и начинать съ крыши, нисколько не заботясь о фундаментахъ. Бельгійскіе пропагандисты космополитической федераціи старались одни передъ другими представить предлагаемое какъ нѣчто маленькое, весьма скромненькое, совсѣмъ безобидное, никого не затрогивающее, ничему не мѣшающее. Бывшій брюссельскій батонье Браунъ отстаивалъ на первый разъ только одно: постоянное бюро для выработки дальнѣйшихъ проектовъ и для созыва будущихъ конгрессовъ, чтобы стало извѣстнымъ, что наше туманное пятно получило маленькое свѣтящееся ядро, какъ начало будущаго сосредоточенія. При такой крайней умѣренности и ограниченности требованій можно было надѣяться, что предложеніе пройдетъ безъ возраженій. Такъ какъ адвокатскій брюссельскій конгрессъ не допускалъ голосованія, такъ какъ всѣ предложенія на немъ, либо принимались цѣликомъ, либо проваливались, когда наталкивались на чей нибудь, хотя и единичный, но энергическій протестъ, то можно было предполагать, что члены иностранцы, даже скептически относящіеся къ бельгійскимъ утопіямъ, придутъ къ такому выводу: либо выйдетъ что нибудь, либо ничего не выйдетъ изъ предложенія? И тотъ и другой результатъ для насъ почти безразличны, а попробовать слѣдуетъ. Можетъ быть это только мечта, но мечта красивая и привлекательная. Однако на этотъ разъ не обошлось безъ протеста. Нежданно-негаданно въ рѣшительный моментъ явился новый членъ конгресса, пріѣхавшій только затѣмъ, чтобы помѣшать постановленію, сорвать конгрессъ, какъ срываемы были нѣкогда польскіе сеймы при *liberum veto*, окатить собиравшихъ подняться на воздушномъ шарѣ воздухоплавателей струею холодной воды и затѣмъ безслѣдно исчезнуть, не побывавъ ни на обрядахъ торжественнаго закрытія конгресса, подѣ председательствомъ Бекегема, ни на прощальномъ обѣдѣ, которымъ насъ угостили бельгійцы въ *bois de la Cambre*. Этотъ спорщикъ былъ maitre Pouillet бывшій парижскій батонье, одно изъ крупныхъ свѣгиль этого барро.

Приступая къ передачѣ этого момента, я долженъ предостеречь, чтобы слушатели не давали полной вѣры стенографическому отчету о засѣданіи 4 августа въ *Journal des tribunaux* 6 января 1898 № 1360. Въ отчетѣ этомъ самыя интересныя части рѣчи Пулье выпущены, что вполне понятно съ бельгійской точки зрѣнія: Пулье считалъ необходимымъ предупредить, что онъ является не какъ представитель парижскаго барро, а только какъ единственный человѣкъ, выражающій свое личное мнѣніе. Очевидно, что Пулье дѣйствовалъ по предварительному соглашенію съ Клюне и съ нимъ за одно. Пулье человѣкъ высокій, тощій, съ широкимъ челомъ, тонкими устами, сухощавою нижнею частью лица, говоритъ онъ красиво, живо, образно, безъ всякой напыщенности, какъ превосходный и остроумнѣйшій резонеръ. Вполнѣ понимая, что ему приходится идти противъ теченія, Пулье, какъ и слѣдовало искусному оратору, не оспаривалъ благихъ пожеланій, онъ какъ будто бы самъ имъ сочувствовалъ и только просилъ немного повременить, дать сойти одному, другому конгрессу прежде, чѣмъ бы на чтонибудь рѣшиться (*laisser faire le temps*). «Барро парижское, говорилъ онъ, должно строго соблюдать весьма узкія правила, препятствующія ему присоединиться къ федераціи; правилъ этихъ мы обойти не можемъ, потому что парижское барро столь многочисленно, что мы сами не знаемъ всѣхъ его членовъ» (болѣе 2.000 человѣкъ). «Строгая дисциплина для насъ обязательнѣе, нежели для менѣе многочисленныхъ барро, въ которыхъ договорное начало болѣе развито. День, въ который мы бы отмѣнили чтонибудь, былъ бы для насъ роковымъ днемъ, вотъ почему мы не торопимся разрывомъ съ этою нормою». Въ дальнѣйшей рѣчи Пулье оказалось, что его введеніе была только мягкая постилка, на которой жестко спать, что Пулье опровергалъ предложеніе не какъ оппортунистъ, признающій его только несвоевременнымъ, но какъ противникъ его по принципу. Онъ не только отвергалъ космополитическую федерацію, но даже и національную федерацію общепаризскую.

Онъ сѣлъ, какъ на боевого коня, на обычаи и порядки единственнаго во Франціи парижскаго барро, за честь котораго онъ и пріѣхалъ переломить на этомъ турнирѣ копье. Пуле попалъ весьма мѣтко въ больное мѣсто конгресса, въ то, что онъ вмѣщаетъ въ себѣ многихъ лицъ, съ которыми брататься по девизу *omnia fraterne* можно по одному только недоразумѣнію. «Что у меня можетъ быть общаго, намекалъ онъ, съ какими-нибудь турецкими адвокатами». Между нами не было турокъ, но, возраженіе попадало во всѣ тѣ иностранныя адвокатуры, въ которыхъ, какъ въ австрійской, германской и русской, существуетъ начало одностепенности и вытекающее изъ него неизбѣжное смѣшеніе искусства съ ремесломъ. Представьте себѣ цехъ или корпорацію, въ которую бы на одинаковыхъ правахъ входили каменотезы и скульпторы или живописцы и маляры стѣнъ и крышъ. Такъ какъ ремесленниковъ всегда больше, чѣмъ артистовъ, то отъ такого смѣшенія искусство не можетъ не пострадать. Подобное смѣшеніе бываетъ во всѣхъ адвокатурахъ, въ которыхъ на однихъ и тѣхъ же лица возлагается и веденіе спорныхъ дѣлъ на судѣ и веденіе дѣлъ неспорныхъ или приведеніе въ исполненіе судебныхъ рѣшеній. Настоящая адвокатская функція кончается съ моментомъ, когда ввѣренное адвокату спорное дѣло превратится въ безспорное вступленіемъ въ силу закона окончательнаго судебного приговора. Искусство адвоката заключается только въ томъ, чтобы силою знанія и таланта убѣдить судью, помочь ему произнести солидное логически обоснованное рѣшеніе. До этого момента адвокатъ въ самомъ дѣлѣ *патронъ* тяжущагося, кліенты въ немъ нуждаются, у него заискиваютъ, готовы за его трудъ платить сколько ему угодно. Разъ дѣло рѣшено—роли мѣняются, кліентъ нуждается только въ зависимомъ отъ воли его исполнителѣ—дѣльцѣ, въ ходокѣ хорошо знакомомъ съ рутинными приѣмами и обрядностями исполнительнаго производства. По моему глубокому убѣжденію я стою на сторонѣ адвокатуръ англійской, бельгійской, французской—провинціальной, что отъ адвокатской профессіи

должны быть отсѣчены; какъ неподходящія къ ней, функціи исполнительнаго производства и всѣ тѣ занятія, которыя имѣютъ видъ кассирства, хозяйничанія чужими деньгами по отчету, а тѣмъ болѣе куртажа или дѣловаго агентства. Я надѣюсь, что въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи и наша русская адвокатура доработается до отреченія отъ многихъ несоотвѣтствующихъ ея значенію дѣйствій и услугъ, хотя бы совершаемыхъ на судѣ, или по суду. Но Пулье шелъ дальше и поставилъ ребромъ вопросъ гораздо болѣе спорный. Онъ не признаетъ своими, такъ сказать, пѣрами и не желаетъ даже и разсуждать какъ съ обратіями съ тѣми, которые полагаютъ, что адвокатъ дѣйствуетъ какъ повѣренный (*mandataire*) въ силу даваемыхъ ему стороною полномочій, иначе говоря съ тѣми, которые не раздѣляютъ принципа, котораго держится съ незапамятныхъ временъ парижское барро. Такая постановка вопроса не можетъ не озадачить насъ, до того она противна современнымъ нравамъ. Она требуетъ поясненія. Адвокатура древнихъ парламентовъ Франціи, а въ томъ числѣ и парижскаго, была по духу своему весьма аристократична (*noblesse de robe*) съ оттѣнкомъ рыцарственности и *point d'honneur'a*. Она успѣшно воспротивилась два раза (1579 и 1622) попыткамъ правительства ввести таксу гонораровъ и выработала неизмѣненное въ принципѣ до нынѣ начало, что адвокатъ оказываетъ снисхожденіе кліенту когда его защищаетъ, что за свой трудъ онъ не получаетъ платы (*salaire*), а только добровольное приношеніе или гонораръ. Изъ этого начала непосредственно вытекаетъ другое, что адвокатъ не можетъ быть чѣмъ бы то не было мандатаріемъ или прикащикомъ, что онъ не есть *dominus litis*, что онъ вліяетъ на ходъ дѣла только своимъ краснорѣчіемъ, но что требованія ставить и представляетъ собою сторону другое лицо, а именно стряпчій или *avoué*. Только *avoué* отвѣтственъ передъ стороною, адвокатъ же не отвѣчаетъ ни за свои совѣты, ни за свое «пледированіе».

Съ трудомъ вѣрится, чтобы могли еще нынѣ суще-

ствовать такіе обычаи и порядки. Они держатся не силою закона, а только силою запаздывающей на нѣсколько вѣковъ традиціи. Есть въ этихъ нравахъ доля донкихотства, но есть еще большая доля лицемѣрія и притворства. Въ одномъ Парижѣ больше 2000 адвокатовъ и живетъ большинству ихъ хорошо и умѣютъ они себя обезпечивать по отношенію къ кліентамъ, что я слышалъ отъ французовъ, членовъ конгресса, напримѣръ отъ m-re Selosse, батонье въ Лиллѣ. Искъ о гонорарѣ допустимъ по закону (наполеоновскій декретъ 1810 г.), но онъ недопускался во Франціи по обычаю и еслибы подобный искъ былъ предъявленъ, то истецъ-адвокатъ былъ бы вычеркнутъ со списка по постановленію дисциплинарнаго совѣта. Провинціальныя французскіе адвокаты увѣряли меня, что въ провинціи тяготеются парижскими правилами, вызывающими обходъ обычая посредствомъ симулированныхъ условій и посредничества третьихъ лицъ. Бельгійскіе нравы проще и демократичнѣе. Бельгійскій адвокатъ, не колеблясь, признаетъ себя мандатаріемъ кліента и не стыдится оцѣнивать свой трудъ. Онъ можетъ свободно предъявлять иски о гонорарѣ съ разрѣшенія впрочемъ своего батонье или дисциплинарнаго совѣта и можетъ обезпечивать свой трудъ провизіею, то есть авансомъ. Заслуживаетъ подражанія бельгійское правило не опредѣлять никогда вознагражденія процентомъ съ выигрыша (*de quota litis*) Обѣ адвокатуры, и французская, и бельгійская, склоняются къ отмѣнѣ званія *avoués*, функціи которыхъ могли бы быть переданы судебнымъ приставамъ. Ни въ одной изъ этихъ адвокатуръ адвокатъ не беретъ на себя приведенія въ исполненіе рѣшеній суда.

VIII.

Рѣзкая оппозиція парижанъ разстроила моментально всѣ планы и мечтанія бельгійскихъ учредителей конгресса, осуществимыя лишь подъ условіемъ единодушнаго увлеченія. — Постоянное международное бюро не состоялось.

Изъ иностранныхъ группъ ни одна не высказалась съ увѣренностью въ пользу международнаго союза. Наиболѣе расположенія къ нему выразила германская, которая и сама въ себѣ федеративно устроена. Идею федерализаціи будутъ продолжать проводить одни бельгійцы, значить она будетъ, такъ сказать, лежать на плечахъ той комиссіи бельгійской адвокатской федераціи, которая устраивала международный конгрессъ 1897 г.—Шансы успѣха комиссіи послѣ неудавшагося конгресса 1897 г. будутъ, конечно, иныя, менѣе благопріятныя, нежели до конгресса, во-первыхъ, вслѣдствіе неудачи попытки устроить что нибудь выходящее за предѣлы Бельгіи и, во-вторыхъ, за неимѣніемъ въ виду нѣвой всемірной выставки; на которой отбывались бы всякіе международные конгрессы во множествѣ, цѣлыми сотнями. Возникъ вопросъ: куда созвать будущій адвокатскій международный конгрессъ?—Пикарь обратился иронически къ Пулье и спросилъ не съѣхаться ли въ Парижъ: «можетъ быть мы васъ въ нашу вѣру обратимъ». Пулье открещивался словами: *Paris serait par trop revêche*. Требовалась очевидно нейтральная страна. Послѣ всѣхъ раздумій остановились на той-же Бельгіи и на томъ же Брюсселѣ. Въ своей прелестной заключительной рѣчи, задуманной въ юмористическомъ тонѣ, предсѣдатель Леженъ выразился, что онъ можетъ передать происходившее только «фразою безъ словъ», то есть, въ сущности, что собравшіеся одушевлены были добрыми братскими чувствами и желаніями, и расстаются хотя и безъ малѣйшей горечи въ воспоминаніяхъ, но и безъ положительныхъ результатовъ дѣятельности. Но, не смотря на это безплодіе конгресса, еслибы у насъ, разъѣзжающихся во всѣ концы свѣта, пріѣзжихъ иностранцевъ спросили: а пріѣдете ли опять на будущій конгрессъ? я полагаю, что всѣ почти, съ весьма малыми исключеніями, отозвались бы утвердительно: непременно пріѣдемъ. Безрезультатность одного съѣзда не предрѣшаетъ вопроса о безрезультатности всѣхъ послѣдующихъ.—Не удался одинъ, потому что поведенъ былъ неудовлетвори-

тельно, что не слѣдовало устроителямъ его задаваться мыслями—ни о социализаціи гражданскаго закона (вопроса не стоящаго на очереди у большинства народовъ, притомъ не адвокатскаго), ни о немедленномъ образованіи международнаго адвокатскаго союза, а слѣдовало начать съ согласованія наиболѣе цѣлесообразнаго устройства самихъ отдѣльныхъ адвокатскихъ корпоративныхъ единицъ, всѣхъ клѣточекъ, всѣхъ барро. Г. Гиллюаръ, батонье въ Парижѣ, въ своемъ отвѣтѣ на вопросникъ написалъ: *приѣду конгрессъ ad discendum, non ad docendum*. Мы всѣ съ удивленіемъ и съ тѣми же намѣреніями не то, чтобы учить, а чтобы учиться. Независимо отъ участія въ преніяхъ конгресса мы изучали, наблюдали все, что происходитъ за границею въ странахъ болѣе культурныхъ, чѣмъ наши. Мы обогатились въ Брюсселѣ извѣстными идеалами, которые будемъ у себя пропагандировать, насаждать и къ нашимъ туземнымъ отношеніямъ приспособлять. Характерныя черты относительной малокультурности—вялость общественной жизни, порою внезапныя непродолжительныя вспышки, показывающія что есть задатки лучшаго, что есть инстинкты, но есть и отсутствіе выдержки, неспособность къ непрерывной работѣ.—Эти признаки у насъ на глазахъ. Въ 1866 г., когда заведена небывалая у насъ адвокатура, она вышла готовая и во всеоружіи, какъ Минерва изъ головы Юпитера, она сразу сдѣлалась популярна, прославилась блистательными дарованіями. Съ тѣхъ поръ проходятъ 32 года, Австрія и Германія успѣли тоже обзавестись адвокатурами цѣльными національными, а у насъ произошла остановка, какъ будто механизмъ испортился. Мы остаемся съ тремя только совѣтами присяжныхъ повѣренныхъ, при 7 округахъ (и даже 8, если включить сибирскій), гдѣ адвокатура не готова, гдѣ нѣтъ корпорацій, гдѣ не могутъ и вырабатываться понятія о профессиональной честности, деликатности, приличіяхъ, гдѣ, напротивъ того, слагаются самымъ неблагопріятнымъ образомъ привычки и сноровки, съ которыми придется потомъ бороться. Общероссійской адвокатуры нѣтъ, когда

она устроится?—неизвѣстно, могли же безъ нея обойтись послѣ судебной реформы 32 года. Адвокатура даже въ трехъ округахъ, гдѣ она введена, виситъ на волоскѣ, не имѣетъ твердой почвы подъ собою. Понятно, что при такихъ условіяхъ жизненнымъ вопросомъ для всѣхъ присяжныхъ повѣренныхъ въ цѣлой Россіи было не то, какъ бы преподанную въ судебныхъ уставахъ 1864 г. форму дальше развивать и совершенствовать, а только то, какъ бы эту форму, какова она есть, привести въ исполненіе повсемѣстно, безъ всякихъ измѣненій. Осуществленіе этихъ желаній не зависитъ, конечно, отъ воли желающихъ, а отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, но мы можемъ дать этому вопросу еще иную, прямо обратную постановку и спросить: сдѣлали ли русскіе адвокаты въ тѣхъ трехъ округахъ, гдѣ имъ даровано корпоративное самоуправленіе, все то, чтобъ могло располагать и общество, и правительство содѣйствовать скорѣйшему повсемѣстному распространенію корпоративной организаціи адвокатуры? На этотъ вопросъ я не въ состояніи дать утвердительный, вполнѣ для сословія, къ которому я принадлежу, удовлетворительный отвѣтъ, хотя бы на основаніи трехъ прошлогоднихъ совѣтскихъ отчетовъ. Одинъ изъ этихъ отчетовъ (Харьковскій) запятъ, главнымъ образомъ, пререканіями судебной палаты съ совѣтомъ по случаю излишней снисходительности совѣта къ нарушеніямъ присяжными повѣренными ихъ профессиональных обязанностей и отмѣною Правительствующимъ Сенатомъ установившагося порядка примѣненія Совѣтомъ и Палатою ко взысканіямъ за эти нарушенія Всемилоствѣйшихъ манифестовъ, какъ будто бы дисциплинарное производство въ совѣтахъ имѣло что нибудь общее съ помилованіемъ и какъ будто-бы въ корпораціи могли быть терпимы лица явно неспособныя пользоваться довѣріемъ публики и ей служить. Только въ одномъ изъ округовъ (С.-Петербургскомъ) сдѣланы первые опыты къ образованію стажа, заведены конференціи помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ и положено основаніе устройству особаго сословія помощниковъ, имѣющаго въ главѣ

своей выборную комиссію; но коренная точка зрѣнія на стажъ несогласна съ идеею стажа ни у одной изъ западно-европейскихъ адвокатуръ, кромѣ италіанской, а именно она та, что помощникъ не есть младшій товарищъ, но что онъ чиномъ ниже патрона, что онъ состоитъ при патронѣ въ званіи подмастерья или ученика. Когда въ 1864 г. судебные уставы учреждали небывалую еще въ Россіи адвокатуру, не зная что еще изъ нея выйдетъ, какіе выработаются права, то установивъ въ единственной 354 статьѣ учрежденія судеб. уст. званіе помощника, они ихъ прикрѣпили, такъ сказать, на ниточкахъ не къ совѣту, а только къ патронамъ предоставивъ патронамъ помощниками руководить. — Ниточки оказались столь крѣпкими, что совѣтамъ стоило большихъ усилій подчинить своей юрисдикціи помощниковъ и пришлось бороться съ противными тому взглядами палатъ. Но эти ниточки донынѣ существуютъ и мѣшаютъ правильному установленію стажа. Обычай, господствующій и въ другихъ странахъ, приписываться къ патрону (*chez un ancien*) весьма похваленъ и рекомендуется, но приписка эта необязательна. Она становится особенно тяжела и неудобна, когда правами защиты чужихъ интересовъ на судѣ пользуются исключительно только записные адвокаты. — Для общества весьма существенно, чтобы въ корпорацію входили безпрепятственно лучшіе и способнѣйшіе изъ кончающихъ юридическое образованіе, чтобы молодому человѣку съ дипломомъ была открыта эта дѣятельность общественная. — На нашихъ глазахъ она закрывается, совѣты, остановившись на мысли о такъ называемыхъ фактическихъ помощникахъ, ограничиваютъ ихъ число, такъ что для многихъ молодыхъ людей съ прекрасными дипломами поступленіе въ адвокатуру зависитъ отъ случая, отъ знакомства съ присяжными повѣренными: кандидатъ можетъ поочередно всѣхъ присяжныхъ повѣренныхъ обойти и не найти, къ кому бы онъ могъ приписаться. Одинъ совѣтъ (московскій) установилъ для помощниковъ, между прочимъ, правила, новидному направленныя къ уменьшенію адвокатской конкурен-

ціи, что каждый присяжный повѣренный можетъ имѣть только одного помощника и что самостоятельной практики помощники имѣть не могутъ. Отъ этихъ правилъ освободилъ пока помощниковъ указъ 15 іюля 1895 г. Правительствующаго Сената отмѣнившій эти правила. Изъ этого положенія для помощниковъ есть выходъ безъ нарушенія 354 ст. учрежденія судебныхъ установленій, указанный въ докладахъ брюссельскому международному конгрессу, но у насъ не практикуемый, -- чтобы совѣты сами опредѣляли къ присяжнымъ повѣреннымъ такихъ помощниковъ, которые не найдутъ себѣ патроновъ, согласныхъ на приписку ихъ къ себѣ. Прошу извиненія за не касающіяся конгресса подробности нашего быта, но я не могъ не сказать того, что у меня лежало на сердцѣ, какъ у члена адвокатскаго сословія. Примѣры, мною приведенные, доказали вѣроятно, что есть чему поучиться за границею на адвокатскихъ конгрессахъ. Что касается до меня лично, то я, если буду живъ, непременно поѣду на будущій международный конгрессъ, который бельгійцы полагаютъ созвать года чрезъ два или три.

(Чтеніе въ общемъ годовомъ собраніи Юридическаго Общества при Сиб. Университетѣ 25 января 1898 г.)

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТРАН.
I. К. Д. Кавелинъ	1
II. Чествованіе Палацкаго въ 1898 г.	53
III. Страсти Господни въ Оберъ-Аммергау 1890 г. . .	121
IV. Гёте въ книгѣ Э. Рода	151
V. А. Мицкевичъ и его творчество	189
VI. Шесть не судебныхъ моихъ рѣчей	259
VII. Вѣчные Спутники Д. С. Мережковского	311
Романъ Сенкевича Семья Поланецкихъ	333
Адвокатскій конгрессъ въ Брюсселѣ 1897 г. . . .	415

ОБМЕН

С

RETURN CIRCULATION DEPARTMENT
TO → 202 Main Library

LOAN PERIOD 1 HOME USE	2	3
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

Renewals and Recharges may be made 4 days prior to the due date.

Books may be Renewed by calling 642-3405

DUE AS STAMPED BELOW

MAY 07 1996		
JUL 03 2000		
NOV 07 2000		

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
 BERKELEY, CA 94720

FORM NO. DD6

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY



8000658385

